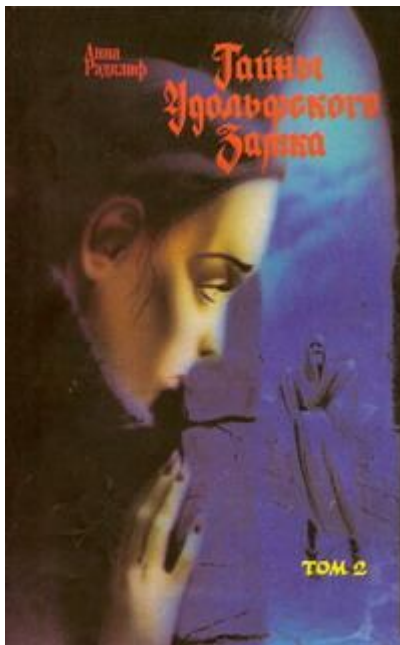


Анна Рэдклиф Тайны Удольфского замка. Том 2



&SpellCheck Татьяна Ситникова <http://lib.aldebaran.ru>
«Тайна Удольфского замка. Том 2»: Амех; Москва; 1993
ISBN 5-85689-008-6

Аннотация

Шедевр знаменитой английской писательницы Анны Рэдклиф «Тайны Удольфского замка» относится к жанру готических романов тайн и ужасов и вот уже более века пользуется неизменной популярностью среди широкого круга читателей.

Анна Рэдклиф Тайны Удольфского замка. Том 2

ГЛАВА XXV

*О вы святые силы вышние.
Подайте мне терпенье!
И, когда пора приспееет.
Раскройте зло, что здесь таится.*

Утром Аннета прибежала, запыхавшись, в комнату Эмили.

— О, барышня, — заговорила она прерывающимся голосом, что я вам скажу! Я узнала, кто такой этот пленник, — в сущности, он и не пленник вовсе, — тот, что заперт у нас в замке; помните, я еще рассказывала вам? Право, подумаешь, какое-то привидение!

— Кто же этот пленник? — спросила Эмилия, и мысли ее невольно перенеслись к происшествиям прошлой ночи.

— Вот и ошибаетесь, сударыня, он вовсе и не пленник.

— Да кто же он наконец?

— Святые угодники! Вот я удивилась-то сегодня! Представьте, сейчас встречаюсь с ним на укреплениях внизу. В жизнь свою не была я так поражена! Уж подлинно, творятся здесь престранные вещи! Сто лет проживу, а все не перестану дивиться. Итак, я столкнулась

с ним лицом к лицу, а ведь сама и думать-то о нем забыла!

— Твоя болтовня просто невыносима, — перебила ее Эмилия. — Умоляю тебя, Аннета, не испытывай моего терпения...

— Ну, угадайте, кого же я встретила, угадайте, барышня? — вы его прекрасно знаете.

— Не могу угадать, — с нетерпением отозвалась Эмилия.

— Хорошо, я вам скажу кое-какие приметы его, чтобы вы легче могли узнать: высокий господин, с продолговатым лицом, ходит так важно и носит на шляпе превысокое перо... имеет привычку потуплять глаза в землю, когда с ним разговаривают, а нет-нет и взглянет на тебя исподлобья, так мрачно, насупившись... Вы часто видели его в Венеции, барышня, он близкий знакомый нашего синьора. Не понимаю, чего он боялся в этом уединенном старом замке и для чего он все запирался? Ну, теперь наконец выполз на свет Божий, я сию минуту видела его на укреплениях, а как увидела — вся задрожала; я всегда почему-то трусила его! Но мне не хотелось, чтобы он заметил мой испуг; я подошла к нему и сделала книксен: «Синьор Орсини, — говорю, — с приездом честь имею поздравить».

— О, так это был синьор Орсини, — подхватила Эмилия.

— Ну да, он самый, собственной персоной! Тот, что убил венецианского дворянина и с тех пор перекочевывал с места на место.

— Господи! — воскликнула Эмилия, пораженная этим известием, — неужели же он приехал в Удольфо? Он хорошо делает, что старается скрыться.

— Конечно, барышня, но если б все дело было только в этом, ему нечего было бы даже запирается в таком уединенном месте. Ну, кому вздумается искать его здесь?

— Пожалуй, это и верно, — согласилась Эмилия, которая уже готова была вывести заключение, что Орсини и есть музыкант, игравший накануне вечером, но вспомнила, что он не имеет ни таланта, ни вкуса к музыке. Хотя ей не хотелось еще сильнее возбуждать удивление Аннеты, рассказав ей про случай с нею, но она все-таки спросила ее — нет ли кого-нибудь в замке, кто играл бы на музыкальном инструменте?

— Как не быть, барышня! у нас Бенедетто играет на барабане просто на удивление; потом есть еще Ланселот трубач; Людовико тоже мастер играть на трубе, да он болен теперь, бедняжка. Помню я раз...

Эмилия прервала поток ее речей.

— Слыхала ты какую-нибудь другую музыку после приезда в замок? Никакой не слыхала вчера вечером?

— А разве вы-то сами слыхали что-нибудь, барышня?

Эмилия уклонилась от ответа, повторив свой вопрос.

— Да нет, не слыхала я ничего, — отвечала Аннета; — я ни разу не слыхивала здесь никакой музыки, кроме барабанов да труб. А прошедшей ночью я всю ночь видела во сне дух моей покойной барыни.

— Твоей покойной барыни? — повторила Эмилия задрожавшим голосом, — итак, ты что-то скрываешь от меня? Скажи, скажи мне все, Аннета, умоляю тебя! Сообщи все самое худшее — не томи!

— Самое худшее вы уже знаете, барышня.

— Я ровно ничего не знаю...

— Нет, вы знаете! Знаете, что про барыню никому ничего не известно: следовательно, несомненно, что она отправилась туда же, куда отправилась прежняя хозяйка этого замка — та, что пропала без вести...

Эмилия подперла голову рукой и некоторое время молчала, потом сказала Аннете, что желает остаться одна, и та вышла.

Замечание Аннеты пробудило у Эмилии страшное подозрение, относительно судьбы г-жи Монтони; она решилась сделать новую попытку узнать что-нибудь наверное, обратившись прямо к Монтони.

Когда Аннета вернулась несколько часов спустя, она передала Эмилии, что привратник замка очень желает повидаться с нею, так как имеет сообщить ей нечто важное.

За последнее время Эмилия так много выстрадала, что всякий малейший пустяк действовал на нее; эти слова привратника возбудили в ней страх. Не угрожает ли ей опять какая-нибудь опасность? Тем более она была склонна это думать, что часто замечала свирепый вид и отталкивающее лицо этого привратника. Она не решалась пойти на его приглашение, думая, что это только предлог втянуть ее в какую-нибудь неприятность. Но по некотором размышлении она убедилась в невероятности этого предположения и устыдилась собственной слабости.

— Я повидаяюсь с ним, Аннета, — сказала она, — пусть придет в коридор сейчас же.

Аннета сбегала и вскоре вернулась.

— Бернардин говорит, что не может прийти в коридор, барышня, — здесь так далеко от его поста, и ворота он не смеет оставить ни на минуту в теперешние времена; но если вы выйдете к нему под ворота как-нибудь окольными путями, не пересекая двора, то он сообщит вам нечто такое, что удивит вас; только, ради Бога, не ходите через двор, чтобы синьор как-нибудь не увидал...

Эмилия не одобряла этих окольных путей и наотрез отказалась идти.

— Скажи ему, что если действительно он имеет передать мне что-нибудь важное, я выслушаю его в коридоре, когда он удосужится прийти туда.

Аннета отправилась с этим поручением и долго не возвращалась. Наконец явилась и сказала Эмили:

— Нет, барышня, так не годится; Бернардин не хочет потерять место, оставив свой пост; но если вы согласитесь выйти на восточные укрепления в сумерки, то он, пожалуй, может вырваться на минутку и передаст вам то, что имеет сказать.

Эмилия, удивленная и встревоженная такой таинственностью, все еще колебалась; но, сообразив, что человек этот действительно может предостеречь ее против какой-нибудь опасности, решила наконец пойти.

— Вскоре после заката солнца я буду в конце восточной террасы. Но ведь тогда будут поставлены часовые, — добавила она, подумав, — как же Бернардин проберется незамеченным?

— Как раз это же самое и я сказала ему, сударыня, и он ответил мне, что имеет ключ от калитки в конце укрепления и пройдет оттуда; что же касается часовых, то их нет в конце террасы; она и так достаточно защищена высокими стенами и восточной башней; а часовые, что на другом конце, слишком удалены, чтобы увидеть его в полумраке сумерек.

— Ну, хорошо, — сказала Эмилия, — необходимо выслушать, что он хочет сказать мне; потому сегодня же вечером ты отправишься со мной на террасу.

— Он велел приходить, когда начнет смеркаться, барышня, — повторила Аннета, — это из-за часовых.

Эмилия подумала, потом обещала выйти на террасу через час после солнечного заката.

— Передай Бернардину, — добавила она, — чтобы он явился аккуратно, потому что ведь и меня может заметить синьор Монтони. Кстати, где синьор? Мне надо повидаться с ним.

— Он в кедровой зале, барышня, совещается с другими синьорами. Сегодня он хочет задать им угощение, чтобы загладить, вероятно, недавние неприятности; на кухне идет суета.

Эмилия осведомилась, ожидает ли Монтони еще новых гостей; Аннета думала, что нет.

— Бедный Людовико! — прибавила она, — и он тоже повеселился бы с другими, не будь он болен. Но он поправится: вот граф Морано уж чего, кажется, опасно был ранен, а ведь выздоровел же и поехал назад в Венецию.

— Неужели? — спросила Эмилия. — Ты когда это узнала?

— Я слыхала вчера вечером, да забыла сказать вам. — Эмилия задала ей еще несколько вопросов и затем приказала Аннете наблюдать и известить ее, когда Монтони останется один; девушка побежала передать поручение Бернардину.

Монтони был так занят в продолжение целого дня, что Эмилия не имела случая разъяснить свою страшную неизвестность насчет тетки. Аннета целый день только и

занималась, что следила за ним, а в промежутках, вместе с Катериной, усердно ухаживала за раненым Людовико, так что Эмилии много приходилось оставаться одной. Мысли ее часто останавливались на приглашении привратника, и она старалась угадать, что бы это значило. Иной раз ей казалось, что тут дело касается судьбы г-жи Монтони; то опять ей думалось, что ей самой угрожает какая-нибудь личная опасность; таинственность, соблюдаемая Бернардином, скорее указывала на вероятность последней догадки. По мере того, как приближался назначенный час, нетерпение Эмилии все росло. Наконец закатилось солнце; она слышала шаги часовых, проходивших на свои посты, и ждала только Аннету, чтобы выйти на террасу. Девушка скоро явилась, и они вместе спустились по лестнице. Когда Эмилия заикнулась о том, что боится встретиться с Монтони или с кем-нибудь из его гостей, Аннета возразила ей:

— О, насчет этого нечего бояться, барышня, они все еще пируют, и Бернардину это известно.

Дошли до первой террасы, где часовые опросили их: «кто идет?». Эмилия ответила; затем они направились к восточному парапету. У входа их опять остановили и, дождавшись ответа, разрешили идти далее. Но Эмилии не хотелось ставить себя в зависимость от скромности этих людей в такой час; ее раздражало нетерпение поскорее избавиться от этого неловкого положения, и она поспешно бросилась отыскивать Бернардина. Он еще не явился. Она задумчиво облокотилась на стенку террасы и стала ждать. Сумеречные тени окутывали все окружающие предметы, мягко ступившая и долину, и горы, и леса, верхушки которых, колеблемые вечерним бризом, одни лишь нарушали своим шумом тишину, кроме разве смутного, едва слышного гула голосов в отдаленных частях замка.

— Чьи это голоса? — спросила Эмилия, пугливо прислушиваясь.

— Это синьор пирует со своими гостями, — отвечала Аннета.

«Боже милосердый! — подумала Эмилия, — как может этот человек веселиться, когда он сделал своего ближнего таким несчастным, если в самом деле моя тетюшка еще жива и сознает свое несчастье! О, каковы бы ни были мои собственные страдания, дай Бог, чтобы мое сердце никогда, никогда не ожесточалось против людей!»

С ощущением страха глядела она на восточную башню, под которой стояла. Сквозь решетку нижнего окна светился огонек, но наверху была тьма. Вдруг она увидела фигуру, прошедшую по комнате с лампой в руках; но это обстоятельство не возбудило в ней никаких надежд относительно г-жи Монтони; она тщетно искала ее глазами в этой комнате, где, по-видимому, ничего не было, кроме солдатской амуниции; однако Эмилия все-таки решилась попытаться войти в башню, как только удалится Бернардин, и если дверь окажется незапертой, то попробовать разыскать свою тетку.

Минуты проходили за минутами, а Бернардин все не появлялся; встревоженная Эмилия стала сомневаться, следует ли ей ждать дольше. Она послала бы Аннету к воротам поторопить его, да боялась остаться одна; тем временем почти совсем стемнело, и узкая багровая полоса, еще остававшаяся на горизонте, белела единственным следом исчезнувшего дня. Однако интерес, возбужденный обещанием Бернардина, заставил ее преодолеть свои страхи и не уходить.

Пока она говорила с Аннетой, стараясь объяснить его отсутствие, в соседней калитке щелкнул замок и оттуда появился человек. Это и был Бернардин. Эмилия поспешно спросила его, что такое он имеет сообщить ей, прося его высказаться скорее, потому что она озябла на холодном вечернем воздухе.

— Отпустите свою служанку, сударыня, — сказал привратник густым басом, испугавшим Эмилию, — то, что я имею сказать, предназначено только для вас одной.

После некоторого колебания Эмилия приказала Аннете отойти на небольшое расстояние.

— Ну, друг мой, теперь говорите! — обратилась она к привратнику.

Он помолчал немного, как будто обдумывая то, что имеет сказать.

— Если это дойдет до ушей синьора, меня непременно прогонят. Обещайте мне,

сударыня, что вы никому не промолвите ни слова из того, что я скажу вам. Мне доверили эту тайну, и если узнают, что я ее выдал, то я, может быть, отвечу за это своей жизнью. Но я желаю вам добра, сударыня, поэтому и решился сказать вам.

Он остановился.

Эмилия поблагодарила его, уверив, что он может положиться на ее молчание, и умоляла не томить.

— Аннета рассказывала нам в людской, как вы тревожитесь за синьору Монтони и как сильно желаете узнать, что случилось с нею...

— Это правда, — с жаром подтвердила Эмилия, — можете ли вы сообщить мне какие-либо сведения? Прошу вас, говорите даже самое худшее, не стеснясь.

Она оперлась дрожащей рукой об стену.

— Я могу сообщить вам... — продолжал Бернардин, — но...

— Но что? — воскликнула Эмилия, оправившись.

— Я здесь, барышня! — отозвалась Аннета, услышав восклицание своей госпожи и заметив встревоженный тон, которым произнесены были эти слова, она бегом бросилась к Эмилии.

— Уходите... — сурово крикнул на нее Бернардин. Эмилия ничего не сказала, и Аннета повиновалась.

— Я могу кое-что сказать вам, — повторил привратник, — да не знаю, как... вы все время так убивались.

— Я приготовилась к самому худшему, друг мой, — произнесла Эмилия твердым, торжественным голосом, — я все могу перенести легче, чем эту страшную неизвестность.

— Ну, хорошо, синьора; коли так, вы все услышите. Вам, кажется, известно, что синьор с его супругой часто не ладят между собой. Не мое дело допытываться, из-за чего у них идут раздоры, но что это так, надеюсь, и вам известно.

— Хорошо, — отвечала Эмилия.

— За последнее время синьор был, повидимому, сильно раздражен против супруги. Я все видал, все слышал, гораздо больше, чем все думали; но это не мое дело и я ничего не говорил. И вот, несколько дней тому назад синьор вдруг присылает за мной. «Бернардин, — говорит, ты человек честный; я думаю, что могу довериться тебе». Я подтвердил эчеленце, что он доверять мне вполне может. «В таком случае, — говорит, у меня есть одно дело, в котором мне нужна твоя помощь». Тогда он сообщил мне, что я должен делать; но я про это не скажу вам ни слова — дело касается только синьоры.

— Царь небесный! — воскликнула Эмилия, — что вы наделали?

Бернардин, видимо, колебался и молчал.

— Какой демон мог соблазнить его или вас совершить такое злодеяние? — крикнула Эмилия, вся похолодев от ужаса и едва не лишаясь чувств.

— В самом деле, демон... — мрачно подтвердил Бернардин.

Оба замолчали: у Эмилии не стало духу расспрашивать дальше, а Бернардину неохота была говорить. Наконец он произнес:

— О прошлом нечего и поминать. Синьор был жесток, но он требовал повиновения. Какая польза артачиться? Он нашел бы других, которые не остановились бы ни перед чем.

— Значит, вы убили ее?! — молвила Эмилия глухим голосом. — Передо мною убийца!

Бернардин безмолвствовал. Эмилия отвернулась от него и хотела уйти.

— Пойдите, барышня! — крикнул он ей вдогонку. — Вы заслуживаете того, чтобы я оставил вас при такой уверенности, раз вы могли счесть меня способным на подобное дело.

— Если вы не виновны, так говорите, — промолвила Эмилия слабым голосом, — я чувствую, что у меня не хватит сил долго слушать вас.

— Больше я ничего не скажу вам! — С этими словами он отошел.

Эмилия едва имела силу попросить его остаться, затем подозвала к себе Аннету, оперлась на ее руку, и обе тихими шагами пошли по террасе, но вдруг слышали позади шаги. Это был опять Бернардин.

— Удалите девушку, и я скажу вам все.

— Я не могу отпустить ее; все, что вы имеете сказать, и она может слышать.

— Вы думаете? в таком случае и вы больше ничего не узнаете!

С этими словами он отошел, но медленными шагами.

Тогда беспокойство Эмилии преодолело страх и гнев, вызванный поведением этого человека: она удержала его, а горничной приказала уйти.

— Синьора жива, — объявил привратник. — Но она моя пленница; эчеленца запер ее в той комнате, что помещается над главными воротами, а мне поручено сторожить ее. Я только что собирался передать вам, что вы можете с нею повидаться, но теперь...

Эмилия почувствовала, что с ее души скатилось тяжелое бремя; теперь ей оставалось только попросить прощения у Бернардина и умолять его, чтобы он позволил ей посетить тетку.

Он согласился с меньшей неохотой, чем она ожидала, и сказал ей, что если она явится в следующую ночь, когда синьор ляжет спать, к калитке замка, то она, может быть, увидит г-жу Монтони.

При всей благодарности, которую чувствовала к нему Эмилия за эту уступку, ей показалось, что она подметила какое-то лукавое торжество в его тоне, когда он произносил эти последние слова; но в ту же минуту она отогнала от себя это подозрение и, еще раз поблагодарив его, поручила тетку его состраданию, с обещанием наградить его, и сказала, что завтра аккуратно явится на свидание. С этим она пожелала ему покойной ночи и, никем не замеченная, вернулась к себе. Среди радости, вызванной неожиданным известием Бернардина, Эмилия долго не могла успокоиться настолько, чтобы мыслить здраво и сообразить, какие опасности до сих пор окружали г-жу Монтони и ее саму. Когда миновало возбуждение, она поняла, что тетка ее все еще в плену у жестокого человека и что он может принести ее в жертву своему мщению или своей алчности; и когда она вспомнила свирепую наружность того, кому поручено было сторожить г-жу Монтони, ей представилось, что судьба несчастной свершилась — черты Бернардина были отмечены печатью убийцы; ей думалось, что нет злодейства, хотя бы самого черного, на какое его нельзя было бы подвинуть. Каким тоном он обещал ей устроить ее свидание с пленницей! Эмилия задумалась над этим с сомнением и тревогой. Порою она даже колебалась довериться ему настолько, чтобы явиться на свидание в глухой час ночи; ей приходило в голову, что г-жа Монтони уже убита и что этому негодяю поручено заманить и ее в какой-нибудь тайник, где ее жизнь будет также принесена в жертву алчности Монтони, который в таком случае смело

потребуется себе спорные поместья в Лангедоке. Но такое преступление показалось ей слишком чудовищным, чтобы быть вероятным; она никак не могла освободиться от сомнений и опасений, внушенных ей этим Бернардином. Но вот мысли ее наконец обратились к другим предметам, и по мере того, как время подвигалось к вечеру, она стала вспоминать о музыке прошлой ночи и с напряженным любопытством ждать ее повторения.

До позднего часа к ней доносились отдаленные звуки пиршества: это веселился Монтони с приятелями — громкие споры, грубый хохот и пение хором оглашали высокие своды залы. Наконец она услышала, как запирались на ночь тяжелые порога, и эти звуки мгновенно потонули в глубокой тишине, нарушаемой лишь шорохом шагов по галерее — то гости расходились по своим отдаленным покоям. Эмилия, рассчитав, что вчера как раз в эту пору она услышала музыку, отпустила Аннету, а сама тихонько отворила окно, надеясь услышать повторение музыки. Луна, на которую она вчера глядела, слушая музыку, еще не взошла; но Эмилия с каким-то суеверным чувством не отрывала глаз от той части неба, где она должна была появиться, почти ожидая, что в ту же минуту раздадутся снова прелестные звуки. Наконец над восточными башнями всплыла луна, невозмутимо ясная. При виде ее сердце замерло у Эмилии, она едва решалась оставаться у окна, — она боялась, что вот-вот раздастся музыка и, подтвердив ее суеверный страх, лишит ее последнего остатка сил. На часах вскоре пробил один удар, зная, что почти в эту пору раздались вчера звуки, она села в кресло у окна и старалась привести в порядок свои чувства; тревога ожидания все еще

волновала ее. Кругом стояла тишина: слышались только шаги одинокого часового и баюкающий шепот леса внизу. Эмилия облокотилась на подконник, и опять как бы вопросительно устремила взоры свои на планету, теперь уже поднявшуюся довольно высоко над башнями.

Долго она прислушивалась — все напрасно, не слышно было никакой музыки.

— Вероятно, то были какие-то неземные звуки! — проговорила она про себя, вспоминая чарующую мелодию; никто из обитателей замка неспособен на подобное исполнение, ни у кого не найдется такого чувства!.. Говорят, бывали случаи, когда на землю доносились звуки с небес; Преподобные Петр и Антоний уверяли, что иногда они слышали их в тиши ночной, когда бодрствовали и возносили молитвы к Господу. Мой дорогой отец сам рассказывал, что однажды, вскоре после смерти матушки, когда он лежал, страдая от бессоницы, какие-то звуки необычайной сладости заставили его подняться с постели; он отворил окно и услышал тихую музыку, проносившуюся словно в высших сферах ночного воздуха. Она успокоила его, признавался отец; он устремил взор свой к небу с упованием и помянул усопшую, призвав на нее благость Господню!

Эмилия заплакала при этом воспоминании:

«Быть может, — продолжала она свои размышления, — быть может, звуки, слышанные мною, были ниспосланы свыше, чтобы утешить, поддержать меня! Никогда не забуду я мелодии, которую слышала в этот же час в Лангедоке. Быть может, отец охраняет меня в эту самую минуту!»

Опять она заплакала слезами нежности. Так промчался целый час на бодрствовании и возвышенных размышлениях, но музыка не повторилась. Эмилия просидела у окна до той поры, когда слабое сияние зари стало окрашивать горные вершины и разгонять ночные тени; тогда только она решила, что музыки сегодня не будет, и удалилась на покой.

ГЛАВА XXVI

*...я вас извещу,
Когда и где их ловчее подстеречь...
Покончить надо в эту ночь.*
Макбет

Эмилия несколько удивилась, узнав на другой день, что Аннете известно о заточении ее тетки в каземате над воротами и о том, что Эмилия собирается посетить узницу в тот же вечер. Невозможно было предположить, чтобы сам Бернардин доверил такой легкомысленной особе, как Аннета, дело, которое торжественно просил ее, Эмилию, держать втайне, а между тем он теперь действительно передавал через Аннету поручение, касающееся этого самого свидания. Он велел ей сказать Эмили, чтобы она приходила одна, никем не сопровождаемая, на террасу вскоре после полуночи: там он ее встретит и отведет в обещанное место. Эта перспектива ужаснула Эмилию, и сразу на нее нахлынул рой смутных опасений, вроде тех, что мучили ее прошлой ночью, и она не знала, верить ли им или отогнать их? Что, если Бернардин обманывает ее относительно г-жи Монтони, которую он, может быть, сам лишил жизни, и обманывает ее по наущению Монтони, с целью легче вовлечь ее в какую-нибудь ловушку? У Эмили являлось страшное подозрение, что г-жи Монтони уже нет на свете, и к этому присоединялся страх за свою собственную участь... Если только преступление, жертвой которого сделалась ее тетка, было внушено не одной личной злобой Монтони, а также и расчетом, то ясно, что цель синьора могла быть достигнута лишь тогда, когда погибнет и племянница, к которой, как ему было известно, должно бы перейти наследство его жены. Эмилия помнила слова тетки, что спорные владения во Франции достанутся ей, если г-жа Монтони умрет, не завещав их своему мужу; а судя по прежнему упорному сопротивлению тетки, надо было предполагать, что она до последней минуты настаивала на своем отказе. Эмили пришло на ум, как странно держал

себя Бернардин вчера вечером; ей тогда же показалось, что в его тоне сквозит злобное торжество. Она затрепетала при этом воспоминании, подтверждавшем ее опасения, и решила не выходить к нему на террасу. Но вскоре ей опять представилось, что такие подозрения не более, как сумасбродные фантазии робкой, трусливой души, — трудно было бы считать Монтони способным на такое чудовищное преступление — погубить и жену, и ее племянницу ради корыстолюбивого мотива. Эмилия стала упрекать себя в том, что дает волю своей романтической фантазии, а та заносит ее далеко за пределы вероятности, и решила остановить порывы этой дикой фантазии, иначе они могут довести ее до сумасшествия. Конечно, она по-прежнему пугалась мысли встретиться с Бернардином на террасе в глухую полночь, а между тем желание избавиться от страшной неизвестности относительно участи тетки, желание повидать ее и облегчить ее страдания заставляло ее колебаться — что ей делать?

— Но можно ли мне будет, Аннета, пройти по террасе в такой час? — сказала она, собравшись с духом, — часовые остановят меня, и синьор Монтони обо всем узнает...

— О, барышня, все это уже заранее обдумано! — отвечала Аннета. — Вот что Бернардин сказал мне на этот счет: он дал мне ключ и велел передать вам, что им отпирается дверь в конце сводчатой галереи, ведущей к восточной террасе, так что вам нет надобности проходить мимо часовых. Бернардин хочет провести вас в желаемое место, не отпирая большую дверь в сени, которая так страшно скрипит!

Тревоги Эмилии несколько улеглись благодаря этому объяснению, данному Аннетой, очевидно, без всякой задней мысли.

— Но почему он требует, Аннета, чтобы я пришла одна?

— Вот это же самое и я спросила у него, барышня: почему, говорю, моя молодая госпожа должна придти одна? Разве же мне нельзя сопровождать ее? Какой вред от этого выйдет? А он как нахмурится: нет, нет, говорит, вам нельзя! Почему же? — говорю я. Мне не раз доверяли в делах еще поважнее этого, и я всегда умела хранить тайну. А он все свое твердит: нельзя да нельзя. Хорошо же, говорю я, коли вы согласитесь довериться мне, так и я скажу вам один большущий секрет, который мне сообщили месяц тому назад, а я с тех пор все о нем молчала, — так что вам нечего бояться довериться мне. Но и это не помогло. Тогда, барышня, я пустилась на такое средство: предложила ему красивенький новый золотой, — его подарил мне Людовико на память и в другом случае я не рассталась бы с ним и за всю площадь Св. Марка. Но даже и это было напрасно. Ну, что за притча такая? Ведь я знаю, с кем вы идете повидаться.

— Объясни мне, пожалуйста, про это сам Бернардин сказал тебе?

— Он? Вот уж нет!

Эмилия спросила: кто же тогда? Но Аннета хотела доказать, что умеет хранить секрет.

Весь день мысли Эмилии были взволнованы сомнениями, страхами и нерешительностью — она колебалась выйти к Бернардину на укрепление и довериться ему, чтобы он повел ее Бог весть куда. Жалость к тетке и беспокойство за саму себя поочередно колебали ее твердость, и настала ночь, а она не решила еще, как поступить. На башенных часах пробило одиннадцать, потом двенадцать, и все еще ее мысли колебались.

Но вот настал наконец момент, когда дальнейшая нерешительность становилась уже невозможной, и участие к судьбе тетки преодолело все другие соображения. Приказав Аннете проводить ее до наружной двери сводчатой галереи и там дожидаться ее возвращения, она спустилась вниз. В замке стояла полная тишина; в обширных сенях, где за несколько часов перед тем она была свидетельницей драки и кровопролития, теперь отдавался лишь слабый шорох шагов двух фигур, пугливо пробирававшихся между колоннами, при тусклом мерцании лампы. Эмилия, вводимая в заблуждение длинными тенями колонн и колеблющимися бликами света между ними, поминутно останавливалась, воображая, что видит какое-то существо, движущееся в отдаленной перспективе, и, проходя мимо колонн, боялась поднять глаза: ей все чудилось, что вот-вот выскочит из-за них что-то страшное. Однако она без препятствий добралась до сводчатой галереи и дрожащей рукой отперла

наружную дверь. Приказав Аннете не отходить от этой двери и держать ее неплотно притворенной, чтобы она могла слышать, если ее позовут, Эмилия передала ей лампу, которую не решалась взять с собой из-за часовых, и одна вышла на темную террасу. Кругом все было так тихо, что она боялась, как бы ее собственные легкие шаги не привлекли внимания далеких караульных. Осторожно прошла она к тому месту, где уже раньше встречалась с Бернардином, прислушиваясь к малейшему звуку и взором стараясь пронизать потемки. Вдруг она вздрогнула от звука басистого голоса, раздавшегося близехонько, — она подождала, не уверенная, кто это; тогда голос опять заговорил, и она узнала низкий бас Бернардина, который пунктуально явился на свидание и давно ждал на условленном месте, сидя на ограде парапета. Сперва он пожурил ее за то, что она опоздала, и сказал, что ждет ее уже с полчаса; Эмилия ничего не ответила. Тогда он велел ей следовать за ним в ту дверь, через которую он сам вышел на террасу.

Пока он отпирал ее, Эмилия украдкой оглянулась на дверь, за которой ждала Аннета, и убедилась, что она там, увидав полоску света, пробивавшуюся сквозь щелку.

Ей стало жутко расставаться со своей камеристкой, а когда Бернардин отпер калитку, то мрачный вид открывшегося за нею коридора, при свете факела, воткнутого в пол, испугал ее до того, что она напрямик отказалась идти одна и потребовала, чтобы Аннете разрешено было сопровождать ее. Но этого Бернардин ни за что не хотел допустить, приплетая к своему отказу какие-то замысловатые соображения, нарочно, чтобы усилить жалость и любопытство Эмилии по отношению к тетке; тогда Эмилия, наконец, согласилась следовать за ним одна в портал.

Привратник взял факел и повел ее по коридору, в конце которого отпер еще какую-то дверь; потом они спустились по нескольким ступеням в часовню, находившуюся, как заметила Эмилия при свете факела, почти в полном разрушении; Эмилия с неприятным чувством вспомнила давнишний разговор с Аннетой по поводу этой самой капеллы. Со страхом оглядела она полуразвалившуюся крышу, стены, покрытые зеленой плесенью, и остроконечные окна, в которых плющ и бриония давно заменяли стекла и свешивались фестонами вокруг разбитых капителей колонн, когда-то подпиравших кровлю. Бернардин поминутно спотыкался о разбитые плиты пола, и голос его, произносивший ругательства, отдавался глухим эхом, отчего казался еще более страшным. У Эмилии сжималось сердце; но она все шла за ним, и он повернул в сторону главного придела часовни.

— Теперь спускайтесь вниз по этим ступеням, барышня, — велел ей Бернардин, сам тоже сходя вниз, точно в какой-то склеп.

Но Эмилия остановилась наверху и спросила дрожащим голосом, куда он ведет ее.

— К воротам, — отвечал Бернардин.

— А не можем ли мы пройти к воротам через часовню?

— Нет, синьора, это приведет нас во внутренний двор, который мне не хочется отпирать. А если вот так пойти, то мы сразу попадем в наружный двор.

Эмилия все еще колебалась; ей страшно было раздражить Бернардина, отказываясь идти дальше.

— Ну, ступайте же, барышня, — сказал привратник, уже опустившийся с нескольких ступенек; — смотрите, живее! не могу же я прождать вас здесь всю ночь.

— Куда ведут эти ступени? — спросила Эмилия, все еще не решаясь.

— К воротам, говорят вам, — сердито повторил Бернардин; — надоело мне дожидаться!

С этими словами он двинулся дальше со своим факелом, а Эмилия скрепя сердце последовала за ним. От ступенек они направились по ходу, ведущему к подземельям, со стен которых проступала сырость; от испарений, ползущих над полом, факел горел тусклым светом, — Эмилия ежеминутно ждала, что он потухнет. Бернардин едва различал путь. По мере того, как они подвигались, испарения все сгущались. Бернардин, боясь, что факел погаснет, остановился на минуту, чтобы поправить его. Он прислонился к железным решеткам, заграждавшим проход, и Эмилия при вспышках факела увидела подземелье,

простиравшееся по ту сторону решетки, и по близости комья взрытой земли, как будто окружавшие вырытую могилу. В подобной обстановке это взволновало и испугало бы ее во всякое время, но теперь ее точно ударило в сердце внезапное предчувствие, что это могила ее несчастной тетки и что предатель Бернардин ее саму ведет на верную погибель. Мрачное, страшное место, куда он завел ее, как будто оправдывало ее подозрения; то было место, располагающее к убийству, и тут же могила, готовая принять жертву: здесь всякое злодеяние могло быть совершено безнаказанно и бесследно. Эмилия была до такой степени поражена ужасом, что с минуту не могла опомниться, как ей поступить.

Вслед за тем у нее мелькнуло соображение, что было бы бесполезно пытаться спастись от Бернардина бегством; протяжение и запутанность пройденного пути даст ему возможность, как знакомому с направлением, тотчас же нагнать ее; притом она, при своей слабости, не смогла бы бежать быстро. Кроме того, она боялась раздражить его, обнаружив свои подозрения, что произошло бы непременно, если б она сделала попытку бежать. Раз она уже находится в его власти, она решила по мере сил скрывать свои опасения и молча идти, куда он захочет повести ее. Бледная от ужаса и волнения, она ждала, пока Бернардин поправлял факел: взгляд ее снова скользнул по могиле, и она не могла удержаться от вопроса, для кого приготовлена могила. Привратник отвел глаза от факела и устремил их на ее лицо, не говоря ни слова. Слабым голосом она повторила вопрос; но он тряхнул факелом и пошел дальше, ничего не отвечая, а она, вся дрожа, последовала за ним; поднялись еще по каким-то ступенькам, отворили дверь и очутились в первом дворе замка. Когда он пересекал его, при свете факела можно было видеть высокие, мрачные стены кругом, с бахромой из длинной травы, росшей на скудных клочках земли между мшистых камней; тяжелые устои с узкими решетками между ними, пропускавшими более свободный приток воздуха во двор; массивную железную решетку, ведущую в замок, а напротив огромные башни и свод портала. На этом фоне грузная, неуклюжая фигура Бернардина с факелом в руках являлась характерным силуэтом. Бернардин был закутан в длинный темный плащ, из-под которого едва виднелась обувь — род полусапожек или сандалий, зашнурованных вокруг ноги, да конец широкой сабли, которую он всегда носил на ремне через плечо. На голове у него красовалась тяжелая, плоская бархатная шапка, несколько похожая на тюрбан с коротким пером; под этой шапкой виднелось лицо с грубыми чертами, прорезанное глубокими морщинами и с выражением лукавой хитрости и обычного недовольства.

Вид двора несколько ободрил Эмилию; молча пересекая его по направлению ворот, она стала надеяться, что ее обманули ее собственные страхи, а вовсе не предательство Бернардина. С тревогой взглянула она, однако, вверх на первое окно, над высоким сводом спускной решетки; но там было темно; тогда она спросила, не есть ли это окно комнаты, где заключена г-жа Монтони? Эмилия говорила тихо, и Бернардин вероятно, не расслышал ее вопроса, потому что ответа не последовало. Вслед затем они прошли через маленькую потайную калитку в воротах и очутились у подножия узкой лестницы, ведущей наверх, к одной из башен.

— Там наверху и лежит синьора, — промолвил Бернардин.

— Лежит! — слабо повторила за ним Эмилия, начав взбираться по лестнице.

— Ну, да! она лежит в верхней комнате, — подтвердил Бернардин.

Когда они подымались, ветер врывавшийся сквозь узкие бойницы в стене, колебал пламя факела и озарял свирепое, желтое лицо Бернардина; еще яснее выступало запустение этого места, — шероховатые каменные стены, витая лестница, почерневшая от ветхости, и старое рыцарское забрало, висевшее на стенке, точно трофей какой-то давнишней победы.

Дошли до площадки.

— Можете пока подождать здесь, барышня, — сказал привратник, вкладывая ключ в замок какой-то двери, — а я схожу туда и предупрежу синьору, что вы пришли.

— Эти церемонии совсем не нужны, — заметила Эмилия, — тетя будет рада меня видеть.

— Ну, в этом я не уверен, — возразил Бернардин, показывая ей на открытую им

комнату.

— Вот, ждите здесь, пока я схожу наверх.

Эмилия, удивленная и несколько смущенная, не осмелилась более противоречить ему; и когда он повернулся, чтобы уйти с факелом, она попросила его, чтобы он не оставлял ее в потемках. Он оглянулся и, заметив на лестнице лампу, стоявшую на иожнике, зажег ее и дал Эмили. Та вошла в большой старинный покой, а он затворил за нею дверь. Она тревожно прислушивалась к его удаляющимся шагам, и ей показалось, что он спускается вниз, вместо того, чтобы подыматься, но порывы ветра, завывая вокруг портала, не давали ей возможности отчетливо различать звуки. Однако, насторожившись, она не услышала никакого шума шагов наверху над нею, где, как он уверял, находилась г-жа Монтони; это встревожило ее, но опять-таки она сообразила, что толщина пола в этом массивном здании может не пропускать никаких звуков сверху. Но вот во время затишья между двумя порывами ветра она отчетливо различила шаги Бернардина, спускавшегося во двор, и ей даже показалось, будто она слышит его голос; но тут опять загудел ветер, заглушая всякие звуки.

Чтобы рассеять свои сомнения, Эмилия тихо подошла к двери и попыталась отворить ее, но та оказалась запертой... Ужасные предчувствия, осаждавшие ее за последнее время, вернулись к ней с удвоенной силой и уже не представлялись ей преувеличениями трусливой души, а как будто были ниспосланы свыше, чтобы предостеречь ее. Теперь она уже не сомневалась, что г-жа Монтони убита, быть может, даже в этой самой комнате, и что ее, Эмилию, завлекли сюда нарочно с целью погубить. Лицо, обхождение и слова Бернардина, когда он говорил о ее тетке, подтверждали самые худшие опасения Эмили. Несколько минут она даже не имела сил думать о средствах к бегству. Она вся насторожилась, но не слышала шагов ни на лестнице, ни в верхней комнате; вдруг ей показалось, что опять раздается голос Бернардина внизу; она подошла к решетчатому окну, выходившему на двор — попытаться, не увидит ли чего. Стоя у окна, она ясно услышала звук его грубого голоса в перемежку с завываниями ветра; но эти звуки опять так быстро заглохли, что их значение трудно было истолковать. Потом во дворе мелькнул свет факела, по-видимому, исходивший из-под ворот, и длинная тень человека, стоявшего под сводом, обрисовалась на каменных плитах мостовой. Эмилия, судя по размерам этой фигуры, заключила, что это и есть Бернардин; но другие глухие звуки, доносимые ветром, вскоре убедили ее, что он не один и что его спутники не из таких, которым знакомо чувство сострадания. Очнувшись от первого потрясения, она подняла лампу, чтобы осмотреть комнату, где она находилась, и убедиться, нет ли какой возможности снастить бегством. Комната была обширная, с дубовой обшивкой по стенам; других окон в ней не было, кроме единственного решетчатого оконца, не было и другой двери, кроме той, в которую она вошла. При тусклом свете лампы она, однако, не могла сразу охватить все пространство комнаты; мебели она никакой не заметила, кроме, впрочем, железного кресла, привинченного к полу посреди комнаты; непосредственно над ним свешивалось с потолка на цепи железное кольцо. Долго глядела она на эти предметы с изумлением и страхом; наконец заметила еще внизу железные брусья, очевидно приспособленные с целью сжимать ноги, а на ручках кресла кольца из того же металла. Чем больше она наблюдала, тем больше убеждалась, что это орудия пытки... Ее поразила мысль, что каких-нибудь несчастных когда-то, вероятно, приковывали к этому креслу и замаривали голодом. Она похолодела... но каково было ее отчаяние, когда в ту же минуту у нее мелькнула мысль, что ее тетка могла быть одною из жертв, и что вслед за тем расправятся и с ней самой. Острая боль пронзила ее мозг, она едва удержала в руках лампу; озираясь кругом и ища поддержки, она бессознательно хотела сесть в железное кресло; но вдруг, очнувшись, она в ужасе отскочила от кресла и бросилась в отдаленную часть комнаты. Там она опять стала искать, на что бы сесть, но мебели никакой не оказалось; она заметила только темный занавес, который, спускаясь с потолка до самого пола, был растянут во всю ширину комнаты. Хотя ей было дурно, но вид этого занавеса так порастил ее, что она устремила на него взор, полный изумления и страха.

Казалось, за этим занавесом скрывается какой-то тайник; она и желала и боялась поднять его и заглянуть, что за ним скрывается; два раза ее удерживало воспоминание о страшном зрелище, которое дерзкая рука ее разоблачила, подняв покров с мнимой картины в одном из покоев замка, но вдруг ей вообразилось, что вот этот самый занавес скрывает труп ее убитой тетки; тогда, в припадке отчаяния, она ухватила за него рукой и отдернула... Глазам ее представился труп, распростертый на низком ложе, окрашенном багровыми кровавыми пятнами, как и пол вокруг. Черты покойника, обезображенные смертью, были страшны, и на лице его зияло несколько сине — багровых ран. Эмилия, склонившись над трупом, с минуту глядела на него пристальным, обезумевшим взором; потом вдруг выронила из рук лампу и упала без чувств...

Очнувшись, она увидела, что окружена какими-то людьми, среди которых был и Бернардин; он поднял ее с полу и понес по комнате. Она сознавала все, что происходит, но от страшной слабости не могла ни говорить, ни двигаться, ни даже ощущать определенный страх. Ее понесли вниз по той самой лестнице, по которой она недавно поднималась; дойдя до арки, люди остановились и один из них, взяв факел из рук Бернардина, отворил дверцу, проделанную в большой калитке, и в то время, как он выходил на дорогу, при свете его факела можно было заметить, что за дверью находятся несколько людей верхом. Или свежий ноздус оживил Эмилию, или виденные ею предметы возбудили в ней тревогу, но она вдруг получила способность говорить и несколько раз порывалась высвободиться из рук злодеев, державших ее.

Между тем Бернардин громким криком требовал факел назад; далекие голоса отвечали ему, и в ту же минуту свет озарил двор замка. Опять он закричал, чтобы ему дали факел, а люди торопливо пронесли Эмилию в ворота. На небольшом расстоянии, под защитой стен замка она увидела того человека, который взял факел у привратника; он светил какому-то другому человеку, занятому прилаживанием седла на лошади; вокруг него стояли и глядели несколько всадников; на их суровые лица падал яркий свет факела; взрытая земля под их ногами, стены напротив с пучками травы по краям, зубчатая сторожевая башня, — все это было окрашено багровым отблеском пламени, которое постепенно бледнело и вскоре оставило более отдаленные укрепления и леса внизу погуженными во мрак ночи.

— Чего вы возитесь? только время теряете попусту! — проговорил Бернардин с ругательством, подходя к всадникам. — Проворней, проворней!

— Сейчас готово! — отозвался человек, чинивший седло. Бернардин опять выбрал его за небрежность. Эмилия слабым голосом стала звать на помощь; тогда ее торопливо потащили к лошадям, а злодеи стали спорить между собой, на которую из них посадить ее, так как предназначенная для нее лошадь не была готова. В эту минуту группа огней показалась из больших ворот, и вслед затек Эмилия услышала визгливый голос Аннеты среди других приближавшихся голосов. Сразу Эмилии бросились в глаза фигуры Монтони и Кавиньи, в сопровождении толпы молодцов с разбойничьими лицами, но на них Эмилия смотрела уже не со страхом, а с надеждой: в этот момент она уже не боялась тех опасностей, какие могут ждать ее в замке, хотя еще так недавно мечтала бежать оттуда. Опасности, угрожавшие ей извне, поглощали все ее помыслы.

Между обеими партиями произошла короткая борьба, партия Монтони вскоре одолела; всадники, заметив, что численность против них, и, вероятно, не особенно горячо заинтересованные в успехе затеянного дела, ускакали, а Бернардин скрылся во мраке ночи. Эмилию отвели назад в замок. Когда она проходила по дворам, воспоминание обо всем виденном в страшной комнате над воротами охватило ее новым ужасом, и когда вскоре после этого она услышала, что запираются ворота, опять оставляя ее пленницей в этих стенах, она затрепетала от страха за себя, почти забывая о вынесенной опасности.

Монтони приказал Эмилии дожидаться в кедровой приемной, куда он скоро явился, и затем грозно стал допрашивать ее о таинственном происшествии. Хотя она теперь смотрела на него с ужасом, как на убийцу своей тетки, и почти не сознавала, что говорит, но ее ответы и способ держать себя убедили его, что она не по доброй воле принимала участие в заговоре,

и он отпустил ее, как только явились слуги, которым он приказал собраться с тем, чтобы он мог расследовать дело и узнать, кто были сообщники.

Очутившись у себя в спальне, Эмилия долго не могла успокоить своих смятенных чувств и припомнить хорошенько все подробности случившегося. Опять ей пришел на память труп, скрытый занавесом, и у нее вырвался стон, испугавший Аннету, тем более, что Эмилия воздерживалась откровенничать с нею, боясь доверить ей такую страшную тайну, чтобы в случае, если она проболтается, не навлечь на себя мщения Монтони.

Таким образом ей приходилось таить в самой себе весь ужас той тайны, удручавшей ее до такой степени, что ее рассудок почти пошатнулся под этим непосильным бременем. По временам она устремляла на Аннету дикий, бессмысленный взор, и когда та заговаривала с ней, Эмилия или не слышала, или отвечала невпопад. За этим следовали продолжительные припадки столбняка. Несколько раз Аннета пробовала говорить, но голос ее как будто не производил никакого впечатления на больную; она сидела, застывшая и безмолвная, и только по временам тяжело вздыхала, но без слез.

Испуганная ее состоянием, Аннета наконец побежала известить Монтони, который только что выпустил слуг, не узнав от них ничего. Девушка в самых отчаянных выражениях описала ему состояние Эмилии, и заставила его тотчас же пойти к ней.

При звуке его голоса Эмилия повернула глаза и в них как будто промелькнула искра сознания. Она немедленно встала с места, тихо направилась в отдаленную часть комнаты. Он заговорил с ней тоном несколько смягченным, сравнительно с его обычной суровостью, но она бросила на него не то любопытный, не то испуганный взгляд и на все, что бы он ни говорил, односложно отвечала «да». Ее ум, казалось, не задерживал в себе никаких впечатлений, кроме страха.

Аннета не могла дать никаких объяснений на вопросы Монтони. Синьор долго старался заставить Эмилию говорить, но безуспешно; тогда он ушел, приказав Аннете оставаться при Эмилии всю ночь и утром известить его о ее положении.

Когда он ушел, Эмилия вышла из угла, куда забилась, и спросила, кто это сейчас приходил ее беспокоить. Аннета отвечала, что это был синьор Монтони. Эмилия несколько раз повторила за ней это имя, потом вдруг застонала и опять впала в забытие.

С некоторым усилием Аннета повела ее к постели, которую Эмилия окинула диким, полубезумным взглядом, прежде чем улечься; потом, вздрагивая с волнением, позвала Аннету, которая в смущении бросилась к двери, чтобы позвать еще какую-нибудь служанку ночевать с ними. Но Эмилия, заметив, что она собирается уйти, кликнула ее по имени и жалобным голосом попросила не покидать ее.

— С тех пор, как батюшка скончался, — прибавила она, вздыхая, — все покидают меня.

— Ваш батюшка! — удивилась Аннета, да ведь он умер еще, когда вы не знали меня.

— Да, это правда! — проговорила Эмилия, и слезы ручьем хлынули у нее из глаз.

Она плакала долго, безмолвно; и затем, успокоившись, наконец погрузилась в сон. Аннета отбросила в эту минуту все свои страхи и одна осталась сторожить Эмилию в продолжение всей ночи.

ГЛАВА XXVII

*...о, поведай нам,
В каких мирах, в каких селениях витает
Бессмертная душа, покинувшая свою земную оболочку?..*

После сна нервы Эмилии несколько успокоились. Проснувшись на другое утро, она с удивлением взглянула на Аннету, которая спала, сидя в кресле у ее постели; но происшествия прошлой ночи совершенно изгладились из ее памяти, и она продолжала с удивлением смотреть на Аннету, как вдруг и та проснулась.

— Барышня, дорогая моя! вы меня узнаете? — воскликнула девушка.

— Узнаю ли? Конечно, что за вопрос? — отвечала Эмилия. — Ты — Аннета, но скажи, зачем ты сидишь тут около моей постели?

— Вы были очень нездоровы, барышня. В самом деле очень нездоровы! Я уж, право, думала...

— Как странно! — проговорила Эмилия, стараясь припомнить, что с ней было. — Боже мой! — воскликнула она, вздрогнув, — ведь это был только сон...

Она устремила на Аннету испуганный взор, а та, желая успокоить ее, проговорила:

— Нет, барышня, это было более чем сон, но теперь все уже прошло!

— Значит, ее убили! — глухо промолвила Эмилия и вся задрожала.

Аннета вскрикнула. Не зная того обстоятельства, на которое ссылалась Эмилия, она приписывала ее возбуждение болезненному припадку, но когда горничная объяснила, к чему относились ее собственные слова, Эмилия, вспомнив, что накануне ее пытались увести, полюбопытствовала, удалось ли узнать, кто был зачинщиком этого дела. Аннета объяснила, что положительного ничего не узнали, хотя не трудно догадаться, кто все это устроил. Затем она объявила Эмили, что ей, Аннете, она обязана своим освобождением. Эмилия, стараясь сдерживать волнение при мысли о тетке, по-видимому, спокойно выслушала Аннету, хотя в сущности не понимала почти ни слова из того, что она говорила.

— Ну так вот, барышня, — повествовала горничная, — раз Бернардин отказывался сообщить мне свою тайну, я решила разведать ее сама. Я проследила за вами на террасе, и только он отпер дверь в конце ее, как и я прокралась за ним и все время шла за вами. Ну, думаю себе, тут наверное затеяно что-нибудь неладное, иначе зачем такая таинственность? К счастью, Бернардин не запер за собой двери на засов; отворив ее, я увидала при свете факела, в какую сторону вы направляетесь. Следя за светом, я пробиралась на некотором расстоянии, пока вы не дошли до подземелий часовни. Тут уж я побоялась идти дальше, потому что слыхала диковинные рассказы про эти самые подземелья. Но идти назад тоже было жутко в потемках, да еще одной-одинешенькой. Так что, нечего делать, в ту минуту, когда Бернардин подправлял факел, я решилась идти за вами. Шла я, шла до того, как, вы достигли большого двора, — там уж я побоялась, чтобы кто-нибудь не увидел меня. Вот я и остановилась опять у дверей, видела, как вы прошли по двору к воротам, а как стали вы подыматься по лестнице, я и спряталась в подворотне... Я слышала лошадиный топот за воротами и людский голоса; какие-то люди ругали Бернардина, зачем он долго не ведет вас. Как раз в эту минуту Бернардин чуть было не накрыл меня, потому что опять спускался с лестницы, и я едва успела шмыгнуть в сторону. Но теперь я уже узнала его секрет и решила отплатить ему; да и вас выручить, барышня. Я сразу догадалась, что все это — штуки графа Морано, хотя он и уехал из деревни. Опрометью побежала я в замок, но, доложу вам, не мало стоило мне туда найти дорогу через коридор, что идет в часовню. Странное дело, в ту пору я совсем позабыла о привидениях, хотя в другой раз ни за какие блага в мире меня туда не заманят! К счастью, наш синьор и синьор Кавиньи еще не ложились спать, так что скоро за нами следовала целая толпа, достаточно многочисленная, чтобы спугнуть Бернардина и его душегубов.

Аннета замолчала, но Эмилия все еще, казалось, слушала. Вдруг она проговорила:

— Я хочу пойти к нему сама. Где он? — Аннета спросила, о ком она говорит.

— О синьоре Монтони, — отвечала Эмилия, — я желала бы повидаться с ним.

Аннета, вспомнив приказание, отданное им накануне относительно ее молодой госпожи, встала и объявила, что сейчас пойдет искать его.

Подозрения девушки, касающиеся графа Морано, оказались совершенно верными; та же мысль пришла в голову и Эмили. Монтони, тоже не сомневавшийся в том, что похищение затеяно было графом, начинал подозревать, что и попытка отравить его вином была произведена по наущению Морано.

Раненый граф, распинаясь когда-то перед Эмилией и уверяя его в своем раскаянии, в ту минуту говорил искренно; но он ошибался насчет предмета своих сожалений; он воображал, что сокрушается о жестокости своих поступков, а в сущности он печалился только о

невыгодных последствиях этих поступков. Когда страдания стали ослабевать, его прежние убеждения ожили и, наконец, когда совершенно восстановилось его здоровье, он опять почувствовал себя готовым к предприятиям и борьбе с препятствиями. Привратник замка, стуживший ему не раз и раньше, охотно согласился принять вторичный подкуп и условился с ним относительно средств заманить Эмилию к воротам. Морано на виду у всех покинул деревушку, куда его отнесли раненым после поединка, и вместе со своими людьми отъехал на расстояние нескольких миль. Оттуда в ночь, условленную между ним и Бернардином, — который узнал из легкомысленной болтовни Аннеты, каким путем можно завлечь Эмилию, граф послал своих людей назад в замок, а сам ждал возлюбленную в деревушке, с намерением немедленно увезти ее в Венецию. Как не удался этот второй замысел, уже известно читателю; но о бурных страстях, волновавших пылкого влюбленного итальянца, и о его гневе, когда он вернулся в Венецию, можно только догадываться.

Аннета доложила Монтони о состоянии здоровья Эмилии и о ее просьбе повидаться с ним; он отвечал ей, что Эмилия может прийти через час в кедровую приемную. Эмилия желала поговорить с ним о предмете, лежавшем камнем на ее сердце; однако она не сознавала ясно, какой цели она может достигнуть этим разговором, и порою трепетала от ужаса при мысли о свидании с Монтони. Кроме того, она намеревалась просить него разрешения вернуться на родину, раз ее тетки уже нет живых; в успех этой просьбы она, впрочем, мало верила.

По мере того, как приближался момент свидания, волнение ее все росло; на сегодня ей хотелось извиниться под предлогом нездоровья, что было бы вполне правдоподобно. Размышляя о том, что она может сказать ему о себе и о судьбе тетки, Эмилия чувствовала, как безнадежны ее просьбы, и боялась, чтобы они еще пуще не раздражили мстительного Монтони. А между тем притворяться, что ей неизвестно о смерти тетки, значило бы сделаться как бы сообщницей преступления. В сущности это событие было единственное, на чем она могла основать свою просьбу о разрешении уехать из Удольфо.

В то время, как ее мысли находились в таком состоянии колебания, ей пришли сказать, что Монтони может принять ее не раньше завтрашнего дня. Она ободрилась, и с души ее скатилось почти невыносимое бремя страха.

Аннета сказала ей, что, кажется, господа опять собираются на войну: двор полон коней, и она слышала, будто отряд, отравившийся раньше, скоро ожидается в замок.

— Один из солдат говорил другому, — прибавила девушка, — что, наверное, те привезут с собою богатую добычу. Вот я и подумала: видно, синьор может с чистой совестью посылать своих людей грабить, — и, конечно, не мое дело об этом печалиться. Одного хотелось бы мне — поскорее выбраться подобру-поздорову из этого замка, и если бы не бедный Людовико, я уж непременно отдалась бы в руки слугам графа Морано, пускай бы похитили нас обеих — и вам бы от этого лучше стало, барышня!

Аннета могла бы проболтать таким образом целые часы, — Эмилия не прерывала ее. Она почти не слушала и молчала, погруженная в задумчивость. Весь этот день она провела в каком-то торжественном спокойствии, как иногда случается с человеком, истомленным страданием.

Когда наступила ночь, Эмилия вспомнила о таинственных звуках музыки, которые она слышала на днях; эта музыка очень интересовала ее, и она надеялась услышать еще раз прелестную, успокаивающую мелодию. Влияние суеверия стало одерживать верх над ее ослабевшим, измученным рассудком. С каким-то энтузиазмом призывала она мысленно охраняющий дух покойного отца и, отпустив Аннету на ночь, решила одна дожидаться повторения сладостной мелодии. Но было еще далеко до того часа, когда она слышала ее накануне. Желая отвлечь свои мысли от волнующих предметов, она взяла одну из немногих книг, привезенных из Франции, но неугомонные мысли не давали ей сосредоточиться. Она часто подходила к окну, прислушиваясь к малейшему звуку. Раз ей почудилось, будто она слышит голос; но так как вслед затем все опять замолкло, то она заключила, что это был обман воображения.

Так протянулось время до полуночи; вскоре замерли все отдаленные звуки, смутно раздававшиеся в замке, и все погрузилось в сон. Тогда Эмилия села у окна; через некоторое время она была выведена из задумчивости какими-то странными звуками, но не музыки, а точно тихими стонами страдающего человека. Эмилия напряженно прислушивалась, и сердце ее сжималось от ужаса; она догадывалась, что звуки, слышанные ею перед тем, тоже не были плодом ее фантазии. От времени до времени раздавались слабые стенания, но она не могла дать себе отчета, откуда они исходят. Внизу, под ее помещением, было несколько покоев, выходящих на укрепления, но они были давно заперты. Однако звук, очевидно, неся из одного из этих покоев. Эмилия облокотилась о подоконник и стала наблюдать, не увидит ли она там света. Насколько она могла наблюдать, в тех покоях стояла тьма, но на небольшом расстоянии, на террасе, ей показалось, как будто что-то движется...

При слабом сиянии звезд нельзя было различить, что это такое; у нее мелькнула догадка, что это, вероятно, часовой на карауле; она отнесла лампу в дальний конец своей комнаты, нарочно, чтобы ее нельзя было видеть с террасы, пока она займется наблюдениями. Вот опять показался тот же предмет. Он двинулся через террасу в направлении ее окна, и тогда она и имела возможность рассмотреть, что это человеческая фигура; она двигалась беззвучно, из чего Эмилия заключила, что это не часовой. Фигура придвинулась еще ближе, и Эмилия решила, что ей лучше отойти от окна. Страстное любопытство побуждало ее остаться на своем посту, тогда как страх неизвестно перед чем предостерегал ее отойти.

Пока она колебалась, фигура поравнялась с ее окном и остановилась. Кругом все было тихо, не слышно было даже шума шагов. Торжественность этой тишины и таинственная фигура перед ее глазами так устрешили ее, что она решилась отойти от окна, как вдруг заметила, что таинственная фигура отскочила, проскальзнула вдоль террасы и вслед затем скрылась во мраке ночи. Эмилия несколько мгновений смотрела ей вслед и затем удалилась внутрь комнаты, раздумывая об этом странном случае: в ту минуту она почти не сомневалась, что ей явилось какое-то сверхъестественное видение.

Когда ее чувства несколько успокоились, она стала озираться, точно ища какого-нибудь другого объяснения этой загадки. Вспомнив, что она слышала о смелых предприятиях Монтони, ей представилось, что она сейчас видела какого-нибудь несчастного, ограбленного бандитами и приведенного сюда пленником, а что слышанная ею раньше музыка исполнялась им. Однако, если даже его ограбили, то казалось невероятным, чтобы его привезли в замок: обыкновенно бандиты почти всегда убивают своих ограбленных жертв, а не берут их в плен. А если бы он был пленником, то он не мог бы бродить по террасе без стражи. Это соображение тотчас же заставило Эмилию отказаться от своего первого объяснения.

Вслед затем ей пришло в голову, что это граф Морано, пробравшийся в замок; но она тотчас же вспомнила, какие трудности и опасности встретились бы ему на пути осуществления такого замысла. Если б даже ему удалось его предприятие, он поступил бы иначе, а не стал бы бродить один под ее окном в полночный час, — в особенности потому, что ему был известен потайной ход, ведущий прямо к ней в комнату; кроме того, он не издавал бы тех унылых звуков, которые доносились до ее слуха.

Приходила ей на ум и такая догадка, что это мог быть кто-нибудь, покушавшийся на безопасность замка, но печальные стенания таинственной фигуры опять-таки разрушали это предположение. Таким образом, случай этот оставался для нее загадкой. Кто мог бродить в глухой полночный час, издавая жалобные стоны или изливая скорбь свою в сладостных звуках музыки (она все еще склонна была думать, что прежде слышанная музыка и появление таинственной фигуры находятся в связи между собою) — до этого она не имела возможности доискаться. Фантастические грезы опять овладели ею и вызвали суеверный страх. Однако она немеревалась в следующую ночь опять заняться наблюдениями, надеясь, что ее сомнения разъяснятся. Она почти решилась заговорить с незнакомцем, если он опять появится.

ГЛАВА XXVIII

*...Унылые, таинственные тени!
Порой их видишь в склепах, в подземельях,
Они иль бродят, иль сидят над свежевырытой могилой...*

Мильтон

На другой день Монтони вторично послал извиниться перед Эмилией, что чрезвычайно удивило ее. «Как странно!» — думала она про себя. «Совесть подсказывает ему цель моего посещения, и он нарочно откладывает его, чтобы избежать объяснения». Она почти решилась подстеречь его где-нибудь, но ее удержал страх. И этот день Эмилия провела так же, как и предыдущий, с тою только разницей, что теперь некоторое тревожное ожидание относительно предстоящей ночи нарушало жуткое спокойствие, овладевшее ее чувствами.

К вечеру вернулась в замок вторая часть отряда, предпринимавшего экскурсию в горы. Когда всадники въехали во двор, Эмилия из своей отдаленной комнаты слышала их грубые возгласы, пьяные песни и ликование, похожее на шабаш фурий по слуху какого-нибудь отвратительного жертвоприношения. Она боялась, чтобы они не совершили какого-нибудь варварского преступления, но Аннета скоро успокоила ее, сказав, что молодцы шумно радуются добыче, привезенной ими с собою. Это обстоятельство окончательно убедило ее, что Монтони на самом деле сделался атаманом бандитов и что он, рассчитывает поправить свои расстроенные дела, занявшись ограблением проезжих! Действительно, когда она обсудила со всех сторон его положение — в вооруженном и почти неприступном замке, одиноко лежащем в пустынной горной области, на далекой окраине которой были разбросаны города и местечки, куда постоянно держали путь богатые путешественники, — то пришла к заключению, что трудно было бы найти положение, лучше приспособленное для хищнических нападений, и у нее укоренилась страшная мысль, что Монтони сделался разбойничьим атаманом. Вдобавок и характер его — неустрашимый, жестокий, безнравственный, предприимчивый — как будто делал его способным для такой роли. Ему нравились тревожения и жизненная борьба; он одинаково был чужд и жалости и страха. Самая храбрость его имела зверский оттенок; это был не тот благородный порыв, который воодушевляет человека против притеснителя в защиту притесняемого, а врожденная зачерствелость нервов, которая неспособна чувствовать и, следовательно, неспособна и к страху.

Но предположения Эмилии, вполне естественные, были, однако, не совсем верны. Как приезжая, она была незнакома с положением края и с обстоятельствами, при которых в Италии пелись частые войны. Так как доходы многих итальянских государств были в то время недостаточны для содержания постоянных войск, то даже в короткие промежутки мира, допускаемые беспокойным нравом правительств и народов, возникал особый класс людей, нам незнакомый и очень смутно очерченный в истории той эпохи. Из солдат, распускаемых после каждой войны, лишь немногие возвращались к безопасным, но невыгодным занятиям мирного времени. Иногда они перекочевывали в другие страны и входили в состав воюющих армий. Иногда же они организовывали из себя разбойничьи шайки и занимали отдаленные крепости, где их отчаянная бесшабашность, слабость правительств, которым они приносили вред, и уверенность, что они могут быть призваны назад в состав армии, когда потребуется, — все это препятствовало слишком усердному преследованию их со стороны властей. Иной раз они примыкали к какому-нибудь популярному вождю, и тот вел их на службу любого государства, какое только соглашалось заплатить им за их услуги. Из этого обычая возникло название кондотьеров — слово, наводившее ужас на всю Италию в продолжение долгого периода, закончившегося в первых годах XVII века, — начало его не так-то легко проследить.

Распри между мелкими государствами имели большей частью характер личных предприятий, и вероятность успеха зависела главным образом не от искусства, а от личной

храбрости вождя и солдат. Искусство, требуемое для всяких продолжительных операций, ценилось в то время невысоко. Достаточно было уметь провести войско против неприятеля с соблюдением строгой тайны или увести его назад в полном порядке. От полководца иногда требовалось, чтобы он устремлялся в такую опасность, куда его солдаты — если б не его пример — ни за что бы сами не отважились, а так как противникам никогда не было известно о взаимных силах, то успех дня часто зависел от смелости первых движений. Для подобных услуг кондотьеры были незаменимы; часто за победой следовал грабеж, — вот почему у них выработался характер, представлявший смесь отваги с разнузданностью, устрашавшей даже тех, кому они служили.

В то время, когда они не вели войн, их вождь обыкновенно проживал в своем собственном замке, а солдаты отдыхали и томились в бездействии или в том же замке, или в его окрестностях; в известное время потребности их удовлетворялись за счет населения, зато в другое время дележ богатой добычи избавлял солдат от зависимости; на крестьянах подобных округов обыкновенно отражался характер их воинственных гостей. Соседние государства иногда желали, но редко пытались уничтожить эти военные поселки, во-первых, потому, что это было бы трудно осуществить, а во-вторых потому, что замаскированное покровительство, оказываемое ими наемным войскам, обеспечивало им на случай войны контингент людей, который иначе было бы не дешево содержать, или который обладал бы такими качествами. Полководцы иногда настолько доверялись такой политике государств, что даже посещали их столицы. Монтони встречался с ними в игорных кружках Венеции и Падуи; сперва он сошелся с ними как знакомый, но потом его расстроенные обстоятельства соблазнили его последовать их примеру на практике. Для этого-то и происходили полные совещания в его венецианском палаццо: на них обсуждались планы его деятельности на будущее время, с участием Орсино и других кондотьеров. Наступила ночь, и Эмилия опять заняла свое обычное место у окна. Было полнолуние; когда луна поднялась над кудрявыми вершинами леса, ее желтый свет озарил пустынную террасу и окружающие предметы более отчетливо, чем при слабом свете звезд, обещая помочь Эмили в ее наблюдениях, в случае, если бы опять появилась таинственная фигура. Снова Эмилией овладело колебание: она не знала, заговорить ли ей с незнакомцем, — к этому ее тянуло сильное, почти непреодолимое влечение; но по временам страх удерживал ее от такого намерения.

«Если это — лицо, замышляющее что-нибудь дурное против замка, — думала она, — то мое любопытство может обойтись мне очень дорого; а между тем не от него ли исходили и таинственная музыка и жалобные стоны? Если так, то он не может быть врагом».

Тут опять ей вспомнилась судьба несчастной тетки, и она вздрогнула от ужаса и горя; внушения ее воображения овладели ее умом со всей силой действительности, и она стала верить, что виденная ею фигура была призраком. Она вся дрожала, дыхание ее стало затрудненным, холодный пот выступил у нее на лбу, и на мгновение страх осилил рассудок. Тогда мужество покинуло ее, и она решилась, если появится фигура, ни за что не заговаривать с нею.

Так тянулось время, пока она сидела у окна, охваченная страхом ожидания и жуткой полночной тишиной; смутно виднелись при лунном свете лишь очертания гор, лесов, а также группа башен, образующих западный угол замка, и терраса внизу; не слышно было ни звука; лишь от времени до времени перекликались часовые; затем раздались шаги солдат, сменявшихся на карауле. Эмилия узнала их издали на укреплениях по их копьям, сверкавшим при лунном свете, да по кратким возгласам, которыми они обменивались с товарищами. Эмилия удалилась в глубь спальни в то время, как часовые проходили мимо ее окна. Когда она вернулась к окну, кругом все затихло. Пора была поздняя; Эмилия утомилась бодрствованием и стала сомневаться, действительно ли она видела это странное явление прошлой ночью. Но она все-таки продолжала сидеть у окна; чувства ее были слишком взволнованы, сон казался невозможным. Луна сияла ярким блеском, и вся терраса была как на ладони. Но Эмилия видела только одинокого часового, шагающего по ней взад и вперед. Наконец, утомленная ожиданием, она удалилась на покой.

Но впечатление, произведенное на нее музыкой и жалобными стонами, слышанными раньше, а также таинственной фигурой, было слишком сильно: она решила завтра же повторить свои наблюдения.

На другой день Монтони как будто забыл о назначенном свидании с Эмилией; но она более чем когда-либо желала повидаться с ним и послала Аннету справиться, в котором часу он может принять ее. Монтони назначил одиннадцать часов. Эмилия явилась аккуратно в условленный час; она призвала на помощь всю свою твердость, чтобы вынести потрясение встречи с ним и страшные воспоминания, которые он вызывал в ее сердце. Монтони находился в «кедровой» приемной с несколькими офицерами; увидев его, Эмилия остановилась; ее волнение все росло, пока он продолжал разговаривать со своими гостями, как будто не замечая ее прихода. Но вот некоторые из офицеров, обернувшись, увидели Эмилию и у них вырвалось восклицание удивления. Она хотела поспешно удалиться, но Монтони окликнул ее, и она произнесла дрожащим голосом:

— Я желала переговорить с вами, синьор Монтони, если вы можете уделить мне несколько минут.

— Это мои друзья, — ответил Монтони, — они могут слышать все, что вы имеете сказать.

Эмилия, не отвечая, отвернулась от наглых, пристальных взглядов этих офицеров. Тогда Монтони последовал за нею в сени, а оттуда провел ее в маленькую комнату и сердито хлопнул дверью. Взглянув на его потемневшее лицо, она опять подумала, что видит перед собой убийцу тетки; ум ее был так потрясен ужасом, что она не могла сразу собраться с мыслями, чтобы объяснить цель своего прихода, а упомянуть имя г-жи Монтони — на это она ни за что не могла решиться.

Наконец Монтони нетерпеливо осведомился, что она имеет сказать.

— У меня нет времени заниматься пустяками, — прибавил он. — Мне каждая минута дорога.

Эмилия объяснила ему, что она желает вернуться во Францию и нарочно пришла просить его об этом. Он с удивлением взглянул на нее и осведомился, почему она этого просит; она запнулась, еще больше побледнела и чуть не упала к его ногам. Он смотрел на ее волнение с видимым равнодушием и прервал молчание, сказав, что ему пора уходить, Эмилия, однако, собрала с духом и повторила свою просьбу. Монтони отказал наотрез — и тогда только очнулся ее оцепеневший рассудок.

— Мне неприлично долее оставаться здесь, — молвила она. — Позвольте спросить, по какому праву вы задерживаете меня в вашем замке?

— Я хочу, чтобы вы здесь оставались, — отвечал Монтони, взявшись за ручку двери, — для вас этого достаточно.

Эмилия, зная, что с его волей бороться ей невозможно, не пробовала оспаривать его права; однако она сделала слабую попытку убедить его быть справедливым.

— Пока жива была тетя, — начала она дрожащим голосом, — мне можно было здесь жить; но теперь, когда ее не стало, я прошу у вас позволения уехать. Мое пребывание здесь не может принести вам никакой пользы, синьор, а мне будет только тягостно и неприятно.

— Кто сказал вам, что г-жа Монтони умерла?

Монтони устремил на нее пытливый взор. Эмилия колебалась отвечать, потому что никто ей этого не говорил, а она не решалась признаться, что видела те ужасы в комнате над воротами, которые именно и внушили ей уверенность в смерти тетки.

— Кто сказал вам? — повторил он еще более суровым тоном.

— Увы! это мне и так известно. Избавьте меня от ужасного допроса.

Она села на скамью, так как еле держалась на ногах от слабости.

— Если вы желаете ее видеть, — проговорил Монтони, — то можете. Она лежит в восточной башне.

Он вышел из комнаты, не дожидаясь ее ответа, и вернулся в «кедровую» приемную, где некоторые из офицеров, которые ранее не видали Эмилии, стали трунить над ним по поводу

сделанного ими открытия. Но Монтони был, видимо, не расположен к шуткам, и они переменили разговор.

Между прочим Монтони обсуждал с лукавым Орсино план предполагаемой экскурсии их отряда; тот посоветовал залечь войскам в засаде, ожидая неприятеля; этому горячо воспротивился Верецци, упрекая Орсино в недостатке мужества, и клялся, что если Монтони даст ему отряд в пятьдесят человек, то он разобьет кого угодно в пух и прах.

Орсино презрительно усмехнулся; на лице Монтони также мелькнула улыбка, но он продолжал слушать. Тогда Верецци начал разглагольствовать с резкими жестами, но вскоре его остановил Орсино каким-то аргументом, на который тот сумел ответить только бранью. Его пылкая натура не выносила хитрой осторожности Орсино — он постоянно препирался с ним и давно уже возбудил против себя глубокую, хотя и молчаливую ненависть противника. Монтони спокойно наблюдал обоих, зная их противоположные характеры и умея искусно приспособить того и другого к достижению своих собственных целей. Но Верецци в жару спора не постеснялся обвинить Орсино в трусости; при этом лицо того вдруг покрылось синеватой бледностью. Монтони, наблюдавший его бегающие глаза, увидал, как он поспешно сунул руку за пазуху. Но Верецци, лицо которого пылало багровым румянцем, представляя контраст с бледностью Орсино, не заметил этого движения и продолжал смело громить трусов, обращаясь к Кавиньи, который хитро усмехался над его горячностью и над немою злобой Орсино — как вдруг последний, отступив на несколько шагов, выхватил стилет, чтобы вонзить его противнику в спину. Монтони остановил его занесенную руку и многозначительным взглядом заставил его спрятать кинжал, никем не замеченный, кроме него самого, потому что большинство офицеров стояли у окна в стороне и спорили насчет ложины, где намеревались устроить засаду.

Когда Верецци обернулся, его поразила смертельная ненависть, написанная на лице его врага, и впервые внушила ему подозрение насчет его намерений; он схватился за рукоятку меча, но вслед затем, как бы опомнившись, обратился к Монтони.

— Синьор, — проговорил он, бросив многозначительный взгляд на Орсино, — мы не шайка разбойников: если вы нуждаетесь в храбрецах, то поручите мне эту экспедицию, я готов пролить кровь до последней капли: если же у вас есть работа для трусов — удержите его, а мне позвольте покинуть Удольфский замок.

Орсино, еще более раздраженный этой колкостью, опять вытащил стилет и бросился на Верецци; тот выступил ему навстречу с мечом, но Монтони и остальные вмешались и разняли их.

— Так ведут себя мальчишки, — обратился Монтони к Верецци, — а не мужчины: будьте умереннее в речах своих!

— Умеренность — добродетель трусов, — возразил Верецци; — они умеренны во всем, исключая страха.

— Хорошо, я принимаю ваш вызов, — сказал Монтони, устремив на него злобный, надменный взор и вынув меч из ножен.

— Согласен, от всей души, — крикнул Верецци, — хотя слова мои предназначались вовсе не для вас.

Он направил удар в Монтони: пока они дрались, подлец Орсино сделал вторичную попытку пронзить Верецци кинжалом, но опять был остановлен.

Наконец сражающихся разняли; после долгого, горячего спора они наконец примирились. Затем Монтони удалился вместе с Орсино и тайно совещался с ним довольно продолжительное время. Между тем Эмилия, ошеломленная последними словами Монтони, позабыла на время о его решении, что она должна оставаться в замке: все помыслы ее были поглощены злосчастной теткой, лежавшей, как он ей сказал, в восточной башне. По ее мнению, Монтони, допуская, чтобы останки его жены так долго оставались не погребенными, проявлял такую жестокость, такое бесчеловечие, на какое она даже не считала его способным.

После долгой внутренней борьбы она решилась воспользоваться его позволением

посетить башню и в последний раз взглянуть на свою несчастную тетку; с этим намерением она вернулась к себе и, пока ждала Аннету, которая должна была сопровождать ее, она старалась собраться с силами, чтобы вынести предстоящую тяжелую сцену. Одна мысль об этом бросала ее в дрожь, но она знала, что впоследствии будет мучиться, если не исполнит этого последнего долга по отношению к тетке.

Пришла Аннета, Эмилия сообщила ей о своем намерении. Камеристка всячески старалась ее отговорить, но безуспешно и наконец не без труда согласилась сопровождать барышню до башни; но никакие убеждения не могли исторгнуть у нее обещания войти в комнату, где лежала покойная.

Они вышли из коридора и достигли той самой лестницы, по которой недавно поднималась Эмилия; тут Аннета опять повторила, что ни за что не пойдет дальше, и Эмилия отправилась одна. Увидав опять следы крови, она почувствовала, что ей делается дурно; она принуждена была остановиться отдохнуть на ступеньках и почти решила не идти дальше. Но отдых в несколько мгновений подкрепил ее, и она двинулась вперед.

Подходя к площадке, на которую выходила верхняя комната, она вспомнила, что тогда дверь была заперта, и боялась, что и теперь окажется то же самое. Но она ошиблась: дверь открылась сразу, и она вступила в мрачную, пустоватую комнату; боязливо озираясь, она медленно шла вперед, как вдруг раздался чей-то глухой голос. Эмилия — не в силах произнести ни слова, не в силах двинуться с места, вскрикнула от ужаса. Опять послышался тот же голос; Эмилии показалось, что он похож на голос г-жи Монтони. Тогда, собравшись с духом, она бросилась к постели, стоявшей в отдаленной части комнаты, и отдернула полог. Перед нею лежало на подушке бледное, изможденное лицо. В первую минуту она отшатнулась, потом опять приблизилась и, вся дрожа, подняла иссохшую, как у скелета, руку, лежавшую поверх одеяла; но сейчас же выпустила ее и окинула это измученное лицо долгим, испуганным взглядом. Несомненно, это была г-жа Монтони, но так сильно изменившаяся от болезни, что ее трудно было узнать. Она была еще жива и, подняв отяжелевшие веки, устремила глаза свои на племянницу.

— Где ты была все это время? — спросила она тем же глухим голосом, — я уж думала, что ты покинула меня!

— Так вы живы! — проговорила наконец Эмилия, — или это страшный призрак?

Она не получила ответа и опять схватила несчастную за руку.

— Это живое существо, а не дух!.. — воскликнула она, — но как холодна рука, точно мрамор!..

Эмилия выронила руку.

— Если вы в самом деле живы, так говорите! — прибавила она с отчаянием, — иначе я потеряю рассудок. Скажите, что вы узнали меня!

— Я жива, — отвечала г-жа Монтони, — но чувствую, что скоро настанет мой конец!

Эмилия сжала руку, которую держала в своих, и застонала. Несколько минут обе женщины молчали. Потом Эмилия постаралась успокоить больную и спросила, что довело ее до такого ужасного состояния.

Монтони, переселив ее в эту башню по нелепому подозрению в покушении на его жизнь, приказал людям, переносившим туда его жену, хранить об этом строгую тайну. К этому побуждали его два мотива. Во-первых, он хотел лишить ее единственного утешения — присутствия Эмилии, а во-вторых, желал обеспечить себе возможность тайно покончить с нею, если явятся новые улики, подтверждающие его подозрения: сознавая, какую ненависть он возбуждал в ней, не мудрено, что он верил, будто она сделала попытку покуситься на его жизнь; и хотя подозрения его ничем не подтвердились, он не хотел от них отказаться и продолжал держать свою несчастную жену в заточении, в башне, под строгой стражей. Без малейшей жалости или раскаяния он бросил ее, больную горячкой, пока она наконец не дошла до своего теперешнего состояния.

Кровь, которую Эмилия видела на ступенях лестницы, вытекла из неперевязанной раны одного из людей, несших г-жу Монтони; рану эту он получил только что перед тем в

кровавопролитной схватке. Ночью стража, заперев дверь комнаты, где содержалась заключенная, сама ушла. Вот почему Эмилия, предприняв свое первое расследование, застала такую тишину и такое безлюдье в башне, в тот раз, когда она пыталась отворить дверь в комнату, тетка ее спала: этим объясняется безмолвие в комнате узницы, еще более укрепившее у Эмилии уверенность, что ее тетки уже нет в живых; однако, если б ужас не помешал ей тогда продолжать звать ее, она, вероятно, разбудила бы г-жу Монтони и избавила бы себя от многих страданий Труп, виденный Эмилией в комнате над воротами и подтвердивший у нее страшное подозрение, принадлежал одному из людей Монтони, убитому в стычке — его же и внесли тогда в людскую, куда забилась Эмилия, спасаясь от суматохи. Человек этот протянул еще несколько после того, как был ранен, и вскоре после его смерти тело его перенесли вместе с койкой, на которой он умер, для погребения в подземелье, через которое проходили Эмилия и Бернардин.

Эмилия, осыпав г-жу Монтони вопросами, касающимися ее самой, наконец оставила ее и отправилась разыскивать Монтони. Чем больше горячего участия она принимала в своей тетке, тем меньше она боялась возбудить гнев Монтони своим заступничеством.

— Г-жа Монтони при смерти, — сказала Эмилия, отыскав синьора; — неужели вы будете преследовать ее своей злобой до последнего издыхания? Позвольте перенести ее из этой тюрьмы в ее прежние покои и доставить ей все необходимые удобства.

— Какая в том польза, если она умирает? — возразил Монтони равнодушным тоном.

— Та польза, что это спасет вас хоть отчасти от тех угрызений совести, какие вы будете чувствовать, когда также очутитесь на смертном одре! — молвила Эмилия, неосторожно дав волю своему негодованию.

Монтони заметил это и указал ей на дверь. Тогда, забыв свой гнев и движимая единственно состраданием к тетке, умирающей без помощи, она стала униженно молить Монтони и пустила в ход все убедительные средства, чтобы заставить его пожалеть умирающую жену.

Долго он оставался нечувствительным ко всему, что она говорила, но наконец святое чувство милосердия, светившееся в глазах Эмилии, казалось, тронуло его ожесточенное сердце; он отвернулся, словно стыдясь своих лучших чувств, полусердясь, полусмягчаясь, наконец согласился, чтобы его жена была переведена в ее прежние апартаменты и чтобы Эмилия ухаживала за нею. Опасаясь, чтобы эта милость не подоспела слишком поздно и чтобы Монтони не вздумал отменить свое позволение, Эмилия поспешно убежала, почти не успев поблагодарить его; затем, при помощи Аннеты, она проворно приготовила постель для г-жи Монтони; больную заставили выпить подкрепляющее лекарство, которое дало бы возможность ее слабому изнуренному телу вынести утомление при перемене места.

Только что успели водворить г-жу Монтони в прежнее помещение, как получено было распоряжение от ее супруга, чтобы она оставалась в башне; но Эмилия, радуясь своей торопливости, поспешила уведомить его о состоявшемся перемещении, прибавив, что вторичное перенесение больной немедленно поведет к роковому исходу; так что волей-неволей Монтони принужден был оставить жену там, где она есть.

Весь день Эмилия не отходила от г-жи Монтони, и отлучалась лишь на короткое время для приготовления питательной пищи, которую считала нужной для поддержания ее сил. Г-жа Монтони со спокойной покорностью соглашалась принимать пищу, хотя она, видимо, знала, что все это не спасет ее от приближающейся кончины, да она как будто и не желала жить. Между тем Эмилия ухаживала за ней с нежнейшей заботливостью; в несчастном существе, лежавшем перед нею, она видела не прежнюю свою властолюбивую, надменную тетку, а сестру своего возлюбленного покойного отца, несчастную женщину, в состоянии, требующем сострадания и ухода.

Когда наступила ночь, она решила провести ее у постели тетки; но та этого ни за что не хотела допустить; она приказала ей идти отдыхать, с тем чтобы Аннета одна посидела возле нее. Действительно, Эмилия нуждалась в отдыхе, и дух ее и тело были одинаково изнурены всем пережитым в течение дня; но она не соглашалась оставить г-жу Монтони до

полуночи, — периода особенно критического, по мнению докторов.

Вскоре после двенадцати часов Эмилия, наказав Аннете хорошенько смотреть за больной и позвать ее, если ей станет хуже, печально пожелала г-же Монтони покойной ночи и удалилась в свою комнату. Душа ее была еще более прежнего подавлена жалким положением тетки, на выздоровление которой она почти не смела надеяться. Своим собственным несчастьям она не видела конца: заключенная в уединенном замке, вдали от друзей, — если у нее были друзья на свете, — разобщенная даже с чужими людьми, которые могли бы пожалеть ее, она находилась во власти человека, способного на всякое злодеяние, в угоду своим интересам и своему честолюбию...

Поглощенная печальными размышлениями и такими же печальными предчувствиями, она не сразу легла спать, а задумчиво остановилась у окна. Вид, расстилавшийся перед нею, эти леса и горы, отдыхающие при лунном сиянии, представляли полный контраст с настроением ее духа; но тихий шум лесов и вид дремлющей природы постепенно успокоили ее волнение и вызвали смягчающие слезы.

Долго она плакала, не чувствуя ничего, кроме сознания своего несчастья. Когда она наконец отняла платок от глаз, она увидела перед собой на террасе внизу ту же самую фигуру, которую замечала раньше; фигура стояла молча, неподвижно, как раз против ее окна. Заметив это, она отпрянула назад, и ужас на время превозмог любопытство; наконец она вернулась к окну — фигура стояла все на том же месте; однако Эмилия не имела сил заговорить, как намеревалась прежде. Луна светила ярким блеском, и быть может, волнение чувств мешало Эмилии в точности рассмотреть фигуру, стоявшую перед нею так неподвижно, что ей приходило в голову сомнение, живое ли это существо?

Ее расстроенные мысли пришли теперь в некоторый порядок; она сообразила, что при свете горевшей в ее комнате лампы она подвергается опасности наблюдения с террасы, и уже хотела отступить, как вдруг заметила, что фигура зашевелилась и замахала чем-то — очевидно, рукой, как бы подавая какие-то знаки; Эмилия глядела, оцепенев от страха; в это время фигура повторила свое движение. Тогда Эмилия попробовала заговорить, но слова замерли на ее устах, и она отошла от окна, захватив с собой свечу. В эту минуту с террасы раздался слабый стон. Прислушиваясь, но не смея вернуться к окну, она вторично услышала то же звук.

«Боже милостивый! что это значит?» — подумала Эмилия. Опять она насторожилась, но стоны прекратились; после долгой паузы молчания, она оправилась от испуга настолько, что могла опять подойти к окну, и увидела тот же смутный образ. Опять он подавал знаки, опять издал тихий стон...

«Этот стон несомненно человеческий! — подумала она. — Я заговорю...»

— Кто там? — крикнула Эмилия слабым голосом. — Кто это бродит в такой поздний час?

Фигура подняла голову, но вдруг шарахнулась в сторону и понеслась прочь, вдоль террасы. Некоторое время Эмилия наблюдала ее, быстро скользящую при лунном свете, но не слыхала шагов, пока мимо не прошел часовой, направляясь с противоположного конца террасы. Часовой остановился под ее окном и, глядя вверх, окликнул ее по имени. Эмилия поспешно отошла; но вторичное обращение заставило ее ответить. Тогда солдат почтительно спросил ее, не видала ли она, не проходил ли кто мимо. На ее ответ, что она видала, солдат ничего больше не сказал и пошел дальше по террасе. Эмилия проследила за ним глазами, пока он скрылся в отдалении. Так как он был на карауле, то она знала, что он не может выйти из пределов укреплений, поэтому решила ждать его возвращения.

Вскоре после этого в отдалении раздался его голос, громко зовущий кого-то; другой, еще более далекий голос, ответил ему — произнесен был пароль и пронесся далее по всей террасе. Когда солдаты торопливо проходили под ее окном, она окликнула их и спросила, что случилось, но они прошли мимо, не обратив на нее внимания.

Мысли Эмилии обратились опять к только что виденной странной фигуре. «Не может быть, чтобы это был какой-нибудь злоумышленник, — думала она: такой человек повел бы

себя совсем иначе. Он не отважился бы появляться там, где стоят часовые, не останавливался бы под окном, откуда его могли заметить, а тем менее стал бы он подавать знаки и стонать. Однако это и не пленник: будь он пленником, разве он имел бы и возможность бродить на воле?»

Если б она хоть сколько-нибудь была склонна к тщеславию, она предположила бы, что это кто-нибудь из обитателей замка бродил под ее окном в надежде увидеть ее и признаться ей в любви. Но такая мысль даже не пришла ей в голову, а если б и пришла, она отогнала бы ее, как невероятную, рассудив, что, когда был случай говорить, незнакомец им не воспользовался, и что даже в ту минуту, когда она сама заговорила, он мгновенно скрылся.

Пока она размышляла, двое часовых прошли по укреплениям, горячо о чем-то разговаривая между собой, причем из нескольких отрывочных слов она поняла, что один из товарищей вдруг упал без чувств. Вскоре появились еще трое часовых, медленно идущих в конце террасы, и по временам раздавался слабый голос. Когда они подошли ближе, она убедилась, что это говорил солдат, который шел посередине, причем товарищи поддерживали его под руки. Она спросила, что случилось. При звуке ее голоса они остановились и стали глядеть вверх, а она повторила свой вопрос. Ей отвечали, что с одним из часовых, Робертом, приключился припадок, — он упал и крик его поднял ложную тревогу.

— Он подвержен припадкам? — спросила Эмилия.

— Да, синьора, — отвечал сам Роберт; — но если бы я и не был подвержен, то, что я сегодня видел, могло бы перепугать хоть самого папу.

— Что же ты видел? — вся дрожа спросила Эмилия.

— Не могу даже и объяснить, сударыня, что это такое было и как оно исчезло, — отвечал солдат, вздрагивая при одном воспоминании.

— Не испугало ли вас то лицо, за которым вы гнались по укреплениям? — осведомилась Эмилия, стараясь скрыть свою тревогу.

— Лицо! — воскликнул солдат. — Это было не лицо, а сам черт! не в первый раз он мне являлся.

— Да и не в последний, наверное, ты увидал его, — смеясь заметил один из его товарищей.

— Нет, ручаюсь, что нет, — вставил другой.

— Ладно, ладно, — сказал Роберт, — теперь-то можете хохотать сколько вам угодно; а небось тебе, Себастиан, не очень-то весело шло на ум вчера ночью, как ты стоял на часах с Ланселотом.

— Молчал бы уж лучше Ланселот, — возразил Себастиан, — пусть бы вспомнил, как сам он стоял и дрожал точно осиновый лист, не мог даже произнести пароля, пока черт не скрылся. Если бы человек этот не подкрался к нам так тихонько, я бы схватил его и живо заставил бы сказать, кто он такой!

— Какой человек? — спросила Эмилия.

— И не человек-то он вовсе, сударыня, — вмешался Ланселот, стоявший тут же, — а сам черт — правду говорит товарищ. Кто, если не живущий в замке, мог бы проникнуть ночью в эти стены? Легче мне бы удалось пойти в Венецию и нагрянуть к сенаторам в то время, как они заседают на совете; ручаюсь, что и в таком случае у меня было бы больше шансов выбраться оттуда живым, чем всякому молодчику, которого бы мы изловили здесь после солнечного заката. Кажется, ясно, что это не мог быть кто-нибудь из обитателей замка; если это здешний, то чего ему бояться, чтоб его увидели? Нет, скажу я опять — это сам черт, и Себастиан вот знает, что он не впервые нам показывался.

— Когда же вы видели это явление? — спросила Эмилия с полуулыбкой.

Она находила, что разговор чересчур затянулся, но была так заинтересована им, что не находила в себе сил прекратить его.

— Да так с неделю тому назад, сударыня, — отвечал Себастиан.

— Где же?

— На укреплениях, сударыня, немного подальше.

— И что же, вы преследовали его, когда оно бежало?

— Нет, синьора. Ланселот и я вместе стояли на часах и кругом было так тихо. Вдруг Ланселот и говорит мне: «Себастиан, говорит, видишь ты что-нибудь?» — Нет, говорю, ничего не вижу! — «Тсс... говорит он опять, смотри-ка, вон там у последней пушки на валу!» Я посмотрел, и мне показалось, будто там что-то шевелится. Темно было совершенно, только звезды немножко светили. Мы стояли смирно, наблюдали, и вот видим, что-то такое пробирается вдоль стенки, как раз напротив...

— Что же вы не схватили его сразу? — крикнул солдат, до тех пор молчавший.

— Ну да, зачем вы его не сцапали? — спросил Роберт.

— Жалко, что вас там не было, вы бы и взяли его, — сказал Себастиан, — у вас достало бы смелости схватить его за горло, хотя бы он был сам черт! А вот мы не могли на это решиться, потому что не так хорошо знакомы с нечистым, как вы. Но как я уже говорил, он живо прошмыгнул мимо нас: мы не успели прийти в себя от удивления, смотрим — он уже скрылся. Потом уж было бы напрасно гнаться за ним. Всю ночь мы сторожили, но больше ничего не видали. На другое утро мы рассказали обо всем товарищам, стоявшим на часах в другой части укреплений; но они ничего не видели, да еще посмеялись над нами — только нынче ночью опять появилось видение.

— Где же вы потеряли его след, друг мой? — спросила Эмилия, обращаясь к Роберту.

— А вот, когда я отошел от вас, — отвечал солдат, — и добрался до восточной террасы — тут я и увидел нечто диковинное! Луна светила очень ярко: гляжу какая-то тень мелькнула мимо на некотором расстоянии. Я остановился и обогнул восточную башню, где я только сию минуту видел эту фигуру. — Но ее уже и след простыл! Я стоял и глядел через старую арку, что ведет на восточную террасу и где я видел, что шарахнулась фигура... слышу вдруг какой-то звук, да страшный-престрашный! Не то стон, не то крик или вопль... ничего подобного я отродясь не слыхивал... Он раздался всего один раз, но с меня было довольно: больше я уж ничего не помню: очнувшись я увидел вокруг себя товарищей...

— Однако пойдёмте, — сказал Себастиан, — пора на караул, вот и луна заходит. Покойной ночи, сударыня!

— Покойной ночи, храни вас Пресвятая Дева! — отвечала Эмилия.

Закрыв окно, она стала размышлять о странном случае и, найдя в нем связь с происшествием прошлой ночи, старалась сделать из всего этого разумный общий вывод. Но воображение ее воспламенялось, рассудок не находил опоры, и суеверный ужас снова овладел ее чувствами.

ГЛАВА XXIX

*...Помимо страшных грез,
Терзавших нас, я слышала молву
Об ужасах, почудившихся страже.*
Юлий Цезарь

На другое утро Эмилия застала г-жу Монтони почти в таком же положении, в каком оставила ее в предыдущую ночь; она спала мало и сон совсем не подкрепил ее: она улыбнулась своей племяннице и, казалось, обрадовалась ее приходу, но произнесла всего несколько слов, не упоминая о муже. Между тем Монтони вскоре вошел к ней в комнату. Узнав, что он тут, жена его, по-видимому, сильно заволновалась, но лежала молча, пока Эмилия не встала со стула, на котором сидела у ее изголовья; тогда больная слабым голосом попросила не покидать ее.

Монтони знал, что его жена при смерти, но он пришел не за тем, чтобы успокоить, приласкать ее или попросить у нее прощения, а чтобы сделать последнее усилие и добиться той подписи, которая после ее смерти сделала бы его наследником имений в Лангедоке, в ущерб Эмилии. Тут произошла сцена, в которой он выказал свою обычную бесчеловечность,

а г-жа Монтони — прежнее упрямство и настойчивый дух в борьбе с ослабевшим телом. Тогда Эмилия повторила ему несколько раз, что она отказывается от всяких прав на эти поместья, лишь бы последние минуты ее тетки не были отравлены подобными распрями. Монтони все-таки не уходил из спальни, пока жена его не лишилась чувств, измученная жарким спором; она так долго лежала без сознания, что Эмилия испугалась — ей показалось, что в ней уже угасла искра жизни. Наконец несчастная очнулась и, взглянув ослабевшим взором на племянницу, слезы которой так и капали на нее, сделала слабое усилие, чтобы заговорить; но голос ее был так невнятен, что Эмилия опять стала опасаться, что она умирает. Однако больная все-таки получила способность говорить и, подкрепившись успокоительным лекарством, долго и с необыкновенной ясностью рассуждала о своих поместьях во Франции. Она указала племяннице, где найти некоторые документы, касающиеся имений: она нарочно скрыла их, чтобы они не достались Монтони, и настойчиво приказывала Эмилиии никогда не выпускать из рук этих бумаг. Вскоре после разговора г-жа Монтони погрузилась в легкую дремоту и оставалась в забытии до вечера; вечером она, казалось, почувствовала себя лучше, чем за все время после переселения из башни. Эмилия не оставляла ее до полуночи и ушла к себе — только уступая просьбам тетки, которая убеждала ее пойти отдохнуть. Она повиновалась тем охотнее, что больная казалась немного бодрее после сна; дав Аннете те же инструкции, что и накануне, она удалилась в свою комнату. Но настроение ее было такое возбужденное, что она не могла заснуть и решила дожидаться еще раз таинственного явления, которое так интересовало и пугало ее.

Был уже второй час ночи; около того времени, когда накануне появилась таинственная фигура, Эмилия услышала шаги часовых на террасе, когда происходила смена караула. Но вот все стихло; она села у окна, поставив лампу в глубине комнаты, чтобы избежать наблюдений с террасы. Луна светила тускло; густые тучи окружали ее и по временам заволакивали ее диск, и тогда вся окрестность погружалась в потемки. В один из таких моментов полного мрака Эмилия заметила слабый мерцающий огонек,двигающийся на некотором расстоянии по террасе. Пока она смотрела, огонек пропал, опять луна выплыла из-за мрачных грозowych туч, и Эмилия стала наблюдать небеса; яркая молния вспыхивала между туч и сверкала над безмолвным лесом. Ей нравилось при вспышках молнии охватывать взором мрачный пейзаж. Порою облако разверзлось и бросало свет на отдаленную гору: внезапный блеск освещал все изгибы скал и леса, тогда как все окружающее оставалось в густой тени. В другие моменты молния озаряла отдельные части замка: то старинную арку, ведущую к восточной террасе, то башню наверху, то укрепления внизу; потом, вдруг все здание, со всеми его башнями, массивными стенами и остроконечными готическими окнами освещалось сразу на один миг и опять пропадало во мраке.

Эмилия, обратив взор свой на террасу, снова заметила огонек, виденный ею раньше; он все двигался вперед, и вскоре ей почудились шаги. Огонек то показывался, то быстро исчезал, пока не остановился под ее окном; тут она несомненно услышала чьи-то шаги, но темнота мешала ей разглядеть что-нибудь кроме огонька.

Он стал удаляться, и теперь, при вспышке молнии, она увидела какую-то человеческую фигуру. К ней вернулись все тревоги прошлой ночи. Неизвестный двигался вперед, и мерцающий огонек то появлялся, то пропадал. Эмилия желала заговорить, чтобы прекратить свои сомнения: ей хотелось узнать наконец, кто эта фигура — человек или дух бесплотный? Но мужество покидало ее всякий раз, как она собиралась открыть рот и произнести хоть слово. Наконец, когда огонек снова промелькнул под ее окном, она робко спросила:

— Кто идет?

— Друг, — отвечал голос.

— Чей друг? — спросила она, немного ободренная. — Кто вы такой и зачем у вас огонь?

— Я — Антонио, один из солдат синьора, — отвечал голос.

— Зачем же у вас в руках факел? — спросила Эмилия, — смотрите — отчего он то

вспыхивает, то меркнет.

— Этот огонь, — отвечал солдат, — появился сегодня ночью на конце моего копья, когда я стоял на часах; но что он означает, я не могу вам объяснить.

— Как странно!

— У моего товарища такой же огонь на оружии, — отвечал солдат, — он говорит, что ему случалось и раньше видеть такую штуку, а вот мне так никогда. Но я позже его поступил на службу в замок, я недавно в солдатах.

— Как же ваш товарищ объясняет это явление? — спросила Эмилия.

— Он говорит, сударыня, что это дурное предзнаменование... беду пророчит!

— Но какую же беду?

— Этого он не знает, сударыня.

Встревожилась ли Эмилия этим предзнаменованием или нет, во всяком случае она избавилась пока от гнетущего страха, узнав, что это не какой-то призрак и попросту часовой на карауле; сейчас же ей подумалось, что этот же самый солдат, вероятно, и напугал ее прошлой ночью. Однако некоторые обстоятельства все еще требовали разъяснения. Насколько она могла судить при слабом лунном свете, помогавшем ей производить вчера свои наблюдения, таинственная фигура вовсе не походила на этого солдата ни по росту, ни по сложению; кроме того, она была уверена, что у вчерашнего незнакомца не было при себе оружия. Беззвучность его поступи — если это был человек — стоны, которые он издавал, и его странное исчезновение — все это были таинственные признаки, которых нельзя было отнести к простому солдату, исполняющему сторожевую службу.

Эмилия осведомилась у часового, не видел ли он какого-нибудь человека, кроме товарищей часовых, ходившего по террасе около полуночи, и затем вкратце рассказала ему все, что наблюдала сама.

— Видите ли, я не стоял на часах в ту ночь, сударыня, но слышал от товарищей о случившемся. Между нами есть такие, что верят в небылицы. Давно уже про этот замок ходят странные рассказы, — не мое дело повторять их. Про себя скажу, что я не имею причин жаловаться: наш начальник обходится с нами благородно.

— Хвалю вашу осторожность, — сказала Эмилия. — Покойной ночи, вот вам от меня! — прибавила она, бросая ему мелкую монету; затем, захлопнув окно, она положила конец беседе.

Когда солдат ушел, она опять открыла окно и с какой-то грустной отрадой стала прислушиваться к отдаленному грому, грохотавшему в горах, и наблюдать зигзаги молнии, вспыхивавшей над далеким пейзажем. Громовые раскаты все приближались и отдавались в горах — казалось, точно другой гром вторил первому с противоположного конца горизонта; скопившиеся тучи совершенно закрыли луну и приняли красноватый, сернистый оттенок, предвещавший сильную бурю.

Эмилия все наблюдала и любовалась, до тех пор, пока гроза не усилилась до такой степени, что уже становилось небезопасным оставаться у окна: молнии ежеминутно озаряли обширный горизонт и всю окрестную местность. Она пошла лечь спать, но не в силах была успокоиться и заснуть: она прислушивалась с благоговейным трепетом к грозным звукам, как будто потрясавшим замок до самого основания.

Так продолжалось довольно долго; вдруг среди шума бушевавшей бури ей показалось, что она слышит чей-то голос; она приподнялась, прислушиваясь. Дверь отворилась, и вбежала Аннета, с лицом, взбудораженным от испуга.

— Она умирает, барыня моя умирает! — проговорила горничная.

Эмилия вскочила и бросилась в комнату г-жи Монтони. Войдя, она застала тетку, по-видимому, в обмороке — она лежала совершенно неподвижно и без чувств. Эмилия с необыкновенной твердостью духа, не поддаваясь горю, когда долг требовал от нее деятельности, употребила все возможные средства, чтобы оживить ее. Но все было напрасно: борьба миновала — несчастная женщина отошла в вечность.

Убедившись, что все старания недействительны, Эмилия осыпала вопросами

перепуганную Аннету и узнала от нее, что г-жа Монтони впала в дремоту вскоре после ухода Эмилии и очнулась из этого состояния всего за несколько минут до своей кончины.

— Я все дивилась, — прибавила Аннета, — отчего это барыня не пугается грома, а у меня у самой от страха душа ушла в пятки. Я часто подходила к постели и заговаривала с барыней; но она, казалось, спала; вдруг услышала страшный хрип, и когда прибежала, то увидела, что она кончается...

При этом рассказе Эмилия заливалась слезами. Она не сомневалась, что сильная пертурбация в воздухе, произведенная бурей, оказала роковое действие на изнуренный организм г-жи Монтони.

Она решила не извещать Монтони о роковом событии раньше утра: она боялась, что у него вырвутся какие-нибудь бессердечные слова, которых она не могла бы снести при теперешнем состоянии своего духа.

При помощи Аннеты, которую она поощряла собственным примером, она исполнила некоторые из установленных торжественных обрядов над усопшей и заставила себя всю ночь просидеть над телом. Во время этого страшного бдения, еще более жуткого, вследствие бури, бушевавшей в воздухе, она много раз обращалась к Богу, прося у Него помощи и покровительства, и ее благоговейная молитва, надо думать, была услышана Господом, всегда дарующим страждущему опору и утешение.

ГЛАВА XXX

*Пробил полночный час; чу! колокол раздался
По умершем! Разносится призыв его печальный.
Теперь он замер; вдруг снова зазвучал,
И звон тот погребальный
Подхватывает ветер...*

Мэзон

Когда Монтони узнал о смерти своей супруги и сообразил, что она не успела подписать документов, столь необходимых для осуществления его корыстных планов, он откровенно выразил свой гнев, позабыв даже соблюсти приличие.

Эмилия тщательно избегала его и в течение двух суток почти без перерыва сидела над телом своей тетки. Душа ее была глубоко потрясена несчастной судьбой покойной; она позабыла о всех ее недостатках, о ее властолюбивом и жестоком обращении с нею самою, — она помнила только о страданиях, вынесенных несчастной, и думала о ней с нежной жалостью. Иногда, впрочем, она начинала не без удивления размышлять о странном увлечении, погубившем ее тетку и вовлекшем ее в лабиринт несчастий, из которого она уже не могла выпутаться — этим роковым событием был для нее брак с Монтони. Но, обдумывая все это, Эмилия испытывала грусть, а не раздражение; она скорбела за тетку, но не упрекала ее.

В исполнении набожных обрядов Монтони не мешал ей; он избегал не только той комнаты, где лежал прах его жены, но и всей части замка, к которой она примыкала, словно боялся заразы смерти. По-видимому, он не делал никаких распоряжений насчет похорон, и Эмилия боялась, не намеревается ли он нанести нового оскорбления памяти г-жи Монтони; однако она успокоилась, когда на другой день вечером Аннета доложила ей, что погребение состоится в ту же ночь. Эмилия знала, что Монтони не будет на нем присутствовать, и ей становилось очень тяжело при мысли, что останки ее несчастной родственницы сойдут в могилу безвестно, торопливо, при чем не будет присутствовать ни единого родственника или друга, который мог бы оказать им последнюю почесть; поэтому она решила про себя, что никакие препятствия не остановят ее от исполнения этого печального долга. При других обстоятельствах она, может быть, побоялась бы следовать за останками в холодный склеп, куда понесут их люди с печатью злодейства на лицах, да еще в тихий полночный час, выбранный Монтони для похорон, с целью по возможности поскорее предать забвению

смертные останки женщины, которую он свел в могилу своим бесчеловечным обращением.

Эмилия, вся трепеща от волнения и страха, при помощи Аннеты обрядила тело к погребению, и, обернув его в саван, обе просидели возле него до полуночи, до тех пор, пока не услышали шагов людей, которые должны были нести тело к могиле. С трудом удалось Эмилии подавить свои чувства, когда дверь распахнулась настежь и при свете факелов она увидела мрачные лица носильщиков. Двое из них, не произнося ни слова, подняли тело на плечи, а третий предшествовал им с факелом, и печальное шествие прошло по всему замку к могиле, находившейся в нижнем склепе часовни, в стенах самого замка. Приходилось пройти по двум дворам, направляясь к западному крылу замка, смежному с часовней и так же, как она, находившемуся в состоянии полуразрушения; но запустение и мрачность этих дворов теперь мало действовали на воображение Эмилии, занятой еще более печальными мыслями; она не обратила внимания на унылый крик совы, раздавшийся между заросшими плющом бойницами развалин, и едва замечала тихий полет летучей мыши, беспрестанно сновавшей мимо. Но вот, вступив в часовню и пройдя между разрушенными колоннами бокового придела, носильщики остановились перед несколькими ступенями, спускающимися к низкой сводчатой двери и один из них отпер ее; Эмилия увидела за нею темную бездну, куда понесли тело ее тетки, увидела разбойничье лицо человека, стоявшего внизу с факелом; тут вся твердость покинула ее и сменилась чувствами невыразимого горя и ужаса. Она оперлась на руку Аннеты, которая похолодела и дрожала всем телом; она долго простояла наверху ступенек, до тех пор, пока отраженный свет факела стал бледнеть на колоннах часовни и люди с их ношей уже почти скрылись из виду. Наступившая вслед за тем полная тьма пробудила в ней страх, но сознание того, что она считала своим долгом, превозмогло ее колебание, и она спустилась в подземелье, направляясь по шуму шагов и слабому лучу света, пронизывавшему мрак; вдруг резкий скрип двери, отворяемой для того, чтобы пронести тело, опять заставил ее задрожать. После короткой паузы она снова двинулась вперед, вошла в склеп и увидела, как на некотором расстоянии носильщики положили тело у края открытой могилы, где стояли еще один из приспешников Монтони и священник, которого Эмилия не заметила, пока он не начал совершать богослужение. Подняв глаза, потупленные в землю, она увидела почтенного монаха и услышала его тихий голос, торжественный и трогательный, читавший заупокойные молитвы. Момент, когда они спускали тело в могилу, был достоин мрачной кисти Доминикино. Свирепые черты и фантастический костюм кондотьеров, нагнувшихся с факелами над могилой, куда спускали тело, представляли странный контраст с почтенной наружностью монаха, закутанного в длинную черную рясу с капюшоном, откинутым от его бледного лица, обрамленного седыми кудрями. На этом лице при ярком пламени факелов можно было прочесть скорбь, смягченную христианским благочестием; а тут же возле виднелась тонкая фигура Эмилии, опиравшейся на Аннету, ее полуотвернутое лицо, оттененное длинным вуалем, кроткие, прекрасные черты, застывшие в такой глубокой, торжественной скорби, что она не допускала слез, в то время как опускали в землю ее безвременно погибшую, последнюю родственницу и друга.

Пламя факела, мелькавшее на сводах подземелья, на взрытой почве которого видны были те места, где недавно были погребены другие мертвецы, и жуткая тьма, стоявшая кругом — уже одно это могло породить в воображении зрителей сцены, еще более леденящие кровь, нежели даже те, что разыгрались у могилы злополучной г-жи Монтони.

Когда окончилось богослужение, монах внимательно и несколько удивленно оглядел Эмилию; он как будто хотел заговорить с нею, но стеснялся присутствием кондотьеров; последние, идя вперед к двору, стали болтать между собой и подымать на смех священный сан; монах все выносил молча и, очевидно, торопился поскорее вернуться в свою обитель, а Эмилия слушала эти грубые шутки с негодованием и ужасом. Когда достигли двора, инок дал ей благословение и повернул к воротам, в сопровождении одного из людей, несшего факел; Аннета, засветив другой факел, пошла провожать Эмилию до ее комнаты. Появление монаха, выражение кроткого участия на его лице заинтересовали Эмилию. Хотя Монтони только по ее настоятельной просьбе согласился допустить, чтобы священник исполнил

погребальный обряд над его покойной женой, но она ничего не знала об этой духовной особе, пока Аннета не рассказала ей, что он явился из монастыря, ютившегося в горах на расстоянии нескольких миль. Настоятель монастыря питал к Монтони и его товарищам не только отвращение, но и страх; он, вероятно, побоялся отказать ему в его просьбе и прислал монаха отслужить погребальную службу; тот, проникнутый кротким христианским духом, превозмог свое нежелание входить в нечестивый замок и решился исполнить свой долг; а так как часовня была построена на освященной земле, то он и совершил отпевание и погребение в ней останков несчастной г-жи Монтони.

Несколько дней Эмилия провела в полном уединении и в ужасном состоянии духа — она и горевала о покойной и боялась за себя. Наконец она решила предпринять хоть что-нибудь, чтобы уговорить Монтони отпустить ее во Францию. Зачем ему понадобилось удерживать ее — в это она даже боялась входить, но несомненно, что он имел причины не отпускать ее и после положительного отказа, которым он отвечал на ее просьбу; она мало надеялась, чтобы он когда-нибудь изменил свое решение. Но ужас, который он внушал одним своим видом, заставлял ее откладывать объяснение со дня на день; наконец она получила от него извещение, что он ждет ее к себе в назначенный час. У нее мелькнула надежда, что теперь, когда тетки ее уже нет в живых, он намерен отказаться от власти над нею; но тут же она вспомнила, что имения, возбуждавшие так много споров, принадлежат ей, и Монтони может пустить в ход какие-нибудь уловки с целью завладеть ими, и поэтому всего вероятнее он продержит ее у себя пленницей, покуда не добьется своего. Эта мысль, вместо того чтобы окончательно привести ее в уныние, пробудила все силы ее духа и стремление к действию; прежде она охотно отказалась бы от этих имений, чтобы обеспечить спокойствие тетке, но теперь, когда дело касалось ее лично, она твердо решила, что никакие страдания не заставят ее уступить их Монтони. Да и ради Валанкура ей хотелось удержать за собой эти поместья, так как они могли доставить средства, необходимые для обеспечения их жизни в будущем. При этом ее охватило нежное чувство, их она с наслаждением стала мечтать о том моменте, когда она с великодушием любящей женщины скажет жениху, что поместья принадлежат ему. Она видела перед собою как живое его лицо, озаренное улыбкой нежности и благодарности; в эту минуту ей казалось, что она способна вынести все страдания, каким подвергнет ее злоба Монтони. Вспомнив тогда впервые после смерти тетки о документах, касающихся упомянутых имений, она решила отыскать их, после того, как повидается с Монтони.

С этими намерениями она пошла к нему в назначенный час, но не стала сразу повторять своей просьбы, а подождала, чтобы сперва он высказал свои желания. С ним были Орсино и еще другой офицер; оба стояли у стола, покрытого бумагами, которые Монтони рассматривал.

— Я послал за вами, Эмилия, — обратился к ней Монтони, подняв голову, — чтобы вы были свидетельницей одного дела, которое я хочу уладить с моим другом Орсино. От вас требуется только одно — подписать свое имя вот на этой бумаге!

Он выбрал одну из кипы, торопливо и невнятно прочел несколько строк и, положив ее перед Эмилией, подал ей перо. Она взяла его и уже хотела подписываться; вдруг умысел Монтони стал ей совершенно ясен: точно молнией озарило ей голову. Она задрожала, выронила перо и отказалась подписывать то, чего не читала. Монтони притворно посмеялся над ее щепетильностью и, снова взяв в руки бумагу, сделал вид, будто читает ее; но Эмилия, все еще дрожа от сознания угрожающей опасности и удивляясь, как это она чуть было не попалась вследствие своего легковерия, еще раз наотрез отказалась подписывать какую бы то ни было бумагу. Монтони продолжал посмеиваться над ее сопротивлением; но, заметив по ее стойкому тону, что она поняла его умысел, изменил тактику и пригласил ее с собою в другую комнату. Там он заявил ей, что хотел избежать бесполезных пререканий в деле, где справедливость вся на его стороне и где ей следует считать его волю законом; поэтому он и старался убедить ее, а не принуждать к исполнению ее долга.

— Как муж покойной синьоры Монтони, — прибавил он, — я наследник всего ее

имущества! Поместья, которых она не отдавала мне при жизни, теперь перейдут ко мне, а не к кому другому; ради вашей же собственной пользы советую вам не обольщаться безумным обещанием, которое она когда-то дала вам в моем присутствии, будто эти поместья достанутся вам, если она умрет, не передав их мне. Жена моя знала в ту минуту, что она не имеет власти лишить меня этого наследства после своей кончины, и я думал, что вы не будете настолько неразумны, чтобы возбуждать мой гнев, предъявляя несправедливые притязания. Я не имею привычки льстить, поэтому вы должны ценить мою похвалу, если я скажу, что вы обладаете недюжинным для женичины разумом и что у вас нет тех слабостей, которыми часто отличаются женские характеры, как, например, скупость и властолюбие; последнее часто побуждает женщин спорить из духа противоречия и дразнить людей в тех случаях, когда они бессильны победить. Если я верно понимаю ваше настроение и ваш характер, то вы глубоко презираете эти пошлые слабости вашего пола.

Монтони замолк; Эмилия молчала и ждала, что будет дальше; она слишком хорошо изучила этого человека и знала, что если он снисходит до подобной лести, значит, считает это выгодным для своих собственных интересов. Хотя он не упомянул тщеславия в числе женских слабостей, однако, очевидно, считал это качество преобладающим, раз он не задумался поставить ее выше других женщин.

— На основании моего суждения о вас, — продолжал Монтони, — я не могу допустить, чтобы вы стали сопротивляться мне, зная, что вы не в силах победить, или чтобы вы намеревались жадно ухватиться за эти имения, когда справедливость не на вашей стороне. Считаю нужным, однако, объяснить вам, что ожидает вас в случае сопротивления. Если вы одумаетесь и поймете, как должны поступить в этом деле, тогда вам в непродолжительном времени позволят вернуться во Францию; но если вы будете иметь несчастье упорно увлекаться уверениями покойной синьоры, то останетесь моей пленницей до тех пор, пока не убедитесь в своей неправоте.

Эмилия спокойно отвечала:

— Мне известны законы, синьор, применимые к этому случаю, и я не увлекаюсь ничьими уверениями. В данном деле закон предоставляет мне владение упомянутыми имениями, и я никогда не откажусь от своих прав.

— Как видно, я ошибался на ваш счет, — сурово возразил Монтони. — Вы говорите смело и самонадеянно о таком деле, в котором ничего не смыслите. На первый раз я готов простить вам ваше заблуждение по неведению; надо же отнестись снисходительно к женским слабостям, которым и вы, очевидно, не чужды; но если вы будете упорствовать в этом духе, то бойтесь моего правосудия!

— Вашего правосудия, синьор, — заметила Эмилия, — мне нечего бояться — я могу только надеяться на него.

Монтони взглянул на нее с досадой и как будто обдумывал, что сказать.

— Я вижу, вы все еще имеете слабость верить обещаниям покойной! Очень сожалею, ради вас самих. Вы будете наказаны вашим же собственным легковерием; скорблю о слабости духа, которая вовлечет вас в ненужные страдания.

— Вы, может быть, убедитесь, синьор, — отвечала Эмилия с кротким достоинством, — что сила моего духа еще не иссякла; я сознаю справедливость моего дела и сумею вынести с твердостью всякие притеснения!..

— Вы говорите как героиня, — с презрением сказал Монтони, — посмотрим, сумеете ли вы страдать, как героиня!

Эмилия молчала, и Монтони вышел.

Вспомнив, что она оказывала сопротивление отчасти ради интересов Валанкура, она улыбнулась над перспективой угрожающих страданий и отправилась искать документы об имениях, хранившиеся в укромном месте, указанном ей покойной теткой. Она без труда отыскала их, и так как она не знала другого более надежного тайника, то положила бумаги на прежнее место, даже не рассмотрев их: она боялась, чтобы ее не застали за этим занятием.

Опять вернулась она в свою уединенную комнату и там стала обдумывать последний

разговор свой с Монтони и его угрозы о бедах, которые постигнут ее, если она будет противиться его воле. Но теперь его власть уже не казалась ей такой страшной, как бывало прежде: в сердце ее горела священная гордость, научившая ее закаляться против несправедливых притеснений; она почти гордилась страданиями, которые выпадают на ее долю в деле, где замешан также интерес Валанкура. Впервые она почувствовала свое собственное превосходство над Монтони и стала презирать власть, которой до сих пор только страшилась.

В то время как она сидела, предаваясь размышлениям, с террасы донесся вдруг взрыв смеха; подойдя к окну, она с изумлением увидела трех дам, пышно разодетых по венецианской моде и гуляющих внизу, в сопровождении нескольких мужчин. Не заботясь о том, что ее могут заметить снизу, она со вниманием стала наблюдать группу, пока она проходила мимо; одна из незнакомок случайно взглянула наверх, и Эмилия узнала синьору Ливону, любезностью которой она была так очарована в Венеции, на обеде у Монтони. Это открытие взволновало и обрадовало ее, но с примесью какого-то сомнения; ей было приятно и утешительно сознавать, что такая кроткая и милая особа, как синьора Ливона, находится поблизости; однако было что-то до того странное в ее присутствии в замке, и притом присутствии совершенно добровольном, если судить по ее веселому настроению, что тотчас же у Эмилии возникло неприятное недоумение — кто же она такая? Но мысль эта была так тягостна для Эмилии, плененной очаровательным обхождением синьоры, и показалась ей столь невероятной, что она тотчас же отогнала ее.

Когда пришла Аннета, Эмилия осведомилась у нее об этих незнакомках; горничной до смерти хотелось разболтать все, что она знает.

— Они только что приехали, барышня, с двумя синьорами, прямо из Венеции; уж как же я обрадовалась, увидав опять человеческие лица! Но вот вопрос: с чего это им вздумалось сюда забираться? Уж не рехнулись ли они, что приехали по доброй воле в это место! А что они приехали добровольно, так в этом спору нет, — ишь ведь какие веселые!

— Может быть, они попались в плен? — предположила Эмилия.

— Какой там плен! — воскликнула Аннета; одну из них я прекрасно помню еще из Венеции: она была раза два или три в доме у синьора, вы это сами знаете, барышня; и тогда еще говорили, но только я не верила, будто синьору она нравится больше, чем бы следовало. «Зачем же, говорю, приводить ее в дом к моей барыне?» Правда, не годится, отвечал мне Людовико, но у него на уме было еще кое-что, чего он не хотел высказать.

Эмилия попросила Аннету разузнать, кто эти дамы, и вообще все, что их касается; потом она заговорила о далекой Франции.

— Ах, барышня, никогда мы больше не увидим нашу родину! — проговорила Аннета, чуть не плача. — Нечего сказать, и повезло же мне в моих путешествиях!

Эмилия старалась успокоить и ободрить девушку надеждами, которых сама не питала.

— И как вы могли, барышня, покинуть Францию, расстаться с мосье Валанкуром! — рыдала Аннета. — Уж я бы ни за что не уехала из Франции, если б там жил Людовико!

— Чего же ты хнычешь, что оттуда уехала? — улыбнулась Эмилия. — Если б ты там оставалась, ты не встретила бы твоего Людовико!

— Ах, барышня, только бы выбраться из этого проклятого замка, а потом остаться при вас во Франции — больше мне ничего не нужно!

— Спасибо тебе, добрая Аннета, за твою преданность: надеюсь, настанет время, когда ты с удовольствием вспомнишь свои слова!

Аннета скоро убежала по своим делам, а Эмилия попыталась забыться от гнетущих забот в чтении, погрузиться в фантастический мир грез; но опять ей пришлось пожалеть о том, что сила обстоятельств так неудержимо действует на чувства и умственные способности человека: нужен спокойный дух для того, чтобы отдаться отвлеченным умственным наслаждениям. Энтузиазм гения и блеск фантазии теперь казались ей холодными и тусклыми. Глядя на раскрытую книгу, она невольно воскликнула:

— Неужели это те самые слова, которые так часто восхищали меня? Где же таилось

очарование? В моем уме или в воображении поэта? — И в том и в другом вместе, — отвечала она самой себе. — Но пламенное вдохновение поэта бессильно, если ум читателя не настроен, как его собственный, хотя бы он и был значительно ниже его.

Эмилия охотно отдалась бы этому течению мыслей, потому что это избавляло ее от более тягостных воспоминаний; но опять-таки она убедилась, что мышление не подчиняется воле, и ее мысли неуклонно вернулись к обсуждению ее отчаянного положения.

Впрочем, желая подышать воздухом, но боясь спускаться вниз на укрепления, чтобы не подвергнуться наглým взглядам товарищей Монтони, она стала прогуливаться по галерее, смежной с ее комнатой; дойдя до дальнего конца ее, она услышала отдаленные взрывы хохота. То были дикие проявления разгула, а не спокойное, искреннее веселье; шум, казалось, доносился из той половины замка, где жил Монтони. Подобные звуки, раздававшиеся так скоро после кончины ее тетки, особенно тяжело поразили Эмилию, так как они соответствовали всему поведению Монтони в последнее время.

Прислушиваясь, она различила женские возгласы, сопровождавшиеся хохотом; это подтвердило ее худшие догадки насчет нравственных качеств синьоры Ливоны и ее подруг. Очевидно, они попали сюда не против своего желания. Оглянувшись на свое положение, Эмилия поняла его яснее прежнего: судьба бросила ее, одинокую, беспомощную, в пустынную область диких Апеннин, среди людей, которых она считает чуть не злодеями, и среди гнусных сцен порока, от которых душа ее отшатывается с омерзением. В эту минуту, когда картины прошлого и настоящего развернулись перед ее умственным взором, образ Валанкура не оказал своего обычного влияния, и ее решимость уступила страху. Она сознавала, какие мучения готовит ей впереди Монтони, и содрогалась от его бесчеловечной мести. Спорные поместья она почти решила уступить ему хоть сейчас же, если он опять обратится к ней с таким требованием, с тем чтобы обеспечить себе безопасность и свободу; но опять воспоминание о Валанкуре закралось в ее сердце и погрузило ее в отчаяние сомнения.

Она продолжала прохаживаться по галерее, пока сумерки не заглянули сквозь разрисованные стекла, сгущая тени на темной дубовой обшивке стен; далекая перспектива коридора так померкла, что можно было различить только светлое пятно окна в конце его.

По сводчатым залам и коридорам внизу слабо разносились взрывы хохота и достигали этой отдаленной части замка; всякий раз наступавшая после этого тишина казалась еще более жуткой. Но Эмилии не хотелось идти в свою постылую комнату, пока не вернется Аннета, и она продолжала прохаживаться по галерее. Проходя мимо дверей того покоя, где она когда-то осмелилась отдернуть покров, скрывающий зрелище до того ужасное, что она до сих пор не могла о нем вспомнить иначе, как с невыразимым ужасом, — ей невольно пришло в голову это происшествие. Теперь это воспоминание сопровождалось размышлениями еще более гнетущими, так как они были вызваны последними поступками Монтони. Она решила поскорее уйти из галереи, пока у нее еще оставалось силы, как вдруг услышала чьи-то шаги позади. Это могли быть шаги Аннеты; но, боязливо оглянувшись, она увидела в полутьме какую-то высокую фигуру, идущую за нею следом; тогда все ужасы, пережитые ею в страшной комнате, нахлынули на нее с новой силой. В то же мгновение она почувствовала, что ее крепко обнимают чьи-то руки, и услышала над ухом шепот мужского басистого голоса.

— Это я, — отвечал голос. — Ну, чего вы трусили?

Она взглянула в лицо говорившему, но слабый свет, лившийся из высокого окна в конце галереи, не позволял ей рассмотреть черты.

— Кто бы вы ни были, — проговорила она дрожащим голосом, — Бога ради, отпустите меня!

— Очаровательная Эмилия, — воскликнул незнакомец, — зачем вы удаляетесь в эти скучные, темные комнаты и галереи, когда внизу у нас такое веселье? Пойдемте со мной в залу — вы будете лучшим украшением нашего общества; пойдемте, вы не раскаетесь!

Эмилия не отвечала и только старалась высвободиться.

— Обещайте мне, что придете, — продолжал он, — тогда я отпущу сейчас же; но сперва вы должны дать мне за это награду.

— Кто вы такой? — спросила Эмилия возмущенным и испуганным тоном, вырываясь из его объятий, — кто вы, что имеете жестокость оскорблять меня?

— Отчего жестокость? Я хочу только вырвать вас из этого печального уединения и ввести в веселое общество! Разве вы не узнаете меня?

Тогда только Эмилия смутно вспомнила, что это один из офицеров, бывших у Монтони, когда она приходила к нему поутру.

— Благодарю вас за доброе намерение, — отвечала она, делая вид, как будто не поняла его, — но одного прошу, чтобы вы отпустили меня!

— Прелестная Эмилия! — сказал он, — бросьте эту нелепую прихоть — сидеть в одиночестве, пойдемте со мной к гостям, вы затмите всех наших красавиц. Вы одна достойны моей любви.

Он пытался поцеловать ее руку; но страстное желание избавиться от него дало ей силу вырваться и убежать к себе. Она успела запереть за собой дверь, прежде чем он настиг ее; после этого она упала на стул, изнеможенная от страха и только что сделанного усилия; она слышала его голос и попытки вломиться в дверь, но не имела сил даже встать. Наконец она заключила, что он ушел, и некоторое время прислушивалась к удаляющимся шагам; она успокоилась только тогда, когда все затихло. Вдруг она вспомнила про дверь на потайную лестницу и что он может забраться к ней. Тогда она занялась баррикадированием этой двери, как это делала раньше. Ей представилось, что Монтони уже начал мстить ей, лишив ее своего покровительства, и раскаялась в необдуманности, с какой она пробовала сопротивляться насилию подобного человека: оставить за собой теткинны имения казалось ей теперь окончательно невозможным; но ради ограждения своей жизни, быть может чести, она решила завтра же утром, если ей удастся спастись от всех ужасов этой ночи, отказаться от своих прав на имения, разумеется, если Монтони отпустит ее из Удольфо.

Придя к этому решению, она немного успокоилась, хотя все еще тревожно прислушивалась и вздрагивала от воображаемых звуков, будто бы доносившихся с лестницы.

Так она просидела в потемках несколько часов, а Аннета все не приходила; тогда она стала серьезно тревожиться за участь девушки, но, не осмеливаясь сойти вниз, она принуждена была оставаться в неизвестности насчет причины такого продолжительного отсутствия ее. От времени до времени Эмилия подкрадывалась к двери, ведущей на лестницу, и прислушивалась, не идет ли кто, но ни малейший звук не доходил до ее слуха. Решив, однако, не спать всю ночь, она прилегла в потемках на постель и омочила подушку невинными слезами. Вспомнились ей покойные родители, отсутствующий Валанкур... и она с горечью призывала их по имени: глубокая тишина, царившая теперь кругом, способствовала задумчивой грусти ее души.

Среди слез и размышлений ухо ее вдруг уловило звуки отдаленной музыки; она стала внимательно прислушиваться. Вскоре, убедившись, что это тот самый инструмент, который она и раньше слышала в полночь, она поднялась с постели и тихо подошла к окну: звуки неслись как будто из комнаты внизу.

Через некоторое время к тихой гармонии инструмента присоединился голос, полный такого чувства, что он, очевидно, пел не про одни воображаемые печали. Эту сладостную, своеобразную мелодию она как будто слышала где-то раньше: если это не было игрой воображения, то во всяком случае смутным воспоминанием. Мелодия проникала ей в душу среди тоски и страданий, как небесная гармония, — она успокаивала и ободряла ее: *«Отраднa как весенний ветерок, вздыхающий над ухом охотника, когда он пробуждается от радостных снов и внимает музыке горного духа!» (Оссиан)*.

Но трудно себе представить ее волнение, когда она услышала, что голос запел с необыкновенным вкусом и простотой неподдельного чувства одну из народных песен ее родной провинции, которую она часто с упоением слушала еще ребенком и которую иногда

певал ее отец! При звуках этой знакомой песни, никогда нигде не слышанной ею, кроме как в родной провинции, ее сердце наполнилось умилением, и в ней сразу воскресла память о прошлом. Мирные, прелестные сцены Гаскони, нежность и доброта ее родителей, изящный вкус и простота прежней жизни — все это рисовалось в ее воображении и представляло картину такую яркую и обаятельную, так не похожую на жизнь, характеры и опасности, окружавшие ее в настоящую минуту, что чувства ее были не в силах вынести этих горьких воспоминаний, и душа ее содрогнулась от жгучести этого ощущения.

Из груди ее вырывались глубокие, судорожные вздохи; она не в силах была долее слушать мелодию, так часто прежде успокаивавшую ее, и отошла от окна в отдаленную часть комнаты. Но и туда все же доносились звуки музыки. Ритм вдруг изменился и послышался новый мотив, опять заставивший ее подойти к окну. Она в ту же минуту вспомнила, что она уже слышала его когда-то в рыбацьем домике в Гаскони... Быть может, благодаря таинственности, сопровождавшей тогда эту песню, она так врезалась ей в память, что она с тех пор не могла забыть ее. Манера исполнения этой песни — как ни странно это обстоятельство — была та же самая, и Эмилия убеждалась, что это был, несомненно, тот же голос. Изумление ее скоро сменилось другими чувствами; необычайная мысль как молния промелькнула в ее голове и озарила целое сцепление надежд, ожививших ее дух. Но надежды эти были так новы, так неожиданны, так поразительны, что она не смела довериться им, хотя не решалась и отогнать их. Она села у окна, задыхаясь от волнения и отдаваясь попеременно то надежде, то страху; через минуту опять вскочила и прислонилась к косяку, чтобы легче уловить звук; прислушалась, то сомневаясь, то доверяя своим предположениям, она наконец тихонько произнесла имя Валанкура... и снова опустилась на стул.

Да, могло случиться, что Валанкур тут, близко... Она припомнила некоторые обстоятельства, побуждавшие ее думать, что это его голос. Он не раз говорил ей, что рыбацкий домик, где она впервые слышала этот голос и этот самый мотив и где он писал карандашом сонеты, посвященные ей, был любимой целью его прогулок раньше, чем он познакомился с нею; там же она неожиданно встретилась с ним. На основании этих признаков можно было заключить с полным вероятием, что он и был тем музыкантом, который еще во Франции пленял ее слух пением и написал строки, выражавшие ей такое восторженное поклонение! Кто же, как не он, писал эти стихи? В ту пору она не могла выяснить, кто автор стихов; но после знакомства с Валанкуром, когда ему не раз случалось упоминать о знакомом рыбацьем домике, она не обинуясь сочла его автором сонетов.

По мере того, как все эти соображения проносились в ее голове, радость, страх и нежность попеременно овладевали ее сердцем; она облокотилась о подоконник, стараясь уловить звуки, которые должны подтвердить или разрушить ее надежды, хотя она не помнила, чтобы когда-нибудь слышала Валанкура поющим при ней. Вдруг голос и инструмент замолкли.

В первое мгновение она порывалась заговорить; потом, не желая называть его имени, на тот случай, если это окажется не он, а между тем слишком заинтересованная, чтобы упустить случай осведомиться, она крикнула из окна: «Это песня из Гаскони?» Но ее горячее желание услышать ответ не было удовлетворено; все погрузилось в безмолвие. Между тем ее нетерпение усиливалось вместе со страхом, и она повторила вопрос. Но по-прежнему все было тихо; слышалось только завывание ветра вокруг бойниц наверху. Она пыталась утешиться предположением, что неизвестный, кто бы он ни был, удалился и не слышал ее оклика. Несомненно, если б Валанкур слышал и узнал ее голос, он отозвался бы сейчас же. Однако вслед затем она подумала, что, может быть, осторожность, а не случайность были причиной этого молчания. Эта догадка в то же мгновение превратила ее надежду и радость в ужас и горе. Если Валанкур в замке, то всего вероятнее думать, что он попал туда в качестве пленника, взятого вместе с несколькими его соотечественниками, так как многие из них в то время служили в итальянских войсках, или захваченного в то время, как он пытался пробраться к ней. Если б даже он узнал голос Эмилии, он побоялся бы при таких условиях

отвечать ей в присутствии стражи, караулившей его темницу.

То, чего она еще недавно так горячо желала, теперь привело ее в ужас: она страшилась удостовериться, что Валанкур находится близко от нее, и в то время как ей хотелось избавиться от опасения за него, она все-таки втайне бессознательно питала надежду скоро увидеться с возлюбленным.

Она просидела у окна, прислушиваясь, до позднего часа: ночной воздух стал свежеть, и на одной из самых высоких гор на востоке загорелся отблеск утренней зари. Истомленная усталостью, Эмилия легла в постель, но не могла заснуть — радость, любовь, сомнения и страхи всю ночь не давали ей покоя. Наконец она поднялась с постели и открыла окно, прислушиваясь; потом в волнении заходила взад и вперед по комнате и опять положила утомленную голову на подушку. Никогда еще время не тянулось для нее так бесконечно долго, как в эту тревожную ночь. Под утро она стала ждать Аннету, надеясь, что она положит конец ее мучительной неизвестности.

ГЛАВА XXXI

*Когда бы можно было ухом уловить
Блеяние овец, под вечер загнанных в закуты,
Иль звук пастушьего рожка,
Иль из сторожки свист, иль пенье петуха, —
Все это было б утешеньем, отрадою для нас
В этой угрюмой, мрачной башне.*

МИЛЬТОН

Утром Эмилию успокоила Аннета, чуть свет прибежавшая к ней.

— Нечего сказать, славные тут дела творятся, барышня! — затараторила она, войдя в комнату. Вы боялись одни оставаться, барышня, небось дивились, куда это я запропастилась?

— Правда, я тревожилась и за тебя и за себя, — созналась Эмилия. — Скажи, что тебя так задержало?

— Вот это самое и я ему говорила, да все напрасно! Право же, я не виновата — не могла вырваться на свободу... Этот проказник Людовико опять запер меня на ключ.

— Запер тебя? — с неудовольствием отозвалась Эмилия. — Как это ты позволяешь Людовико запираить себя?

— Святые угодники! — воскликнула Аннета. — Ну что ж я могу поделать? Коли он запер дверь, а ключ положил себе в карман, не могу же я выскочить из окошка? Положим, я бы и это сделала, но все окна помещаются так высоко, до рамы не достанешь, а если б и могла я достать, все равно, шею бы себе сломала, выскакивая. Но вы, конечно, знаете, барышня, какая сумятица шла у нас в замке всю ночь напролет? Небось слышали шум?

— Что же — они ссорились между собой?

— Какое, барышня! не ссорились они, не дрались, а выходило еще хуже — все синьоры перепились, даже и дамы эти нарядные все были навеселе! Я же с первого взгляда догадалась, что эти их шелка да кружева и дорогие вуали, — у них вуали-то серебром шиты, барышня, — не к добру! Я знала, что это за птицы!

— Боже милостивый! — воскликнула Эмилия, — что будет со мною!

— Вот это самое сказал про меня Людовико: «Боже милостивый, — говорит, — что станет с тобою, коли ты будешь бегать по всему замку среди этих пьяных синьоров!» О, говорю я, мне нужно только добежать до комнаты моей молодой

госпожи: мне придется пройти по сводчатому коридору, пересечь главные сени, подняться по мраморной лестнице, потом пройти по северной галерее, потом через западный флигель замка, и вот я мигом там. «Ишь ты, — говорит, — какая прыткая! а что с тобой будет, если ты повстречаешься по дороге с кем-нибудь из этих благородных кавалеров?» Ладно, говорю, если ты думаешь, что мне опасно идти одной, так пойдем вместе, — ты

защитишь меня: я не боюсь, когда ты со мной. «Как бы не так, — говорит, — я только что поправился от одной раны, с какой же стати я стану лезть в драку? Если встретит тебя кто-нибудь из кавалеров, они затеют со мной драку. Нет, нет, — говорит, — я не пущу тебя сегодня, Аннета! Оставайся здесь, в этой комнате». Я и говорю ему...

— Хорошо, хорошо, — нетерпеливо прервала ее Эмилия, — значит, он запер тебя?

— Ну да, запер, как я ни спорила. Катерина, я и он — все втроем так и просидели всю ночь, не ложась. Не прошло и нескольких минут, как я уже не жалела об этом: синьор Верецци пронесся по коридору, словно бык бешеный; он ошибся дверью, думал, что это каморка старого Карло, и стал ломиться в дверь к Людовико, кричать и требовать еще вина. Все, что им поставили, было осушено до дна, а он, дескать, умирает от жажды... Мы все притихли; пусть себе думает, что никого нет за дверью; но синьор был похитрее нас, он не уходил и все кричал: «Выходи, мой старый герой! Здесь нет врагов, нечего тебе прятаться, выходи, мой храбрый Стюарт!» Тут как раз старик Карло отворил свою дверь и вышел с бутылкой в руках. Как только синьор увидел его, так сразу присмирел и пошел за ним, как собака за мясником. Все это я подсмотрела в замочную скважину. А Людовико и смеется: «Ну, что, говорит, Аннета, не выпустить ли тебя в коридор?» — Ах, нет, говорю, боюсь я...

— Мне необходимо расспросить тебя кое о чем другом, — прервала ее Эмилия, которой наскучила эта болтовня. — Не знаешь ты, нет ли пленных в замке и не заключены ли они в этой половине?

— Я не видала, барышня, как вернулся первый отряд из гор, а второй еще не пришел; я и не знаю, есть ли теперь пленные. Но отряд ожидают сегодня вечером, либо завтра, тогда я, может быть, узнаю.

Эмилия спросила, не слыхала ли она от слуг о пленных.

— Ах, барышня, — лукаво проговорила Аннета, — мне кажется, вы все думаете о мосье Валанкуре и не попал ли он в те войска, которые, говорят, пришли с нашей родины воевать с здешним государством; вы думаете, может, его захватили в плен наши молодцы? О, Господи, то-то бы я обрадовалась, кабы так вышло!

— В самом деле, ты была бы рада? — спросила Эмилия тоном печальной укоризны.

— Да еще бы нет!, сударыня, — отвечала Аннета; а вы-то разве не были бы довольны повидаться с синьором Валанкуром? Лучшего шевалье я и не видывала; я ужасно как уважаю его!..

— Это и видно, что уважаешь, — заметила Эмилия, — коли желаешь видеть его пленником.

— Ну что ж, что пленником! все равно, я рада бы повидаться с ним. Еще намерен он мне присниться, будто въезжает к нам во двор в коляске шестерней, а сам при шпаге и в расшитом камзоле, словно принц: ведь таков он и есть на самом деле!

Эмилия не могла не улыбнуться такому представлению Аннеты о Валанкуре и повторила свой вопрос, не слыхала ли она чего от слуг о пленниках?

— Нет, барышня, не приводилось; за последние дни у них только и разговоров, что о привидении, которое бродит ночью по укреплениям и пугает часовых до обморока. Говорят, оно пронеслось как пламя, все попадали перед ним и лежали, пока не опомнились; а когда оно скрылось, тогда солдаты стали подымать друг дружку, как могли проворней. Вот вы не верили, барышня, когда я показывала вам ту пушку, у которой всегда являлось привидение!

— Охота тебе, Аннета верить глупым рассказам! — сказала Эмилия, улыбаясь тому, как раздули происшествие, которое она видела собственными глазами.

— Как же не верить, барышня! да меня никто не разуверит в том, что это сушая правда. Роберт и Себастиан, да еще с полдюжины других солдат попадали в обморок! Разумеется, это вовсе не резон! Я себе подумала, что так делать не годится... Ну, что, если вдруг явится неприятель; хороши они будут, коли все повалятся в обморок! Неприятель-то небось не будет церемониться, как дух, и не скроется, как он, оставив их одних подымать друг друга, а возьмет да искрошит их в кусочки. Нет, думаю я себе, не дело так поступать; положим, я непременно повалилась бы без чувств, но ведь это дело другого рода, я не солдат и не пойду

сражаться!

Эмилия старалась побороть суеверную слабость Аннеты, хотя сама не могла удержаться от жуткого чувства; на все ее убеждения Аннета только и отвечала:

— Ну, уж вы, известно, ничему не верите, барышня; вы не лучше самого синьора: тот шибко разгневался, когда ему доложили о случившемся, и поклялся, что первого, кто будет повторять этот вздор, он велит бросить в темницу, что под

восточной башней. Строгое наказание, признаться сказать, за повторение вздора, но, я полагаю, у него совсем другие причины на то, чтобы называть это вздором...

Эмилия нахмурилась и молчала. Размышляя об упомянутом явлении духа, еще недавно так испугавшем ее самое, и вспомнив, что таинственная фигура останавливалась под ее окном, она в первую минуту подумала, что это был Валанкур. Но если так, отчего он не заговорил с ней, когда имел на это случай? Опять-таки, если он состоит пленником в замке, то каким образом он получил возможность ходить на воле по укреплениям? Так она и не могла прийти к выводу, были ли музыкант и виденная ею таинственная фигура одно и то же лицо, и если да, то был ли это Валанкур?.. Все-таки она поручила Аннете справиться, нет ли пленников в замке и как их зовут.

— Ах, милая барышня, — спохватилась Аннета, — я и позабыла передать вам, что я узнала про тех дам, как они себя величают, которые недавно приехали в Удольфо. Эта синьора Ливона — помните, синьор еще приводил ее к моей покойной барыне в Венеции, — теперь она его любовница, да и тогда, вероятно, была ею, смею думать. Людовико рассказывает (но это секрет, барышня), что эчеленца ввел ее к себе в дом к своей жене нарочно, чтобы замазать рты публике, потому что про нее много начали болтать нехорошего. Другие две дамы — возлюбленная синьора Верецци и синьора Бертолини, и синьор Монтони всех их пригласил погостить сюда в замок. И вот вчера у них был пир горой. Все пили тосканское вино и ели всякие сласти, и смеялись и пели, так что стон стоял в замке. Но мне эти звуки показались печальными — подумайте, так недавно умерла моя госпожа! Я подумала, что бы она сказала, если бы услышала весь этот содом?.. Но она уже ничего не может слышать, бедняжка!

Эмилия отвернулась, чтобы скрыть свое волнение, потом послала Аннету разузнать, есть ли пленники в замке; но умоляла ее сделать это осторожно и ни под каким видом не упоминать ее имени или имени мосье Валанкура.

— Как я подумала хорошенько, барышня, — молвила Аннета, — так мне кажется, что есть пленные в нашем замке; вчера я слыхала, как слуги синьора толковали про себя что-то такое о выкупах: как, дескать, хорошо, что эчеленца ловит путешественников: это, пожалуй, так же выгодно, как забирать добычу, — ведь за пленников полагается выкуп. А другой слуга принялся ворчать и говорить, что для синьора это, пожалуй, выгодно, а для солдат не очень-то, потому что из выкупов им не выдается положенной доли.

Эти сведения еще усилили нетерпение Эмилии поскорее узнать все подробности о пленных, и Аннета побежала за справками.

Недавнее решение Эмилии о передаче своих поместьев синьору Монтони теперь изменилось, под влиянием новых соображений; возможность того, что Валанкур находится тут же недалеко, подняла в ней бодрость духа, и она решила устоять против угрожающего ей мщенья, по крайней мере хоть до тех пор, пока она убедится, что ее возлюбленный действительно находится в замке. Таково было настроение ее духа, когда ей пришли сказать от Монтони, что он просит ее прийти в кедровую приемную. Она повиновалась, дрожа от страха, и, пока шла туда, пыталась поддержать свою твердость мыслями о Валанкуре.

Монтони был один.

— Я послал за вами, — начал он, — нарочно, чтобы еще раз доставить вам случай исправить вашу недавнюю ошибку относительно лангедокских имений. Видите, как я снисходителен — даю вам совет, когда мне стоило бы только приказать. Если вы действительно были введены в заблуждение уверенностью, что имеете какие-то права на эти поместья, то по крайней мере не упорствуйте в этой ошибке — она окажется для вас роковой

— вы в этом сами убедитесь, но будет уже поздно. Не пытайте дольше моего терпения и подпишите документы.

— Если я не имею никаких прав на эти поместья, синьор, — возразила Эмлия, — то какая вам будет польза, что я подпишу документы, их касающиеся? А если земли действительно ваши по закону, то вы, конечно, можете владеть ими помимо моего вмешательства или согласия.

— Я не желаю слышать больше никаких доводов, — промолвил Монтони и бросил на нее взгляд, заставивший ее задрожать. — Мог ли я ожидать чего-нибудь путного, рассуждая с ребенком! Но дольше я не позволю шутить над собой: вспомните, как страдала ваша тетка по милости своего упорства и безрассудства: пусть же это будет вам уроком. Подпишите бумаги!

Решимость Эмилии на минуту поколебалась под влиянием страха; она содрогнулась от вызванных им воспоминаний и перед угрозами мщения, но вслед затем в сердце ее проснулся образ Валанкура, который так давно любит ее и, быть может, находится здесь в замке, — этот дорогой образ и природное отвращение ее ко всякой несправедливости внушили ей благородную, хотя и неосторожную смелость.

— Подпишите бумаги! — повторил Монтони еще нетерпеливее.

Никогда, синьор, — отвечала Эмлия, — такое резкое требование доказывает мне несправедливость ваших притязаний, даже если б я не знала своих прав.

Монтони побледнел от гнева; глядя на его дрожащие губы и бегающие глаза, она почти раскаивалась в смелости своих речей.

— В таком случае, пусть все мое мщение падет на вашу голову, — воскликнул он со страшным проклятием. — И не думайте, чтобы я стал откладывать возмездие. Вам не достанутся поместья в Лангедоке и Гаскони. Вы осмелились усомниться в моих правах: посмотрим, как вы дерзнете усомниться в моей власти. У меня для вас припасено наказание, какого вы даже не подозреваете: оно ужасно! Сегодня ночью, не далее как сегодня ночью...

— Сегодня ночью! — отозвался чей-то глухой, точно замогильный голос.

Монтони остановился и полуобернулся назад, но, мгновенно оправившись, продолжал, немного понизив голос:

— Не так давно у вас на глазах был страшный пример безрассудства и упорства; однако его оказалось недостаточно, чтобы проучить вас. Я мог бы привести вам и другие примеры, я мог бы заставить вас дрожать при одном рассказе...

Внезапно его прервал стон, исходивший как будто из-под полу; Монтони окинул взором всю комнату, глаза его загорелись нетерпением и бешенством, однако по лицу его промелькнула как бы тень страха. Эмлия опустилась на стул возле двери; разнообразные волнения, пережитые ею, лишили ее последних сил. Но Монтони вскоре преодолел свое смущение. Овладев своим лицом, он продолжал говорить тихим, но еще более суровым тоном.

— Слушайте, я мог бы привести вам еще другие доказательства моей власти и моей твердости, которых вы, очевидно, не понимаете, иначе вы не стали бы бросать мне вызов. Я мог бы сказать вам, что, когда я что-нибудь решу... Но какая польза говорить с ребенком? Однако я еще раз повторю вам, что как ни ужасны примеры, которые я мог бы привести, но теперь рассказ мой уже не может помочь вам. Хотя бы вы раскаялись и мгновенно прекратили свое сопротивление, это не смягчило бы моего негодования — я хочу мщения, точно так же, как и правосудия.

Опять раздался стон, прерывая речь Монтони.

— Уходите отсюда! — крикнул он, как бы не замечая этого страшного голоса.

Не имея сил молить его о пощаде, Эмлия поднялась, чтобы уйти, но не могла устоять на ногах; ее охватили страх и трепет и она опять опустилась на стул.

— Оставьте меня сию же минуту! — опять прокричал Монтони. — Вы притворяетесь обессиленной от страха, но это не к лицу героине, осмелившейся подвергнуться моему гневу!

— Вы ничего не слышали, синьор? — вся дрожа, спросила Эмилия, все еще слишком слабая, чтобы подняться.

— Я слышал свой собственный голос и больше ничего! — сурово промолвил Монтони.

— И ничего больше? — с трудом произнесла Эмилия. — Вот теперь опять!.. Неужели вы и теперь ничего не слышите?

— Повинуйтесь моему приказанию, — повторил Монтони. — А что касается этих шутовских проделок, то я скоро узнаю, кто им занимается!

Эмилия с усилием встала и вышла. Монтони последовал за нею, но вместо того, чтобы громко позвать слуг и приказать им обыскать комнату, как он делал это в прежних случаях, он прямо прошел на укрепления.

Пробираясь в свой коридор, Эмилия остановилась немного отдохнуть у открытого окна и увидела отряд Монтони: колонна лентой змеилась на противоположащей горе; это зрелище привело ей на память несчастных пленников, которых они, может быть, ведут с собой в замок!.. Наконец, достигнув своей спальни, Эмилия бросилась на постель, удрученная новыми горестями; в голове у нее была сумятица и смятение, она не могла ни раскаиваться в своем последнем поступке, ни одобрить его; она помнила одно: что она во власти человека, который в своей жизни и поступках не признает никаких принципов, кроме своего собственного произвола. Изумление и суеверные страхи, на минуту овладевшие ею, теперь уступили здравым соображениям рассудка.

Наконец она была выведена из своего глубокого раздумья далеким шумом голосов и топотом копыт, вероятно, доносившимся из дворов, в первую минуту у нее мелькнула внезапная мысль, не произойдет ли какой счастливой перемены?.., но она тотчас же одумалась, вспомнив про войска, виденные ею из окна; очевидно, это пришел тот самый отряд, который, по словам Аннеты, ожидался сегодня в Удольфском замке.

Вскоре она услышала смутные голоса из сеней и удаляющийся лошадиный топот, потом все затихло. Эмилия с нетерпением прислушивалась к шагам Аннеты в коридоре. Но наступил промежуток полного затишья, вслед затем в замке опять поднялись шум и суматоха: торопливые шаги слышались взад и вперед по коридорам и сеням внизу; на укреплениях раздавался говор оживленных голосов. Подбежав к своему окну, она увидела Монтони с несколькими из его офицеров; они стояли, прислонясь к ограде, и на что-то указывали вдаль; несколько солдат в другом окне террасы возились около пушки. Эмилия напряженно наблюдала их, не замечая хода времени.

Наконец появилась Аннета, но не принесла никаких сведений о Валанкуре.

— Знаете, барышня, — заявила она, — все притворяются, будто ничего не знают о пленниках. Но вот представьте, что у нас творится! Остальная часть отряда только что вернулась; люди прискакали сломя голову и привезли такие диковинные новости! Говорят они, будто неприятель подходит к замку. А я так думаю, что нас будут осаждать судебные чины, — это те страшные с виду господа, которых мы бывало видали в Венеции!

— Слава Богу! — набожно воскликнула Эмилия, — значит, еще не погибла надежда!

— Что вы, барышня? Неужто же вы желаете попасть в руки этих угрюмых людей? Да я всякий раз вздрагивала, как проходила мимо, и ни за что не догадалась бы, кто они такие, если б мне не сказал Людовико.

— Хуже нам не может быть, чем теперь, — неосторожно проронила Эмилия: — но на каком основании ты предполагаешь, что это полиция или судебные чины?

— Да потому, что наши все так перепуганы и встревожены; мне кажется, только боязнь правосудия могла бы оказать на них такое действие. Право, я думала, их ничем не проймешь, — разве что привидение явится; а теперь, глянь-ка! многие попрятались в подземелья под замком. Но вы, пожалуйста, не говорите синьору, я это нечаянно подслушала. Пресвятая Дева! Ну, чего вы так приуныли, барышня? Даже не слышите, что я говорю.

— Слышу, слышу, Аннета, продолжай!

— Ну, так вот, весь замок теперь поставили вверх дном; одни заряжают пушку, другие

осматривают большие ворота и стены, стучат молотками и ставят заплаты, точно вовсе и не было ремонту, который тянулся так долго. Но что станет со мной, с вами, барышня, и с Людовико? О, когда я услышу пальбу из пушки, я, кажется, умру с испугу; только бы мне уловить минутку, когда будут отперты большие ворота, я бы уж отплатила им за то, что они так долго держали меня в плену в этих стенах. Больше они меня никогда бы не увидели!

Эмилия подхватила последние слова Аннеты.

— О, если б можно было уловить момент, когда ворота открыты, один только момент! — воскликнула она, — тогда я была бы спасена!

Тяжелый стон, сопровождавший эти слова, и дикость ее взора перепугали Аннету еще более, чем смысл ее речей; она умоляла Эмилию объяснить ей, что она хочет сказать.

У Эмилии вдруг мелькнула мысль, что Людовико может оказать некоторую помощь, если представится возможность бегства; вкратце она повторила Аннете все происходившее между нею и Монтони, но просила никому не говорить, кроме Людовико.

— Может быть, в его власти устроить наш побег, — прибавила она. — Ступай к нему, Аннета, расскажи ему все: и что мне угрожает и как много я уже выстрадала; но упроси его, чтобы он соблюдал тайну и, не теряя времени, попытался освободить нас. Если он согласен взять это на себя, он будет щедро награжден. Сама я не могу поговорить с ним, нас могут заметить, и тогда примут меры, чтобы помешать нашему бегству. Спешу, Аннета, и главное — не проболтайся. Я буду здесь ждать твоего возвращения.

Девушка, честное сердце которой было растрогано рассказом ее барышни, вспылала усердием и сейчас же побежала исполнять поручение Эмилии.

Обдумав известие, принесенное Аннетой, Эмилия пришла в еще большее удивление. «Увы! — думала она, — что могут сделать полицейские силы против такого укрепленного замка? Может ли быть, что они затеяли такое предприятие?» Но, подумав еще, она пришла к заключению, что шайки Монтони, вероятно, нягнали страх на весь окрестный край: теперь жители его взялись за оружие и вместе с полицейскими силами и отрядом солдат идут походом против замка. «Но они не знают, насколько сильно вооружен замок и как много войска в его стенах, — думала она. — Увы, погибли надежды! Только от одного бегства я и могу ждать спасения!»

Монтони, хотя и не был, как предполагала Эмилия, настоящим атаманом бандитов, но он посылал свои отряды в экспедиции не менее смелые и отчаянные, чем те, какие предпринимаются заправскими разбойниками. Его люди не только грабили беззащитных путешественников, но производили нападения с целью грабежа на виллы частных лиц, расположенные в уединенных местностях среди гор и неподготовленные к обороне. В этих экспедициях предводители партии не выставлялись вперед, а люди их, большей частью переодетые, иногда принимались за простых разбойников, а в других случаях за шайки чужеземных врагов, в то время наводнявших край. Но хотя люди Монтони уже разграбили несколько усадеб и привезли домой богатую добычу, однако до сих пор отважились подойти только к одному замку, при содействии других подобных отрядов, но из этого замка они были энергично оттеснены и подверглись преследованию со стороны чужеземных войск, вступивших в союз с осажденными. Войска Монтони поспешно отступили к Удольфскому замку, а противники гнались за ними по пятам, и когда первые достигли высот, лежащих по соседству с замком, и оглянулись назад на дорогу, то увидели, что колонна неприятеля извивается меж скал на расстоянии не больше мили. Тогда они пустились вскачь к замку, чтоб подготовить Монтони к встрече неприятеля; вот их-то прибытие и вызвало такую сумятицу и тревогу в замке.

В то время как Эмилия с нетерпением ожидала вестей снизу, она вдруг увидела в окно целый отряд войск, спускавшийся с соседних высот, и, хотя Аннета ушла лишь недавно и ей было дано трудное, опасное поручение, но Эмилию разбирало мучительное нетерпение: она прислушивалась, поминутно отворяла дверь и выходила в коридор навстречу Аннете.

Наконец она услышала шаги, приближающиеся к ее комнате; открыв дверь, она убедилась, что это вовсе не Аннета, а старый Карло. Он объявил, что его прислал сам синьор

с приказанием уведомить ее, что она должна собраться и тотчас же покинуть Удольфо, потому что замок подвергается осаде; уже приготовлены мулы и провожатые для доставки ее в безопасное место.

— Безопасное место! — необдуманно воскликнула Эмилия. — Разве же синьор так заботится обо мне?

Карло потупил глаза в землю и не отвечал.

Самые разнообразные чувства попеременно волновали Эмилию, пока она слушала старика Карло: радость, печаль, недоверие, страх сменялись в ее мыслях с быстротою молнии. Одну минуту ей представлялось невозможным, чтобы Монтони стал принимать подобные меры исключительно ради ее ограждения; ей казалось вообще странным, что он удаляет ее прочь из замка, и она приписывала это решение намерению привести в исполнение новый план мщения, которым он угрожал ей. Во всяком случае, она сильно обрадовалась перспективе покинуть замок, пока не вспомнила, что, может быть, Валанкур находится здесь в заточении. Тогда ее охватило горе и сожаление и она еще больше прежнего желала, чтобы слышанный ею поющий голос не оказался голосом Валанкура.

Между тем Карло напомнил Эмилии, что нельзя терять времени, — неприятель появился уже в виду замка; Эмилия умоляла его сказать ей, куда она поедет; после некоторого колебания он объявил, что ему не приказано говорить. Но когда она повторила свою просьбу, он нехотя отвечал, что, кажется, ее хотят увезти в Тоскану.

— В Тоскану! — воскликнула Эмилия, — но почему же именно туда?

Карло отвечал, что больше ничего не знает, кроме того, что ее поместят в деревенской хижине на границах Тосканы, у подножия Апеннин, — на расстоянии одного дня пути отсюда, прибавил он. Эмилия отпустила его и дрожащими руками принялась укладывать небольшой багаж, который намеревалась захватить с собою; пока она этим занималась, вернулась Аннета.

— Ох, барышня, — начала она, — знаете ли, ничего нельзя сделать! Людовико говорит, что новый привратник еще суровее Бернардина: лучше иметь дело с лютым драконом, чем с ним. Людовико еще больше вас тужит все из-за меня, как он уверяет, а я знаю, что не вынесу пальбы, умру с первого же выстрела!

Тут она заплакала, но немного оживилась, когда Эмилия рассказала ей о своем предстоящем отъезде; девушка попросила взять ее с собой.

— С большим удовольствием, — отвечала Эмилия, — но не знаю, позволит ли синьор Монтони.

Ни слова не говоря, Аннета прямо бросилась искать Монтони; он стоял на террасе, окруженный своими офицерами. Она тотчас же обратилась к нему со своей просьбой. Сердитым тоном он велел ей уходить в замок и наотрез отказал. Аннета просила не только за себя, но и за Людовико.

Монтони приказал своим людям поскорее убрать ее с глаз долой.

В отчаянии от понесенной неудачи Аннета прибежала к Эмилии; та не предвидела для себя ничего хорошего из этого отказа отпустить с ней Аннету; вскоре ей доложили, что ее просят в большой двор замка, где мулы уже готовы и провожатые ожидают ее. Эмилия тщетно старалась успокоить плачущую Аннету, которая упорно твердила, что никогда уже больше не свидится со своей милой, молодой госпожой: опасение довольно основательное, как втайне подумала ее госпожа, но она старалась скрыть свое огорчение и с напускным спокойствием простилась со своей преданной служанкой. Аннета проводила ее во двор, битком набитый людьми, готовившимися к встрече неприятеля; смотрела, как ее барышня села на мула и выехала из ворот со своими провожатыми, и только тогда бедная девушка вернулась в замок, заливаясь горькими слезами.

Между тем Эмилия, проехав под массивными подъемными решетками, когда-то поразившими ее страхом и смущением, скоро очутилась вне грозных стен замка; оглядываясь назад на мрачные дворы, уже не пустынные и безмолвные, как в тот день, когда она впервые увидела их, а полные народа, шумно готовящегося к обороне, она испытала,

несмотря ни на какие опасения за будущее, чувство узника, вырвавшегося на волю. Под влиянием этого радостного сознания, она не могла отнестись беспристрастно к опасностям, ожидавшим ее за пределами замка, в горах, где поминутно можно наткнуться на враждебные отряды, готовые воспользоваться всяким удобным случаем для грабежа; да и все это путешествие с провожатыми, лица которых отнюдь не внушали доверия, должно было пугать ее. Но в данную минуту она могла только радоваться, что вырвалась из этих стен, куда вступала когда-то с такими мрачными мыслями; и, вспоминая это суеверное предчувствие, она улыбнулась над тем, какое удручающее впечатление оно тогда произвело на нее.

Пока она глядела с этими чувствами на башенки замка, торчавшие высоко над лесом, по которому она ехала, ей пришел на память незнакомец, который, по ее догадкам, томится в неволе за теми стенами; тревога и опасение, не Валанкур ли это, как туча омрачили радость освобождения. Она припоминала все подробности, касающиеся этого неизвестного, с той ночи, когда она впервые услышала его игру и пение песней ее родины; все эти обстоятельства она и раньше обдумывала и взвешивала, не приходя ни к какому определенному выводу; они, как и теперь, только подтверждали ее мысли, что Валанкур находится в плену в Удольфском замке. Возможно, что эти двое людей, сопровождавших ее, могли дать ей разъяснение на этот счет, но она боялась расспрашивать их, думая, что каждый из них будет стесняться говорить в присутствии другого, поэтому она ждала случая поговорить с каждым порознь.

Вскоре раздался издалека слабый звук трубы; провожатые остановились и стали глядеть в ту сторону, откуда слышался звук, но густой лес скрывал окрестную местность; тогда один из эскортирующих взобрался на пригорок, откуда открывался более обширный вид, чтобы убедиться, далеко ли неприятель, приближение которого возвещала труба; другой провожатый остался при Эмилии; к нему-то она и обратилась с расспросами о незнакомце в Удольфском замке. Уго, — так звали этого человека, рассказал ей, что в замке есть несколько пленных; но он не знает их в лицо и не может определить, когда они приехали, следовательно, не может дать ей никаких сведений. Тон его был мрачный, угрюмый, и она заключила, что этот человек ни за что не удовлетворил бы ее любопытства, даже если бы мог.

На ее вопрос, какие пленные были приведены в замок около того времени, как она услышала музыку, Уго отвечал:

— Всю ту неделю я проходил с экспедицией в горах и не знал ничего, что делается в замке. У нас у самих было дела по горло.

Когда вернулся Бертран, другой ее провожатый, Эмилия не стала больше расспрашивать; он сообщил товарищу о том, что видел, и они продолжали путь в глубоком молчании. По временам сквозь прогалины виднелись части замка высоко на горе — западные башни с бойницами, теперь облепленными стрелками, и укрепления внизу, где бегали солдаты или суеились вокруг пушки.

Выбравшись из леса, путники направились по долине в сторону, противоположную той, откуда подходил неприятель. Теперь перед Эмилией предстал во всей красе Удольфский замок с его серыми стенами, башнями и террасами, высоко громоздясь над пропастями и над темными лесами и местами сверкая оружием кондотьеров, когда лучи солнца, выглянув из-за осенней тучи, озаряли эту часть замка, тогда как остальные части тонули в тени. Эмилия сквозь слезы долго глядела на замок, где, может быть, томился Валанкур; теперь туча пронеслась мимо, и замок внезапно весь засиял при солнечном свете и вслед за тем сразу поблек. Мимоходом сияние солнца озарило верхушки леса, уже тронутые осенней золотистой желтизной. Наконец, замок скрылся из виду за горой, и мысли Эмилии печально обратились к другим предметам. Унылые вздохи ветра между сосен, качавшихся высоко над кручами, отдаленный грохот потока способствовали ее задумчивому настроению и заодно с окружающей дикой природой навевали на ее душу грезы, не лишённые отрады. Как вдруг они были прерваны отдаленным ревом пушки, эхом разнесшимся в горах. Звуки доносились

ветром, повторялись сначала громко, потом все слабее и слабее, наконец, замирали слабым шепотом. Пушка подала сигнал, означающий, что неприятель достиг замка; от страха за Валанкура опять сжалось сердце Эмилии. Она обратила тревожный взгляд в сторону замка, но высоты скрывали его из виду; все же она увидела высокую вершину той горы, которая высилась как раз против окон ее комнаты, и на эту вершину она устремила свой взор, как будто она могла поведать ей, что творится у ее подножия. Провожатые два раза уже напоминали ей, что нельзя терять времени, что ехать далеко, но она долго не могла оторваться от интересовавшего ее зрелища. Даже когда они снова двинулись в путь, пока еще виднелся над другими горами заветный голубоватый шпиг, озаренный выглянувшим солнцем.

Пушечная пальба раззадорила Уго, как военная труба кавалерийского коня; этот звук пробудил его пламенную отвагу. Он мечтал очутиться поскорее в огне боя и по временам посылал проклятия Монтони за то, что тот, как нарочно, удалил его из замка; чувства его товарища были, по-видимому, совсем иного рода и были направлены к зверствам, сопровождающим войну, а не к жажде опасностей.

Эмилия неоднократно пробовала узнать, куда собственно ее везут, но ей сумели объяснить только одно — что она едет в Тоскану, где будет жить в деревенском домике. Всякий раз, как она заговаривала об этом, она замечала на лицах своих спутников выражение злобной хитрости, и это ее тревожило.

Наши путники выехали из замка уже после полудня. Несколько часов они ехали по пустынной, уединенной местности, где ничто не нарушало безмолвия: ни блеяние овец, ни лай сторожевой собаки; теперь они отъехали так далеко, что до них не доносился даже грохот пушки. К вечеру они стали спускаться по крутой, обрывистой горе, поросшей темными кипарисами, соснами и кедрами, а лощину, до того дикую и пустынную, что если бы Уединение имело определенное жилище, то здесь был бы ее любимый приют. Эмилия подумала: «вот подходящий притон для разбойников!» и в воображении своем уже видела их, как они выглядывают из-за нависшей скалы, откуда тени их, удлинённые заходящим солнцем, тянутся через дорогу и предупреждают путника об угрожающей опасности. Она вздрагивала при этой мысли, оглядываясь на своих спутников, чтобы убедиться, хорошо ли они вооружены, и вдруг ей казалось, что они-то и есть те самые бандиты, которых она страшится!..

В этой лощине они намеревались сделать привал.

— Скоро наступит ночь, — сказал Уго, — и тогда из-за волков опасно будет останавливаться.

Для Эмилии эти волки были новым поводом к страху, но это тревожило ее все-таки меньше, чем перспектива остаться в этом диком месте одной, с глазу на глаз с подобными спутниками. Ей пришли в голову мрачные, страшные догадки о целях Монтони, пославшего ее сюда в таком обществе. Она пробовала отговорить людей от остановки и с беспокойством спросила их, далеко ли осталось ехать.

— Несколько миль еще, — отвечал Бертран. — Коли вам, синьора, не хочется покушать — это ваше дело! А уж мы-то не прочь сытно поужинать, пока есть возможность. Необходимо подкрепить силы: они нам понадобятся еще до окончания пути. Солнце заходит. Сядем-ка вон там, под скалой.

Товарищ его согласился и, свернув мулов в сторону от дороги, они направились к скале, увенчанной кедрами. Эмилия молча, вся дрожа, последовала за ними. Ее сняли с седла и, усевшись на траву у подножия скалы, вынули из сумки незатейливые припасы. Эмилия старалась съесть хоть немного, чтобы замаскировать свои опасения.

Солнце уже опустилось за высокие горы на западе; золотистая мгла стала разливаться по всей местности, и скоро полумрак окутал окружающие предметы. Эмилия уже без наслаждения прислушивалась к тихому, печальному шепоту бриза, проносившемуся между деревьев, — эти звуки слишком гармонировали с дикой окружающей природой и наводили на нее гнетущую тоску.

Участь пленника, заключенного в Удольфском замке, так сильно беспокоила ее, что, не имея возможности говорить об этом с Бертраном наедине, она повторила свои вопросы в присутствии Уго, но он или в самом деле ничего не знал о незнакомце, или притворялся незнающим. Покончив с этим предметом, он заговорил с Уго о чем-то другом. Разговор случайно коснулся синьора Орсино и того дела, из-за которого он был изгнан из Венеции. По этому поводу Эмилия рискнула сделать несколько вопросов. По-видимому, Уго был хорошо знаком с обстоятельствами этого трагического случая и кстати рассказал некоторые подробности, поразившие и возмущившие Эмилию; ей показалось странным, что этот человек знает такие вещи, которые могли быть известны лишь очевидцам убийства.

— Знатный был вельможа этот убитый, — говорил Бертран, — а то правительство не стало бы трудиться разыскивать убийцу. До тех пор синьору Орсино везло счастье — ведь это уже не первое подобное дело на его душе; разумеется, если дворянину иначе нельзя добиться удовлетворения, так поневоле и на такое дело пустишься...

— Да, конечно, — заметил Уго. — Чем же это средство хуже всякого другого? По крайней мере сразу покончить, и дело с концом! Коли обращаться в суд, то ведь приходится ждать, сколько вздумается судьям, да пожалуй еще проиграешь процесс. Поэтому лучше всего самому оградить свое право и сотворить правосудие собственной рукой.

— Да, да, — подтвердил Бертран, — с судами возня большая, не стоит и мараться. Ну, скажите на милость: если мне требуется хорошенько расправиться с приятелем, как мне это сделать? Держу пари на десять против одного, что его сочтут правым, а меня — виноватым. Или если человек владеет собственностью, которую я считаю своей. Жди, пока закон мне ее присудит, — успеешь околеть с голоду, да и то еще вдруг судье вздумается объявить, что спорная собственность должна принадлежать ему, а не мне. Что тогда? Дело ясное: я должен распорядиться по-своему!..

Эмилия содрогалась, слушая эти речи; ей казалось, что последние слова относились прямо к ней, что эти головорезы получили от Монтони поручение совершить над нею правосудие в таком же духе.

— Возвращаясь к синьору Орсино, — продолжал Бертран. — Он из таких, что любят действовать, не задумываясь. Помню, лет десять тому назад у синьора произошла ссора с одним кавальеро из Милана. Мне тогда еще рассказали эту историю, а она до сих пор свежа у меня в голове. Повздорили они из-за одной дамы, которая нравилась синьору, а она была настолько лишена вкуса, что предпочитала дворянчика из Милана и даже задумала выйти за него замуж. Это, конечно, взбесило синьора; он уговаривал даму и так, и этак; посылал даже музыкантов к ней под окна играть ей серенады вечером; сочинял ей стихи и клялся, что красивее, ее нет женщины в Милане. Но все это не помогало; никак не удавалось урезонить глупую. И вот она обвенчалась с тем кавальеро. Синьор наш разозлился и решил отомстить. Он стал подкарауливать случай, и недолго ему пришлось ждать: вскоре после свадьбы они поехали в Падую, ни мало не подозревая, что им готовится. Кавальеро воображал, что его не призовут к отчету и торжествовал; но скоро ему пришел конец.

— Разве та дама давала слово синьору Орсино? — спросил Уго.

— Давала слово? И не думала! — отвечал Бертран. — У нее даже не хватило ума уверить его, что он ей мил; она напрямик говорила совсем другое и никогда не обещала полюбить его. Вот это-то больше всего и бесило синьора. Да и не мудрено: кому же приятно слышать, что он противен? А выходило почти что так. Достаточно было высказать ему это в глаза — зачем же было еще выходить замуж за другого?

— Как? Разве она вышла замуж назло, чтобы досадить синьору? — удивился Уго.

— Уж не знаю, но, говорят, она очень любила того другого. А все же ей не следовало выходить за него и злить синьора понапрасну. Могла она подозревать, что ее ожидает, — сама же и виновата. И вот, как я уже говорил, собрались они ехать в Падую — она с мужем, и дорога пролегла по таким же пустынным местам, вот как эти. А синьору это было на руку. Он подкараулил время их отъезда и послал своих людей за ними следом, с приказаниями, что им делать. Они держались поодаль до тех пор, пока не представился удобный случай, и

приключилось это не раньше, как на другой день пути. Дворянчик послал своих людей вперед в ближайший город, может быть, заказать свежих лошадей; люди синьора Орсино поспешили и настигли экипаж в ущелье между двух гор, где за лесом люди молодой четы не могли видеть, что делается, хотя они еще не успели далеко отъехать. А мы тут как тут; они нацелили свои tromboni, но промахнулись.

При этих словах Эмилия побледнела; потом у нее мелькнула надежда, что она, вероятно, не так поняла его. А Бертран продолжал свое повествование:

— Молодой муж выстрелил; но его скоро заставили выйти из экипажа. И в ту минуту, когда он повернулся, чтобы позвать своих слуг, — тут его и пристукнули. Такой ловкой, проворной штуки я никогда в жизни не видывал — разом воткнули ему три стилета в спину. Он свалился, как сноп, — и готово дело! Синьора спаслась; слуги услышали выстрелы и прибежали прежде, чем успели и с нею покончить. «Бертран», — говорит синьор, когда его люди вернулись...

— Бертран! — воскликнула Эмилия, бледная от ужаса: она не пропустила ни единого слова из этого страшного рассказа.

— Разве я сказал: «Бертран»? — смутился человек. Нет, бишь, Джиованни... Но я забыл, на чем остановился. «Бертран», — говорит синьор...

— Опять Бертран! — прервала его Эмилия слыбым голосом. — Почему вы повторяете это имя?

У Бертрана вырвалось ругательство.

— Разве это важно, — продолжал он, — как звали того человека? Ну, Бертраном или Джиованни или Роберто... все едино! Вы уже дважды перебиваете меня. Бертран или Джиованни — не все ли равно? «Бертран, — говорит синьор, — если бы твои товарищи исполнили свой долг так же хорошо, как ты, я не лишился бы моей дамы. Ступай, честный парень, и будь счастлив. Вот тебе награда». Он дал ему кошелек с золотом — довольно маленький, надо сознаться, за такую важную услугу...

— Да, да, — подтвердил Уго, — не больно-то раскошелился!

Эмилия с трудом дышала и от слабости едва держалась на ногах. Когда она впервые увидела этих людей, то их физиономий и связи их с Монтони было уже достаточно, чтобы поселить в ней недоверие; а теперь вдобавок один из них выдал себя и почти признался, что он убийца! Каково же ей было очутиться ночью под его охраной, среди дикой, пустынной местности, в горах, направляясь неизвестно куда! Ее охватил леденящий ужас, тем более нестерпимый, что ей приходилось скрывать его от своих спутников. Она вспоминала злой нрав и угрозы Монтони, и ей представлялось вполне вероятным, что он нарочно отдал ее во власть этих злодеев с той целью, чтобы они зарезали ее и, таким образом, доставили ему возможность без дальнейших препятствий и проволочек овладеть поместьями, которых он так давно и так отчаянно добивался. А между тем, если таков был его умысел, то какая ему была надобность отсылать ее так далеко от замка? Если боязнь разоблачения и удерживала его от совершения убийства в замке, то не трудно было найти поблизости укромное место, где это убийство можно было скрыть. Эти соображения, однако, не сразу пришли ей в голову. У нее было так много поводов к беспокойству, что ей не удавалось совладать с собой и хладнокровно обсудить все дело; но если бы даже она рассуждала хладнокровно, то и тогда оставалось бы много причин, вполне оправдывающих самые ужасные опасения. Она не смела заговорить со своими провожатыми; при одном звуке их голосов она вся дрожала; украдкой поглядывая на них, она видела, что выражение их лиц, смутно различаемое в сумерках, еще более подтверждает ее страхи.

Прошло некоторое время после заката; густые тучи, нижний край которых окрашивался мрачным багрянцем, скопились на западе и бросали красноватый отблеск на сосновый лес, в котором уныло завывал ветер. Его глухие стоны отзывались в сердце Эмилии и придавали еще более мрачный, ужасающий характер окружающим предметам — горам, окутанным вечерней тьмою, сверкающему потоку, ниспадающему вниз с глухим ревом, и глубокой лощине, пересеченной утесами, осененной кипарисами и смоковницами и

теряющейся вдаль в густых потемках. Эмилия взглянула вдаль тревожным взглядом, и ей показалось, что лошине этой нет конца: нигде не видно ни хижины, ни шалаша; не слышно хотя бы отдаленного лая сторожевой собаки, ни малейшего деревенского звука не доносилось ветром. Дрожащим голосом она осмелилась напомнить своим спутникам, что становится поздно, и спросить еще раз далеко ли осталось до цели? Но они были слишком заняты своей беседой, чтобы обратить внимание на ее вопрос, а она не повторила его, боясь вызвать суровый ответ. Вскоре, однако, люди, окончив свой ужин, собрали остатки в котомку и в молчании двинулись дальше по извилистой долине; тем временем Эмилия опять задумалась о своем путешествии и о побуждениях Монтони, поставившего ее в такое положение. Она не сомневалась, что это было сделано с каким-нибудь дурным умыслом; если он и не имел намерения погубить ее жизнь, чтобы немедленно захватить ее поместья, то он во всяком случае рассчитывает держать ее взаперти в укромном месте, для какой-нибудь еще более ужасной цели, такой, которая удовлетворила бы и его алчность и его злобную месть. В эту минуту воспоминание о синьоре Броккио и его наглom поведении в коридоре несколько дней тому назад подтвердило ее последнюю догадку. Но, спрашивается, зачем было удалять ее из замка, где часто совершались темные деяния под покровом ночи, из покоев, запятнанных полночными кровавыми убийствами?

Теперь страх перед тем, что ей предстоит встретить, дошел до такой степени, что она почти теряла сознание; то и дело ей приходила на ум мысль о покойном отце; и ей думалось, как он страдал бы, если б мог предвидеть странные и ужасные события ее дальнейшей жизни, и как он старался бы избежать своей роковой доверчивости, побудившей его отдать свою дочь на попечение женщине такой слабой, какою была г-жа Монтони. Действительно, ее теперешнее положение представлялось самой Эмилии до такой степени романтическим и невероятным, в особенности если сравнить его со спокойствием и безмятежностью ее прежней жизни, что минутами она воображала себя жертвой каких-то страшных видений, овладевших ее больной фантазией.

При этих людях она принуждена была сдерживаться, не давать волю своим страхам; и она впала наконец в немое, мрачное отчаяние. Ужасная перспектива того, что ее ожидало, делала ее почти равнодушной к окружающим опасностям. Теперь она уже без волнения смотрела на дикую ложбину, на темную дорогу, на мрачные горы, очертания которых едва виднелись в сумраке. Эти предметы еще так недавно сильно волновали ее душу и, вызывая страшные картины будущего, придавали им свою собственную мрачную окраску.

Почти совсем смерклось, и путешественники, подвигавшиеся медленным шагом, едва могли различать дорогу. Грозовые тучи тихо ползли по небу и только по временам показывались трепетные звезды; купы кипарисов и смоковниц на вершинах скал качались от ветра; который проносился по ложбине и устремлялся в далекие леса. Эмилия вздрагивала при каждом порыве ветра.

— Где у тебя факел? — сказал Уго, — становится темно.

— Не так еще темно, — возразил Бертран, — пока можно найти дорогу, лучше не зажигать факела — он может нас выдать, если попадется навстречу какой-нибудь заблудившийся неприятельский отряд.

Уго что-то пробормотал, чего Эмилия не могла разобрать, и они продолжали двигаться в потемках; она почти желала встретиться с неприятельским отрядом, так как хуже своего теперешнего положения она все-таки не могла себе представить.

Пока они медленно шли вперед, ее внимание было привлечено тонким остроконечным пламенем, иногда появлявшимся на кончике пики, которую нес в руке Бертран; оно было похоже на то, которое она наблюдала на копье часового в ту ночь, когда умерла г-жа Монтони; тогда говорили, что это предзнаменование. Так как вслед затем и случилось печальное событие, то предсказание, по-видимому, оправдалось, и это произвело суеверное впечатление на Эмилию, еще более укрепившееся теперь, когда она увидала такое же пламя на пике провожатого. Ей представилось, что оно предвещает ее собственную злую судьбу, и она в мрачном безмолвии наблюдала, как огонек то загорался, то пропадал. Молчание

наконец было прервано Бертраном,

— Надо зажечь факел, — молвил он, — и спрятаться под защиту деревьев в лесу, там надвигается гроза; смотрите-ка на мое копьё.

Он протянул его вперед — с маленьким пламенем, мелькавшим на кончике¹

— Ну, — конечно; — отвечал Уго, — ты ведь не из таких, что верят в предзнаменования: в замке у нас осталось немало трусов, — вот те побледнели бы от страха, кабы увидали такую штуку. Ну а я не раз видывал то же самое перед грозой — оно предвещает грозу. Смотри, и теперь собирается гроза. Ишь как несутся тучи...

Этот разговор успокоил Змалию насчет одного из ее суеверных страхов, зато реальные страхи еще усилились. Остановившись и, ожидая, пока Уго отыщет огниво и высечет огня, она наблюдала, как вспыхивала бледная молния, озаряла лес, в который они вступили, и освещала суровые лица ее спутников. Уго не мог отыскать огнива, а Бертран сердился; в отдалении слышались глухие раскаты грома, молния вспыхивала все чаще и чаще. Порою озарялись то ближайшая чаща леса, то макушки деревьев, или вдруг вспыхивали ярким светом части почвы, причем все остальное тонуло в глубокой тьме под густой листвой деревьев.

Наконец Уго отыскал огниво, и факел был зажжен. Тогда люди спешили, помогли сойти и Эмилии, затем повели мулов к лесу, окаймлявшему ложбину слева, по кочковатой местности, усеянной сухим хворостом и дикими растениями, которые надо было объезжать.

Приближаясь к лесу, Эмилия еще глубже прониклась сознанием своей опасности. Глубокое безмолвие, царившее в чаще, за исключением тех моментов, когда проносился ветер между ветвей; непроницаемая тыла, лишь по временам озаряемая внезапной вспышкой молнии; красноватое пламя факела, от которого окружающий мрак казался чернее, — все это еще более разжигало ее ужасные опасения; ей казалось даже, что теперь лица ее спутников стали еще более зверскими и что на них кроме того замечается лукавая радость, которую они, видимо, старались скрыть. Ее запуганное воображение говорило ей, что они завлекли ее в лес нарочно, чтобы привести в исполнение замысел Монтони лишить ее жизни. При этой ужасной догадке из глубины ее души вырвался стон, удививший ее спутников, которые резко повернулись к ней; она спросила их, зачем они завели ее в лес, и умоляла продолжать путь по открытой долине, где более безопасно во время грозы.

— Нет, нет, — сказал Бертран, — нам лучше знать, где опасность! Смотрите, как тучи разверзаются у нас над головами... Кроме того, мы можем пробираться под прикрытием леса с меньшим риском быть замеченными на случай, если нам попадутся навстречу отряды неприятеля. Клянусь св. Петром и прочей братией, у меня храбрая душа, я не хуже другого, это мог бы засвидетельствовать не один бедняга, если б был жив о сю пору, но что поделаешь против численного превосходства?

— Ну, о чем ты ноешь? — презрительно отозвался Уго. — Кто этого боится, численного-то превосходства? Пускай себе приходит их сколько угодно, хоть столько, чтобы наполнить весь замок синьоров: я покажу мошенникам, как сражаются! А ты, приятель, лежи себе тихонько в сухой канаве, выглядывай оттуда да наблюдай, как побегут негодяи! Кто говорит, что трусит?

Бертран отвечал с грубой бранью, что он таких шуток не любит; завязалась горячая ссора; спорящих заставил замолчать страшный раскат грома, прокатившийся издалека и грянувший над их головами с такой силой, что, казалось, потряс землю до самых недр ее. Злодеи примолкли и переглянулись. Меж древесных стволов вспыхивала и трепетала голубоватая молния; сквозь листву Эмилия видела вдали горы, по временам облитые с вершины до основания бледно-синеватым огнем. В эту минуту она, быть может, менее страшилась грозы, нежели ее спутники: ее одолевали страхи другого рода. Провожатые остановились теперь под огромным каштановым деревом и воткнули свои пики в землю на

¹ См. Аббата Бертелона об электричестве

некотором расстоянии. Эмилия не раз замечала, как на их железных наконечниках сверкала молния и, поскользнув вниз, пропадала в земле.

— Жалею, что мы не сидим теперь преспокойно в замке у синьора! — заявил Бертран. — Не знаю, зачем послали нас с этим поручением. Ишь ты, как гремит наверху. Право, я готов бы постричься в монахи и начать молиться Богу. У нашего Уго даже и четки есть!

— Нет, — возразил Уго, — предоставляю таким трусам, как ты, таскать с собой четки. А я ношу меч!

— И какая тебе польза в твоём мече, — ведь им нельзя бороться против грозы! — заметил Бертран.

Новый раскат грома, повторенный оглушительным эхом в горах, на минуту заставил их замолчать. Когда он миновал, Уго предположил идти дальше.

— Здесь мы только время теряем, — сказал он, — густая чаща в лесу защитит нас не хуже, чем это каштановое дерево.

Опять повели мулов вперед, меж стволов, но не по тропинке, а прямо по траве, скрывавшей торчащие, узловатые корни. Поднявшийся вихрь боролся с грозой; он бешено метался между ветвей наверху, раздувал багровое пламя факела, озарявшего лес, и обнаруживал темные закоулки, подходящее убежище для волков, о которых упоминал Уго.

Наконец порывистый ветер как будто развеял грозу, раскаты грома раздавались все дальше, глуше и наконец стали едва слышны. Проплутав по лесу около часу, в течение которого стихии, по-видимому, успокоились, путники, постепенно подымаясь из ложбины, очутились на открытой вершине горы; у ног их расстилалась широкая долина, облитая туманным сиянием луны, а наверху трепетало голубое небо сквозь тонкий слой облаков, еще остававшихся после грозы и медленно опускавшихся к горизонту.

Выйдя из лесу, Эмилия начала понемногу ободряться духом, она соображала, что если этим людям было приказано погубить ее, то они, вероятно, привели бы в исполнение свое злодеяние в том диком, уединенном лесу, откуда они только что вышли, — там оно по крайней мере было бы скрыто от людских взоров. Успокоенная этим размышлением и присмирившим видом своих провожатых, Эмилия с наслаждением залюбовалась красотой дремлющей долины, куда они спускались, молча пройдя по узкой овечьей тропинке, извивавшейся по опушке леса. Долина представляла разнообразную местность — леса, пастбища, склоны — и была защищена с севера и востока уступами Апеннин, выделявшихся на горизонте изящными, разнообразными очертаниями; на западе и на юге местность смутно сливалась с низменностями Тосканы.

— А вон там и море, — сказал Бертран, точно угадав, что Эмилия наблюдает ландшафт при слабом свете сумерек, — оно на западе, да только еще не видать его!

Эмилия уже замечала перемену в климате после дикой горной дороги, только что оставленной ими; по мере того, как они спускались вниз, воздух сильнее благоухал ароматом бесчисленных и безымянных цветов, рассеянных в траве; аромат был особенно силен после дождя. Такой успокоительной, такой прекрасной была окружающая картина, такой поразительный контраст представляла она с угрюмым величием той природы, среди которой она жила все это время, и с нравами людей, окружавших ее, что ей почти казалось, будто она опять попала в свою родимую «Долину». Удивляясь, зачем Монтони прислал ее сюда, она не могла поверить, чтобы он выбрал этот очаровательный уголок для какой-нибудь жестокой цели. Но, по всей вероятности, на его выбор повлияла не сама местность, а люди — ее случайные обитатели, которым он мог безопасно доверить выполнение своих планов.

Теперь она снова попыталась спросить своих спутников, далеко ли еще до места назначения. На это Уго отвечал, что уже близехонько.

— Надо дойти только до той каштановой рощи, вон там в долине, потом переправиться через ручей, что так сверкает при лунном свете; желал бы я поскорее туда добраться и отдохнуть за бутылкой доброго тосканского вина и куском ветчины!

Эмилия ободрилась, услышав, что путешествие подходит к концу; она уже ясно

различала рощу каштановых деревьев на открытой части долины у самой реки.

В скором времени они достигли этой рощи и увидали между листвою огонек, сиявший из окна далекой хижины. Шли еще некоторое время по берегу речки к тому месту, где частые деревья, столпившись над нею, не пропускали лунных лучей, но длинная полоска света из окна хижины сверху перерезала ее темную, колыхающуюся поверхность. Бертран шел впереди; Эмилия услышала, что он стучится в дверь хижины и громко зовет ее обитателей. Когда она подошла к избушке, маленькое верхнее окошко, где виднелся свет, открылось и показался какой-то человек; он осведомился, кого им нужно, потом сейчас же сошел вниз, впустил их в опрятную деревенскую избушку и велел жене подать путешественникам закусить. Пока человек этот беседовал в сторонке с Бертраном, Эмилия с тревогой наблюдала его. Это был высокий ростом, но довольно хилый крестьянин с желтым цветом кожи и пронзительным, хитрым взглядом. Его лицо не располагало к себе, и в его обращении тоже не было ничего привлекательного, в особенности для свежего человека.

Уго нетерпеливо требовал ужина; таким тоном, как будто сознавал, что здесь признают его авторитет.

— Я ждал вс с часок тому назад, — сказал хозяин, — вот уже три часа, как я получил письмо синьора, потом мы с женой перестали ждать и улеглись спать. Ну, хорошо ли ехали в грозу-то?

— Неважно, — отвечал Уго, — да и здесь нам, видно, плохо будет, если вы не поторопитесь. Давайте нам побольше вина, да посмотрим, что у вас есть съестного?

Крестьянин поставил перед ними все, что нашлось в его хижине: ветчину, вино, фиг и виноград, такого крупного и ароматного, какой Эмилии редко случалось видеть.

После ужина жена крестьянина отвела ее в маленькую спальню; там Эмилия задача ей несколько вопросов, касающихся Монтони. На эти вопросы женщина, которую звали Дориной, давала сдержанные ответы, говоря, что не знала о намерениях «эчеленцы» прислать сюда Эмилию, но признавалась, что муж ее был извещен об этом. Убедившись, что от нее не добьешься ничего путного, Эмилия отпустила Дорину и удалилась на покой; но бурные события, только что пережитые, и беды, ожидаемые впереди, осаждали ее встревоженную душу и вместе с новизною положения упорно отгоняли сон.

ГЛАВА XXXII

*Кругом картины мира и покоя;
И рощи свежие, и тихие лужайки,
Цветы душистые, как опоенные
Сонным дурманом маков, зеленые пригорки,
Где не ступала еще нога живого существа...
Бесчисленные светлые ручьи играют,
Свои искристые струи повсюду посылая.
Струи не ведают покоя, а между тем баюкают своим
журчаньем.*

Томсон

Утром, отворив окно, Эмилия была поражена окружающей красотой. Домик стоял в самой чаще, состоявшей главным образом из каштанов в перемежку с кипарисами, рябиной и дикой смоковницей. Из-за темных раскидистых ветвей виднелись на востоке лесистые Апеннины; они высились величественным амфитеатром, но уже не чернея соснами, как Эмилия привыкла видеть их, а увенчанные на вершинах вековыми лесами каштанов, дубов и восточных платанов, теперь расцвеченных роскошными осенними красками; леса эти густой массой спускались вниз в долину и лишь кое-где выступали из-за зелени гордые скалистые утесы, по временам сверкая на солнце. У подножия гор тянулись виноградники; там картину оживляли местами изящные виллы тосканской знати, расположенные на склонах, поросших рощами оливковых, тутовых, померанцевых и лимонных деревьев. Равнина, куда спускались

склоны, была тщательно возделана и пестрые ее оттенки стушевывались в общую гармонию при лучах итальянского солнца. Виноградные лозы, алея пурпуровыми гроздьями между порыжелой листвы, ниспадали роскошными фестонами с высоких фиговых и вишневых деревьев; пастибща, сочные и богатые, какие Эмилия редко видела даже в Италии, простирались по берегам реки, которая, вытекая из гор, извивалась по всей равнине и впадала в морскую бухту. Там, далеко к западу, вода, сливаясь с небесами, принимала бледно-лиловый оттенок, и раздельная линия между ними лишь по временам обозначалась движением вдоль горизонта паруса, сверкавшего на солнце.

Хижина, защищенная густыми деревьями от знойных полуденных лучей и открытая лишь вечерним лучам солнца, совсем исчезала среди виноградных лоз, фиговых деревьев и кустов жасмина с такими крупными, душистыми цветами, каких Эмилия никогда еще не видывала. Зреющие гроздья винограда висели вокруг ее оконца. Дерн у подножия деревьев был усыпан множеством диких цветов и ароматических растений, а на противоположном берегу реки виднелась роща лимонных и апельсиновых деревьев. Эта роща хотя и находилась против самого окна Эмилии, но не заслоняла вида, а оттеняла своей темной листвой эффектность перспективы. Словом, это местечко было земным раем и его безмятежное спокойствие незаметно передавалось ее измученной душе.

Скоро ее позвала завтракать дочь крестьянина, девушка лет семнадцати, с приятным личиком, на котором Эмилия с удовольствием прочла самые прекрасные душевные качества, тогда как на лицах других обитателей хижины были написаны суровые, дурные наклонности: жестокость, хитрость и двоедушие; к этому последнему типу принадлежали лица крестьянина и его жены.

Маделина не отличалась стовоохотливостью, но все, что она говорила, было сказано кротким голосом и скромным, милым тоном, понравившимся Эмилии. Она завтракала за отдельным столиком с Дориной, тогда как Уго и Бертран закусывали тосканской ветчиной и пили вино вместе с хозяином, расположившись у дверей хижины. Окончив есть, Уго поспешно встал и потребовал своего мула. Эмилия узнала, что он должен вернуться в Удольфский замок, а Бертран останется в хижине; это обстоятельство не удивило ее, тем не менее сильно встревожило.

Когда Уго уехал, Эмилия собралась было погулять в соседнем лесу; но ей объявили, что она не может уходить из хижины иначе, как в сопровождении Бертрана, и она отказалась от своего намерения и ушла в свою спальню. Глаза ее устремились на гряды высоких Апеннин, громоздящихся вдаль, и она вспомнила дикие местности в этих горах и все страхи, испытанные ею прошлой ночью, особенно в тот момент, когда Бертран проговорился, что он убийца. Эти воспоминания пробудили ряд образов, хоть немного отвлекавших ее от непосредственных забот о своей участи, и она сложила их в следующие строки, радуясь, что нашла невинное средство скоротать часы навзгоды.

ПИЛИГРИМ

Чрез Апеннины тихо окровавленными стопами
Благочестивый странник держит одинокий путь.
Несет он к алтарю Лоретской святой Девы
Лепту скромную, собранную усердными трудами.
На высях гор потух холодный луч вечерний,
И, погрузившись в полумрак, уснула вся долина.
И вот последняя золотая полоса
На западе печально догорает.
Над головой его тоскливо стонут сосны.
Когда проносится вверху ночная бриза.
Внизу поток бурлит и в скалы ударяет.
Остановился пилигрим над бездною крутою,
Затем в долину вниз шаги свои он направляет.

Вот смутно крест отшельника виднеется вдали
На выете скалы: там странник может отдохнуть,
Прилечь в пещере у святого старца.
Уснуть на ложе из сухих ветвей и листьев.
Несчастный! не чует он предательской судьбы!
Тут за скалой разбойник притаился.
Идет вперед наш пилигрим и тихо псалм поет.
Одним прыжком кидается злодей на богомольца.
Несчастный кровью истекает, уже глаза его померкли,
Но кроткий дух не знает мести,
И умирает он с молитвой на устах за своего убийцу.

Предпочитая уединение своей комнатки разговорам с обитателями нижнего этажа, Эмилия отобедала одна. Маделине позволили ей прислуживать; из ее немудрой беседы Эмилия узнала, что крестьянин и его жена давно живут в этой хижине, приобретенной для них синьором Монтони в награду за какую-то важную услугу, оказанную ему много лет тому назад Марко, который был близким родственником старого Карло, управляющего замком.

— С тех пор прошло так много лет, — говорила Маделина, — что я ничего об этом не знаю, но видно, мой отец сделал для синьора что-то очень хорошее, по крайней мере, матушка говорит, что за эту услугу мало заплатить избушкой.

Эти замечания Эмилия выслушала с каким-то жутким интересом, так как они придавали мрачную окраску характеру этого Марко, — несомненно, что эта услуга, оказанная им синьору Монтони, была преступного свойства. А если так, то Эмилия имела полное основание думать, что она была прислана сюда и отдана в руки этого человека с каким-нибудь отчаянным умыслом.

— Не слыхала ли ты, сколько лет тому назад все это случилось? — спросила Эмилия, вспоминая об исчезновении синьоры Лаурентини из Удольфского замка. — Как давно отец твой оказал синьору услугу, о которой ты говорила?

— Это было незадолго перед тем, как мы переселились в этот дом, синьора, — отвечала Маделина, — значит, лет восемнадцать тому назад.

Это почти совпадало с тем временем, когда синьора Лаурентини, как ей рассказывали, исчезла из замка; Эмилии пришло в голову, что Марко был сообщником в этом таинственном деле, а может быть, даже действовал в качестве убийцы! Это ужасное предположение заставило ее так глубоко задуматься, что она не заметила, как Маделина вышла из комнаты. Некоторое время Эмилия как будто не сознавала ничего, что происходило кругом. Наконец слезы принесли ей облегчение; поплавав, она почувствовала некоторое успокоение духа и перестала трепетать от предчувствия бед, которых, может быть, никогда и не случится; она нашла в себе достаточно решимости, чтобы забыть на время свои заботы. Вспомнив о нескольких книгах, которые она, даже второпях отъезда из Удольфского замка, успела сунуть в свой маленький чемодан, она выбрала одну из них и села у своего веселого оконца; глаза ее попеременно переносились от страниц книги к волшебному ландшафту и красота окружающей природы скоро навела на нее тихую меланхолию.

Так она просидела в одиночестве весь вечер, наблюдая, как солнце склонилось к западу, бросая роскошные снопы света на далекие горы и сверкая на отдаленном океане и ходячих парусах, перед тем как погрузиться в волны. Затем в задумчивый час сумерек ее мысли с нежностью вернулись к Валанкуру; опять она припомнила все подробности, относящиеся к полнотной музыке, и все, что дало ей повод догадываться о заточении Валанкура в замке; и придя к уверенности, что слышанный ею голос был его голосом, она мысленно оглянулась на его мрачное место заточения с чувством горя и жалости.

Освеженная прохладным благоухающим воздухом, успокоенная и убаюканная до состояния тихой меланхолии нежным журчаньем ручья внизу и шепотом леса, она

замешкалась у окошка долго после заката солнца, наблюдая, как тьма расстилается по долине и как все погружается в мрак — только общие очертания гор еще виднелись на горизонте. Но вслед за тем наступила ясная лунная ночь и придала всему ландшафту то, что дает время картинам былой жизни, когда оно стушевывает все их грубые штрихи и бросает на все смягчающую тень. Сцены жизни в «Долине» на рассвете ее юности, когда ее охраняли горячо любимые родители, являлись в воспоминании Эмилии очаровательно прекрасными и возбуждали горькие сравнения с ее теперешней судьбой. Не желая подвергаться грубому обращению крестьянки, Эмилия осталась в своей комнатке без ужина, и опять много плакала, думая о своем одиноком, опасном положении. Эти размышления лишили ее последней твердости: у нее явилось желание поскорее освободиться от тяжелого бремени жизни, так долго угнетавшего ее, — она молила Бога, как милости, поскорее прибрать ее...

Истомленная слезами, она наконец легла на свой тюфяк и погрузилась в сон, но скоро была разбужена стуком в дверь; вскочив в ужасе, она услышала чей-то голос, зовущий ее. Образ Бертрана со стилетом в руке тотчас предстал в ее воображении; она не отворяла двери и даже не отвечала на зов, но прислушивалась в глубоком молчании; наконец тот же голос повторил потихоньку ее имя и она спросила, кто там.

— Это я, синьора, — отвечал голос, — принадлежавший, как теперь оказалось, Маделине. — Пожалуйста, отойдите. Не пугайтесь, это я.

— Что привело тебя сюда в такой поздний час, Маделина? — спросила Эмилия, впустив девушку.

— Тсс... синьора, Бога ради, тише! Если нас услышат, мне несдобровать... Отец, и мать, и Бертран — все спят, — продолжала Маделина, тихонько затворив дверь и подойдя ближе, — а я принесла вам поужинать: ведь вы ничего не кушали. Вот немного винограду и фиг и полстакана вина...

Эмилия поблагодарила ее, но выразила опасение, чтобы ее добрый поступок не навлек на нее гнева Дорины, когда там хватит этих фруктов.

— Отнеси все это назад; Маделина, прибавила Эмилия, — я буду меньше страдать, если поголодаю, чем страдала бы, если б за свое доброе сердце ты подверглась неудовольствию матери.

— О, синьора, этого нечего бояться; мать ничего не узнает, потому что я принесла вам свою порцию ужина. Вы меня огорчите, если не захотите покушать.

Эмилия была тронута великодушием доброй девушки и от слез долго не в силах была произнести ни слова. Маделина молча наблюдала ее; наконец, не поняв причины ее волнения, сказала:

— Не плачьте, синьора! Правда, мать иногда брюзжит, потом все сейчас проходит, и вы не принимайте очень-то близко к сердцу ее воркотню. Она и меня часто бранит, но я научилась сносить ее придирки. Когда она кончит, я убегаю в лес, играю на своем sticcado и все сейчас забываю.

Эмилия, улыбаясь сквозь слезы, сказала Маделине, что она добрая девушка, и приняла ее подношение. Ей хотелось узнать, не говорили ли Бертран и Дорина про себя о Монтони, или о его планах на ее счет в присутствии Маделины, но ей претило наталкивать молоденькую девочку на такой низкий поступок, как передачу интимных разговоров ее родителей. На прощанье Эмилия просила ее приходить к ней, когда ей только будет можно, не возбуждая гнева матери; Маделина, пообещав, потихоньку прошмыгнула в свою каморку.

Так прошло несколько дней. Эмилия безвыходно сидела в своей комнате; Маделина приходила к ней прислуживать за столом; кроткое личико и скромные манеры ее оказывали на Эмилию необыкновенно успокоительное действие. Свою веселенькую, как беседа, комнатку Эмилия очень полюбила и соединяла с ней представление о безопасности, какое мы обыкновенно соединяем со своим домом. В этот период времени настроение ее духа, не тревожимое никакими неприятностями, настолько успокоилось, что позволяло ей наслаждаться книгами, среди которых она нашла несколько неоконченных пейзажей и несколько чистых листов бумаги, вместе с рисовальными принадлежностями.

Таким бразом она получила возможность развлекаться рисованием: выбрав из окна какой-нибудь из прелестных уголков ландшафта, она компоновала целые сцены и дополняла их своей причудливой фантазией. В этих маленьких набросках она обыкновенно помещала какие-нибудь интересные, характерные группы и часто сочиняла по этому поводу какую-нибудь простую, трогательную историю; порою из глаз ее выкатывалась слеза, вызванная вымышленными горестями, и она забывала на минуту о своих действительных заботах и страданиях. Вот так-то она и коротала в невинных занятиях тяжелый часы невзгод и с кротким терпением ожидала, что будет дальше.

В один прекрасный вечер, сменивший знойный душный день, Эмилия наконец решилась пойти гулять, хотя знала, что Бертран непременно будет сопровождать ее; вместе с Маделиной она вышла из хижины. Бертран пошел за ними, но позволил ей выбрать направление прогулки. Пора была прохладная, тихая; Эмилия с восхищением оглядывала красивую местность. Как прелестна была яркая синева небес! Окрашивая верхние слои воздуха, она постепенно бледнела книзу и наконец сливалась с шафранным сиянием на горизонте. Не менее прелестны были разнообразные, теплые тона Апеннин в то время, как солнце кидало свои пламенные лучи на изрытую поверхность.

Эмилия держалась течения реки и шла под тенью деревьев, нависших над ее зеленеющими берегами. На противоположных берегах пастбища оживлялись стадами скота чудного сливочного цвета, а за пастбищами виднелись апельсиновые и лимонные рощи, густо усеянные золотистыми плодами. Эмилия шла, направляясь к морю, отражавшему, горячее сияние заката; скалы и утесы, возвышавшиеся на его берегах, были окрашены пурпуром последних солнечных лучей. Долина заканчивалась справа высоким мысом, вершина которого, господствующая над волнами, была увенчана развалинами древней башни, служившей теперь для береговых сигналов; ее полуразрушенные зубцы и распростертые крылья какой-то морской птицы, кружившейся над нею, все еще озарялись отраженными лучами солнца, хотя диск его уже опустился за горизонт, между тем как нижняя часть руин и скала, на которую она опиралась, потонули в серых сумеречных тенях.

Достигнув этого мыса, Эмилия с каким-то восторженным наслаждением смотрела на утесы, тянувшиеся по обе стороны пустынных берегов; некоторые были покрыты рощами сосен, а другие представляли обнаженные кручи голого сероватого мрамора, лишь местами поросшего миртой и ароматическими травами. Море словно уснуло в безмятежном покое; ровная зыбь с тихим ропотом замирала на береговом песке, а в гладкой поверхности моря отражались в смягченной красе румяные облачка заката.

Эмилия, глядя на океан, вспоминала о Франции, о былых временах и желала, — о! как горячо, как тщетно желала! — чтобы волны эти унесли ее к далекой родной отчизне!

«Ах, этот корабль, — думала она, — что так величественно скользит мимо с его высокими парусами, отражающимися в воде, — быть может, он плывет во Францию! Счастливое, счастливое судно!»

Она пристально следила за ним с умиленным чувством, пока серые сумерки не затуманили даль и не скрыли его из виду. Меланхолический плеск волн у ног ее еще более разнежил ее сердце и вызвал у нее слезы; плеск волн был единственный звук, нарушавший тишину вечернего часа.

Но вот, пройдя немного по извилистой береговой полосе, она вдруг услышала хор голосов, пронесшийся в воздухе. Эмилия остановилась послушать, однако не желая, чтобы поющие ее увидели, и впервые обернулась назад на Бертрана, своего сторожа, который следовал за нею на некотором расстоянии в сопровождении еще какого-то лица. Успокоенная этим обстоятельством, она пошла дальше по направлению звуков, которые как будто неслись из скалистого мыса, вдававшегося в береговую полосу.

Эмилия ускорила шаги и, обойдя скалу, увидела в обширной бухте внизу, осененной лесом от самого края береговой полосы до вершины скал, две группы крестьян: одна разместилась под тенью деревьев, а другая стояла у самой воды вокруг поющей девушки, которая держала в руках гирлянду цветов, как будто собираясь бросить ее в волны.

Эмилия, внимательно прислушавшись, услышала следующую песню-воззвание на чистом, изящном тосканском наречии с аккомпанементом нескольких музыкальных инструментов:

К МОРСКОЙ НИМФЕ

О нимфа! любишь ты качаться на волне зеленой,
Когда Нептун затихнет в час ночной,
Уснув под звуки музыки печальной,
Восстань! о нимфа, из своей лазоревой пещеры.
Уж Геспер засиял в час сумерек вечерний
И затрепещет Цинтия в волнах,
Заденет луч ее суровые утесы
И разольется в воздухе ночная тишина.
Тогда пусть нежный голос твой раздастся в отдаленье,
Рассыплется он вдоль пустынных берегов,
И песнь волшебная твоя пусть сердце успокоит.
Восстань, о нимфа, из своей лазоревой пещеры.
(Хор): Восстань! восстань!

Последние слова были подхвачены хором, гирлянду цветов бросили в волны, и хор, постепенно замирая, наконец умолк.

— Что это такое, Маделина? — спросила Эмилия, пробуждаясь от приятного трепета, навеянного музыкой.

— Нынче канун праздника, синьора, — объяснила Маделина, — и вот крестьяне забавляются всякими играми.

— Но они упоминают о морской нимфе, — заметила Эмилия, — какая связь между нимфой и этими добрыми людьми?

— О, синьора, — возразила Маделина, не поняв причины удивления Эмилии, — никто не верит в эти вещи, но в наших старинных песнях о них говорится; и даже в наших играх и хороводах мы поем о нимфах и бросаем гирлянды в море,

Эмилия с детства привыкла смотреть на Флоренцию, как на центр литературы и изящных искусств; но чтобы склонность к классической древности проникла в среду крестьян края, — это приводило ее в удивление и восторг. Аркадский тип девушек привлек также ее внимание. Одежда их состояла из коротенькой, пышной юбки светло-зеленого цвета, с лифом из белого шелка, широкие рукава были подобраны на плечах лентами и букетиками цветов. Волосы их, падавшие завитками на шею, также были украшены цветами, а маленькая соломенная шляпа, надетая немного назад и набекрень, придавала всей фигуре какой-то задорный, веселый вид.

Когда пение окончилось, некоторые из девушек подошли к Эмилии, пригласили ее присесть в их кружок и угостили ее и Маделину, которую знали, виноградом и фидами.

Эмилия поблагодарила их за ласку; ей понравилась простота и грация их обращения, очевидно, свойственная им от природы, и когда вскоре после того подошел Бертран и стал звать ее домой, один из крестьян, протягивая плетенку, предложил ему выпить. Перед таким искушением Бертран редко когда мог устоять.

— Пусть бы и барышня потанцевала с девушками, — предложил крестьянин, — пока мы с тобой осушим эту фляжку. Сейчас начнутся пляски. Ну, парни, налаживайте свои тамбурины и дудки!

Заиграли веселый плясовой мотив; крестьяне помоложе установились в кружок, к которому Эмилия охотно примкнула бы, если б ее душевное настроение более гармонировало с их весельем, Маделина, однако, пошла танцевать, а Эмилия, глядя на счастливую группу, позабыла на время о своих собственных несчастьях. Но скоро к ней вернулась прежняя меланхолия, пока она сидела немного в стороне от всех, слушая

ласкающие звуки музыки, разносимые бризом, и наблюдая серебристую луну, проливавшую свой трепетный свет на волны и на лесистые вершины деревьев, осенявшие тосканские берега.

Между тем Бертрону так прихлясь по вкусу первая фляга, что он охотно приступил ко второй, и было уже довольно поздно, когда Эмилия не без опасений вернулась в хижину.

После этого вечера она часто выходила гулять с Маделиной, но не иначе как в сопровождении Бертрана; душа Эмилии стала постепенно успокаиваться, насколько позволяло ее тревожное положение. Тишина, среди которой она жила, внушала ей надежду, что она была прислана сюда не с какой-нибудь злой целью, и если б не догадка о том, что Валанкур в это самое время находится в Удольфском замке, она желала бы остаться жить в этой хижине до тех пор, пока ей не представится случай вернуться на родину. Относительно мотивов, побудивших Монтони отослать ее в Тоскану, она находилась в еще большем недоумении, чем когда-либо; точно так же она не верила, чтобы его побуждало желание оградить ее безопасность.

Прожив уже некоторое время в деревенской хижине, она вдруг вспомнила, что впопыхах торопливого отъезда из Удольфского замка она позабыла там бумаги, переданные ей покойной теткой и касающиеся ее лангедокских поместий; но хотя такая забывчивость и привела ее в некоторое беспокойство, однако у нее сохранилась надежда, что запрятанные в тайник бумаги эти не попадутся в руки Монтони.

ГЛАВА XXXIII

*— Я, как палач, длил пытку понемногу,
Но вот и вестъ горчайшая мз всех...*

Ричард II

Вернемся теперь на время в Венецию, где граф Морано томился под гнетом всяческих невзгод. Вскоре после его возвращения в этот город он был арестован по приказу сената; ему сообщили, в чем состоит его вина, но препроводили в такое место заключения, куда не мог проникнуть никто из его друзей, несмотря на усердные поиски. Кто был враг, навлекший на него это бедствие, граф никак не мог угадать; тем не менее его подозрения чаще всего останавливались на Монтони, и очевидно эти догадки были не только правдоподобны, но и вполне основательны.

В самом деле, Монтони подозревал Морано в отравлении вина в его кубке. Но, не имея достаточных доказательств для уличения его в преступном покушении, он принужден был отказаться от преследования его судом и прибегнуть к другим способам мщения. Он обратился к одному доверенному лицу с поручением опустить донос в знаменитое *denunzie secrete*, или одну из львиных пастей, которые были вделаны в стену галереи Дворца Дожей в виде приемников для анонимных доносов на лиц, подозревавшихся в государственных преступлениях. В подобных случаях не происходило очной ставки между обвинителем и обвиняемым, поэтому всякий мог оклеветать своего врага и добиться того, чтобы его подвергли несправедливой каре, не боясь дурных последствий для себя. Что Монтони прибегнул к такому дьявольскому средству погубить человека, которого подозревал в покушении на свою жизнь, — в этом не было ничего мудреного. В письме, послужившем орудием для его мести, он обвинял Морано в изменнических замыслах против правительства и старался подкрепить свой донос всеми доводами, какие мог придумать с присущим ему лукавством. Сенат, для которого подозрения были в то время почти равносильны доказательствам, арестовал графа по этому обвинению и, даже не сообщив ему, в чем он виноват, ввергнул его в одну из секретных темниц, наводивших ужас на жителей Венеции и в которых узники часто томились всю жизнь, а иногда умирали, не отысканные своими друзьями.

Морано навлек на себя личную ненависть многих членов правительства; одним не

нравился его образ жизни, других раздражало его честолюбие и соперничество с ними во многих случаях общественной деятельности; и, конечно, трудно было надеяться, чтобы милосердие смягчило суровость закона, находящегося в руках таких врагов.

Синьора Монтони между тем угнетали опасности другого рода. Его замок был осажден войсками, которые бесстрашно шли напролом и готовы были на всякие жертвы только бы одержать победу. Крепость, сильно укрепленная, выдержала, однако, их нападение; это обстоятельство, в совокупности с энергичной защитой гарнизона и недостатком продовольствия в дикой, горной местности, скоро принудили осаждающих снять осаду.

Когда Удольфский замок был оставлен неприятелем и очутился во власти Монтони, он отправил Уго в Тоскану за Эмилией, которую перед осадой послал, ради ее личной безопасности, в место более надежное, чем замок, где в то время мог еще восторжествовать неприятель. Когда окончательно водворилось спокойствие в Удольфских стенах, Монтони пожелал скорого возвращения Эмилии и поручил Уго помочь Бертрону препроводить ее обратно в замок.

Повинуясь приказанию синьора, Эмилия с сожалением простилась с доброй Маделиной; целых две недели она пробыла в Тоскане, и это время было для нее отдыхом, необходимым для успокоения ее расстроенных нервов и измученной души. Снова началась переправа через Апеннины. По пути Эмилия бросала с высот печальный взгляд на прекрасную равнину, расстилающуюся у их подошвы, и на далекое Средиземное море, по волнам которого ей так хотелось перенестись в родную Францию! Она грустила, что ей приходится возвращаться в замок, где она столько выстрадала, но печаль ее смягчалась предположением, что Валанкур, может быть, находится там, и она чувствовала некоторое облегчение при мысли о возможности быть около него, несмотря на то, что он, вероятно, томится в плену.

Был полдень, когда она выехала из хижины и вечер наступил раньше, чем они успели доехать до Удольфского замка. Ночь была лунная, но луна светила только по временам, так как небо было окутано облаками; при свете факела, который нес Уго, путешественники подвигались почти все время молча — Эмилия, погруженная в раздумье о своем положении: а Бертран и Уго мечтая в скором времени насладиться доброй бутылкой вина и яркого очага, так как с некоторых пор уже ощущалась разница между теплым климатом долин Тосканы и холодным воздухом в горах. Эмилию, наконец, вывел из задумчивости отдаленный бой башенных часов: она прислушивалась с жутким чувством к густым звукам, разносимым ветром. Прозвучал еще удар, а затем еще и печальным эхом замер в горах; Эмилиии в ее мрачном настроении почудилось, что это погребальный звон...

— А! вон и старые башенные часы звонят, — воскликнул Бертран. — Небось живы остались! пушки не заставили их замолчать.

— Еще бы! — отозвался Уго; часы все время звонили погромче пушек! Я слышал их звон в самом жарком сражении, а сражения длились здесь несколько дней; я еще боялся, как бы пушка не задела наших старых часов, но они устояли, а с ними и башня.

Дорога обогнула подошву горы и теперь они приблизились к замку настолько, что могли видеть его в глубине долины; луч луны на мгновение озарил его и затем он снова скрылся во мраке; но быстро промелькнувшие очертания каменной громады успели пробудить мучительные, горькие чувства в сердце Эмилиии. Массивные, мрачные стены замка рисовали ей все ужасы заточения и страданий, но теперь, по мере того как она приближалась к нему, к ее страху примешивался луч надежды! Несомненно, что там живет Монтони, но весьма возможно, что там и Валанкур, а она не могла не испытывать чувства радости и надежды, приближаясь к месту, где находился ее возлюбленный.

Путники прошли по всей долине, и скоро Эмилия опять увидела из-за деревьев старые стены и озаренные луною башни; дойдя до крутого обрыва, над которым высился Удольфский замок, они могли при ярком свете луны разглядеть все опустошения, произведенные в нем осадой — кое-где разрушенные стены и обвалившиеся зубцы. Громадные обломки скатились вниз под деревья, между которыми теперь пробирались наши

путники, и лежали в перемежку с глыбами земли и скал, которые увлекли за собой при падении. Лес также пострадал от выстрелов, так как служил защитой для неприятеля от огня с укреплений. Множество чудных деревьев были вырваны с корнем, а другие на большом пространстве стояли без крон.

— Нам лучше пойти пешком, — сказал Уго, — а мулов вести подузды в гору, а то еще, пожалуй, попадем в одну из ям, вырытых ядрами: тут таких много. Дай мне факел, — продолжал Уго, обращаясь к Бертрану, после того как они спешили. — Смотрите, осторожнее, чтобы не споткнуться о что-нибудь подозрительное, — ведь земля еще не совсем очищена от неприятеля.

— Как? — удивилась Эмилия, — неужели здесь еще остался неприятель.

— Этого я не знаю, — отвечал Уго. — Но когда я уехал отсюда, я видел двух-трех молодцов, расprostертых под деревьями.

По мере того, как они подвигались при свете факела, бросавшего мрачный свет на землю и далеко в чащу леса, Эмилия боялась смотреть вперед, чтобы какой-нибудь зловещий предмет не попался ей на глаза. Тропинка была усеяна поломанными стрелами и доспехами, которые носили солдаты в то время поверх более легкой одежды.

— Давай-ка сюда огня, — сказал Бертран, — Я наткнулся на что-то такое, что трещит под ногами.

Уго поднес факел, и они увидели валявшийся на земле стальной панцирь; Бертран поднял его. Оказалось, что он был продырявлен насквозь, а подкладка вся пропитана кровью. Эмилия попросила идти дальше, и Бертран, пустив какую-то грубую шутку по адресу того несчастного, кому принадлежал панцирь, бросил его на землю, и все трое двинулись дальше.

Эмилия на каждом шагу трепетала увидеть следы кровопролития и смерти. Когда они подошли к опушке леса, Бертран остановился, чтобы осмотреть почву, сплошь загроможденную толстыми стволами и ветвями деревьев, недавно служившими украшением местности. Казалось, тут, на этом месте, пришлось особенно плохо осаждающим; судя по вывернутым и поломанным деревьям, здесь-то и происходил самый жестокий бой с гарнизоном. При свете факела блестела сталь между стволами деревьев; земля была усеяна поломанным оружием и клочьями рваной одежды воинов. Эмилия все еще боялась наткнуться на изуродованные трупы; она стапа опять просить своих спутников идти дальше, но они были слишком поглощены своими исследованиями и не обращали на нее внимания. Тогда она отвернулась от этих сцен опустошения и обратила взоры к замку, где заметила огонь, двигавшийся вдоль укреплений. В этот момент башенные часы пробили двенадцать и послышался звук трубы. Эмилия спросила, что это значит?

— О, это только смена часовых, — отвечал Уго.

— Но прежде не было этой трубы, — заметила Эмилия. — Это новый обычай.

— Нет, барышня, обычай-то старый и его теперь только возобновили; он всегда существовал в военное время. Трубят каждый раз в полночь, со времени осады замка.

— Слушайте... опять! — воскликнула Эмилия, когда вторично прозвучала труба.

Вслед затем она услышала слабый лязг оружия; раздался пароль, произнесенный на террасе, и на него ответили из отдаленных частей замка.

Эмилия озябла и опять попросила не останавливаться.

— Сейчас, сейчас, барышня, — отвечал ей Бертран, копаясь в грудe обломков пикой, которую всегда носил при себе.

— Слышите? — воскликнула Эмилия. — Что это за шум?

— Какой там шум? — произнес Уго, останавливаясь и прислушиваясь.

— Вот опять! — повторила Эмилия. — Он несомненно доносится с укреплений.

Глянув вверх, они заметили огонек, двигавшийся вдоль ограды укреплений, и порыв ветра донес до них голос часового.

— Кто идет? Отвечайте, или вам будет плохо!

Бертран вскрикнул от радости:

— Ага, товарищ! Это ты? — сказал он и дал пронзительный свисток.

На его сигнал часовой ответил тем же.

Вскоре путники выбрались из леса на взрытую дорогу, которая вела прямо к воротам замка, и Эмилия опять с чувством трепета оглядела грозное сооружение.

«Увы! — промолвила она про себя, опять я возвращаюсь в свою тюрьму!»

— Однако здесь, видно, шла жаркая работа, клянусь св. Марком! — воскликнул Бертран, помахивая факелом над землей. — Ишь как снарядами взрыло землю!

— Да, да, — подтвердил Уго. — Это наши жарили с редута, и чертовски метко, надо сказать! Неприятель прошел бешено приступом на большие ворота; но он мог бы наперед знать, что ничего с нами не поделаешь, потому что, кроме пушки, со стен наши стрелки с двух круглых башен жарили напропалую, — никакой возможности не было устоять, клянусь св. Петром! Такая шла потеха — мое почтение! Я хохотал до упаду, глядя, как подлецы улепетывают! Вот жаль, голубчик Бертран, что тебя там не было, — ты бы взял приз за быстрый бег!

— Ага! ты опять за старые шуточки, — угрюмо огрызнулся Бертран. — Счастлив ты, что замок близехонько. Ты знаешь, я ведь не задумаюсь отправить тебя на тот свет, коли ты очень расхорохоришься!

Уго отвечал хохотом и принялся еще что-то рассказывать про осаду. Эмилия слушала и поражалась резким контрастом между теперешним положением края и теми кровопролитными сценами, которые еще так недавно здесь разыгрывались. Грохот пушек, бой барабанов, рев труб, стоны побежденных и крики победителей сменились теперь такой глубокой тишиной, точно смерть восторжествовала одинаково и над победителями и над побежденными. Полуразрушенная башня у главных ворот как будто не вязалась с хвастливым рассказом Уго об удирающем неприятеле, — очевидно, неприятель не только оказывал сопротивление, но и нанес немало вреда, прежде чем обратиться в бегство.

Эмилии показалось, насколько она могла рассмотреть при бледном свете месяца, что в этой башне пробита огромная брешь, а зубцы почти все разрушены. Как раз в одной из нижних бойниц мелькнул огонек и тотчас же исчез; но минуту спустя она увидела сквозь пробитое отверстие в стене солдата, подымавшегося с фонарем по узкой лестнице внутри башни. Эмилия вспомнила, что по этой самой лестнице она поднималась в ту ночь, когда Бернардин обманул ее, обещав устроить ей свидание с г-жой Монтони, и в своем воображении она опять пережала тот ужас, какой испытала тогда. Теперь они очутились уже недалеко от ворот, над которыми соадат отворил дверь комнаты, и при свете его фонаря она смутно увидела стены рокового покоя, где она насмотрелась таких ужасов; ей чуть не сделалось дурно при воспоминании о том моменте, когда она отдернула занавес и увидела страшный предмет, скрывавшийся за ним.

«Может быть и теперь, — размышляла она, — в этой комнате творится что-нибудь подобное; может быть, солдат идет в этот глухой полночный час в караул над телом товарища!»

Небольшой запас мужества, сохранившийся в ее душе, устоял под напором этих воспоминаний и предчувствий, — печальная участь г-жи Монтони как будто пророчила гибель и ей!.. Она подумала, что лангедокские поместья, если бы она отказалась от них, удовлетворили бы алчность Монтони, но не успокоили бы его мстительности, — для этого нужна была жертва еще более ужасная! Ей даже представилось, что если бы она отказалась от этих имений, то боязнь правосудия побудила бы его или держать ее пленницей, или просто лишить ее жизни.

Подошли, наконец, вплотную к воротам. Бертран, увидав свет, мерцавший сквозь небольшое оконце комнаты над воротами, громко крикнул, чтобы им отворили. Солдат спросил:

— Кто там?

— Вот я привел вам пленника, — отвечал Уго. — Отворяй-ка ворота ипусти нас.

— А ты сперва скажи, кто ты, что требуешь впуска? — возразил солдат.

— Как, старый товарищ, ты не узнаешь меня? — закричал Уго. — Говорят тебе, я привел пленника, связанного по рукам и по ногам, молодца, который упивался тосканским вином, пока мы тут дрались.

— Уж ты не успокоишься, пока я не расправлюсь с тобой по-своему! — свирепо огрызнулся Бертран.

— А, товарищ! это ты? — проговорил солдат. — Постой; я сейчас к тебе выйду.

Эмилия услышала шаги, спускавшиеся с лестницы, затем упала тяжелая цепь, сняли болты с маленькой потайной калитки, и солдат отворил ее, чтобы впустить путешественников. Он низко держал фонарь, освещая приступку калитки, и Эмилия снова очутилась под мрачным сводом ворот и услышала, как запирается дверь, разобщающая ее с целым светом. Тотчас же она попала в первый двор замка и с каким-то тупым отчаянием оглядела обширное, пустынное пространство. Полночный час, готическая мрачность окружающих зданий, глухое эхо, вторившее голосам Уго и солдата, переговаривавшихся между собою, — все это еще усиливало ее печальные предчувствия. Прошли во второй двор, — какие-то отдаленные звуки вдруг раздались среди безмолвия, и чем дальше они подвигались, тем звуки становились все громче. Наконец Эмилия убедилась, что это звуки хохота и пьяного разгула. Невеселые мысли навяли на нее эти отклики кутежа.

— Что ж, видно, и у вас здесь не прочь тосканское вино распивать, — промолвил Бертран, — если судить по этому Содому! Клянусь, и Уго, наверное, больше пьянствовал, чем сражался. Кто же это пирует в такую позднюю пору?

Сам эчеленца с другими синьорами, — отвечал солдат. — По всему видать, что вы здесь чужой, а то не стали бы задавать таких вопросов. Наши синьоры — молодцы и никогда не спят по ночам, а больше бражничают. Да и нам бы не худо выпить! а то ведь замерзнешь, шатаясь по ночам, если не согреть себе нутро добрым винцом...

— Мужество, братец, мужество должно согревать твое сердце! — сказал Уго.

— Мужество! — отозвался солдат, приняв угрожающую позу. Заметив это, Уго вернулся к вопросу о пирушке.

— Это что-то новое, — сказал он. — При мне, когда я еще не уезжал отсюда, синьоры все сидели да совещались.

— Это не мешало им и тогда бражничать, — прибавил Бертран, — но действительно после осады они только и делают, что кутят; на их месте, впрочем, я бы себя также ублажал за свою храбрость.

Теперь путешественники уже прошли по второму двору и, достигли входа в сени; солдат пожелал им спокойной ночи и поспешил назад на свой пост. Пока они ждали, чтобы их впустили, Эмилия соображала, как бы ей избежать свидания с Монтони и пробраться незамеченной в свою комнату; она боялась одной мысли — встретиться со своим грозным родственником, или с кем-нибудь из гостей в этот час.

Шум внутри замка теперь до того усилился, что, хотя Уго стучался несколько раз, слуги его не слышали. Это дало Эмилии время обдумать, возможно ли ей будет удалиться назащенной? Хотя, может быть, ей и удалось бы подняться украдкой по главной лестнице, но все-таки она не могла найти дорогу в свою комнату без огня. Тут ей с ошеломляющей ясностью представилась трудность добыть света и опасность бродить по замку впотьмах. У Бертрана был всего один факел, и она знала, что слуги никогда не приносят свечи, когда приходят отворять, потому что сени достаточно освещались лампой, висевшей со сводчатого потолка, а пока она будет дожидаться Аннеты со свечой, Монтони или кто-нибудь из его приятелей могут увидеть ее...

Дверь отворил старый Карло. Эмилия, попросив его точас же прислать Аннету со свечой в большую галерею, где она решила ждать ее, торопливыми шагами направилась к лестнице; Бертран и Уго пошли за стариком Карло в людскую: им хотелось поскорее сесть за ужин и погреться у огня из древесных сучьев. Эмилия, при тусклом свете фонаря между сводами просторных сеней, пробиралась к лестнице, где стояла почти полная темнота; взрывы веселья, раздававшиеся из дальней комнаты, усиливали ее пугливость и смущение;

она ожидала, что вот-вот отворится дверь и появится Монтони или его товарищи. Достигнув, наконец, лестницы и взобравшись до верху, она села на одной из ступенек ждать прихода Аннеты; глубокая тьма в галерее удерживала ее идти дальше; прислушиваясь к шагам горничной, она слышала только отдаленные отголоски разгула, доносившиеся эхом из сводов внизу. Одну минуту ей показалось, что она слышит какой-то шорох из галереи позади и, обернувшись, увидела, будто движется что-то светящееся. Но она не могла в этот момент подавить в себе трусливую слабость, — встала и потихоньку сошла на несколько ступенек пониже.

Между тем Аинета не появлялась. Эмилия пришла к заключению, что она легла спать и что никто не разбудит ее; перспектива провести всю ночь здесь, впотьмах, или, что все равно, где-нибудь в другом столь же неудобном месте (она знала, что невозможно отыскать дорогу по запутанным коридорам в ее комнату) исторгла у нее слезы ужаса и отчаяния.

Пока она сидела на ступеньках, ей показалось, что опять раздался какой-то странный, тихий звук из галереи; она затаила дыхание, но шумные голоса внизу мешали ей сосредоточиться. Вскоре она услышала, что Монтони с приятелями выскочили в главные сени; судя по голосу, они были сильно пьяны и как будто подвигались к лестнице. Эмилия вспомнила, что они должны пройти мимо нее в свои комнаты и, позабыв о своих страхах относительно галереи, опрометью бросилась туда с намерением спрятаться в одном из побочных коридоров и попытаться, когда синьоры разойдутся, как-нибудь найти дорогу к себе или в комнату к Аннете, помещавшуюся в дальнем конце замка.

Простирая руки вперед, она пробиралась по галерее, пока не услышала голоса мужчин внизу, очевидно, остановившихся разговаривать у подножия лестницы; она замерла, прислушиваясь, но боясь идти дальше по темной галерее, где, судя по слышанным звукам, как будто крадется какое-то существо.

«Они уже узнали о моем приезде, — соображала она, — и Монтони идет искать меня! В настоящем его состоянии намерения у него наверное самые отчаянные». Тут она припомнила сцену, происходившую в коридоре накануне ее отъезда из замка.

«О, Валанкур! — мысленно восклицала она. — Я должна отказаться от тебя навеки. Пренебрегать долее притеснениями Монтони было бы уже не мужеством, а безрассудством».

Голоса между тем приближались, и разговор принял очень горячий характер. Эмилия различала, между прочими, голоса Верецци и Бертолини, и те немногие слова, какие она уловила, заставили ее прислушаться с еще большим напряжением. Разговор, по-видимому, шел о ней; отважившись приблизиться на несколько шагов к лестнице, она убедилась, что они спорят из-за нее; каждый из них настаивал на исполнении какого-то обещания, полученного от Монтони. Тот сперва пробовал успокоить своих приятелей и уговаривал их вернуться к попойке, но потом ему, очевидно, надоел этот спор и, предоставив им улаживать его между собою как угодно, он хотел вернуться к остальным гостям в залу пира. Тогда Верецци остановил его.

— Где же она, синьор? — спросил он с нетерпением. — Скажите нам, где она?

— Я уже повторял вам, что не знаю, — отвечал Монтони, тоже, очевидно, много выпивший. — Вероятнее всего, она ушла к себе.

Верецци и Бертолини оставили расспросы и опрометью бросились оба к лестнице.

Эмилия во время этого разговора так сильно дрожала, что с трудом держалась на ногах; но теперь, почувствовав новый прилив сил в тот момент, когда услышала их поспешные шаги, она понеслась по темной галерее с быстротою лани. Но гораздо ранее, чем она достигла дальнего конца ее, свет лампы в руках Верецци мелькнул на стене. Показались оба соперника и, увидав Эмилию, мгновенно кинулись за нею. В эту минуту Бертолини, не совсем твердый на ногах, в своем нетерпении забыв всякую осторожность, споткнулся и растянулся во весь рост. Лампа упала вместе с ним и стала гаснуть на полу. Верецци, не думая о том, что необходимо сохранить огонь, воспользовался минутным преимуществом над своим соперником и поспешил следом за Эмилией, которая, увидав при свете лампы вход в боковой коридор, проворно повернула туда. Верецци только успел заметить, в каком

направлении она бежала, и устремился за нею; но звук ее шагов скоро замер в отдалении. Менее знакомый с ходами и переходами замка, он принужден был пробираться в потемках осторожно, чтобы не упасть со ступенек, часто встречавшихся в старом огромном замке в конце коридоров. Наконец, этот ход привел Эмилию к другому коридору, именно к тому, куда выходила дверь ее комнаты; не слыша шагов за собою, она остановилась перевести дух и сообразить, как ей лучше поступить. Она направилась по первому коридору не потому, что ей так хотелось, а потому, что он прежде всего попался ей на пути. И теперь, добравшись до конца его, она по-прежнему находилась в недоумении, куда идти и как отыскать дорогу в потемках? Одно ей было ясно, что ей отнюдь не следует ходить в свою комнату, потому что там ее сейчас же отыщут; опасность усиливалась для нее с каждой минутой, пока она оставалась вблизи от своей комнаты. Ее мужество и силы были, однако, до такой степени истощены, что она принуждена была остановиться отдохнуть несколько минут в конце коридора, пока еще не слышно было приближающихся шагов. В эту минуту мелькнул свет из-под противоположной двери в галерею и, судя по его местонахождению, она догадалась, что это как раз дверь в ту таинственную комнату, где она сделала такое страшное открытие, что никогда не могла вспомнить о нем без содрогания. Присутствие света в этой комнате, да еще в такой поздний час, приводило ее в изумление, и она почувствовала такой неудержимый страх, что не решалась оглянуться на огонь; нравственные силы ее были так подавлены, что ежеминутно ей чудилось: вот отворится дверь и оттуда появится нечто неизъяснимо страшное... Она насторожилась — не слышно ли шагов по коридору и не видно ли луча света, — и заключила, что Верецци вернулся назад за лампой. Уверенная, что он скоро будет здесь, она задумалась, куда ей идти и как отыскать дорогу в потемках?

Слабый свет все еще виднелся из-под противоположной двери, но так велик и, быть может, так основателен был ее страх перед этой комнатой, что она ни за что не согласилась бы второй раз пуститься на разведку ее тайны, хотя там она могла бы наверное добыть света, столь необходимого для ее безопасности. Она все еще с трудом переводила дыхание и прислонилась к стене в конце галереи, как вдруг уловила какой-то шорох и тихий голос. В ту же минуту она убедилась, что это голос Верецци, который, по-видимому, не знал, что она тут, и рассуждал сам с собою. «Воздух здесь свежее! должно быть, это и есть тот самый коридор». По всей вероятности, он был один из тех героев, которые не страшатся неприятеля, а трусят потемок и подбодряют себя звуком собственного голоса. Как бы то ни было, он повернулся к свету и теми же крадущимися шагами направился дальше к комнате Эмилии, по-видимому, забывая, что в потемках ей легче увернуться от него, даже в своей комнате. Как обыкновенно пьяные, он упрямо преследовал мысль, всецело овладевшую его воображением.

Эмилия, услышав, что шаги его удаляются, оставила свой пост и тихонько двинулась в противоположный конец коридора, решившись опять отдаться счастливой случайности и свернуть в ближайший ход, какой откроется ей; но прежде чем она успела осуществить это намерение, на стенах галереи мелькнул свет: она оглянулась, увидела Верецци, пересекавшего галерею, направляясь к ее комнате. Тогда Эмилия проворно шмыгнула в боковой коридор, влево, надеясь, что ее не заметили; но в то же мгновение мелькнул другой свет на дальнем конце этого коридора и поверг ее в новый страх... Она остановилась в колебании — куда идти; тут она убедилась, что это горничная Аннета, идущая к ней, и радостно бросилась ей навстречу; но неосторожность горничной всполошила Эмилию, — при встрече с нею у девушки вырвался вопль восторга, и Эмилия никак не могла заставить ее замолчать и выпустить свою барышню из крепких объятий. Когда наконец Эмилии удалось объяснить ей, в чем опасность, обе девушки поспешили к комнате Аннеты, помешавшейся в дальнем ксжце замка. Но никакие опасения не могли убедить болтливую Аннету в необходимости молчать.

— О, милая барышня, — говорила она по пути, — кабы вы знали, до чего я трусила все это время! я уж думала, мне и не пережить всех этих ужасов! Я была уверена, что никогда уж больше с вами не увижусь.

— Слушай, — прошептала Эмилия, — за нами гонятся, вот и шаги слышны!

— Нет, барышня, это только эхо: где-то затворяют двери... звуки так громко раздаются в этих сводчатых коридорах, что часто обманываешься: стоит заговорить или кашлянуть, такой шум подымаешь, точно пальба из пушки.

— Тем более нам необходимо двигаться тихо, — заметила Эмилия. — Пожалуйста, не говори ни слова, пока мы достигнем твоей комнаты.

Девушки наконец благополучно добрались туда. Аннета заперла за собой дверь, и Эмилия села на ее кровать, чтоб отдышаться и успокоиться. На ее вопрос, находится ли Валанкур в числе пленников в замке, Аннета отвечала, что она ничего про это не слыхала, но знает, что здесь содержатся в заключении несколько лиц. Затем она начала со своей обычной тягучей манерой рассказывать про осаду или, вернее, про свои страхи и разнообразные страдания во время непрительского нападения.

— Как я услышала победные крики с укреплений, я вообразила, что нас всех забрали — ну, думаю, пропала моя головушка! Тогда как ведь это мы прогнали неприятеля!.. Тогда я пошла в северную галерею и увидела в окно, как они удирают в горы; но валы и ограды укрепления сильно пострадали, и

грустно было смотреть вниз в лес, где бедняжки валялись горами; впрочем, товарищи сейчас же уносили их. Пока шла осада, наш синьор всюду попевал сам: по крайней мере мне рассказывал Людовико, потому что саму меня он никуда не пускал, часто запирали на ключ в комнате посреди замка: туда он приносил мне поесть и приходил поговорить со мною, когда ему было время. Сказать правду, кабы не Людовико, меня уже не было б в живых.

— Ну, хорошо, Аннета, а после осады что тут делалось?

— Да что! похвастаться нечем, — отвечала девушка, — синьоры только и делают, что кутят по ночам, напиваются, картежничают. Всю ночь напролет просиживают и ведут между собой крупную игру на ту добычу, что привезли с собой недавно, когда ходили грабить соседние усадьбы; потом у них завязываются страшные ссоры из-за проигрышей и выигрышей. Этот отчаянный синьор Верецци, говорят, постоянно проигрывает; синьор Орсино нагревает его, а тот сердится; у них вечная баталия. Эти красивые дамы до сих пор в замке; я пугаюсь каждый раз, как встречу их в коридорах...

— Право, Аннета, — перебила ее Эмилия, вздрогнув, — я слышала какой-то шум: слушай!

После долгой паузы Аннета промолвила:

— Нет, барышня, это только ветер завывает в галерею; я часто слышу по ночам, как он потрясает старые двери в том конце. Но прилягте на постель, милая барышня, не маяться же вам всю ночь!

Эмилия расположилась на тюфяке и велела Аннете поставить лампу на камин; после этого Аннета легла рядом со своей барышней, но Эмилия так и не могла заснуть — ей все слышался какой-то шум в коридоре; вдруг действительно раздался шум шагов у самой двери. Аннета хотела вскочить с постели, но Эмилия удержала ее и стала прислушиваться, в состоянии жуткого ожидания. Шаги, топтались у двери, кто-то пробовал замок; вслед затем раздался голос.

— Ради самого Господа, не отвечай, Аннета, — молила потихоньку Эмилия, — лежи смирно; боюсь, нам придется потушить лампу — ее свет выдаст нас.

— Святая Богородица! — воскликнула Аннета, позабыв о решении молчать, ни за что на свете я не останусь в потемках.

Пока она говорила, голос за дверью раздался громче прежнего, и повторил имя Аннеты.

— Господи, да это Людовико! — воскликнула она вдруг и вскочила отворять дверь; но Эмилия остановила, прося выждать, пока они не убедятся, что он один. Аннета, переговорив с ним, узнала, что он пришел осведомиться о ней: Дело в том, что он отпустил ее пойти навстречу к Эмили, а теперь вернулся опять запереть ее. Эмилия, опасаясь, что их услышат, если они будут дольше переговариваться через дверь, согласилась отпереть, и перед нею

предстал и молодой человек с честным, открытым лицом, подтверждавшим доброе мнение, которое она себе составила о нем, судя по его заботливости об Аннете. Она умоляла его о защите, в случае, если Верецци будет преследовать ее, и Людовико сказал, что он проведет ночь в смежной заброшенной каморке, также выходившей на галерею, чтобы в случае чего немедленно прийти к ним на выручку.

Это обещание успокоило Эмилию; Людовико зажег фонарь и отправился на свой пост, а Эмилия опять попробовала лечь отдохнуть. Но тревожные мысли осаждали ее измученную голову и мешали спать. Она много думала о том, что рассказывала ей Аннета о распутной жизни Монтони и его приятелей, а в особенности о его поведении относительно ее самой и об опасности, от которой она только что избавилась. Оглянувшись на свое теперешнее положение, она пришла в ужас, — перед нею открылась картина новых страданий!.. Она увидела себя заключенной в замке, где царит порок и насилие и куда не может проникнуть закон и правосудие; она во власти человека, способного на все, человека, которым вместо нравственных принципов руководят страсти и прежде всего дух мщения. Еще раз она принуждена была сознаться, что было бы безумием, а не мужеством бороться долее с его властью; оставив всякую надежду на счастье с Валанкур, она решила на другое же утро переговорить с Монтони и отказаться от своих прав на имения, с условием, однако, чтобы он позволил ей немедленно вернуться во Францию. Эти соображения несколько часов не давали ей заснуть; однако ночь прошла благополучно, Верецци больше не тревожил ее.

На следующее утро у Эмилии был продолжительный разговор с Людовико; она узнала от юноши кое-какие подробности насчет замка и намеки относительно планов Монтони, и все слышанное еще более встревожило ее. Она выразила удивление, как это Людовико, сознавая всю неприглядность положения, все-таки остается в замке; он отвечал, что не намерен долго терпеть, и тогда Эмилия осмелилась спросить его, не поможет ли он ей бежать из замка. Людовико изъявил готовность оказать помощь, но представил ей все трудности такой попытки и признался, что им всем предстоит неминуемая гибель, в том случае, если Монтони настигнет их раньше, чем они переправятся через горы. Впрочем, Людовико обещал хорошенько обдумать это предприятие и составить план бегства.

Эмилия доверила ему имя Валанкура и попросила его разузнать, нет ли его между пленными в замке; слабая надежда, снова возникшая у нее после этого разговора, заставила ее отказаться от намерения сейчас же войти в сделку с Монтони. Она рассчитывала по возможности отложить это намерение до тех пор, пока она не услышит чего нового от Людовико, и если его планы окажутся несбыточными, то тогда только отказаться от наследства тетки. Таково было ее настроение, как вдруг Монтони, оправившийся после вчерашнего кутежа, прислал звать ее к себе; она тотчас же повиновалась призыву. Он был один.

— Я узнал, — начал он, — что вас не было в вашей комнате нынче ночью; где же вы были?

Эмилия рассказала ему о причинах своей тревоги и просила, чтобы он оградил ее от повторения подобных преследований.

— Вам известно, на каких условиях я намерен оказывать вам покровительство? — отвечал он. — Если вы. Действительно его цените, то должны исполнить мои требования.

Такое категорическое заявление, что он намерен лишь под известным условием защищать ее, пока она находится пленницей в замке, показало Эмилии необходимость сейчас же исполнить его требования; но прежде всего она спросила: позволит ли он ей уехать немедленно, если она откажется от своих прав на спорные имения. Торжественным тоном он уверил ее, что позволит ей уехать, и сейчас же положил перед нею на стол документ, подписав который она передавала ему свои права на лангедокские поместья покойной тетки.

Некоторое время Эмилия была не в силах держать перо, сердце ее разрывалось от борьбы противоположных чувств: ведь ей предстояло отказаться от счастья всей последующей жизни, от надежды, постоянно поддерживавшие ее в часы невзгоды.

Между тем Монтони повторил свое обещание и заметил, что ему время дорого; тогда она подписала бумагу, и тотчас же в бессилии откинулась на спинку стула; оправившись, она попросила его, чтобы он отдал распоряжения об ее отъезде и позволил Аннете сопровождать ее. Монтони улыбнулся.

— Мне необходимо было обмануть вас, — проговорил он, — не было иного средства заставить вас поступить благоразумно: конечно, вы уедете, но не теперь. Сперва я должен обеспечить за собой владение этими поместьями; когда это будет сделано, вы можете вернуться во Францию, если хотите.

Беззащитная подлость, с какой он нарушил свое слово, возмутила Эмилию так же глубоко, как и сознание, что она принесла бесплодную жертву и должна оставаться пленницей. Она не находила слов, чтобы выразить свои чувства, да и знала, что это все равно не поможет. Она бросила на Монтони взгляд, полный презрения; он отвернулся и просил ее удалиться из комнаты; но она не в силах была двинуться, опустилась на стул у двери и тяжело вздохнула. Она не находила ни слов, ни слез.

— К чему предаваться ребяческому горю? — сказал Монтони. — Постарайтесь ободриться и сносить терпеливо то, что неизбежно; по-настоящему, вам не на что жаловаться. Имейте же немного терпения, и вас отправят назад во Францию. А пока уходите к себе!

— Я не решаюсь идти туда, где опять могу подвергнуться преследованию синьора Верецци, — возразила Эмилия,

— Разве я не обещал защищать вас? — спросил Монтони.

— Вы обещали, синьор... — произнесла Эмилия с некоторым колебанием.

— А разве вам мало моего обещания? — прибавил он сурово.

— Вспомните свое первое обещание, синьор, — проговорила Эмилия дрожащим голосом, — и судите сами, могу ли я довериться вам...

— Значит, вы заставляете меня объявить, что я не намерен оказывать вам покровительства? — сказал Монтони тоном надменного неудовольствия. — Ступайте-ка в вашу комнату, а то я возьму назад свое обещание; вам нечего там бояться.

— Если вы этого требуете, я готова повиноваться.

Эмилия вышла и тихо направилась к главным сеням; страх встретиться с Верецци или Бертолини побуждал ее ускорить шаги, хотя она едва держалась на ногах от слабости; вскоре она очутилась опять в своей комнате. Пугливо озираясь, нет ли там кого, и тщательно обыскав все углы, она заперла за собой дверь и села у одного из окон. Здесь она опять предавалась размышлениям; она старалась уцепиться хоть за какую-нибудь слабую надежду, чтобы поддержать свой изнемогающий дух, так долго подавленный и терзаемый, что если б она не боролась изо всех сил против несчастья, она легко могла бы лишиться рассудка навсегда. Она заставляла себя верить, что Монтони действительно намерен отпустить ее во Францию, как только вступит во владение ее собственностью, и что он тем временем будет ограждать ее против оскорблений; но главная ее надежда была на Людовико: она не сомневалась, что он будет усердно действовать в ее интересах, хотя он и отчаивался достигнуть успеха. Впрочем, одно обстоятельство радовало ее, Из осторожности, или, вернее, из опасений она воздерживалась упомянуть имя Валанкура в разговоре с Монтони, хотя несколько раз готова была это сделать перед тем, как подписала бумагу; точно так же она удержалась от соблазна поставить его освобождение непременно условием при сделке с Монтони, на случай, если Валанкур в самом деле находится в замке. Если б она имела неосторожность проговориться, злокозненность, вероятно, побудила бы Монтони подвергнуть Валанкура новым строгостям, и, пожалуй, продержать его в плену всю жизнь.

Так провела она этот печальный день, как проводила много дней раньше, в этой самой комнате. Приближалась ночь; Эмилия охотно пошла бы опять ночевать в комнату Аннеты, но какое-то особенное любопытство побуждало ее остаться у себя, невзирая на страх. Когда в замке все затихнет и настанет час полночный, она решила ждать той музыки, которую слышала раньше. Хотя звуки ее не дадут ей возможности убедиться, здесь ли Валанкур, по

крайней мере они поддержат ее надежду и доставят ей утешение, необходимое в ее горестном положении. Но, с другой стороны, что, если музыка не повторится и все будет тихо? Она боялась даже остановиться на этой мысли, но с напряженным нетерпением стала ждать положенного часа.

Ночью разыгралась буря; ветер яростно потрясал зубцы башен и по временам в воздухе проносились протяжные стоны, какие порою обманывают воображение во время бурь. Эмилия слышала, как бывало прежде, шаги часовых, проходивших по террасе к своим постам, и, выглянув из окна, заметила, что число стражи удвоено — предосторожность, показавшаяся ей нелишней, когда она бросила взгляд на стены и увидела их разрушение. Знакомые звуки солдатских шагов и их далеких голосов, доносившиеся до нее ветром и опять замолкавшие, приводили ей на память грустное ощущение, испытанное ею, когда она раньше слышала те же самые звуки, и вызывали невольное сравнение между ее тогдашним положением и теперешним. Но в этих соображениях не было ничего утешительного, она благоразумно прервала нить своих мыслей, закрыв окно, так как еще было слишком рано для музыки, и она решила терпеливо ждать положенного часа. Дверь на потайную лестницу она пробовала заградить, по обыкновению, приставив к ней тяжелую мебель; но страх подсказывал ей, что такой предосторожности недостаточно, ввиду силы и настойчивости пылкого Верецци; она поглядывала на большой тяжелый сундук, желая, чтобы Аннета и она имели силу сдвинуть его с места. В душе браня за долгое отсутствие Аннету, которая, вероятно, засиделась с Людовико и другими слугами, Эмилия поправила в очаге огонь из древесных стволов, чтобы комната казалась менее неудобной, и села перед ним с книгой; глаза ее бегали по страницам, но мысли были заняты Валанкурком и собственными несчастьями.

Вдруг в тот момент, когда затих ветер, ей показалось, что она слышит музыку; она подошла к окну послушать, но яростный порыв ветра опять заглушил все другие звуки. Когда ветер стих, она отчетливо услышала среди наступившей глубокой тишины нежные звуки лютни, но тотчас же опять буря раваяла звуки и опять вслед за порывом урагана наступила торжественная пауза. Эмилия, дрожа от страха и надежды, открыла окно, чтобы удобнее слушать и с целью попробовать, не может ли ее собственный голос быть услышан музыкантом: дальше выносить это состояние мучительной неизвестности у нее не хватало сил. В комнатах стояла невозмутимая тишина, и она могла различить доносившиеся снизу нежные ноты лютни и жалобный голос, казавшийся еще мелодичнее, в совокупности с тихим, шелестящим звуком, который проносился по макушкам деревьев и пропадал в надвигавшемся порыве ветра. Высокие вершины вдруг неистово закачались, по сосновому лесу слева пронесся ураган с тяжелым стоном, затем прокатился выше по лесу на горе, пригибая деревья почти до земли; по мере того как буря неслась дальше, другие леса — направо, как будто отвечали на ее отчаянный призыв; затем дальние леса начинали шуметь, но уже тише, почти шепотом и, наконец, ветер совсем замирал в отдалении. Эмилия слушала с трепетным ожиданием, надеждой и боязнью; опять ухо ее уловило тающие звуки лютни и тот же торжественный голос. Убежденная, что музыка доносится из комнаты внизу, она далеко высунулась из своего окна, чтобы посмотреть, не льется ли оттуда свет. Но окна как внизу, так и наверху помещались в таких глубоких впадинах стен, что она не могла видеть их, и даже слабого луча света, который, вероятно, лился оттуда. Тогда она осмелилась крикнуть; но ветер унес звуки ее голоса на другой конец террасы; потом опять послышалась музыка в ту минуту, когда затих ветер. Вдруг ей почудился шум в ее комнате, и она спряталась в амбразуру окна; но вслед затем она узнала голос Аннеты у дверей и впустила ее.

— Подойди к окну, Аннета, но только потише, — сказала она. — Давай вместе слушать, опять музыка играет.

Обе притихли; наконец размер песни переменился, и Аннета воскликнула:

— Царица Небесная! Да ведь я прекрасно знаю эту песню, это французская песня: ее поют у нас на родине!

Это была баллада, которую Эмилия уже слышала в один из вечеров, однако не та, с которой она впервые познакомилась в рыбацьем домике в Гаскони.

— О, это француз поет, — заметила Аннета, должно быть, мосье Валаккур...

— Тише, Аннета, не говори так громко, — остановила ее Эмилия, — нас могут подслушать.

— Как! вы боитесь, что шевалье подслушает? — удивилась Аннета.

— Нет, — печально промолвила Эмилия, — не он, а кто-нибудь, кто донесет на нас синьору. На каком основании ты думаешь, что это поет г. Валаккур? Но слушай! Песня раздается громче! Узнаешь ты его голос? Я боюсь довериться своему собственному суждению.

— Мне никогда не случалось слышать, чтобы мосье Валанкур пел, — отвечала Аннета.

Эмилия с разочарованием заметила, что и она также не имеет никаких убедительных причин думать, что это Валанкур, и основывается только на том, что музыкант должен быть француз. Вскоре она услышала ту песню, которая была ей знакома из рыбацкого домика, и уловила свое собственное имя, повторенное до того отчетливо, что и Аннета его слышала. Эмилия задрожала и опустилась на стул у окна; между тем Аннета громко позвала:

— Мосье Валанкур, мосье Валанкур!

Как ни старалась Эмилия остановить ее, но она кричала все громче и громче; лютня и голос вдруг умолкли.

Эмилия прислушивалась некоторое время в состоянии невыносимой неизвестности, но ответа не последовало.

— Ничего не значит, барышня, — решила Аннета, — наверное, это шевалье, и я хочу поговорить с ним.

— Нет, Аннета, я думаю обратиться к нему сама, — отвечала Эмилия; — если это Валанкур, то он узнает мой голос и ответит. — Кто это там поет в такой поздний час? — произнесла она громко.

Настало продолжительное молчание. Повторив вопрос, она различила какие-то слабые, членораздельные звуки, тотчас же потонувшие в завываниях ветра, но звуки были так отдаленны и так быстро пронеслись мимо, что она едва могла их заметить, а тем более разобрать слова или узнать голос. После долгой паузы Эмилия позвала еще раз; и опять раздался голос, но столь же слабо, как и раньше. Девушки убедились, что нечто другое, кроме силы и направления ветра, заглушает слова: глубокие впадины окон препятствовали членораздельным звукам вырываться наружу и быть понятыми, хотя обыкновенные звуки доносились легко. Эмилия, однако, склонна была думать, что незнакомец не кто иной, как Валанкур. Раз он очевидно узнал ее голос и даже ответил ей, она отдалась безмолвной радости. Но Аннета, однако, не была безмолвна. Она опять принялась звать, но не получала ответа; Эмилия, боясь, что дальнейшие попытки, крайне опасные, привлекут внимание стражи, и притом все-таки не разрешат их сомнений, заставила Аннету прекратить свои крики на сегодня и решила сама завтра поутру расспросить Людовико еще настоятельнее прежнего. Теперь она имела возможность заявить положительно, что незнакомец, слышанный ею раньше, все еще находится здесь, и направить Людовико в ту часть замка, где он был заключен.

Эмилия вместе с Аннетой посидели еще немного у окна, но все было тихо; больше не раздавалось ни лютни, ни пения. Эмилия была теперь также подавлена неистовой радостью, как раньше сознанием своих несчастий. Торопливыми шагами она ходила взад и вперед по комнате, то произнося вполголоса имя Валанкура, то вдруг останавливаясь, то бросаясь к окну, откуда, впрочем, не доносилось никакого звука, кроме величавого шума леса. Порою нетерпеливое желание поскорее переговорить с Людовико побуждало ее послать Аннету за ним сейчас же. Но сознание неприличия такого поступка ночью сейчас же остановило ее. Между тем Аннета, мучимая нетерпением не менее своей госпожи, тоже часто подходила к окну послушать и возвращалась разочарованная. Наконец она заговорила о синьоре Верещи и о своем опасении, чтобы он не ворвался сюда в дверь, выходящую на потайную лестницу.

— Однако ночь уже почти миновала, — прибавила она, спохватившись, — вот и рассвет забрезжил над горами.

До этой минуты Эмилия совсем забыла, что есть на свете какой-то Верецци, позабыла и об угрожавшей ей опасности; но одно упоминание его имени снова возбудило в ней тревогу: она вспомнила про старый сундук, который намеревалась приставить к двери; с помощью Аннеты она хотела сдвинуть его, но он оказался до такой степени тяжелым, что обе вместе не могли совладать с ним.

— И чем набит этот сундук, что он такой грузный? — говорила Аннета.

Эмилия сказала, что он с самого начала стоял в ее комнате, но она никогда не старалась узнать, что в нем такое.

— Ну, а я так намерена это исследовать, барышня, — объявила Аннета и попробовала поднять крышку; но она держалась на замке, к которому ключа не нашлось и который, вдобавок, был особенного устройства, с пружиной. Между тем в окна уже заглядывала утренняя заря, а буря сменилась полной тишиной.

Эмилия выглянула из окна на темный лес и окутанные полумраком горы, едва видные глазу, и перед нею развернулась картина природы, погруженной в глубокий покой после бури: леса стояли не шевелясь, и даже облака с трепещущим на них отблеском зари едва двигались по небу. Одиноким солдат мерно шагал по террасе; двое-трое других, подальше, заснули на стенах, утомленные ночным караулом. Подышав немного чистым утренним воздухом, напоенным благоуханием растительности, омытой дождем, и прислушавшись еще, не слышно ли звуков музыки, Эмилия захлопнула окно и удалилась на отдых.

ГЛАВА XXXIV

*Так в Лапландии суровой, на угрюмой, хладной почве,
Полгода скованной глубокими снегами,
В ту пору, когда солнце шлет другим странам весну и лето
И в северных пещерах держит бурю в заточении,
С безмолвных гор с гремучим ревом
Бегут потоки; внезапно вырастают зеленые холмы.
Прекрасной листвой одеваются деревья, и утесы —
пышными цветами,
Прозрачные ручьи журчат по зелени лугов
И удивление, радость и любовь объяли сердце селянина.
Беати*

Прошло несколько дней в томительной неизвестности, — Людовико успел узнать от солдат только одно, что в комнатах, указанных Эмилией, действительно содержится пленник, и что он француз, захваченный ими в стычке с отрядом его соотечественников. За это время Эмилия избегала преследований Бертолини и Верецци, почти не выходя из своей комнаты; только иногда по вечерам она решалась пройтись по смежному коридору. Монтони, по-видимому, свято соблюдал свое последнее обещание, хотя нарушил первое; по крайней мере, свое теперешнее спокойствие Эмилия приписывала исключительно его покровительству. В одном она была теперь твердо уверена: в нежелании своем уезжать из замка, пока не узнает чего-нибудь достоверного о Валанкуре; этих сведений она ждала с напряженным нетерпением и, собственно говоря, без всякого ущерба для себя, так как до сих пор не представлялось никакой возможности к бегству.

На четвертый день Людовико уведомил ее, что он надеется проникнуть в камеру, где содержится пленник: его впустит один знакомый солдат, до которого дошла очередь караулить его завтрашнюю ночь. Впрочем, Людовико не обольщался надеждами: под предлогом внести кувшин с водою, он войдет в камеру заключения, и так как из осторожности он не сообщил часовому о цели своего посещения, то ему придется ограничиться очень кратким разговором с пленником.

Эмилия ожидала результата этого свидания в своей комнате, так как Людовико обещал прийти к ней вечером вместе с Аннетой. После нескольких часов нетерпеливого ожидания он наконец явился. Эмилия произнесла имя Валанкура, но больше не могла выговорить ни слова и застыла в трепетной тревоге.

— Шевалье не захотел доверить мне свое имя, синьора, — начал Людовико, — но когда я назвал вас, то он пришел в неопisanную радость, хотя вовсе не так сильно удивился, как я рассчитывал.

— Значит, он помнит меня, — воскликнула Эмилия.

— О, это конечно мосье Валанкур! — вмешалась Аннета, нетерпеливо поглядывая на Людовико. Тот понял смысл ее взгляда и отвечал, обращаясь к Эмилии:

— Да, сударыня, шевалье вас помнит и питает к вам большое уважение, как, смею сказать, и вы к нему. Он спросил, каким образом вы узнали, что он находится в замке, и не приказали ли вы мне говорить с ним. На первый вопрос я мог отвечать, а на второй нет, и тогда он опять стал рассыпаться в восторженных выражениях радости. Я боялся, как бы он своим экстазом не выдал себя перед часовым.

— Но каков он из себя, Людовико? — прервала его Эмилия. — Я думаю, он смотрит печальным и больным после такого долгого заточения?

— Ну, что касается печали, то я что-то не заметил ее, сударыня, пока был с ним; напротив, он показался мне в прекрасном расположении духа, ей — Богу! Он сиял радостью и, судя по всем признакам, чувствует себя здоровым, но я и не спрашивал его о здоровье.

— Не дал ли он какого поручения ко мне? — спросила Эмилия.

— О, да, синьора, и еще прислал одну вещицу, — отвечал Людовико, роясь в своих карманах.

— Ну, куда же она девалась, уж не потерял ли я? Шевалье сказал, что он хотел написать вам, но у него нет ни пера, ни чернил; он собирался что-то еще сказать мне для передачи вам, но тут вошел часовой, и он только успел сунуть мне вот это.

Людовико вытащил из-за пазухи миниатюру, которую Эмилия взяла дрожащей рукой. Оказалось, что это был ее собственный портрет — тот самый портрет, который мать ее потеряла при таких странных обстоятельствах в рыбацьем домике в «Долине».

Слезы радости и нежности подступили к ее глазам, а Людовико продолжал свое повествование:

«Скажите вашей госпоже, — молвил шевалье, отдавая мне портрет, — что это изображение было моим спутником и единственным утешением во всех несчастьях. Скажите ей, что я носил его у самого сердца и что посылаю его ей, как залог привязанности, которая не умрет вовек; что я не расстался бы с портретом, если б не питал надежду вскоре получить его обратно из ее рук. Скажите ей...» Как раз в эту самую минуту и вошел часовой: шевалье не мог закончить; но перед тем он просил меня устроить ему свидание с вами. И когда я сказал, как мало я имею надежды убедить часового помочь мне, он заметил, что это может быть не так важно, как я воображаю, и велел мне только принести обратно ваш ответ, и тогда он скажет мне еще что-то. Вот, синьора, теперь, кажется, все...

— Как мне отблагодарить вас, Людовико, за ваше усердие? — сказала ему Эмилия. — Право, я не в состоянии этого сделать. Когда вы опять увидите с шевалье?

— Наверное не могу сказать, это зависит от того, кто будет стоять на часах после моего приятеля: между солдатами есть всего два-три человека, у кого я могу попросить впуска в камеру заключения...

— Было бы лишним напоминать вам, Людовико, — продолжала Эмилия, — как я заинтересована в том, чтобы вы поскорее увидались с шевалье! когда вы его увидите, передайте ему, что я приняла портрет с теми чувствами, какие он желал возбудить во мне. Скажите ему, что я много выстрадала и до сих пор страдаю...

Она остановилась.

— А сказать ему, что вы желаете видеться с ним? — спросил Людовико.

— Разумеется, сказать, — отвечала Эмилия.

— Но когда, синьора, и где?

— Это будет зависеть от обстоятельств, — отвечала Эмилия, — место и час он должен сам указать, выбрав наиболее для него удобные.

— Что касается места, барышня, — заговорила Аннета, — то во всем замке не найдется более удобного, как коридор, где мы можем видеться, знаете ли, с ним безопасно; а час надо выбрать такой, когда все синьоры спят, если это когда-нибудь бывает!

Про все это, Людовико, вы можете известить шеваляе, — сказала Эмилия, останавливая поток речей своей горничной, — и предоставить ему действовать, как он найдет нужным. Скажите ему, что сердце мое не изменилось. Но главное — пусть он повидается с вами как можно скорее! Мне бесполезно повторять вам еще раз, Людовико, с каким нетерпением я буду ждать вас.

После этого, пожелав ей покойной ночи, Людовико спустился с лестницы, а Эмилия легла в постель, но не могла спать — радость не давала ей заснуть так же, как раньше горе. Монтони и его замок сгинули в ее воображении, как страшное видение, вызванное каким-то злым чародеем, и она снова очутилась в волшебном крае неувядаемого счастья.

Прошла целая неделя, прежде чем Людовико успел опять проникнуть в тюрьму француза: за это время на часах стояли все люди, которым он не мог довериться, а расспросами о пленнике боялся возбудить любопытство. За этот промежуток времени он рассказывал Эмилии ужасные вещи о том, что творилось в замке — драках, ссорах и кутежах; основываясь на некоторых обстоятельствах, сообщенных им, она не только сомневалась, что Монтони намерен когда-нибудь отпустить ее из замка, но боялась, что он имеет на ее счет отчаянные намерения; об этом она подозревала и раньше. Имя ее беспрестанно упоминалось в разговорах между Верецци и Бертолини, а в ту пору они часто вздорили между собою. Монтони проиграл крупную сумму Верецци, и у Эмилии являлось страшное опасение, чтобы он не предал ее своему приятелю в уплату за долг; но так как она не знала, что раньше Монтони поощрял также и надежды Бертолини на ее счет, после того как последний оказал ему какую-то услугу, то она не умела себе объяснить эти распри между Бертолини и Верецци. Впрочем, причина их казалась ей не важной; словом, она чувствовала, что надвигается на нее беда в различных формах, и она убедительнее прежнего умоляла Людовико устроить ее бегство, предварительно повидавшись с пленником.

Наконец, он уведомил ее, что опять посетил шеваляе, а тот дал ему инструкцию довериться сторожу тюрьмы, который уже не раз оказывал ему снисхождение и который разрешит ему пройти в другую часть замка на полчаса в следующую же ночь, в то время как Монтони с приятелями будет пировать.

— Это очень милостиво, конечно, с его стороны, — прибавил Людовико, — но Себастиан знает, что не подвергается никакому риску, выпустив шеваляе, потому что ему мудрено было бы пробраться на волю сквозь решетки и железные двери. Шеваляе поручил мне, синьора, отправиться к вам немедленно и попросить позволения посетить вас сегодня поздно вечером, хотя бы на одну минуту, — он не может жить под одной кровлей с вами, не видя вас: часа он не может назначить, так как это зависит от обстоятельств, и вы это сами говорили, синьора; место также он просил вас назначить самой, как более удобное для вашей безопасности.

Эмилия была так взволнована предстоящим свиданием с Валанкурром, что сразу не могла дать никакого ответа Людовико, или сообразить, где назначить место свидания. Но, подумав немного, она убедилась, что действительно нигде не будет так безопасно, как в коридоре, возле ее комнаты: она не хотела бы уходить оттуда из опасения встретиться с кем-нибудь из гостей Монтони, пробирающихся в свои спальни. Итак, решено было, что шеваляе должен встретить ее в коридоре в тот час ночи, какой Людовико, который будет караулить, найдет самым безопасным. Можно себе представить, в каком волнении, радости, надежде и нетерпении провела Эмилия время, остававшееся до наступления ночи. Никогда еще за все пребывание в замке она не наблюдала с таким удовольствием, как солнце закатывается за горы и серый покров сумерек опускается над пейзажем. Она считала удары башенных часов,

прислушивалась к шагам часовых, когда сменялся караул, и радовалась, что прошел час. «О, Валанкур, — говорила она, — после всего, что я выстрадала, после нашей долгой, долгой разлуки, когда я уже думала, что никогда больше не увижу тебя, — нам вдруг опять суждено свидеться! О, много я натерпелась горя, тоски и страха. Дай мне, Боже, сил вынести такую радость!»

В эти моменты она была нечувствительна к сожалениям или печалям по поводу других, более далеких предметов — даже размышление о том, что она отказалась от имений, которые доставили бы ей и Валанкуру обеспечение на всю жизнь, лишь слегка затуманивало ее радостное настроение. Мысль о Валанкуре, о том, что она так скоро увидится с ним, — одна наполняла ее сердце.

Наконец часы пробили двенадцать; она отворила дверь прислушаться, нет ли шума в замке, и услышала лишь далекие взрывы хохота и песен, доносимые эхом по галерее. Она догадалась, что это синьор пирует со своими гостями. «Теперь они закатились на всю ночь, — подумала она, — Валанкур скоро будет здесь!» Тихонько притворив дверь, она заходила по комнате нетерпеливыми шагами и часто приближалась к окну послушать, не играет ли лютня. Но все было тихо; ее волнение росло с каждой минутой, ноги ее подкашивались, и она села на стул у окна. Аннета, которую она удержала у себя, болтала, по своему обыкновению. Но Эмилия, не обращая на нее внимания и снова подойдя к окну, услышала, что по струнам лютни пробежала искусная рука и тот же выразительный; голос запел следующие слова:

Топламенную страсть он пел, то тихую печаль, .
И песня нежная закрадывалась в сердце —
То гимн торжественный, священный раздавался.
Как будто струн коснулись пальцы серафима.

Эмилия заплакала от счастья, когда песня прекратилась: она сочла это знаком, что Валанкур собирается выйти из своей тюрьмы. Вскоре, действительно, раздались шаги по коридору — легкие шаги, окрыленные надеждой. Эмилия от волнения едва держалась на ногах. Отворив дверь, она вышла встретить Валанкура, и в то же мгновение очутилась в объятиях какого-то чужого человека. Его голос, его лицо сразу убедили ее в ее ошибке, и она лишилась чувств.

Очнувшись, она увидела, что ее поддерживает какой-то незнакомец и наблюдает ее лицо с выражением несказанной нежности и беспокойства. Она не имела сил ни отвечать ему, ни задавать вопросов; ни слова не говоря, она залилась слезами и высвободилась из объятий; тогда на лице его изобразилось удивление и разочарование — он обратился к Людовико за объяснением. Аннета скоро разъяснила дело, взамен Людовико.

— О, сударь, — проговорила она голосом, прерываемым рыданиями, — о, сударь, вы ведь не тот, кого мы ожидали: вы не мосье Валанкур. Ах, Людовико! как мог ты так обмануть нас! Моя бедная госпожа никогда не оправится от этого удара! никогда!

Незнакомец, сильно взволнованный, пытался заговорить, но слова его пресекались; ударив себя рукой по лбу, он в отчаянии бросился на другую сторону коридора.

Но Аннета быстро осушила слезы и заговорила с Людовико.

— А может быть, там внизу еще есть другой шевалье — на этот раз шевалье Валанкур? Эмилия подняла голову.

— Нет, — отвечал Людовико, — мосье Валанкура никогда не было внизу, если этот господин не он. Если бы вы, сударь, — обратился он к незнакомцу — были так добры — доверили бы мне вашу фамилию, такая ошибка не могла бы произойти.

— Совершенно верно, — отвечал незнакомец на ломаном итальянском языке, — но для меня было крайне важно скрыть мое имя от Монтони. Сударыня, — прибавил он, обращаясь к Эмилии на французском языке, — позвольте извиниться перед вами за причиненное вам огорчение и с глазу на глаз сообщить вам мое имя и те обстоятельства, которые ввели меня в

заблуждение. Я родом из Франции, я ваш соотечественник, и вот мы встретились с вами на чужбине!

Эмилия старалась успокоиться, однако колебалась исполнить его просьбу. Наконец, приказав Людовико ждать на лестнице, а горничную удержав при себе, она сказала незнакомцу, что ее служанка плохо понимает по-итальянски, и просила передать ей, что он желает, на итальянском языке.

Удалившись вместе с нею в дальний конец коридора, он начал, с глубоким вздохом.

— Вы для меня не чужая, сударыня, хотя я не имею счастья быть вам известным. Имя мое Дюпон; я родом из Франции, из Гаскони, вашей родной провинции. Я долго восхищался вами и, — что таить правду? — я давно люблю вас. — Он сделал передышку, но тотчас же продолжал. — Моя фамилия, вероятно, знакома вам — мы жили в нескольких милях от вашей «Долины», и я иногда имел счастье встречать вас во время ваших прогулок по соседству. Не стану смущать вас, повторяя, как сильно вы заинтересовали меня; как любил я бродить по тем местам, где вы бывали; как часто я посещал вашу любимую рыбачью хижину и скорбел о судьбе, запрещающей мне тогда же раскрыть вам свою страсть. Не стану объяснять, каким образом я поддался искушению и завладел сокровищем, для меня неоцененным; это сокровище я доверил посланному вами человеку и, признаюсь, при этом меня одушевляли надежды, оказавшиеся несбыточными. Я не стану распространяться об этих вещах, зная, что этим ничего не достигну. Позвольте мне только попросить у вас прощения и умолять, чтобы вы возвратили мне портрет, с которым я так неосторожно расстался. Со свойственным вам великодушием вы извините мне мое воровство и вернете мне мое сокровище. Мое преступление само несло в себе наказание: похищенный портрет только разжигал мою страсть, и она сделалась мучением моей жизни.

На этих словах Эмилия прервала его:

— Мне кажется, сударь, если вы человек справедливый, то сами можете решить, следует ли мне возвращать портрет после того, как вы узнали о моих чувствах к мосье Валанкуру. Вы, конечно, сознаетесь, что такой поступок будет невеликодушным, и позвольте мне добавить, что это было бы несправедливостью по отношению ко мне самой. Я очень польщена вашим добрым мнением обо мне, но... — она запнулась, — но сегодняшнее недоразумение избавляет меня от необходимости сказать более.

— Это так, сударыня, увы! это истинная правда! — согласился француз и после продолжительной паузы заговорил опять. — Но позвольте мне по, крайней мере, доказать вам мое бескорыстие, если не любовь, и примите мои услуги. Но, увы! какие услуги могу я предложить? Сам я пленный и такой же страдалец, как и вы. Как ни дорога мне свобода, но я готов пожертвовать ею, лишь бы освободить вас из этого гнезда порока. Примите услуги друга — не откажите мне в счастье попытаться, наконец, заслужить вашу благодарность.

— Вы уже и теперь достойны ее, сударь, — отвечала Эмилия, — одно ваше желание заслуживает моей горячей благодарности. Но позвольте мне напомнить вам об опасности, какой вы подвергаетесь, затягивая наше свидание. Для меня будет большим утешением знать — независимо от того, удастся ли ваша дружеская попытка освободить меня, — что есть поблизости

соотечественник, с таким великодушием готовый охранять меня.

Дюпон взял ее руку, которую она слабо пыталась отдернуть, и почтительно поднес ее к губам.

— Позвольте мне выразить вам усердное пожелание счастья и еще раз повторить вам уверение в моей привязанности, которую я никак не могу победить...

В то время как он произносил эти слова, Эмилия услышала шум из своей комнаты и, обернувшись, увидела дверь на потайную лестницу открытой и какого-то человека, ворвавшегося в ее спальню.

— А вот я научу тебя победить ее!.. — крикнул этот человек, бросившись в коридор и выхватив стилет, который направил в безоружного Дюпона; но тот увернулся от удара, отшатнувшись назад, затем в свою очередь кинулся на Верецци и вырвал у него стилет.

Пока они боролись, тесно обхватив друг друга, Эмилия с Аннетой побежали дальше по коридору, зовя Людовико, но тот ушел с лестницы и, в то время, как Эмилия бежала вперед в ужасе и не зная, что ей делать, отдаленный шум, как будто исходивший из главных сеней, напомнил ей об опасности, какой она подвергалась; послав Аннету отыскивать Людовико, сама она вернулась на то место, где Дюпон и Верецци продолжали состязаться. Ее собственная судьба зависела от победы Дюпона, поведение которого вообще располагало ее в его пользу, даже если бы она не страшилась и не презирала Верецци. Она в изнеможении упала на стул и умоляла их перестать драться, но вот, наконец, Дюпон повалил Верецци на пол, и тот лежал, ошеломленный силой падения, тогда она стала просить Дюпона бежать из ее комнаты, прежде чем появится Монтони со своими приспешниками. Пока Эмилия, которая теперь трепетала за него еще более, чем за самое себя, настойчиво гнала его, они услышали шаги, поднимающиеся по винтовой лестнице.

— О, вы погибли! — воскликнула она, — наверное, это идут люди Монтони.

Дюпон ничего не отвечал, но поддержал ослабевшую Эмилию и с энергичным, разгоряченным лицом стал ждать появления неприятеля.

В эту минуту на площадке потайной лестницы показался Людовико — один. Торопливо окинув взглядом комнату, он проговорил:

— Идите за мной, если вам жизнь дорога; нельзя терять ни минуты.

Эмилия спросила, что случилось и куда они идут.

— Ничего не могу сказать теперь, синьора, — бежим! бежим!

Эмилия бросилась за ним вместе с Дюпоном вниз по лестнице и по сводчатому ходу, как вдруг вспомнила Аннету и спросила про нее.

— Она ожидает нас подальше, синьора, отвечал Людовико, едва переводя дух от поспешности, — сию минуту ворота стоят отпертые для отряда, вернувшегося с экспедиции в горах; боюсь, их успеют запереть прежде, чем мы до них доберемся! Пожалуйте в эту дверь, синьора, — прибавил он, опуская фонарь, — осторожнее, здесь две ступеньки.

Эмилия шла за ним, дрожа всем телом; она поняла, что ее побег из замка зависит от настоящей минуты; Дюпон поддерживал ее и старался подбодрить ее падающее мужество.

— Говорите тише, синьор, — сказал Людовико, — в этих переходах такое эхо, что оно отдается по всему замку.

— Берегите огонь, — крикнула Эмилия, — вы так быстро идете, что ветром можете задуть его.

Людовико отворил еще какую-то дверь, и за нею оказалась Аннета; вся компания спустилась с нескольких ступенек в коридор, который, по словам Людовико, огибал внутренний двор замка и выходил прямо в наружный двор. По мере того, как они подвигались, какие-то смутные звуки, как будто исходившие из внутреннего двора, стали тревожить Эмилию.

— Ничего, синьора, — успокаивал ее Людовико, — все наше спасение как раз в этой сумятице; пока слуги синьора хлопочут вокруг только что прибывшего отряда, нам, может быть, удастся проскользнуть незамеченными в ворота. Но, тсс!.. — прибавил он, когда они подходили к маленькой двери, которая вела в наружный двор, — если вы побудете здесь минуточку, я схожу взгляну, отворены ли ворота и нет ли какой помехи... Пожалуйста потушите огонь, синьор, если услышите, что я заговорю громко, — продолжал Людовико, передавая фонарь Дюпону, — а сами стойте смирнехонько.

С этими словами он вошел во двор; они затворили за ним дверь и стали тревожно прислушиваться к его удаляющимся шагам. Однако никакого определенного голоса не было слышно со двора, по которому он шел, хотя смутный говор многих голосов все еще доносился с внутреннего двора.

— Скоро мы очутимся вне стен, — тихо промолвил Дюпон Эмилии, — не падайте духом, сударыня, потерпите еще немножко, и все обойдется прекрасно.

Вскоре они услышали голос Людовико, разговаривавшего с кем-то, и Дюпон немедленно потушил фонарь.

— Ах, уже поздно! — воскликнула Эмилия, — что будет с нами?

Опять они стали прислушиваться и догадались, что Людовико говорил с часовым; голоса эти услышала и любимая собака Эмилии, которая побежала за нею следом и теперь начала громко лаять.

— Эта собака выдаст нас, — сказал Дюпон, — я подержу ее. Боюсь, что дело уже сделано — она уже выдала нас...

Дюпон, однако, поймал собаку; вдруг донеслись до них слова Людовико:

— А я покамест постерегу ворота.

— погоди маленько, — возразил часовой, — и тогда тебе нечего будет трудиться: лошадей сейчас уведут в наружные конюшни, тогда запрут ворота и я могу оставить свой пост.

— Мне не трудно оказать тебе услугу, товарищ, — убеждал его Людовико, — в другой раз и ты сослужишь мне службу. Ступай, ступай, тащи вино: а то эти мошенники, что сейчас приехали, все разопьют.

Солдат все еще колебался; он окликнул людей во втором дворе, отчего они не выводят лошадей, чтобы можно было запереть ворота; но те были слишком заняты, чтобы обратить на него внимание, даже если и слышали его оклик.

— Ну, конечно, — сказал Людовико, — они и слушать-то не хотят: делят между собой вино. Если ты будешь дожидаться, пока выведут лошадей, то все вино тем временем будет выпито до капли. Я уже получил свою долю; но коли ты не желаешь взять своей, то я не вижу причины, почему бы мне не выпить ее.

— Постой, постой, не торопись, — крикнул часовой, — пожалуй, постереги ворота минуточку. Я сейчас вернусь.

— Спешить нет надобности, — спокойно проговорил Людовико. — Я уже не раз стоял на карауле. Можешь оставить мне свой тромбон, — это на случай если нападут на замок, знаешь, тогда, по крайней мере, я могу защищать ворота, как герой.

— На, возьми, добрый товарищ, — отвечал солдат, — возьми мой тромбон; не мало он послужил мне, хотя не мог оказать особенной помощи при обороне замка. Ужо я расскажу тебе славную историю про этот тромбон...

— Хорошо, ты расскажешь ее еще лучше, когда выпьешь свою порцию винца. Вот уже идут сюда со двора!

— Все же я хочу получить свою порцию, — сказал солдат, убегая. — Я не задержу тебя ни минуты лишней!

— Не спеши, время терпит, — отозвался Людовико, а сам уже пустился бежать по двору, как вдруг солдат вернулся. — Куда же ты удираешь? — сказал он. — Так-то ты будешь стоять на часах? Видно, мне самому придется караулить.

— Вот хорошо, что ты вернулся, — отвечал Людовико, — и избавил меня от труда бежать за тобой вдогонку. Ведь я хотел тебя предупредить, что если ты хочешь добыть тосканского вина, то надо пойти к Себастиану: он раздаст его, а то другое вино, что у Фредерика, никуда не годится. Но кажется, тебе ни до какого не добраться: гляди-ка, все идут сюда.

— Клянусь св.Петром, ведь это правда! — проговорил солдат и опять убежал.

Людовико, вторично освободившись, бегом побежал к двери коридора, где Эмилия изнемогала от волнения во время этого длинного разговора. Он объявил, что путь чист. Тогда все трое, не мешкая ни минуты, пошли за ним к воротам; тем временем Людовико успел захватить двух коней, которые, выйдя из второго двора, пощипывали тощую травку между камнями первого двора.

Наконец беглецы прошли беспрепятственно под грозными воротами и пустились по дороге, которая вела вниз к лесу: Эмилия, Дюпон и Аннета шли пешком, а Людовико ехал верхом на одной из лошадей, ведя другую в поводу. Достигнув леса, они остановились; Эмилия и Аннета сели на лошадей вместе со своими охранителями; Людовико ехал впереди. Они поскакали во всю прыть по ухабистой дороге при тусклом свете месяца сквозь листву.

Эмилия была так поражена этим неожиданным отъездом, что ей казалось, будто все это сделалось не наяву, а во сне; она сильно сомневалась, удастся ли побег, — сомнение вполне основательное! Действительно, прежде чем они успели выехать из лесу, они услышали крики, доносившиеся ветром, и вскоре увидели огни, быстро мелькавшие вокруг замка. Дюпон стал стегать лошадь и с трудом заставил ее прибавить шагу.

— Ах, бедное животное, — молвил Людовико, — оно измучено, целый день было в деле. Но, синьор, нам надо во что бы то ни стало удирать во всю прыть — вон огни направляются в нашу сторону.

Он стал понукать также и своего коня; теперь оба поскакали быстрым галопом; когда они опять оглянулись, то огни остались так далеко позади, что их трудно было различить, а голоса затихли. Тогда путешественники поехали потише. Посоветовавшись между собою, куда направить путь, они, наконец, решили спуститься в равнину Тосканы и попытаться достигнуть берегов Средиземного моря, откуда не трудно будет морем перебраться во Францию. Туда Дюпон намеревался проводить Эмилию, если узнает, что полк, с которым он пришел в Италию, вернулся на родину.

Теперь они очутились на дороге, по которой когда-то ехала Эмилия в сопровождении Уго и Бертрана; но Людовико, единственный из всей партии знакомый с горными проходами этого края, объявил им, что немного подальше есть разветвление дороги, которая без труда приведет их в Тоскану; на расстоянии нескольких миль лежал небольшой городок, где можно запастись всем необходимым для путешествия.

— Надеюсь, мы не наткнемся на какие-нибудь бродячие шайки бандитов. Я знаю, они водятся здесь. У меня есть хороший тромбон, он сослужит нам службу, если бы попались навстречу такие удалыцы. А вы не вооружены, синьор?

— Как же, — отвечал Дюпон, — у меня есть стилет этого негодяя, которым он хотел убить меня. Но пока что будем радоваться нашему освобождению из Удольфского замка! Нечего мучить себя ожиданием бедствий, которые, может быть, никогда и не случатся.

Луна между тем высоко поднялась над лесом, нависшим по обе стороны узкой лощины, по которой они ехали, и доставляла им достаточно свету, чтобы различать дорогу и обходить разбросанные камни, часто попадавшие на пути. Теперь они подвигались не торопясь, в глубоком молчании, только что опомнившись после сильных впечатлений внезапного отъезда. В особенности притихла Эмилия после пережитых разнообразных волнений. Она погрузилась в молчаливую задумчивость, которой способствовали покой и красота окружающей природы и тихий ропот ночной брызги в листве над их головами. С надеждой думала она о Валанкуре и о Франции; к ее мыслям примешалась бы и радость, если бы то, что произошло в начале ночи, не удручало ее душу до такой степени, что не допускало ликующей радости. Между тем меланхолические размышления Дюпона были направлены исключительно на одну Эмилию; к отчаянию, охватившему его при мысли о своем недавнем разочаровании, примешивалась некоторая доля удовольствия, вызванного ее присутствием, хотя они не обменялись ни единым словом. Аннета думала о своем удивительном освобождении, о том, в каком теперь переполохе Монтони и его люди, когда они убедились в их бегстве; думала о своей родине, куда надеялась вернуться, и своей свадьбе с Людовико, к которой уже не предвиделось больше никаких препятствий, кроме разве бедности: но бедность была ей нипочем! Людовико, со своей стороны, радовался тому, что освободил свою Аннету и синьору Эмилию от окружавших опасностей, тому, что сам избавился от людей, образ жизни которых давно ему был противен; радовался тому, что вызволил мосье Дюпона; радовался перспективе счастья с предметом своей привязанности; немало тешила его и ловкость, с какой он провел часового и вообще устроил все это дело.

Таким образом, занятые каждый своими разнообразными мыслями, путешественники молча ехали около часа; лишь изредка Дюпон задавал вопросы, касающиеся дороги, или Аннета делала какие-нибудь замечания насчет предметов, едва видных в полумраке. Наконец замелькали огоньки на склоне горы, и Людовико заявил, что это несомненно городок, о котором он упоминал; его спутники, обрадовавшись этому сведению, опять

погрузились в молчание. Аннета первая нарушила его:

— Святой Петр угодник! — воскликнула она, — что же мы будем делать без денег-то в дороге? Ведь ни у меня, ни у барышни нет ни единого секина за душой! Синьор об этом уж позаботился.

Это замечание вызвало серьезное смущение. У Дюпона отобрали почти все его деньги, когда он попал в плен; кое-какой остаток он отдал часовому, разрешавшему ему иногда выходить из камеры заключения. А Людовико, которому за последнее время трудно было добиться уплаты от части просроченного жалованья, имел теперь так мало наличных денег, что на них едва можно было бы получить немного пищи для подкрепления сил в первом городе на пути.

Бедность их была тем более прискорбна, что из-за нее они должны были задержаться в горах, где даже в каком-нибудь городе они не могли считать себя в безопасности от Монтони. Делать нечего, путешественникам пока оставалось только подвигаться вперед и надеяться на свою удачу. И вот они продолжали пробираться по пустынным, диким местностям, по сумрачным долинам, где листва то скрывала лунный свет, то пропускала его; пустыни были до того унылые, что казалось с первого взгляда, будто туда никогда не проникало ни одно человеческое существо. Даже дорога, по которой продвигались наши путники, как бы подтверждала это предположение, по высокой траве и другой роскошной растительности на краях ее видно было, как редко ступала по ней нога человеческая.

Наконец, в отдалении раздалось позвякивание овечьих колокольцев, а вскоре и блеяние стада; наши путники убедились, что они находятся поблизости от человеческого жилья, потому что огоньки, которые Людовико ошибочно принял за признак города, давно уже пропали, заслоненные другой горой. Приободренные надеждой, они ускорили шаги по узкому проходу, откуда открылся вид на одну из пастушьих долин в Апеннинах — картина была чисто аркадская; красота и незатейливая простота представляла дивный контраст с величием снеговых гор, возвышающихся над нею.

При отблеске утренней зари, загоревшейся на горизонте, смутно показался на небольшом расстоянии на окраине пригорка тот город, которого они искали; вскоре они достигли его. Не без труда удалось им найти дом, где они могли бы приютиться и поставить лошадей. Эмилия не пожелала останавливаться долее, чем требовалось, чтобы подкрепиться пищей. Ее вид возбуждал, некоторое удивление у жителей; она была без шляпы и впопыхах успела только набросить на голову вуаль — это обстоятельство заставило ее пожалеть об отсутствии денег, без которых нельзя было приобрести себе необходимый головной убор.

Людовико, осмотрев свой кошелек, нашел, что его денег окажется недостаточно даже на пищу; Дюпон, наконец, решился откровенно рассказать хозяину постоялого двора, у которого было честное, простодушное лицо, о своем положении и просить его помочь им продолжать свое путешествие. Тот обещал оказать им содействие по мере сил, узнав, что они пленники, бежавшие от Монтони, которого он имел причины ненавидеть. Хотя он согласился одолжить им свежих лошадей до ближайшего города, но сам он был слишком беден, чтобы дать им денег; опять им пришлось скорбеть о своей бедности, как вдруг в комнату вбежал Людовико, ходивший поставить измученных лошадей под навес, служивший им конюшней; он не помнил себя от радости, которую вскоре разделили и его товарищи: снимая седло с одной из лошадей, он нашел под ним небольшой кошелек, содержащий, без сомнения, долю добычи одного из кондотьеров, вернувшихся с грабительской экспедиции как раз перед тем, как Людовико бежал из замка; очевидно, лошадь кондотьера забрела из внутреннего двора, пока хозяин ее пьянствовал, и унесла с собой сокровище, которое негодяй считал наградой за свои подвиги.

Дюпон сосчитал деньги: их оказалось более чем нужно для того, чтобы всем четверым переправиться во Францию, куда он теперь решил проводить Эмилию, безразлично, получит он или нет извещение от своего полка. Хотя он чувствовал доверие к добросовестности Людовико, насколько позволяло его краткое знакомство с ним, но он все-таки не мог допустить мысли поручить Эмилию его заботам на время путешествия; с другой

стороны, ему не хотелось отказаться от опасного удовольствия ее присутствия.

Стали обсуждать вопрос, к какой морской гавани они должны направить путь; Людовико, более знакомый с географией страны, объяснил им, что Легхорн был ближайшим значительным портом. Дюпон тоже находил, что из всех итальянских портов Легхорн более всего соответствует их целям, так как оттуда беспрестанно уходят суда всех национальностей. Туда-то они и решили держать путь.

Эмилия приобрела себе маленькую соломенную шляпку, такую, какие носили тосканские крестьянки, и некоторые другие принадлежности, необходимые в дороге; затем путешественники переменили своих измученных лошадей на других, свежих, и пустились в дорогу, как только солнце стало подыматься из-за горных вершин; пространствовал несколько часов, они стали спускаться в долину Арно. Здесь Эмилия могла любоваться всей прелестью лесной и пастушеской природы в гармоничном сочетании. Местность еще украшалась рассеянными кое-где изящными виллами флорентийской знати и роскошными разнообразными полями. Каким свежим кустарником поросли склоны и как прекрасны леса, раскинувшиеся амфитеатром по горам! А над всем этим виднелись изящные очертания волнообразных Апеннин, теперь уже смягченных и не таких диких, какими являлись внутри горной области. В некотором отдалении, на востоке Эмилия различала Флоренцию с ее башнями, рисующимися на светлом горизонте, и с ее роскошной равниной, расстилающейся к самым предгорьям Апеннин, пестрея садами, великолепными виллами, рощами апельсиновых, лимонных, тутовых деревьев и плодородными полями. К западу равнина эта тянулась до самого берега Средиземного моря, столь отдаленного, что его можно было узнать только по голубоватой линии, видневшейся на горизонте, да по легкому морскому туману, едва окрашивавшему эфир над горизонтом.

От всего сердца Эмилия приветствовала волны, по которым она должна вернуться на свою родину; однако при воспоминании о родине сердце ее заняло тоской — ведь у нее уже не было дома, где она могла бы приютиться, не было родителей, которые приветствовали бы ее; как бездомный странник возвращалась она в отчизну поплакать над могилой, где лежит прах ее отца! Нерадостно ей было подумать и о том, как много, вероятно, пройдет времени, прежде чем она увидится с Валанкуром: может быть, он стоит со своим полком где-нибудь в далекой области Франции, и даже когда они встретятся, то им придется лишь скорбеть и сетовать по поводу захватов негодяя Монтони. При всем том она все-таки чувствовала несказанный восторг при мысли очутиться снова в той стране, где живет Валанкур, даже если б она и была уверена, что не увидит его.

Палящий зной — настал полдень — принудил путников поискать тенистый уголок, где они могли бы отдохнуть несколько часов; соседняя чаща, изобилующая диким виноградом, малиной и фигами, обещала им вкусный завтрак.

Вскоре они свернули с дороги в рощу; там сквозь густую зелень совсем не проникали солнечные лучи, а ручей, вытекавший из скалы, распространял в воздухе чудную прохладу. Сойдя с коней и пустив их пастись, Аннета и Людовико побежали набрать ягод и плодов с окружающих кустов и скоро вернулись с обильным запасом провизии. Путешественники, расположившись под тенью кипарисов и пиний на мураве, усыпанной невиданным обилием душистых цветов — такого множества Эмилии не удавалось видеть даже в Пиренеях, — насладились своей незатейливой трапезой, с новым удовольствием любясь сквозь темную листву сосен сияющим ландшафтом, который тянулся вплоть до самого моря.

Мало-помалу Эмилия и Дюпон погрузились в молчание и задумчивость; Аннета сияла радостью и болтала за всех; Людовико тоже был весел, помня, однако, расстояние, отделявшее его от других спутников.

Окончив завтрак, Дюпон посоветовал Эмилии постараться заснуть в жаркие часы дня; слугам он велел сделать то же самое, с тем, что он сам будет сторожить тем временем; но Людовико не хотел утруждать его и взялся караулить со своим мушкетом, пока Эмилия с Аннетой, утомленные путешествием, прилегли заснуть.

Когда Эмилия, освеженная сном, проснулась, она увидела, что караульный спит на

своем посту, а Дюпон сторожит, погруженный в глубокую задумчивость. Так как солнце стояло еще слишком высоко, чтобы можно было продолжать путь, и так как было необходимо дать Людовико время выспаться после всех вынесенных им трудов и тревог, то Эмилия воспользовалась случаем, чтобы расспросить Дюпона, каким образом он очутился пленником у Монтони. Польщенный участием Эмилии, Дюпон тотчас же начал свое повествование.

— Я прибыл в Италию, сударыня, вместе со своим полком, состоя на службе моего отечества. Во время стычки в горах с бандами Монтони наш отряд был обращен в бегство, и я попал в плен вместе с несколькими товарищами. Когда мне сказали, чей я пленник, имя Монтони поразило меня: я помнил, что г-жа Шерон, ваша тетушка, вышла замуж за итальянца этого имени и что вы уехали с ними в Италию. Но лишь позднее я убедился, что это тот самый Монтони и что вы находитесь под одним кровом со мною. Я не стану надоедать вам описанием своих чувств, когда я узнал об этом от одного часового, которого я успел склонить на свою сторону настолько, что он делал мне некоторые снисхождения, между прочим одну поблажку, очень для меня важную, но очень опасную для него; однако он упорно отказывался передавать вам письма или какие-либо поручения от меня; он боялся, что его изловят, и тогда он подвергнется мщению Монтони. Впрочем, он несколько раз доставлял мне возможность видеть вас. Вы удивлены, сударыня, и я должен объясниться. Мое здоровье и состояние духа сильно страдали от недостатка воздуха и моциона. Наконец мне удалось вызвать жалость, или, может быть, корыстолюбие в этом человеке, и он стал позволять мне ходить по террасе.

Эмилия с напряженным вниманием слушала рассказ Дюпона.

— Дав мне такое разрешение, — продолжал он, — солдат знал, что ему нечего опасаться моего бегства из замка, который зорко охранялся и ближайшая терраса которого возвышалась над отвесной скалой; он показал мне также дверь, скрытую в деревянной панели моей камеры, и научил меня отворять ее; дверь эта вела в проход, проделанный сквозь толщину стены и выходявший в темный закоулок восточного укрепления. Впоследствии я узнал, что есть много подобных переходов, скрытых в толще стен, по всей вероятности, проделанных нарочно для того, чтобы облегчать побег в военное время. По этому проходу в глухую полночь я часто пробирался на террасу и прохаживался по ней с крайней осторожностью, чтобы шум шагов моих не выдал меня часовым, стоящим на карауле где-нибудь в далеких частях ее; ибо та часть террасы, где я ходил, защищенная высокими зданиями, не охранялась солдатами. В одну из таких полночных прогулок я увидел свет в одном окне над укреплением, как я заметил, приходившемся как раз над моей камерой заключения. Мне пришло в голову, не вы ли живете в этой комнате, и с надеждой увидеть вас я стал караулить против окна.

Эмилия, вспомнив фигуру, появлявшуюся прежде на террасе и так сильно пугавшую ее, воскликнула:

— Так это были вы, мосье Дюпон, — это вы возбуждали мои глупые страхи? Моя душа была в то время так подавлена долгими страданиями, что я пугалась каждого пустяка.

Дюпон, выразив сожаление, что он был причиной ее испуга, прибавил:

— В то время, как я стоял, прислонившись к ограде против вашего окна, я думал о вашем тяжелом положении, о моем собственном, и у меня невольно вырывались стоны, что, вероятно, и заставило вас подойти к окну: тогда-то я и увидел в окне женскую фигуру и был уверен, что это вы. О, не стану описывать вам моих чувств в эту минуту! Я горел желанием заговорить, но меня удерживала осторожность; наконец далекие шаги часового принудили меня покинуть свой пост.

Прошло порядочно времени, прежде чем мне удалось опять выйти на прогулку; я мог выходить из своей тюрьмы только в те ночи, когда стоял на часах мой знакомый; между тем я убедился, на основании его слов, что ваша комната помещается как раз над моею; в следующий раз, когда я вышел, я опять вернулся к вашему окну и увидел вас, но не решался заговорить. Я махнул рукой, и вы вдруг скрылись; тогда-то я забыл об осторожности и у

меня вырвался стон... Опять вы появились... вы заговорили... я услышал знакомый звук вашего голоса! В эту минуту моя сдержанность опять изменила бы мне, если б я не услышал приближающихся шагов солдата. Тогда я мгновенно удалился, но человек все-таки успел меня заметить. Он бросился за мной следом по террасе и так проворно нагонял меня, что я принужден был прибегнуть к уловке — правда, смешной уловке, чтобы спасти себя. Я слышал о суеверии этих людей и издал какой-то странный, неопределенный вопль, в надежде, что мой преследователь примет этот звук за нечто сверхъестественное и бросит гнаться за мною. К счастью, выходка моя удалась. Человек этот, как оказалось, был подвержен каким-то припадкам. Он упал без чувств, а благодаря этому я мог благополучно ретироваться. Сознание избегнутой опасности, а также усиленный караул, установленный, очевидно, вследствие моего появления, удерживали меня после этого от прогулок по террасе; но в тиши ночи я иногда утешал себя, играя на старой лютне, которую достал мне тот же приятель солдат; порою я пел что-нибудь, в надежде, признаюсь, что вы услышите меня. Но лишь несколько вечеров тому назад надежда эта оправдалась: мне почудился во время бури голос, зовущий меня. Но даже и тогда я побоялся ответить, чтобы меня не услышал часовой. Был ли я прав в данном случае, сударыня? Не вы ли обращались ко мне?

— Да, — промолвила Эмилия, с невольным вздохом, — вы не ошиблись!

Дюпон, заметив тягостное волнение, поднятое этим вопросом, поспешил переменить тему разговора.

— В одну из моих экскурсий по упомянутому ходу, проделанному в стене, я случайно подслушал один странный разговор.

— В потайном ходе? — с удивлением спросила Эмилия.

— Я подслушал его, находясь там, — пояснил Дюпон, — но он раздавался из комнаты, смежной со стеной, в которой проделан был ход: стенка была так тонка в том месте и, может быть, так обветшала, что я мог отчетливо расслышать каждое слово, сказанное по ту сторону. Случилось, что Монтони с товарищами собрались в этой зале пировать, и Монтони начал рассказывать странную историю дамы, прежней владелицы замка. Действительно, он сообщал удивительные вещи, а насколько они верны — пусть ответит его совесть. Но вы, сударыня, вероятно, слышали версию, которую он желает распространить относительно таинственной судьбы этой дамы?

— Слышала, — отвечала Эмилия, — и замечая, что вы сомневаетесь в ее правдивости.

— Я сомневался в ней и раньше того случая, о котором я рассказываю, — отвечал Дюпон, — некоторые обстоятельства, упомянутые Монтони, подтвердили мои подозрения. Я убедился, что Монтони и есть убийца. Я трепетал за вас, тем более, что слышал, как гости упоминали ваше имя в неуважительном тоне, угрожавшем вашему спокойствию; зная, что самые дурные люди часто бывают склонны к суеверию, я решился попробовать пробудить в них совесть и застрашать их до такой степени, чтобы они отказались от задуманного преступления. Я со вниманием слушал Монтони. и в наиболее поразительных местах его истории вмешивался и повторял его последние слова глухим, замаскированным голосом.

— Но как вы не боялись, что вас накроют? — спросила Эмилия.

— Я этого не боялся; я понимал, что, если бы Монтони знал тайну этого хода, он не поместил бы меня в комнате, куда ход этот вел. Я знал наверное, из надежных источников, что ход был ему неизвестен. Общество некоторое время как будто не обращало внимания на мой голос, но в конце концов так встревожилось, что все разбежались. Услышав распоряжение, отданное Монтони слугам — обыскать залу, я вернулся в свою тюрьму, которая помещалась очень далеко от этой части потайного коридора.

— Я прекрасно помню случай, о котором вы рассказываете, — подтвердила Эмилия, — он вызвал тогда страшный переполох среди гостей Монтони, и признаюсь, я сама имела слабость разделять общий страх.

Так-то Дюпон и Эмилия продолжали разговаривать между собой о Монтони, о Франции и о плане своего путешествия. Эмилия сообщила ему о своем намерении поселиться в одном монастыре в Лангедоке, где с ней раньше обошлись с большой лаской, и

оттуда написать своему родственнику, г.Кенелю, чтобы уведомить его о своем поступке. Там она намеревалась ждать до тех пор, пока «Долина» опять перейдет в ее полную собственность: туда она со временем надеется вернуться, когда увеличится ее доход. Дюпон уверял ее, что имения, которые Монтони пытался мошеннически отнять у нее, еще не безвозвратно потеряны для нее, и кстати опять порадовался ее освобождению из рук Монтони, который, видимо, хотел удержать ее пленницей на веки вечные. Возможность вернуть теткины поместья для себя и Валанкура зажгла такую радость в сердце Эмилии, какой она не испытывала уже много месяцев. Но она пыталась скрыть это от мосье Дюпона, чтобы не вызвать в нем горьких воспоминаний о сопернике.

Они продолжали беседовать до тех пор, пока солнце стало склоняться к западу; Дюпон разбудил тогда Людовико, и они снова пустились в путь. Постепенно спускаясь по склонам долины, они достигли реки Арно и несколько миль проехали по ее зеленым берегам, очарованные окружающей чудной природой и классическими воспоминаниями, связанными с этими местами. В отдалении они услышали веселую песню крестьян в виноградниках и наблюдали, как заходящее солнце окрашивало реку золотистым сиянием, а сумерки окутывали далекие горы тусклым пурпуровым колоритом, пока не наступил полный мрак. Тогда «luciolà», тосканский светляк, замелькала ярким огоньком то там, то сям в кущах, а пронзительное трещанье цикады раздалось в зелени еще громче, чем даже в полуденную жару: очевидно, она предпочитала тот час, когда и английский жук, не столь громогласный, трубит в свой маленький, настойчивый рожок, и часто в сумерках навстречу пилигриму летит с назойливым жужжаньем...

Путешественники переправились через Арно при лунном свете на пароме; узнав, что Пиза лежит на расстоянии всего нескольких миль вниз по реке, им захотелось поехать туда на лодке, но лодки нельзя было достать, поэтому они отправились сухим путем на своих измученных лошадях. По мере того, как они приближались к городу, долина расширялась в равнину, пестревшую виноградниками, полями злаков, оливковыми и тузовыми рощами. Было уже поздно, когда они достигли ворот города; Эмилия была поражена, услышав на многолюдных улицах звуки музыкальных инструментов и увидав оживленные группы; ей показалось, как будто она опять очутилась в Венеции. Но здесь, в Пизе, не было озаренного луною моря, не было веселых гондол, снующих по волнам, не было дворцов Палладио, чарующих фантазию и переносящих в область волшебной сказки. Арно струился через весь город, но не слышно было музыки с балконов, нависших над водою; раздавались только голоса хлопотливых матросов с кораблей, прибывших с Средиземного моря, меланхолические вздохи бросаемых якорей и резкие свистки лоцманов. Они напомнили Дюпону, что и в этом порте могут найтись суда, отбывающие во Францию: это избавило бы их от необходимости ехать в Легхорн. Поместив Эмилию в гостиницу, он отправился на набережную навести справки; но, несмотря на все старания его и Людовико, они не могли отыскать такого судна, которое немедленно отплывало бы во Францию, и вернулись в гостиницу. Здесь же, в Пизе, Дюпон старался разузнать, где в настоящее время стоит его полк, но не получил об этом никаких сведений. Путешественники улеглись спать рано после этого утомительного дня и на другое утро поднялись с рассветом; не останавливаясь, чтобы рассмотреть знаменитые древности этого города и чудеса наклонной башни, они продолжали путь в более прохладные часы дня по прелестной местности, изобилующей хлебом, вином и елеем. Апеннины, уже не такие суровые и даже не величавые, словно смягчились и переходили в более веселый лесной и пастушеский ландшафт; Эмилия, спускаясь с гор, с восхищением глядела на Легхорн с его просторной бухтой, полной кораблей и увенчанной прекрасными холмами.

Она была поражена, когда, въехав в город, увидала, что он кишит толпой людей в одеждах всевозможных национальностей. Это зрелище напомнило ей сцены венецианского маскарада, виденные там во время карнавала. Но здесь была суeta без веселья, шум вместо музыки, а изящество можно было видеть только разве в волнистых очертаниях холмов.

Дюпон немедленно по прибытии в этот портовый город спустился вниз на пристань,

где узнал, что здесь стоит несколько французских судов, а одно из них через несколько дней отправляется в Марсель; оттуда без затруднений можно было пересесть на другое судно, которое переправит их через Лионский залив в Нарбонн. В нескольких милях от этого города, на побережье, насколько Дюпон мог заключить из слов Эмилии, находился монастырь, куда она хотела удалиться, И он тотчас же условился с капитаном насчет переправы в Марсель, и Эмилия с восторгом услышала, что переезд во Францию обеспечен.

Ее душа избавилась от страха преследования; радостная надежда скоро увидеть родину — ту страну, где живет Валанкур, подняла ее дух и развеселила ее, кажется, впервые после смерти отца. В Легхорне же Дюпон узнал, что его полк отправился во Францию. Это обстоятельство очень обрадовало его, так как теперь он мог проводить туда Эмилию, не подвергаясь угрызениям совести и не опасаясь неудовольствия своего командира. Во все эти дни он тщательно избегал тревожить ее упоминанием о своей страсти, а она научилась уважать и жалеть его, не разделяя его любви. Он старался развлечь ее, показывая ей окрестности города; они часто отправлялись гулять по берегу моря и на шумные пристани, где Эмилия с интересом наблюдала прибытие и отбытие кораблей, принимала участие в радости друзей, встречающихся после разлуки, и порою проливали слезу над горем других при расставании. Однажды после того, как ей случилось наблюдать подобную сцену, она написала следующие стансы:

МОРЯК

Весенний веет ветерок, тиха поверхность моря,
И небо синее смеется, отражаясь в гладком зеркале вод;
Трепещет белый парус, надувается широко;
Над якорем хлопочут бравые матросы;
На палубе стоят друзья, слезу прощальную украдкой
проливая;
Толпа на палубе... Как быстро мчится время!
Вот дрогнул уж корабль, сигнал прощальный раздается.
Уста безмолвствуют, в глазах тоска разлуки...
Настал ужасный миг! Вот юноша-матрос
Глокает слезы, улыбается среди своих страданий.
Ласкает грустную невесту, клянется в вечной верности:
«Прощай, любовь моя! мы скоро свидимся, надеюсь!»
Стоит он долго на корме, рукой махая.
Вот берег, и толпа все дальше и все меньше!
Летит корабль по быстрому теченью;
Исчезла с глаз невеста милая... Прощай! Прощай!
Вот к вечеру печально стонет бриза,
Уж сумерки над западом багровым разлились.
Матрос полез на мачту поглядеть еще разочек
На берег дальний, по которому душа его тоскует,
И видит только темную черту, сливающуюся с небом,
А в мыслях видит он невесту милую в слезах и слышит ее
вздохи;
Печаль ее он утешает, сулит ей радостную долю!
Но вот уж наступает ночь; подул свежее ветер;
Тьма сплошь окутала и берега и море.
Матрос глядит из них печальным, воспаленным взором;
Из глаз холодные струятся слезы; опять на палубу идет.
А в полночь разыгрался шторм; крепят все паруса;
Синал гудит, но нет поблизости приветливого берега;
По волнам прыгает и мечется корабль злосчастный...

«О, Эллен! Эллен! Не увидимся с тобой мы никогда!»
Ах! тщетны все усилия экипажа!
Полопались канаты, повалились мачты,
И крики ужаса вокруг них раздаются
И замирают... Судно наскочило на утес!
Свирепо над разбитым остовом бушуют волны.
Несчастный экипаж весь исчезает в бездне!
И слабый голос Генриха затрепетал сквозь грохот бури:
«Прощай, любовь моя! Расстались мы навеки!»
И часто в тихий час вечерний.
Когда над волнами играет бриза,
Меланхолический тот голос раздается
Над водною могилой, где лежит несчастный Генрих!
И часто в полночь в воздухе несутся звуки
Над рощицей, где похоронен Элен прах...
И не страшатся девушки тех звуков скорбных:
То дух любви витает под священной сенью!

ГЛАВА XXXV

*... о, радость
Юных грез, окрашенных
Горячею, блестящею фантазией!
Когда все ново, неизведано, прелестно!*
Священные драмы

Вернемся теперь в Лангедок и познакомим читателя с графом де Вильфор, тем дворянином, к которому перешло поместье маркиза де Вильруа, лежащее неподалеку от монастыря св.Клары. Если помнит читатель, замок этот был необитаем в то время, как Сент Обер с дочерью гостили по-соседству, и Сент Обер пришел в сильное волнение, узнав о том, что находится по близости от замка Леблан; об этом замке добрый старик Лавуазен в своем разговоре проронил несколько намеков, возбудивших любопытство Эмили.

В начале 1584 года, того самого, когда скончался Сент Обер, Франциск Бово граф де Вильфор вступил во владение замком и обширными поместьями, носящими название Шато Леблан, на берегу Средиземного моря. Это поместье, в течение нескольких веков принадлежавшее его фамилии, теперь перешло к нему по наследству после смерти его родственника, маркиза де Вильруа, человека очень сдержанного и крутого нрава. Это обстоятельство, а также его профессия, часто призывавшая его на поле битвы, препятствовали установлению близких отношений между ним и его кузеном графом де Вильфор. Много лет они были мало знакомы между собой, и граф получил первое известие о его смерти, случившейся в отдаленной части Франции, вместе с документами, вводившими его во владение замком Леблан, но лишь на другой год он решился посетить это поместье, намереваясь провести там осень.

Воспоминания о замке Леблан часто приходили ему на память, облеченные в тот поэтический ореол, какой пылкое воображение всегда придает картинам юношеских удовольствий. Много лет тому назад, еще при жизни маркизы, находясь в том возрасте, когда душа особенно восприимчива к радостным, веселым впечатлениям, он однажды посетил этот замок, и хотя он потом провел много лет своей жизни среди неприятностей и тревожений общественной деятельности, часто развращающей сердце и вкус, но чудная сень лангедокского поместья и очарование его природы до сих пор не изгладились из его памяти.

При покойном маркизе замок долго стоял заброшенный; там жили только старик

дворецкий с женой, и здание пришло почти в разрушение. Главной причиной, повлиявшей на решение графа провести осенние месяцы в Лангедоке, было желание лично наблюдать за ремонтом в замке, необходимым для того, чтобы привести его в жилой вид. Ни уговоры, ни слезы графини — в важных случаях всегда прибегавшей к слезам — не могли заставить его отказать от своего намерения.

И вот графиня, повинаясь приказанию мужа, собралась покинуть веселые парижские собрания, где красота ее не имела соперниц и одерживала блестящие победы, тогда как ум ее значительно уступал наружности, волей-неволей пришлось променять светские удовольствия на жизнь в глуши, среди лесов, среди пустынной красы гор, в величественных готических залах и в длинных-длинных галереях, где гулкое эхо вторит шагам или мерному тиканью больших стенных часов, доносящемуся из сеней внизу. Эту печальную перспективу графиня пробовала скрасить, припоминая все, что слышала когда-либо о веселом сборе винограда на равнинах Лангедока. Но там, увы! не будет грациозных парижских танцев, а вид деревенского веселья не мог радовать ее сердца, давно уже испорченного роскошью.

У графа было двое детей от первого брака — сын и дочь, и он намеревался взять их с собою на юг Франции. Анри, юноша по двадцатому году, служил во французской армии, а Бланш, которой еще не минуло и 18-ти лет, до сих пор жила в монастыре, куда была отдана немедленно после женитьбы отца. Это сделалось по совету супруги графа, не обладавшей ни способностями, ни желанием наблюдать за воспитанием падчерицы; боязнь, чтобы девушка не затмила ее красотой, заставляла ее всячески стараться о том, чтобы граф продлил заточение своей дочери. И вот теперь она увидела с крайним огорчением, что муж уже не соглашается на дальнейшую проволочку. Одно ее утешало, это то, что когда Бланш выпорхнет из монастыря на свет Божий, то в глуши деревни некому будет восхищаться ее красотой.

В то утро, когда семья графа отправилась в путь, карета остановилась по приказанию графа у ворот монастыря, чтобы захватить Бланш; сердце молодой девушки билось от восторга при мысли о новом мире, о свободе, открывавшихся перед нею.

По мере того как приближалось время отъезда, нетерпение ее все росло; прошлой ночью она считала каждый удар башенных часов, и ночь показалась ей нескончаемо длинной. Наконец забрезжил рассвет, зазвонили к утрени, и она услышала, как монахини спускались по лестнице из своих келий. Она вскочила с постели, во всю ночь не сомкнув глаз, чтобы приветствовать желанный день, когда она наконец избавится от всех строгостей монастырской жизни и вступит в новый мир, где царит одна доброта, одна радость!

Когда раздался звон у главных ворот и вслед за тем послышался стук колес экипажа, она бросилась с трепещущим сердцем к своему оконцу и, увидав экипаж отца, остановившийся во дворе внизу, легкими шагами, вприпрыжку побежала по галерее, где встретила с монахиней, передавшей ей приглашение явиться к настоятельнице. В одну минуту девушка очутилась в приемной перед графиней, показавшейся ей ангелом, который должен ввести ее в рай.

Но чувства графини при взгляде на падчерицу были совсем другого рода; никогда еще Бланш не была так мила, как в эту минуту, когда лицо ее оживилось радостной улыбкой и горело красотой невинного счастья.

Поговорив несколько минут с настоятельницей, графиня стала прощаться. Настал момент, которого Бланш ждала с таким горячим нетерпением: вот вершина, откуда она взглянет на волшебный край счастья! Но зачем же тогда эти слезы сожаления? Бланш с изменившимся, огорченным лицом обернулась к своим юным сверстницам, собравшимся тут, чтобы проститься с нею, и проливающим слезы! Даже с настоятельницей, такой важной и торжественной, она простилась с чувством печали, которую за несколько часов перед тем сочла бы невозможной; но ведь всегда бывает тяжело прощаться даже с предметами неприятными, если только мы знаем, что это прощание навеки. Бланш перецеловалась со всеми бедными монахинями и пошла за графиней. Вся в слезах покинула она навсегда то место, которое рассчитывала покинуть с улыбкой на устах.

Но присутствие отца и разнообразие предметов, встречавшихся на пути, вскоре развлекли ее внимание и рассеяли облако грустного сожаления, набежавшее на ее юное чело. Не слушая разговора, происходившего между графиней и мадемуазель Беарн, ее подругой, Бланш вся погрузилась в приятную мечтательность, наблюдая, как облака молчаливо неслись по голубому эфиру, то застилая солнце и протягивая тени по всей местности, то снова открывая ее во всем блеске. Путешествие продолжало доставлять Бланш невыразимое удовольствие; ежеминутно перед ее глазами открывались все новые картины природы, и ее фантазия получила запас веселых, красивых впечатлений.

Лишь на седьмой день вечером путешественники увидели вдали замок Леблан; романтическая красота его местоположения произвела сильное впечатление на Бланш; она с изумлением и восторгом наблюдала Пиренейские горы, еще днем казавшиеся так далеко, а теперь отстоявшие всего на несколько миль, с дикими утесами и страшными пропастями, которые то припадали, то выступали по прихоти вечерних облачков, носившихся над ними. Лучи заходящего солнца окрашивали снеговые вершины розовым отблеском, а синеватые тона в теневых местах и углублениях гор придавали, в силу контраста, еще больший блеск световой стороне. Равнины Лангедока, алея багрянцем виноградников и пестрея рощами тутовых, миндальных и оливковых деревьев, расстилались далеко к северу и востоку. На юге виднелось Средиземное море, чистое, как кристалл, и синее, как отражавшееся в нем небо; местами на белых парусах кораблей играли блики солнца и еще более оживляли сцену.

На высоком мысе, омываемом водами Средиземного моря, стоял замок графа Вильфора, почти скрытый от глаз лесами смешанных древесных пород: сосны, дуба и орехового дерева; леса увенчивали возвышенность и полого спускались в равнину с одной стороны, тогда как с другой они тянулись на значительное расстояние вдоль морского побережья.

По мере приближения к ним, готические очертания старинного замка выступали все ярче и яснее — сперва над макушками деревьев показалась зубчатая башня, затем остроконечная арка исполинских ворот.

У Бланш стала разыгрываться фантазия; ей казалось, что она приближается к историческому замку древних времен, где рыцари глядят из-за зубцов на какого-нибудь героя паладина, одетого в черные доспехи и идущего со своими приспешниками на избавление дамы сердца от притеснений злого соперника: она припоминала легенды, которые читала в романах, украдкой взятых из монастырской библиотеки.

Экипажи остановились у ворот, ведущих в усадьбу и теперь запертых; но большой колокол, прежде служивший для возвещения о прибытии посетителей, давно уже свалился со своей подставки, и слуга вынужден был взобраться на разрушенную ограду, чтобы возвестить в замке о приезде господ.

Бланш, высунувшись из окна, всей душой отдалась тихим, сладостным впечатлениям, навеянным вечерним часом и прелестной природой. Солнце уже закатилось, сумерки стали окутывать горы; далекие воды океана, отражавшие алое сияние, все еще горевшее на западе, казались светлой чертой, протянутой по горизонту. Тихий ропот прибоя, разбивающегося о берег, доносился бризой; по временам слабо слышался издали меланхолический всплеск весел.

Бланш могла на досуге предаваться своему задумчивому настроению, потому что мысли ее спутников были поглощены ближайшими интересами. Графиня с грустью вспоминала о веселых собраниях, покинутых в Париже, и с отвращением глядела на мрачные леса и дикую пустынность местоположения; ей страшна была перспектива запереться в замке, и она была расположена на все смотреть с неудовольствием. Чувства Анри были сходны с настроением графини; он с печальным вздохом вспомнил прелести столицы и красивую даму, овладевшую за последнее время его сердцем. Но весь этот край и жизнь, в которую он вступал, представляли для него по крайней мере прелесть новизны, и его грусть была смягчена веселыми юношескими ожиданиями.

Когда ворота, наконец, отворились, экипаж медленно въехал под каштаны, где было

почти темно от густой тени, и покати́л по пре́жней доро́ге, те́перь до того заросшей роскошной растительностью, что края ее отмечались только рядами деревьев по обе стороны. Проехав с полмили среди леса, они достигли, наконец, замка. Это была та самая дорога, по которой когда-то ехали Сент Обер с Эмилией, в надежде найти дом, который приютил бы их на ночлег, и по которой они неожиданно повернули назад, испуганные окружающей пустынностью и какой-то фигурой, которую их кучер принял за разбойника.

— Какое мрачное место! — воскликнула графиня, когда экипаж въехал в густую чащу деревьев. — Неужели, граф, вы намерены провести всю осень в этом варварском углу?

— Мое пребывание здесь зависит от обстоятельств, — отвечал граф. — В этом варварском углу жили мои предки...

Между тем экипаж остановился перед замком, и у дверей парадного входа показались старик дворецкий и парижские слуги, посланные вперед убрать замок к приезду господ. Теперь Бланш заметила, что не все здание построено в готическом стиле, — есть и пристройки более современной архитектуры; просторные, мрачные сени имеют, однако, чисто готический характер. Роскошные ковровые обои, которые теперь в сумерках трудно было рассмотреть, висели по стенам; на них изображены были сцены из старых провансальских романов. В огромное, обращенное на юг готическое окно, обрамленное ломоносом и шиповником и теперь открытое, можно было видеть сквозь зеленую рамку пологую лужайку и далее макушки темных деревьев, нависших на краю обрыва. Еще далее виднелись волны Средиземного моря, простирающиеся к югу и востоку, где они сливались с горизонтом, между тем как на северо-востоке они ограничивались роскошными берегами Лангедока и Прованса, покрытыми лесом и пестреющими виноградниками и пологими пастбищами. На юго-западе высились величавые Пиренеи, теперь уже едва видные глазу под дымкой сумерек.

Проходя по сеням, Бланш на минуту остановилась полюбоваться прелестным видом, слегка подернутым вечерними тенями, но все еще не скрытым от глаз. Но скоро она была выведена графиней из состояния мечтательного восторга, навеянного этой сценой. Ничем не довольная и нетерпеливо желавшая поскорее закусить с дороги и отдохнуть, графиня поспешила пройти в большую приемную с панелями из темного кедрового дерева, с узкими стрельчатыми окнами и темным потолком из резного кедра и кипариса; комната эта выглядела страшно мрачной, хотя потертая зеленая бархатная обивка мебели с потемневшей золотой бахромой когда-то, очевидно, предназначалась придать этой комнате более веселый, уютный вид.

Пока графиня требовала, чтобы ей подали закусить с дороги, граф с сыном отправились осматривать замок, а Бланш поневоле должна была остаться с мачехой и быть свидетельницей ее неудовольствия и раздражительных выходок.

— Давно вы живете в этом пустынном месте? — спросила графиня у старой экономки, явившейся представиться ей.

— Да уже лет двадцать, ваше сиятельство, ровно двадцать исполнится в день св.Иеронима.

— Но как это случилось, что вы прожили здесь так долго и почти в одиночестве. Я думала, замок простоял заколоченный уже много лет?

— Да, ваше сиятельство, так и было в течение многих лет, после того, как граф, мой покойный господин, ушел на войну, вот уже больше двадцати лет, как мой муж и я поступили к нему на службу. Дом был такой огромный и такой пустой за последнее время, что мы чувствовали себя как потерянные в нем, и по прошествии некоторого времени взяли да и переселились в избушку у опушки леса: там по крайней мере живут арендаторы по соседству, а замок мы приходили навещать от времени до времени. Когда граф вернулся с войны во Францию, он невзлюбил это поместье и никогда сюда не приезжал жить, так что он ничего не имел против нашего переселения в избушку. Увы! до чего изменился замок против прежнего! Как, бывало, любила и холила его покойница барыня! Я хорошо помню, как она сюда приехала еще невестой и как здесь было славно! Теперь замок давно запущен,

заброшен и пришел в такое разрушение! Не видать уже мне больше счастливого времечка!

Графиня как будто немного обиделась простодушной наивностью, с какой старуха изливала свои сожаления о былых временах. Напоследок Доротея прибавила:

— Но теперь в замке опять заживут господа, и опять здесь будет весело. А я ни за что на свете не согласилась бы жить здесь одна!

— Этого вам и не предложат, мне кажется, — возразила графиня, недовольная тем, что своим молчанием ей не удалось пресечь болтовни словоохотливой старухи; ее красноречие было, впрочем, прервано приходом графа; он объявил, что осматривал некоторые части замка, что здание требует капитального ремонта и перестройки для того, чтобы превратиться в удобное, комфортабельное жилище.

— Очень сожалею об этом, заметила графиня.

— А почему вы сожалеете, позвольте вас спросить, сударыня?

— Потому что место не вознаградит вас за все труды и траты: будь оно раем земным, и тогда оно невыносимо, по причине своей отдаленности от Парижа.

Граф не отвечал, но поспешно подошел к окну.

— Здесь много окон, — начала опять графиня, — но они не дают ни света, ни развлечения. Из них ничего не видно, кроме дикой пустыни.

— Я решительно не понимаю, — сказал граф, — что вы разумеете под названием дикой пустыни? Неужели эти равнины, эти леса, это прекрасное море заслуживают такого названия?

— Эти горы несомненно могут быть названы пустыней, — возразила графиня, указывая на Пиренеи, — а этот замок если и не произведение грубой природы, то, по-моему, является творением какого-то дикого искусства.

Граф покраснел от досады.

— Этот дом, сударыня, построен моими предками, и позвольте вам сказать: ваши замечания доказывают, что у вас нет ни вкуса, ни такта.

Бланш, возмущенная этой размолвкой, грозившей превратиться в очень неприятную сцену, встала, чтобы уйти, но в эту минуту пришла горничная ее мачехи и графиня, пожелав, чтобы ее проводили в ее апартаменты, удалилась в сопровождении мадемуазель Беарн.

Пока еще не совсем смерклось, Бланш воспользовалась случаем, чтобы осмотреть новые места; из гостиной она прошла через сени в широкую галерею, стены которой были украшены мраморными пилястрами, подпиравшими сводчатый потолок, выложенный богатой мозаичной работой. В далекое окно, как будто заканчивающее галерею, виднелись пурпурные вечерние облака и ландшафт, подробности которого под тонким покровом сумерек уже не вырисовывались отчетливо, а сливались в одну сплошную серую массу, тянущуюся до горизонта.

Галерея заканчивалась салоном, к которому и принадлежало окно, виденное Бланш в открытую дверь; сгущающиеся сумерки не позволяли ей подробно рассмотреть эту комнату; казалось, она была великолепна и уже новейшей архитектуры. Но или эту постройку допустили впасть в разрушение, или же она никогда не была вполне закончена. Окна, многочисленные и широкие, помещались низко; из них открывался очень обширный и, как показалось Бланш, прелестный вид; она простояла несколько минут, стараясь пронизать взором серый полумрак, и фантазия ее рисовала себе в ночной мгле воображаемые леса и горы, долины и реки. Ее впечатлениям скорее помогали, чем нарушали их, и отдаленный лай сторожевой собаки, и шелест брыз, пробегавшей в легкой листве. От времени до времени вспыхивал среди леса огонек в хижине; наконец донесся вечерний колокол монастыря, замирая в отдалении. Когда она прекратила свои наблюдения, тьма и тишина в салоне немного испугали ее; она отыскала дверь в галерею, несколько минут впотьмах пробиралась по ней и вошла в другую залу, совершенно иного характера. При свете сумерек, проникавшем сквозь открытый портик, она могла разглядеть, что эта зала была легкой, воздушной архитектуры, что пол в ней выложен белым мрамором, такие же колонны подпирают арки потолка в мавританском стиле. Пока Бланш стояла на ступеньках портика,

над морем взошла луна, и тут постепенно стали обнаруживаться красоты местности, окружавшей замок; непосредственно от его стен лужайка, теперь запущенная и заросшая высокой травой, полого спускалась к лесам, которые, почти окружая замок, тянулись на большое пространство по южным склонам возвышенности, до самого океана. За лесами, на северной стороне, виднелась длинная полоса лангедокской равнины, а на востоке открывалась уже довольно смутная картина, с башнями монастыря, слабо освещенными луною, подымавшеюся над темными рощами.

Мягкие серые тени, разлитые по всей местности, волны, искрящиеся при лунном свете, тихий, мерный ропот прибоя на берегу — все это, вместе взятое, возвышало душу Бланш и наполняло ее непривычным энтузиазмом.

«Как это я могла прожить на свете так долго, — думала она, — и не замечала чарующей красоты величественной природы! Никогда я не любовалась такими картинами, никогда не испытывала такого глубокого наслаждения! Каждая крестьянская девушка в поместье отца с детства уже знакомится с природой и на свободе бродит по диким, романтическим местам. А я сидела взаперти в монастыре, вдали от всей этой красоты, созданной для того, чтобы очаровывать глаз и пробуждать сердце. Могут ли бедные монахи или монахини чувствовать истинное, горячее благоговение, если они никогда не видят, как восходит и заходит солнце? Никогда еще, до сегодняшнего вечера, я не видывала, как закатывается солнце на необъятном горизонте! Завтра первый раз в жизни я увижу восход его... О, кому охота жить в Париже, смотреть на серые стены и грязные улицы, если можно жить в деревне и любоваться на голубое небо, на зеленую землю?»

Этот восторженный монолог был прерван каким-то шорохом в зале: пустынность обширного покоя навевала на нее страх; кроме того, ей показалось, будто что-то движется между колонн. Несколько мгновений она наблюдала молча; наконец, пристыдив себя за смешную трусость, она собралась с духом и спросила:

— Кто там?

— О, милая барышня! это вы? — отозвалась старая экономка, пришедшая затворять окна.

Робкий тон, которым она произнесла эти слова, удивил Бланш.

— Вы как будто испуганы, Доротея? Что случилось?

— Нет, я не испугалась, барышня, — отвечала старуха нерешительно, стараясь казаться спокойной, — но я человек старый, и всякий пустяк волнует меня!

Бланш улыбнулась.

— Я рада, что его сиятельство граф приехал сюда пожить, — продолжала Доротея. — Замок многие годы стоял заброшенный и здесь было очень тоскливо; теперь же опять все будет по-старому, как при жизни покойницы-барыни.

Бланш спросила:

— Давно ли скончалась маркиза?

— Увы! — отвечала Доротея, — так давно, что я даже перестала считать годы! Замок точно в трауре стоит с той самой поры, и я уверена, что вассалы до сих пор тужат о ней, о покойнице. А вы, видно, заблудились, барышня? Пойдемте, я покажу вам другую часть замка, по ту сторону.

Бланш спросила:

— Давно ли сооружена вот эта часть здания?

— Вскоре после женитьбы его сиятельства, барышня, — отвечала Доротея. — Замок и без того был огромен, помимо этих новых построек; многие покои старого здания никогда и не употреблялись, а у его сиятельства штат был чисто княжеский, но он находил, что старинный дом слишком угрюм, и это сушая правда!

Бланш попросила взглянуть на необитаемую часть замка, но так, как в коридорах стояла полная тьма, то Доротея повела ее по краю лужайки на противоположную сторону здания, и когда она отворила дверь из главных сеней, то встретила лицом к лицу с мадемуазель Беарн.

— Где это вы пропадали? — крикнула она. — Я уже начинала бояться, не случилось ли с вами какого-нибудь удивительного приключения: может быть, великан, властелин этого заколдованного замка, или привидение, которое, наверное, здесь водится, похитили вас и завели через потайной ход в подземелье, откуда вам никогда не выбраться на свет Божий...

— Нет, — рассмеялась Бланш, — со мной не было ничего подобного, но вы, очевидно, такая охотница до приключений, что я предоставляю испытывать их исключительно вам.

— Хорошо, я готова подвергнуться приключениям лишь бы потом иметь удовольствие описывать их.

— Милая мадемуазель Беарн, — проговорил Анри, встретив их у дверей гостиной, — никакое привидение, как бы оно ни было страшно, не способно заставить вас молчать. Наши духи настолько цивилизованны, что не станут подвергать даму чистилищу, более суровому, чем то, в каком они сами находятся.

Мадемуазель Беарн только рассмеялась на эту шутку. В это время появился граф и подали ужин; за столом граф говорил мало, казался рассеянным и только несколько раз повторил, что замок пришел в большой упадок с тех пор, как он в последний раз видел его.

— Много лет прошло с того времени, — сказал он, — и хотя общие черты местности не подвержены переменам, однако теперь она производит на меня совсем иное впечатление, чем в былое время.

— Неужели прежде эти места казались вам еще прелестнее? — спросила Бланш. — Мне это представляется почти невозможным!

Граф взглянул на нее с меланхолической улыбкой и сказал:

— Когда-то они были для меня столь же прелестны, как для тебя теперь. Пейзаж не изменился, но иллюзия, придающая тот или другой смысл колориту природы, исчезает быстро! Если тебе случится, милая Бланш, посетить это поместье через несколько лет, то ты, может быть, вспомнишь и поймешь чувства твоего отца.

Бланш, тронутая этими словами, молчала; она старалась мысленно проникнуть в будущее и представить себе свою жизнь через несколько лет; сообразив, что того, кто теперь говорит с нею, тогда уже, вероятно, не будет в живых, глаза ее, потупленные в землю, наполнились слезами. Она протянула руку отцу; тот нежно улыбнулся ей, встал и отошел к окну, чтобы скрыть свое волнение.

Все члены семьи, утомленные дорогой, рано разошлись по своим спальням. Бланш по длинной дубовой галерее прошла в свою комнату, просторную, высокую, с высоко поставленными старинными окнами и поэтому несколько мрачную, — все это не примиряло ее с отдаленным положением комнаты в старинной части замка. Мебель также была старинная; кровать драпирована голубым штофом с потемневшими золотыми галунами; балдахин возвышался в виде шатра с ниспадающими занавесями, вроде тех палаток, какие можно встретить на старинных картинах, да и вся комната походила на старинную картину с ее полинялыми ковровыми обоями.

У Бланш каждый предмет возбуждал любопытство; взяв свечу из рук горничной, чтобы рассмотреть стенные ковры, она убедилась, что они изображают сцены из осады Трои, хотя вылинявшая шерсть теперь являлась как бы насмешкой над пылкими подвигами изображенных героев. Бланш посмеялась над подмеченными забавными нелепостями, но вспомнила, что руки, работавшие над коврами, как и поэт, замыслы которого они старались передать, давно уже истлели в прах; печальные мысли завладели ее воображением, и ей стало грустно до слез.

Строго-настрого приказав горничной разбудить ее до восхода солнца, она отпустила ее, и чтобы прогнать мрачное впечатление, навеянное всеми этими размышлениями, она открыла одно из высоких окон и сразу успокоилась при виде прекрасного лика живой природы. Окутанная ночными тенью земля, воздух, океан — все было тихо, неподвижно. По ясному небу медленно плыло несколько мелких облачков из-за них то мерцали звезды, то загорались еще более ярким блеском. Мысли Бланш невольно вознеслись к Всеблагому Творцу всех этих красот, которыми она любовалась, и она тихо прошептала молитву с

гораздо большим благоговением, чем в сводчатых стенах монастыря. Она оставалась у окна до глубокой полночи, когда густой мрак разлился по окрестностям. Тогда только она положила утомленную голову на подушку и, полная веселых планов на завтрашний день, предалась сладкому сну, доступному только здоровой, счастливой юности.

ГЛАВА XXXVI

*Какой восторг переживать все впечатленья
юных лет!
Все наше незатейливое счастье, когда предмет
малейший радость возбуждал,
Когда мы с упоеньем наслаждались горами,
лесом и журчаньем
Извилистого, дикого потока.*

Томсон

Бланш проспала гораздо позже того часа, которого с таким нетерпением ожидала; ее горничная, утомленная путешествием, разбудила ее не раньше завтрака. Впрочем, Бланш мгновенно позабыла свою досаду, когда отворила окно и увидала — с одной стороны необъятное море, сверкающее при утренних лучах солнца, со скользящими по нем легкими парусами, а с другой стороны-свежие леса, широкую равнину и голубые горы; все это сияло в блеске ясного дня. Бланш с наслаждением вдыхала чистый утренний воздух; на ее щеках играл румянец здоровья, глаза светились удовольствием.

«И кто это первый выдумал монастыри? — думала она. — Кто убедил людей запирается в стенах обителей и притворяться там религиозными и благочестивыми, тогда как в монастырях они как раз удалены от всего, что способно вызвать в человеке искреннее благоговение? Богу всего угоднее молитва благодарного сердца; а когда мы любуемся величием Его творений — мы чувствуем наибольшую благодарность. Я никогда не испытывала такого молитвенного настроения в скучные годы моего заточения в монастыре, как теперь, за те немногие часы, что я провела здесь. Мне стоит только бросить взгляд вокруг себя, чтобы вознестись мыслями к Творцу из глубины моего сердца!»

С этими думами она отошла от окна, бегом побежала по галерее и в одну минуту очутилась в столовой, где уже сидел граф. Веселое яркое солнце разогнало его мрачные, печальные размышления; на лице его играла ласковая улыбка, и он весело заговорил с Бланш, сердце которой радостно отзывалось на его ласковые речи. Вскоре появился Анри, а за ним и графиня с мадемуазель Беарн. На всех, видимо, отразилось влияние веселого солнца; даже графиня настолько оживилась, что снисходительно приняла приветствие супруга и только раз изменила своему благодушному настроению, язвительно спросив, нет ли здесь поблизости каких-нибудь соседей, которые могли бы скрасить жизнь в этом «варварском углу», и уж не думает ли граф, что ей возможно существовать здесь без всяких развлечений.

После завтрака компания разошлась. Граф, велев призвать управителя, отправился вместе с ним осматривать, в каком состоянии находятся хозяйственные постройки, и посетить некоторых арендаторов. Анри побежал на берег моря, освидетельствовать лодку, на которой предполагалось предпринять маленькую экскурсию вечером, и наблюдать, как будут приделывать к ней шелковый навес. Графиня с мадемуазель Беарн удалились в одну из комнат новейшей пристройки, убранную с изящной роскошью; а так как окна комнаты выходили на балкон, обращенный в сторону моря, то тут она была избавлена от вида «противных Пиренеев». Графиня прилегла на софу и, устремив томный взор на волны океана, расстилающегося за вершинами деревьев, отдалась роскоши великосветской скуки, между тем как компаньонка читала ей вслух сентиментальный роман, проникнутый модным философским направлением. Графиня сама была отчасти философом, но больше по части супружеских неверностей; в известном кругу мнение ее очень ценили и считали его законом.

Тем временем Бланш поспешила отдаться своему новому увлечению природой и отправилась гулять по диким лесным тропинкам вокруг замка; пока она бродила под тенистыми деревьями, ее веселое настроение постепенно сменилось задумчивым, мечтательным. Она то тихими шагами пробиралась под густой тенью переплетенных ветвей по траве, где свежая роса нависла каплями на каждом цветочке, то неслась легкой поступью по тропинке, на которую солнце бросало сквозь листву трепещущие кружки света; кругом светлая зелень березы, акации и рябины, перемеживаясь с более густым колоритом кедра, пинии и кипариса, представляла чудную гамму оттенков; тогда как величественный дуб и восточный платан по своей форме резко отличались от перистой мягкости пробкового дерева и колыхающейся грации тополя.

Дойдя до простой скамейки в чаще леса, Бланш села отдохнуть; сквозь прогалину леса взор ее улавливал мельком клочки голубых вод Средиземного моря, с белыми парусами, скользящими по его глади, или части гор, облитых горячим солнцем; при этом душой ее овладело то изысканное наслаждение, которое будит фантазию и ведет к поэтическому творчеству. Жужжание пчел одно нарушало тишину, царившую кругом; в то время, как они вместе с другими насекомыми пестрых оттенков весело носились в тени, или упивались сладким медом из чашечек свежих цветов. Бланш, наблюдая одного из мотыльков, перелетавшего с цветка на цветок, старалась представить себе те наслаждения, которые он испытает в течение своего короткого дня, и у нее сложились в голове следующие стансы:

МОТЫЛЕК К СВОЕЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

Какой тенистый дол, благоухающий цветами,
Тебя прельстил остановить воздушный твой полет,
И не лететь в лиловый вереск
Где часто весело носилась ты?
Я долго наблюдал из чашечки лилии,
Блиставшей белизной под утренним лучом,
Старался я напрасно уловить шорох твоего полета
И разглядеть издалека блеск твоих пестрых крыльев.
Ни солнцем залитое пастбище, ни дерево цветущее —
Ничто на свете не сравнится с чашечкой лилии,
Убежищем моим и преданной моей любви.
Когда начнут цвести цветы в апреле
И буквица, и колокольчик голубой,
Во мху зеленом скромная фиалка,
С своими чашечками, смоченными слезой росы.
Когда подует ветер злой,
Начнет срывать цветы и похищать из чашечек их мед
И гулко разносить в долине песни.
Тогда я улетаю в зеленый приют лесов:
Там, в чаще спутанной лесных тропинок, я играю
Вдали от грубых ребятишек;
Туда едва лишь проникает солнца свет,
И легкая роса там воздух освежает.
То высоко я в солнечном луче порхаю
Над кущами, фонтаном, долом и пригорком.
Склоняюсь ласково над алыми цветами,
Что свесили свои головки над ручьем.
Но их оставляю я, — пусть тебя направят.
Покажут, где цветет жасмин душистый
И белоснежный ландыш прячется в траве.
Где распускаются бутоны роз...

Но все не слышу я возлюбленной полета!
В каком убежище тенистом соблазнилась ты остаться?
Когда-то одному лишь мне ты угодить желала.
Со мной одним порхала но цветам!
Но, может быть, печалюсь я напрасно,
Убежище тенистое напрасно я браню?
Быть может, ты верна и только заблудилась
Иль завлекли волшебницы тебя?
Иль, может быть, царица фей в стране волшебной,
Цня твоё проворство, далеко тебя послала
До вечера слетать и принести ей
Эссенции душистой для колесницы её легкой.
Или наполнить чашечку от желудя
Нектаром из индийской розы.
Или собрать на берегу волшебного ручья
Майской росы, лекарства от тоски любовной?
Но что к вижу: ты уже летишь
Веселая, как самый яркий из цветов весенних.
Я узнаю убор лазоревый и черный
И пурпурные крылышки твои.
На крыльях бризы мчишься ты ко мне.
Привет, привет тебе в моем душистом доме!
В прекрасной лилии с тобой по-прежнему мы заживем
И вместе будем мы порхать с цветочка на цветок.

Вернувшись в замок, Бланш, вместо того чтобы пройти в гостиную графини, из любопытства пустилась бродить по той части замка, которой она еще не осматривала, — самая старинная часть его более всего привлекала её внимание; хотя то, что она видела из новейших пристроек, было красиво и элегантно, но старина казалась интереснее её романтическому воображению. Поднявшись по парадной лестнице и пройдя по дубовой галерее, она вступила в длинную анфиладу покоев, со стенами, увешанными коврами или украшенными панелями из кедрового дерева; мебель на них казалась такой же старинной, как и сами покои; огромные каминные стояли пустые и холодные; видно, давно вокруг них не собиралось веселое общество; весь ряд комнат имел такой унылый, заброшенный вид, будто почтенные предки, портретами которых были увешаны стены, были последними обитателями этих хором.

Выйдя оттуда, Бланш очутилась в другой галерее, упиравшейся одним концом в заднюю лестницу, а другим — заканчивавшейся дверью, которая, по-видимому, сообщалась с северной частью замка; но дверь эта оказалась запертой. Тогда Бланш спустилась с лестницы и, отворив дверь, проделанную в стене несколькими ступенями ниже, очутилась в небольшой квадратной комнатке, составлявшей часть западной башни. Из трех её окон открывались чудесные и все разные виды: одно окно выходило на север, в сторону Лангедока, другое — на запад, на предгорья Пиренеев, грозные вершины которых увенчивали ландшафт, и третье было обращено к югу, на Средиземное море и часть дикого побережья Руссильона.

Оставив башню и спустившись по узкой лестнице, Бланш попала в полутемный коридор и там долго бродила, ища выхода; наконец, её взяло нетерпение и страх, — она позвала на помощь. Вслед затем послышались шаги, мелькнул огонь сквозь дверь в конце коридора, кто-то осторожно приотворил её, не решаясь войти. Бланш молча глядела на высунувшуюся фигуру; дверь стала медленно закрываться; тогда она крикнула и подбежала к двери. Перед нею оказалась старуха-экономка.

— Дорогая барышня! это вы? — проговорила Доротея. — Как это вы попали сюда?

Если бы Бланш была не так поглощена своими собственными страхами, она заметила бы выражение смертельного испуга и удивления на лице старой Доротеи; та повела ее по длинному лабиринту ходов и комнат, имевших такой вид, будто они уже лет сто простояли необитаемыми. Наконец они достигли комнаты, отведенной для экономки; там Доротея усадила ее и подала угощение. Бланш отведала предложенных сластей и рассказала, что набрела на прелестную башенку, которую желает присвоить себе. Или Доротея была не так чувствительна к красотах природы, как ее молодая госпожа, или же привычка постоянно видеть перед собою живописные ландшафты притупила ее вкус, но она не отозвалась ни словом на восторги Бланш. Однако та несколько этим не смутилась. На ее вопрос, куда ведет дверь, оказавшаяся запертой, старуха объяснила, что она ведет в длинный ряд комнат, куда никто не входил уже много лет,

— В одной из них, — прибавила она, — умерла покойная барыня, и мне кажется, у меня никогда не хватит духу войти туда.

Хотя Бланш очень хотелось посмотреть эти комнаты, но, увидав, что глаза у Доротеи наполнились слезами, она воздержалась и не попросила отпереть их. Вскоре пришлось идти одеваться к обеду, за которым все общество встретилось в прекрасном настроении духа, кроме одной графини, легкомысленная натура которой, истомленная ленью, не давала ей ни самой быть счастливой, ни способствовать чужому счастью. Мадемуазель Беарн пыталась острить, направляя свои шуточки на Анри; тот отвечал скорее по необходимости, чем из желания поощрять ее игривые выходки; хотя оживленность этой особы иногда забавляла его, но ему претило ее самомнение и эгоизм.

Веселость, с какой Бланш примкнула к маленькому обществу для послеобеденной прогулки, сразу испарилась, как только они дошли до берега моря. Со страхом взглянула она вблизи на необъятное пространство вод, которое издали возбуждало в ней восторг и удивление. Только усилием воли ей удалось подавить свой страх, когда она вслед за отцом села в лодку.

В то время, когда она боязливо оглядывала обширный горизонт, охватывающий необозримую площадь океана, чувство возвышенного восторга боролось в ее сердце с ощущением личной опасности. Легкая бриза играла по воде, шелестела шелковым навесом лодки и пробегала по листве леса, увенчивавшего скалы на протяжении многих миль. Граф оглядывал все это горделивым взором собственника и любителя прекрасного.

На некотором расстоянии от берега в лесу стоял павильон, в прежнее время служивший убежищем веселому светскому обществу; но и теперь, благодаря своему местоположению, он отличался романтической красотой. Там граф приказал приготовить кофе и десерт; туда же гребцы направили теперь лодку, следуя извилинам берега и огибая лесистые мысы, между тем как грустные звуки рогов и других духовых инструментов раздавались с другой лодки, плывшей в отдалении, разносились эхом между скал и замирали над волнами. Бланш успела подавить свою трусость; дивное спокойствие охватило ее душу и принуждало ее к молчанию; она была так счастлива, что забывала даже вспомнить про монастырь и про свои прежние горести, чтобы сравнить их с теперешним благополучием.

Графиня чувствовала себя менее несчастной, чем за все время после того, как она покинула Париж; теперь она старалась обуздать свое капризное настроение и даже вернуть себе доброе мнение мужа.

Граф смотрел на свою семью и на окружающий вид со спокойным удовольствием и нежностью, между тем как сын его предавался искреннему веселью юности, ожидающей новых наслаждений и не жалеющей о прошлых.

Проплыв с час времени, общество наконец высадилось на берег и поднялось на утесы по тропинке, полузаросшей травой. В небольшом отдалении от высшего пункта возвышенности, под тенистыми деревьями, показался павильон; лишь только портик его замелькал между стволами, Бланш заметила, что он построен из разноцветного мрамора. Следуя за графиней по тропинке, она беспрестанно с восторгом оглядывалась на океан, видневшийся внизу за темной листвой; оттуда глаза ее переносились на густой лес,

безмолвие и непроницаемый мрак которого пробуждали чувства еще более возвышенные и упоительные.

В павильоне все было приготовлено, — насколько возможно в такое короткое время, — для приема гостей, но полинялые краски его расписных стен и потолка и обветшавшая обивка когда-то великолепной мебели доказывали, что он уже давно заброшен и отдан во власть времени и непогоды. Пока маленькое общество угощалось кофе и фруктами, звуки рогов, раздававшиеся из лесу, где эхо повторяло и смягчало их мечтательную грусть, приятно нарушали лесную тишину. Это местечко, очевидно, понравилось даже графине; или, быть может, ее занимали только планы будущих украшений и переделок. Граф, всегда радовавшийся, когда ее мысли направлялись на что-нибудь простое, домовитое, соглашался на все ее проекты, касающиеся павильона. Живопись стен и потолка решили обновить; диваны и скамьи предполагалось обить светло-зеленым штофом; мраморные статуи лесных нимф, держащие на головах корзины живых цветов, должны были украшать ниши между окнами, прорубленными до самого пола, чтобы из каждого окна можно было в любом пункте восьмиугольной комнаты любоваться разнообразными ландшафтами. Из одного окна откроется вид на романтическую долину, где глаз встретит поэтические, тенистые уголки и пышные рощи; из другого окна сквозь расступившийся лес можно будет окидывать глазом далекие вершины Пиренеев; третье окно упрется прямо в аллею, за которой виднеются серые башни замка Ле-Блан и его живописные руины, частью скрытые листвой; из четвертого окна можно будет бросить взгляд сквозь деревья на зеленые пастбища и деревушки, разнообразящие берега р.Од. Средиземное море с смелыми утесами, возвышающимися на его берегу, составит сюжет картины, которая откроется из пятого окна; из остальных трех можно будет любоваться с различных точек зрения дикой живописностью лесов.

Погуляв некоторое время по лесу, общество вернулось на берег моря и снова разместилось в лодке. Красота вечера соблазнила их продлить экскурсию и проплыть немного дальше вдоль бухты. Легкая бриза, надувавшая их парус, когда они плыли сюда, сменилась теперь мертвым штилем, и гребцы взялись за весла. Кругом вода представляла необъятное сплошное зеркало, отражавшее серые утесы и перистую зелень лесов, алый отблеск западного неба и темные облака, тихо плывшие с востока. Бланш нравилось смотреть, как весла погружаются в воду, и следить за кругами, расходящимися по воде и придающими трепетное движение отраженному ландшафту, не расстраивая гармонии его очертаний.

Над темными вершинами леса глаза ее уловили группу каких-то высоких башен, слегка окрашенных блеском заката; вскоре звук рогов замолк, и она услышала несущийся издали хор голосов.

— Что это за голоса раздаются? — спросил граф, прислушиваясь. Но мелодия замолкла.

— Мне кажется, это вечерний гимн; я бывало часто слышала его у себя в монастыре, — заметила Бланш.

— Значит, мы недалеко от здешнего монастыря, — сказал граф.

Действительно, вскоре после этого лодка обогнула гористый мыс и показался монастырь св.Клары, расположенный у самого берега моря. В том месте утесы вдруг понижались, открывали низменную часть берега с маленькой бухтой, почти со всех сторон окаймленной лесом, из-за которого виднелись части здания — большие ворота, готические окна приемной, кельи и одна сторона часовни; величественная арка, которая когда-то вела в часть здания, теперь уже разрушенную, стояла в виде грандиозной руины, отдельно от главного сооружения, за которым открывалась чудная перспектива лесов.

По серым стенам цеплялся мох, и вокруг стрельчатых окон часовни причудливыми фестонами свешивались бриония и плющ.

Все кругом было пустынно и заброшено; но пока Бланш с восхищением глядела на почтенные руины, эффектность которых еще усиливалась резкими светотенями, бросаемыми облачным закатом, раздалось изнутри торжественное хоровое песнопение. Граф приказал

гребцам отдохнуть на веслах. Монахи пели вечерний гимн, и в их хоре участвовало несколько женских голосов; мелодия постепенно росла, наконец орган и голоса слились в мощную, торжественную гармонию. Скоро, однако, пение замолкло, потом опять возобновилось, уже в медленном, еще более торжественном диапазоне; но вот по прошествии некоторого времени священный хор стал замирать и окончательно замолк. Бланш вздохнула; на глазах ее задрожали слезы; мысли ее возносились вместе с пением к небесам. В лодке царило очарованное безмолвие; в это время вереница иноков и монахинь, закутанных в белые покрывала, выступила из келий и прошла под тенью деревьев в главный корпус здания.

Графиня первая нарушила безмолвие, охватившее маленькое общество.

— Эти мрачные гимны и монахи наводят тоску, — промолвила она; — однако начинает смеркаться; не пора ли возвращаться, а то стемнеет, прежде чем мы успеем добраться до дому.

Граф, взглянув на небо, заметил, что темнеет не столько от сумерек, сколько от туч, предвещающих приближающийся шторм. На востоке скапливались черные тучи; оттуда надвигался густой мрак, представляя контраст с роскошью огненного заката. Крикливые чайки реяли быстрыми кругами над поверхностью моря, обмакивая свои легкие крылья в волны, и улетали искать убежища. Гребцы налегли на весла. Гром потихоньку гремел в отдалении, и скоро тяжелые капли дождя зашлепали по воде; тогда граф решил причалить к монастырю и просить пустить их на время непогоды. Лодка мгновенно изменила курс; По мере того, как тучи приближались к западу, их темные массы окрашивались густым багрянцем, который путем отражения как будто зажигал пламенем верхушки деревьев и древние башни монастыря.

Вид неба встревожил графиню и ее компаньонку; их испуганные восклицания усиливали беспокойство графа и смущали гребцов; Бланш молча, то волнуемая страхом, то с восторгом любуясь на грозные, величественные тучи и слушая протяжные раскаты грома, разносившиеся по воздуху.

Наконец лодка причалила к лужайке перед монастырем; граф послал слугу доложить о своем прибытии и просить убежища у настоятеля. Скоро настоятель сам появился вдали у главных ворот в сопровождении нескольких монахов, а тем временем вернулся слуга с гостеприимным приглашением от его имени.

Общество немедленно высадилось и, поспешно пройдя по лужайке — теперь дождь лил ливнем, — было встречено у ворот настоятелем. Когда вошли посетители, он простер над ними руку и дал им свое благословение; после этого все направились в большую приемную, где ожидала настоятельница, окруженная монахинями, одетыми, как и она, в черное, только с белыми покрывалами на головах. У аббатисы однако покрывало было до половины откинута, так что видно было ее лицо, исполненное смиренного достоинства; строгие черты ее смягчались улыбкой приветствия, с которой она обратилась к графине; она пригласила всех дам, графиню, Бланш и м-ль Беарн к себе в монастырскую приемную, между тем как графа и Анри настоятель провел в трапезную.

Графиня, утомленная и недовольная, встретила приветствие аббатисы с небрежной надменностью и лениво последовала за ней в приемную; там, благодаря расписным окнам и панелям из дерева лиственницы, всегда стоял унылый полумрак, а теперь, под вечер, было почти совсем темно.

Пока аббатиса распоряжалась насчет угощения и беседовала с графиней, Бланш отошла к окну; нижние стекла не были расписаны, и сквозь них она могла наблюдать, как бушевал шторм над морем; темные волны, еще недавно тихие, словно сонные, теперь смело вздымались и неслись грядами к берегу, где разбивались белой пеной, высоко отбрасывая брызги о скалы. Красный, сернистый колорит разливался по длинной веренице туч, нависших над западным горизонтом; под их темными краями выглядывало солнце, озаряя дальние берега Лангедока, а также и кудрявые макушки ближайших лесов, и бросало отчасти отблеск на западную часть моря. Весь остальной пейзаж был погружен во мрак; кое-где

лишь солнечный луч пронизывал тучи, задевая белые крылья чаек, тревожно носившихся над волнами, или надутый парус корабля, борющегося с бурей. Бланш некоторое время с беспокойством следила за движением этого судна, метавшегося по пенистым волнам, и когда вспыхивала молния, глядела на разверзающиеся небеса, со вздохом молясь за несчастных мореплавателей.

Но вот закатилось солнце; тяжелые тучи, долго висевшие над горизонтом, опустились, наконец, над ярким отблеском заката; корабль был едва виден, Бланш продолжала наблюдать его, пока быстро следующие друг за другом вспышки молнии, озарявшие весь горизонт, не заставили ее отойти от окна; тогда она подошла к аббатисе, которая, уже истощив все темы разговора с графиней, могла теперь посвятить свое внимание и другой своей гостье.

Но завязавшаяся беседа была прервана страшными ударами грома; скоро зазвонил монастырский колокол, призывая обитателей к молитве. Проходя мимо окон, Бланш опять бросила взгляд на океан; там при мгновенной вспышке молнии, озарившей обширную пелену вод, она различила тот же самый злополучный корабль: среди моря пены он рассекал волны; мачта его то пригибалась к волнам, то высоко выпрямлялась.

Бланш тяжело вздохнула и последовала за аббатисой и графиней в часовню. Между тем некоторые из слуг графа, посланные сухим путем в замок за экипажами, вернулись вскоре по окончании вечерни; когда шторм немного утих, граф с семейством вернулся домой. Бланш с удивлением заметила, до какой степени извилины бухты ввели ее в заблуждение относительно расстояния от замка до монастыря; к вечернему звону его она прислушивалась вчера из окон западного салона, а башни его она тоже приметилла бы оттуда же, если бы не помешали сумерки.

Прибывши в замок, графиня, притворяясь еще более усталой, чем была на самом деле, удалилась сейчас же в свои апартаменты, а граф с сыном и дочерью прошли в столовую ужинать; не прошло нескольких минут, как они услышали, во время паузы между завываниями ветра, стрельбу из ружей. Граф тотчас же сообразил, что это сигнал бедствия с какого-нибудь судна, погибающего от шторма; он подошел к одному из окон, выходивших на море, и, открыв его, стал наблюдать. Но теперь, над морем расстился густой мрак и громкие завывания бури опять заглушали все другие звуки. Бланш, вспомнив о судне, виденном раньше, встала возле отца и принялась тоже выжидать в тоскливом беспокойстве. Через несколько минут новый ружейный залп опять донесся по ветру и также быстро замер; за этим следовал страшный раскат грома, а перед тем, во время вспышки, трепетно озарившей всю поверхность вод, глазам наблюдателей представился корабль, качающийся среди пены волн в небольшом расстоянии от берега. Опять все потонуло в непроницаемом мраке; но скоро при второй вспышке снова обнаружилось судно: с одним развернутым парусом оно несло прямо к берегу. Бланш повисла на руке отца и с ужасом, тоской и жалостью устремила взор на море. Сам граф не отрывал глаз от волн, и на лице его была написана несказанная жалость. Но он понимал, что ни одна лодка не выдержит такую бурю, и поэтому воздерживался пока от посылки помощи в море, но приказал своим слугам выйти с факелами на утес, надеясь, что это послужит кораблю как бы маяком или по крайней мере предостережет экипаж против скал, на которые они могут наскочить. Анри пошел распорядиться, где именно зажечь огни, а Бланш осталась с отцом у окна, от времени до времени при вспышках молнии наблюдая движение корабля: скоро она с возродившейся надеждой увидела факелы, пылавшие среди тьмы ночи и бросавшие красный отблеск со скал на разверзающую пучину вод. Когда повторился ружейный залп, слуги высоко замахали факелами в воздухе, как бы отвечая на сигнал; тогда залпы еще усилились; но хотя ветер относил звуки вдаль, однако ей показалось при свете молнии, будто корабль находится уже гораздо ближе от берега.

Теперь можно было наблюдать, как графские слуги носились взад и вперед по скалам: некоторые отваживались подходить к самому краю обрыва и, нагибаясь над ним, махали факелами, привязанными к длинным шестам. Другие же, за которыми можно было

проследить только по движению огней, спускались по крутой, опасной тропинке, извивавшейся по скалам, к самому берегу моря, и громко окликали матросов, чьи пронзительные свистки и затем слабые голоса слышались по временам, сливаясь с ревом бури. Вдруг громкие крики людей на утесах довели тревогу Бланш до крайней степени; но ее беспокойство за судьбу мореплавателей скоро миновало. Анри прибежал, запыхавшись, и рассказал, что корабль бросил якорь в бухте, но находится в таком плачевном состоянии, что боятся, как бы он не развалился на части прежде, чем экипаж успеет высадиться. Граф немедленно отдал распоряжение послать лодки, чтобы помочь путешественникам добраться до берега, велел передать им, что если кому из этих несчастных не удастся приютиться в соседней деревушке, то он предлагает им убежище у себя в замке. В числе путешественников очутились Эмилия Сент Обер, мосье Дюпон, Людовико и Аннета. Они сели на корабль в Легхорне и достигли Марселя, а оттуда переправлялись через Лионский залив, когда их застигла буря. Они были встречены графом с его обычным радушием. Хотя Эмилия выразила желание немедленно отправиться в монастырь св.Клары, но он и слышать не хотел, чтобы она уезжала из замка ночью. Действительно, после страха и утомления, испытанных ею в этот день, она едва ли могла бы ехать дальше.

Мосье Дюпон оказался старым знакомым графа, и они встретились радостно и дружески; затем Эмилию представили, назвав ее фамилию, семье графа, гостеприимное радушие которой рассеяло небольшую неловкость, которую она чувствовала, очутившись в чужом доме. Все общество вскоре село за ужин. Непринужденная доброта Бланш и горячая радость, выражаемая ею по поводу спасения путешественников, судьбой которых она так заинтересовалась, постепенно оживили томную Эмилию. Дюпон, избавившись от своих страхов за нее и за себя, живо ощущал резкий контраст между своим недавним положением среди разъяренного океана и теперешним — в приветливом замке, где его окружали изобилие, изящество и ласковый привет.

Аннета, тем временем, повествовала в людской о всех вынесенных ею опасностях и так искренне радовалась своему спасению от смерти во время кораблекрушения, а также всем теперешним благам, что оглашала стены замка взрывами веселого хохота.

Настроение Людовико было не менее веселое, но он умел сдерживать себя и часто старался уговорить расхажившую Аннету, однако безуспешно; наконец ее смех донесся до спальни самой графини. Та прислала узнать, что там за шум, и велела замолчать.

Эмилия удалилась рано на покой, в котором так сильно нуждалась, но долго не могла сомкнуть глаз. При возвращении на родину у нее пробудилось много интересных воспоминаний; все события и страдания, пережитые ею с тех пор, как она покинула родной край, длинной вереницей пронесли в ее воображении, пока их не заслонил образ Валанкура. Она испытывала невыразимую радость при одной мысли, что снова очутилась в той стране, где он живет, после долгой жестокой разлуки; но тотчас же радость ее снова затуманилась тоской и опасениями. Ей думалось, как много времени протекло с тех пор, что они обменялись последними письмами, и как многое могло за этот промежуток времени случиться угрожающего для ее грядущего счастья! Но мысль о том, что Валанкура, может быть, уже нет в живых, и если он и жив, то позабыл ее, была так ужасна для ее сердца, что она почти не в силах была остановиться на этом предположении. Она решила завтра же уведомить его о своем возвращении во Францию, — ведь он не мог бы узнать о ней ни откуда, как из ее письма. Успокоив свою душу надеждой в скором времени услышать, что он жив, здоров и не изменился в чувствах своих к ней, она наконец погрузилась в сон.

ГЛАВА XXXVII

*Порой ласкает луч луны серебристый
Стену обители святой, вдали от суеты людской,
И там живу я бок о бок с Свободою и кроткой
Меланхолией.*

Грей

Бланш так сильно заинтересовалась Эмилией, узнав о ее намерении поселиться в соседнем монастыре, что попросила графа пригласить ее подольше погостить в замке.

— Ты знаешь, милый отец, — говорила Бланш, — как я буду рада такой подруге; теперь мне не с кем ни гулять, ни читать; ведь м-ль Беарн состоит компаньонкой исключительно при маме.

Граф улыбнулся юношеской горячности, с какой дочь его поддавалась первым впечатлениям, и хотя он считал своим долгом предостерегать ее против опасности, однако в душе радовался великодушному сердцу, которое способно было так быстро довериться совсем незнакомой личности. Накануне вечером он наблюдал Эмилию со вниманием, и она произвела на него самое приятное впечатление, насколько можно было судить о человеке по такому короткому знакомству. Отзыв о ней Дюпона также совпадал с личным впечатлением; но крайне осторожный в выборе лиц, которых он допускал сблизиться со своей дочерью и узнав, что Эмилия не чужая в монастыре св.Клары, он решился повидаться с аббатисой, и если ее отзыв окажется благоприятным, то пригласить Эмилию погостить некоторое время в замке. При этом им руководило скорее соображение о пользе и удовольствии своей дочери, чем желание приютить и обласкать бедную сироту, Эмилию, судьба которой, впрочем, очень интересовала его.

На другое утро Эмилия чувствовала себя слишком утомленной, чтобы появиться к столу; но Дюпон уже сидел за завтраком, когда вошел граф; он стал упрасивать своего гостя, как давнишнего знакомого и сына старого друга, продлить свое пребывание в замке. Дюпон охотно принял это приглашение, так как оно давало ему возможность пожить близ Эмили; хотя он не питал надежды, что она когда-нибудь ответит ему взаимностью, однако не находил в себе достаточно твердости духа, чтобы побороть свою несчастную страсть.

Оправившись, Эмилия пошла со своей новой подругой гулять по садам, окружавшим замок; окрестности привели ее в восхищение, как о том и мечтала Бланш. Увидав из-за леса башни монастыря, Эмилия заметила, что в этой самой обители она и намерена поселиться.

— Ах, неужели? — с изумлением отозвалась Бланш. — Вот я только что вырвалась из монастыря, а вы хотите туда поступить? Если бы вы знали, с каким наслаждением я брожу здесь на воле, люблюсь небом, полями, лесами, вы, наверное, не захотели бы запереться в монастырских стенах!

Эмилия улыбнулась горячности Бланш и возразила ей, что она не намерена заточить себя в монастырь на всю жизнь.

— Теперь у вас, конечно, нет такого намерения, — сказала Бланш, — но вы не подозреваете, как искусно монахини сумеют оплести вас, для этого они притворяются такими добрыми, ласковыми: я уже много раз наблюдала их козни...

Когда девушки вернулись в замок, Бланш повела Эмилию в свою любимую башенку; оттуда они пошли бродить по старинным хоромам, которые Бланш посещала уже раньше. Эмилию забавляло рассматривать эти старосветские хоромы, фasons старинной, но все еще великолепной мебели, и сравнивать их с хоромами в Удольфском замке, пожалуй еще более старинном и оригинальном. Она заинтересовалась также и экономкой, Доротеей, сопровождавшей их; вид ее был такой же почти ветхий, как окружающая обстановка; старуха со своей стороны заинтересовалась Эмилией. Она пристально поглядывала на нее, с таким глубоким вниманием, что даже не слышала, что ей говорят.

Эмилия, выглянув из окна, была поражена, увидев местность, уже знакомую ей по памяти; вот поля, леса и сверкающий поток, мимо которого она проходила однажды вечером с Лавуазеном, вскоре после смерти Сент Обера, направляясь из монастыря в хижину приютившего их крестьянина; теперь она убедилась, что находится в том самом замке, который Лавуазен тщательно старался обойти и о котором проронила какие-то странные намеки.

Пораженная этим открытием, хотя сама не сознавая почему, Эмилия простояла некоторое время в молчании, и тут вспомнила волнение, обнаруженное ее отцом, когда он

узнал, что находится неподалеку от замка, и еще некоторые другие подробности его тогдашних поступков. Это сильно заинтересовало ее. Вспомнилась ей и музыка, которую она когда-то слышала и по поводу которой Лавуазен давал такие странные объяснения. Желая узнать о ней что-нибудь определенное, она спросила Доротею — не слышится ли музыка по ночам, как бывало прежде, и не узнали ли наконец, кто музыканты?

— Как же, как же, барышня, — отвечала Доротея, — музыка и по сию пору иногда слышится; но музыканта так и не разыскали, да никогда и не разыщут, хотя у многих тут являются догадки.

— В самом деле? — сказала Эмилия, — в таком случае отчего же не постараются разузнать?

— Ах, милая моя молодая госпожа! и раньше до этого допытывались, да разве же можно уловить духа?

Эмилия улыбнулась и вспомнила, как еще недавно она сама поддавалась суевериям, зато теперь она решилась устоять против их заразительного действия. Тем не менее, вопреки всем своим усилиям, она почувствовала некоторый трепет с примесью любопытства; Бланш, до тех пор слушавшая в молчании, полюбопытствовала, что это за музыка и как давно она стала раздаваться.

— С самой смерти покойницы барыни, — отвечала Доротея.

— Так неужели же здесь духи водятся? — проговорила Бланш, не то шутя, не то серьезно.

— Я слышала музыку только после смерти моей дорогой госпожи, — продолжала Доротея, — а раньше никогда. Но это еще ничто в сравнении с другими вещами, которые я могла бы рассказать.

— Так расскажите, пожалуйста, расскажите, — попросила Бланш, — и в голосе ее уже слышалось больше серьезности, чем шутки. — Мне очень интересно все это: в монастыре, где я воспитывалась, сестра Генриетта и сестра София бывало рассказывали нам про странные видения, являвшиеся им самим.

— Небось вы никогда не слышали, ваше сиятельство, что заставило нас с мужем переселиться из замка в избушку? — сказала Доротея.

— Никогда! — нетерпеливо промолвила Бланш.

— Не знаете и причины, почему его сиятельство, маркиз... — Доротея запнулась, остановилась в колебании, затем хотела переменить разговор; но любопытство Бланш было слишком сильно возбуждено, чтобы позволить интересовавшему ее предмету так легко ускользнуть; она стала приставать к старухе экономке, чтобы та продолжала свой рассказ. Однако тут не действовали никакие уговоры; очевидно, старуха испугалась последствий своей неосторожности и решила молчать.

— Я убеждаюсь, — сказала Эмилия, — что во всех старых домах водятся какие-то таинственные привидения. Вот я недавно приехала из настоящего гнезда чудес, но, к несчастью, все эти чудеса потом объяснились совершенно просто.

Бланш молчала; Доротея насупилась и вздыхала; сама Эмилия все еще чувствовала себя более склонной верить в чудесное, чем она желала бы сознаться. Как раз в эту минуту она вспомнила зрелище, виденное ею в одном из покоев Удольфского замка, и, по странному совпадению, вспомнила и страшные слова, нечаянно попавшиеся ей на глаза в тех бумагах, которые она уничтожила, повинувшись приказанию отца; она вздрогнула, думая о смысле этих слов почти с таким же ужасом, как в ту минуту, когда увидела страшное видение, таившееся под черной занавесью.

Бланш, между тем, не успев добиться от Доротеи, чтобы она разъяснила свои намеки, попросила ее, когда они достигли двери в конце галереи, пустить ее осмотреть запертую анфиладу комнат.

— Милая барышня, — отвечала Доротея, — я уже объяснила вам причину, почему я не могу отпереть этих комнат: я ни разу не заходила туда со дня кончины моей госпожи, и мне было бы очень тяжело увидеть их теперь. Пожалуйста, никогда и не просите меня...

— Конечно, не буду, — отвечала Бланш, — если в этом действительно заключается причина вашего отказа.

— Увы, именно в этом, — промолвила старуха, — мы все обожали ее и век будем скорбеть о ней. Быстро летит время! Много уже лет прошло со времени ее кончины; но я живо помню все, точно это вчера случилось. Многое из недавних лет теперь совсем улетучилось из моей памяти, а уж это, хотя оно и давно произошло, я постоянно вижу перед собой как в зеркале!..

Доротея умолкла; но потом, когда они шли по галерее, она прибавила, говоря об Эмилии:

— Вот эта молодая девица иногда напоминает мне покойную маркизу: я помню время, когда та была такой же цветущей, и очень походила на эту барышню, когда смеялась. Бедная госпожа! То-то она была веселая, как в первый раз приехала в замок!

— А разве после она не была веселой? — спросила Бланш.

Доротея покачала головой; Эмилия жадно наблюдала ее: видно было, что эта история возбудила в ней жгучий интерес.

— Сядем здесь, — сказала Бланш, дойдя до противоположного конца галереи, — и пожалуйста, Доротея, если вам не слишком тяжело, расскажите нам что-нибудь про маркизу: я желала бы заглянуть в то зеркало, о котором вы говорили, и увидеть все то, что вы сами в нем видите...

— Ох, если бы вы знали, ваше сиятельство, то, что я знаю, вы бы не пожелали этого, — отвечала Доротея, — вы увидели бы мрачную картину. Мне часто хочется отогнать ее, да не могу... Я вижу мою дорогую госпожу на смертном одре — вижу ее взгляд, ее лицо, помню все, что она говорила; страшная это была сцена!

— Почему же такая страшная? — спросила растроганная Эмилия.

— Ах, дорогая барышня, смерть всегда страшна!

На другие расспросы Бланш Доротея упорно молчала, и Эмилия, заметив слезы на ее глазах, воздержалась от дальнейших приставаний и старалась обратить внимание своего молодого друга на посторонние предметы. Скоро в саду показались граф с графиней и мосье Дюпон; увидав их, девицы сошли вниз.

Граф вышел навстречу к Эмилии и представил ее графине с утонченной любезностью, живо напомнившей Эмилии ее покойного отца. Она почувствовала к нему благодарность и даже не смутилась перед графиней; та, впрочем, приняла ее с обворожительной улыбкой, — капризный нрав не мешал ей быть иногда обворожительной, а теперь это настроение являлось следствием ее разговора с графом по поводу Эмилии. Что бы они ни говорили между собой и каково бы ни было содержание беседы графа с настоятельницей монастыря, которую он только что посетил, лицо его и обращение с Эмилией выражали глубокое уважение и доброжелательность. Эмилия испытывала то сладкое волнение, какое проистекает от сознания одобрения со стороны хороших людей; к графу она почувствовала доверие почти с первой минуты, как увидела его.

Прежде чем она успела выразить свою благодарность за оказанное гостеприимство и упомянуть о своем намерении немедленно переселиться в монастырь, ее прервали любезным приглашением погостить подольше в замке; граф и графиня убедительно просили ее об этом, по-видимому, с такой дружеской искренностью, что хотя Эмилии очень хотелось повидаться со своими старыми друзьями в монастыре и поплакать над могилой отца, но она согласилась провести несколько дней в замке.

К аббатисе она, однако, немедленно написала, извещая о своем прибытии в Лангедок и о желании найти приют в монастыре, в качестве временной жилицы. Она также послала письма гг. Кенелю и Валанкуру, которого просто уведомляла о своем возвращении во Францию, а так как она не знала места его теперешней стоянки, то адресовала свое письмо прямо в поместье его брата, в Гасконь.

Вечером Бланш и мосье Дюпон сопровождали Эмилию в домик Лавуазена, к которому она теперь приближалась уже не с отчаянием, а с какой-то меланхолической отрадой: время

смягчило ее печаль о кончине отца, хотя и не могло изгладить ее совершенно, и она находила грустное утешение, отдаваясь воспоминаниям, пробуждаемым этими знакомыми местами. Лавуазен был еще жив и, казалось, наслаждался по-прежнему спокойным закатом своей безупречной жизни. Он сидел на пороге своей хижины и наблюдал, как играют на траве его внуки, по временам поощрял их состязания и забавы смехом или каким-нибудь ласковым словечком. Он сразу узнал Эмилию и очень обрадовался ей. Она тоже была рада услышать, что с тех пор, как они расстались, он не потерял никого из членов своей семьи.

— Да, так-то, барышня, — проговорил старик, — все мы, слава Богу, живем себе да поживаем и горя не знаем. Кажется, во всем Лангедоке не найдется другой такой счастливой семьи!

Эмилия не решилась войти в ту комнатку, где скончался Сент Обер, и, побеседовав с полчасу с Лавуазеном и его семьей, оставила гостеприимный домик.

За эти первые дни ее пребывания в замке Ле-Блан, ее часто огорчали глубокие, печальные взгляды, бросаемые на нее Дюпоном; Эмилия, скорбя о тех иллюзиях, которые лишали его мужества уехать, решила сама удалиться от замка поскорее, насколько позволяла деликатность по отношению к графу и графине де Вильфор. Угнетенное состояние его друга скоро встревожило графа; Дюпон доверил ему наконец тайну своей безнадежной привязанности. Граф мог только пожалеть его, однако в душе решил замолвить за него слово, если представится удобный случай. Принимая в расчет щекотливое положение Дюпона, он лишь слабо удерживал его, когда тот изъявил намерение на другой день уехать из замка Ле-Блан, но взял с него обещание посетить его, когда ему можно будет приехать, не подвергая опасности своего покоя.

Сама Эмилия, хотя и не могла отвечать взаимностью на его привязанность, однако уважала его за его добрые качества и за услуги, которые он оказал ей, и теперь встретила известие о его отъезде из замка с чувством грусти и сожаления; а когда он прощался с нею, лицо его дышало таким глубоким горем, такой страстной любовью, что граф был тронут и проникся еще большим сочувствием к нему.

Через несколько дней Эмилия тоже покинула замок, но перед тем граф с графиней взяли с нее обещание посетить их снова в самом непродолжительном времени. Аббатиса встретила и приветствовала Эмилию с тою же материнской нежностью, какую проявляла раньше, а монахини с тем же уважением и лаской. Знакомые места вызвали у нее много грустных размышлений; но к ним примешивались и другие, более отрадные мысли: она благодарила Бога за избавление от опасностей, преследовавших ее после того, как она рассталась с монастырем, и за все то хорошее, что еще сохранилось у нее; и хотя она опять пролиwała слезы над могилой отца, но горе ее смягчилось и уже утратило прежнюю остроту.

Спустя некоторое время после возвращения ее в монастырь она получила письмо от своего дяди г.Кенеля, в ответ на свое извещение о приезде во Францию и на ее вопросы относительно ее дел, которыми он взялся управлять за время ее отсутствия, особенно о сроке отдачи внаймы «Долины». Эмилия в своем письме выражала желание поселиться там, если позволит ее доход. Ответ г.Кенеля был холоден и официален, как она, впрочем, и ожидала; он не выражал ни участия по поводу вынесенных ею бедствий, ни удовольствия по случаю ее счастливого избавления от них. Он не пропустил случая укорить ее за то, что она отвергла графа Морано, которого до сих пор он считает человеком порядочным и богачом; мимоходом он бранил Монтони, хотя до сих пор всегда чувствовал над собой его превосходство. Относительно денежных интересов Эмилии он не слишком распространялся, однако он извещал ее, что срок отдачи внаймы «Долины» почти уже истек; но, не приглашая Эмилию в свой собственный дом, он прибавлял, что средства ее отнюдь не позволят ей жить в своем имении, поэтому он советует ей оставаться пока в монастыре св.Клары. На ее расспросы о бедной Терезе, служанке ее покойного отца, Кенель не писал ни слова. В постскриптуме своего письма он упоминал о г.Мотвиле, в руки которого Сент Обер доверил большую часть своего личного состояния, и говорил, что Мотвилю, вероятно, удастся хорошо устроить свои дела и почти сполна удовлетворить своих кредиторов, так что Эмилия

получит гораздо больше, чем она ожидала. К письму приложен был чек на небольшую сумму денег, которую Эмилия получит через одного нарбонского купца. Спокойствие, царившее в монастыре, свобода, которой она пользовалась, бродя по лесам и по морскому берегу в этой чудной провинции, постепенно успокоили ее дух и укрепили нервы. Одно только угнетало ее — тоска по Валанкуру, все усиливавшаяся по мере того, как приближался срок, когда она могла ждать от него ответа на свое письмо.

ГЛАВА XXXVIII

*Когда под темной тучею волна на судно налетает,
Вся палуба покрыта пеной; свищет ветер
И завывает бурно между мачт.
Трепещут бледные, усталые матросы
И смерть мгновенная глядит из каждой пенистой волны.*

Гомер, Пона

Между тем Бланш, часто остававшаяся одна, стала с нетерпением ждать к себе в гости новую подругу, с которой ей хотелось поделиться своим восхищением по поводу окружающей живописной природы. Теперь около нее никого не было, кому она могла бы выражать свой восторг и с кем могла бы делиться своими приятными впечатлениями; ничей взор не загорался от ее улыбки, ничьи черты не отражали ее счастья; она стала вяла и задумчива. Граф, заметив ее уныние, охотно уступил ее просьбам и напомнил Эмилии об обещанном ею посещении. Но молчание Валанкура, затянувшееся гораздо дольше того срока, когда ответное письмо его могло быть получено из Этьювьера, сильно тревожило Эмилию; она была не расположена видеть посторонних людей и охотно отложила бы свой визит до тех пор, пока не успокоится душа ее. Однако граф и его семья убедительно настаивали на своем приглашении, а так как им нельзя было разъяснить причину ее желания уединиться, то, конечно, ее отказ мог быть приписан простому капризу, и нельзя было на нем настаивать, не обидев друзей, расположением которых она дорожила.

Итак она наконец отправилась в замок Ле-Блан. Дружеское отношение к ней графа Вильфора побудило Эмилию рассказать ему о своих затруднениях по поводу поместьев покойной тетки и просить его совета, как ей поступить, чтобы вернуть их. Граф почти не сомневался, что закон решит дело в ее пользу, и посоветовал ей обратиться к суду, предложив предварительно написать к одному адвокату в Авиньон, на мнение которого можно положиться. Эта любезность была принята Эмилией с благодарностью. Вообще она видела вокруг себя так много доброты и ласки, что была бы вполне счастлива, если бы была уверена, что Валанкур здоров, невредим и не изменился к ней. Уже около недели пробыла она в замке и все еще не получила от него известий. Положим, она знала, что если его нет в усадьбе брата, то ее письмо едва ли могло дойти до него, но все-таки она волновалась сомнениями и страхами, нарушавшими ее покой. Опять она начинала обдумывать все, что могло случиться с ним за тот долгий период времени, пока она находилась в Удольфском замке, и порою душа ее так переполнялась горем и опасениями, что Валанкура уже нет на свете или что он разлюбил ее, что даже общество Бланш становилось ей нестерпимо тягостным. В такие минуты она подолгу просиживала одна в своей спальне, если только представлялась к этому возможность, не обижая гостеприимных хозяев.

Однажды в часы одиночества она отперла шкатулку, содержащую несколько писем Валанкура и кое-какие рисунки, набросанные ею в Тоскане; последние уже не представляли для нее интереса; но по письмам ей хотелось снова проследить ту нежность, которая так часто, бывало, успокаивала ее в горе, так что она на мгновение переставала сознавать расстояние, отделявшее ее от друга. Но теперь эти письма оказывали на нее уже иное действие: любовь, которой они дышали, так сильно волновала ее собственное сердце, особенно когда она думала, что любовь Валанкура, может быть, уже исчезла под влиянием времени и разлуки, да и самый почерк возлюбленного вызывал так много тяжелых

воспоминаний, что она была не силах прочесть до конца даже первое из вынутых писем. И вот она сидела в раздумье, подперев щеку рукою и со слезами на глазах, как вдруг вошла старая Доротея с извещением, что сегодня обед будет подан часом раньше обыкновенного. Увидев ее, Эмилия вздрогнула и поспешно собрала разбросанные листки, но Доротея успела-таки заметить ее волнение и ее слезы.

— Ах, барышня, — начала она, — какая вы молодая, а уже имеете причины грустить?

Эмилия старалась улыбнуться, но не могла выговорить ни слова.

— Увы, дорогая барышня! когда вы доживете до моих лет, то не будете плакать по пустякам. Ведь нет же у вас никакого серьезного горя?

— Нет, Доротея, ничего особенного, — отвечала Эмилия.

Но вдруг Доротея, нагнувшись поднять что-то выпавшее из бумаг, воскликнула: «Пресвятая Дева Мария! что это такое?» и затем, вся дрожа, опустилась на стоявший рядом стул.

— Что с вами? — спросила Эмилия, встревожившись ее испугом.

— Да ведь это она сама! — проговорила Доротея. — Точь-в-точь какой она была незадолго до своей смерти!

Эмилиии пришло в голову, уж не помешалась ли старуха. Она умоляла ее объясниться.

— Этот портрет!... — молвила Доротея. — Откуда он у вас, скажите? Ведь это моя покойная госпожа!

С этими словами она положила на стол миниатюру, когда-то найденную Эмилией между бумагами, оставленными отцом ее и над которыми она однажды видела его проливающим горькие слезы. Вспомнила она различные странности в его поведении, казавшиеся ей необъяснимыми в то время, и все это довело ее волнение до такой степени, что она сидела как окаменелая и боялась даже задавать вопросы, чтобы не услышать какого-нибудь страшного ответа... Одно только она могла спросить: наверное ли Доротея знает, что портрет похож на покойную маркизу?

— Ах, — отвечала та, — разве он поразил бы меня так сильно, если бы это не было изображением моей дорогой барыни? Вот, — продолжала она, взяв в руки миниатюру, — вот ее голубые глаза, такие кроткие, такие добрые! Вот и то выражение, какое я часто, бывало, наблюдала на ее лице, когда она сидела в задумчивости и когда слезы струились по ее щекам! Но она никогда не жаловалась! Вот этот-то самый кроткий, покорный взгляд, бывало, разрывал мне сердце и наполнял его такой любовью к ней!..

— Доротея! — торжественно произнесла Эмилия, — я заинтересована в причине этого горя, быть может, гораздо больше, чем вы думаете; умоляю вас, не отказывайтесь отвечать на мои вопросы, клянусь, это не простое любопытство...

Сказав это, Эмилия вспомнила про те бумаги, между которыми был найден ее портрет, и она почти не сомневалась, что они касались маркизы де Вильруа; но вместе с этим предположением явилось сомнение: следует ли ей разузнавать то, что сам отец ее так тщательно скрывал? Свое любопытство относительно маркизы, как бы оно ни было сильно, она сумела бы теперь побороть, как она это делала и раньше, прочтя нечаянно страшные слова в бумагах отца, будь она уверена, что история этой дамы составляла предмет этих бумаг, или что те подробности, какие, вероятно, могла бы сообщить Доротея, также включены в запретную область. То, что было известно ей, не могло быть тайной для многих других людей; и так как казалось весьма невероятным, чтобы Сент Обер старался скрыть то, что Эмилия могла узнать обычным путем, то она пришла к выводу, что если в бумагах отца и изложена была история маркизы, то во всяком случае вовсе не те обстоятельства этой истории, какие Доротея могла разоблачить, — а иные, считавшиеся Сент Обером настолько важными, что он желал скрыть их: поэтому у нее исчезли последние колебания и она решилась добиться тех разъяснений, которые разрешили бы ее недоумение.

— Ах, барышня, — говорила Доротея, — грустная это история и нельзя ее рассказать теперь, да, что я говорю, всю жизнь свою, я никому не расскажу ее! Много лет прошло с тех пор, и я не люблю говорить о маркизе ни с кем, кроме как с мужем. Он в ту пору жил там в

услужении, как и я, и узнал от меня многое, чего никто не знал, кроме меня. Я была при маркизе во время ее болезни; я видела и слышала столько же, если не больше самого маркиза. Святая женщина! какое терпение! Когда она умерла, я думала, что и я умру с ней вместе!

— Доротея, — прервала ее Эмилия, — если вы намерены доверить мне свою тайну, то знайте, что я никогда и никому ее не открою. Повторяю, у меня есть особые причины желать узнать все, что касается этого предмета. Если хотите, я могу связать себя торжественной, клятвой никогда никому не говорить того, что вы мне доверите.

Доротея была поражена горячностью и серьезностью ее тона; несколько мгновений она молча глядела на Эмилию, наконец проговорила:

— Голубушка, барышня! ваши речи, ваше лицо говорят в вашу пользу, вы так похожи на мою добрую покойницу барыню, что мне иной раз кажется, будто я вижу ее перед собой: будь вы ее дочерью, вы не могли бы сильнее напоминать ее. Но сейчас подадут обед; не пора ли вам идти вниз?

— Сперва обещайте мне исполнить мою просьбу, Доротея!

— А не следует ли вам сперва сказать мне, каким образом этот портрет попал к вам в руки и по какой причине вы так интересуетесь моей госпожой?

— Нет, Доротея, — отвечала Эмилия, одумавшись, — у меня есть также особые причины хранить молчание по этому предмету, по крайней мере до тех пор, пока я не узнаю дальнейшего. И заметьте, я вовсе не обещаю, что я когда-нибудь соглашусь высказаться. На это и не рассчитывайте! То, что я считаю нужным скрывать, касается не меня одной, иначе я, может, не постеснялась бы все рассказать: пусть только вера в мою честь побудит вас исполнить мою просьбу.

— Хорошо, барышня! — отвечала Доротея после долгой паузы, причем глаза ее были пристально устремлены на Эмилию, — видно, вы сильно этим интересуетесь и ваше сходство с портретом барыни говорит мне, что вы имеете на это причины; уж так и быть, я доверюсь вам и расскажу такие вещи, которых никогда никому не доверяла, кроме мужа, хотя многие кое о чем догадывались. Опишу также подробности кончины маркизы и передам некоторые свои подозрения; но сперва поклянитесь мне всеми святыми...

Эмилия прервала ее и дала торжественное обещание никому не передавать, без согласия самой Доротеи, того, что услышит от нее.

— А вот и рог трубит, барышня, призывает к обеду. Пора мне идти.

— Когда же я с вами опять увижусь? — спросила Эмилия. Доротея задумалась.

— Знаете что, сударыня, — сказала она наконец, — прислуга начнет болтать, если заметит, что я много времени провожу в вашей комнате, и мне это будет неприятно. Так лучше уж я приду так, чтобы никто не увидел. Днем мне недосуг, ведь рассказывать-то придется долго. Если вы согласны, я приду, когда все улягутся спать.

— Мне это будет всего удобнее, — согласилась Эмилия. — Так помните, поздно вечером, непременно!

— Ладно, буду помнить, — отвечала Доротея, — да только вот беда: сегодня мне вряд ли удастся прийти. Нынче ведь праздник сбора винограда, будут танцы, и слуги, наверное, улягутся поздно. Уж они как пустятся в пляс, так их веселье непременно затянется до утра, всегда так бывало.

— А! сегодня праздник виноградарей, — проговорила Эмилия с глубоким вздохом, помня, что как раз год тому назад в тот же вечер они приехали с отцом в деревню, лежащую по соседству от замка Ле-Блан; Она вздрогнула и остановилась, удрученная внезапным воспоминанием, но затем, оправившись, прибавила: — Но ведь танцы происходят под открытым небом; вы не будете нужны и можете прийти ко мне!

Доротея отвечала, что она привыкла сама присутствовать при танцах виноградарей и не желала бы изменять обычаю.

— Впрочем, я приду, если можно будет, барышня, — прибавила она.

Эмилия поспешила в столовую; за обедом граф держал себя с обычной любезностью,

неразлучной с истинным достоинством; графиня редко следовала его благому примеру, хотя вообще делала для Эмилии исключение, отрешаясь от своей обычной надменной манеры.

Она мало уважала добродетели, украшающие женщину, зато, наоборот, поклонялась совсем другим качествам, считая их самыми драгоценными; она не любила скромной грации, зато она в совершенстве владела несокрушимым апломбом; манеры ее не отличались мягкостью, свойственной женственной натуре, зато она умела иногда блеснуть аффектированной бойкостью, как будто торжествующей над всеми, кто приближался к ней. В деревне она по преимуществу напускала на себя изысканную томность, и чуть не падала в обморок, когда компаньонка читала ей про вымышленные горести. Но выражение лица ее даже не изменялось при виде истинных страданий, и сердце ее не билось желанием доставить им хотя минутное облегчение. Она была чужда высшей роскоши, доступной человеческой душе: ее милосердие никогда еще не вызывало радостной улыбки на лице несчастных.

Вечером граф со всем семейством, кроме графини и м-ль Беарн, отправился посмотреть на деревенский праздник. Пиршество происходило в прогалине леса, там, где деревья, расступившись, образовали круглую полянку, устланную дерном. Между ветвей висели красивыми фестонами виноградные лозы, отягченные спелыми гроздьями; под ними стояли столы, уставленные плошками, сыром, вином и другим деревенским угощением, и приготовлены были стулья для графа и его семейства. На небольшом расстоянии были скамьи для пожилых крестьян; однако немногие из них устояли против соблазна пуститься в пляс, начавшийся тотчас после заката солнца. Многие шестидесятилетние старички плясали с не меньшей легкостью и увлечением, чем шестнадцатилетние юноши.

Музыканты, расположившиеся на траве под деревом, как будто сами увлекались звуками своих инструментов, состоявших преимущественно из флейт рода длинной гитары.

Позади стоял мальчик, махавший над головой тамбурином и танцевавший соло; лишь по временам он, продолжая весело махать тамбурином, вступал в ряды танцоров. Его забавные ужимки возбуждали хохот и придавали всей сцене еще более деревенский колорит.

Граф был в восторге от веселья крестьян, которому много способствовала его доброта, как помещика. Бланш пошла танцевать с одним молодым дворянином, знакомым ее отца. Дюпон пригласил Эмилию, но ее настроение было слишком подавлено, чтобы позволить ей принять участие в веселье; оно живо напоминало ей такое же празднество в прошлом году, когда еще жив был Сент-Обер, и следующие за этим печальные события.

Удрученная этими воспоминаниями, она наконец отошла от веселого хоровода и отправилась бродить по лесу, где смягченные звуки музыки успокаивали меланхолическое настроение ее души. Луна бросала мягкий свет среди густой листвы; воздух был прохладный и благоуханный. Эмилия, погруженная в задумчивость, шла вперед, наугад, сама не зная куда, пока наконец не заметила, что звуки музыки остались далеко позади и кругом царит глубокая тишина, нарушаемая лишь по временам мелодичной песней соловья.

Наконец она очутилась в той аллее, по которой в ночь прибытия ее с отцом в эти края кучер Михаил пытался проехать, отыскивая убежища на ночь; в аллее по-прежнему было дико и запущено. Граф, занятый другим ремонтом, пока еще не отдавал распоряжений починить эту дорогу; она была изрыта, ухабиasta, а деревья беспорядочно разрослись.

Эмилия остановилась, оглядывая аллею и вспоминая чувства, волновавшие ее когда-то в этом самом месте; ей вдруг пришла на память фигура, которую они видели крадущейся меж деревьев и которая не отвечала на окрики Михаила. Она почувствовала и теперь почти такой же страх, как и в тот вечер. Не было ничего невероятного в предположении, что здесь, в лесу, водятся бандиты. Эмилия повернула назад и торопливо направилась в сторону танцующих, как вдруг услышала позади чьи-то приближающиеся шаги. Находясь все еще довольно далеко от крестьян, плясавших на лужайке, так как не могла слышать их голосов и музыки, она прибавила шагу; но люди, шедшие позади, быстро нагоняли ее. Наконец, узнав голос Анри, она успокоилась и пошла потише, пока он не подошел к ней.

Анри выразил некоторое удивление, встретив ее так далеко от остальной компании; она отвечала, что прелестное лунное сияние соблазнило ее зайти дальше, чем она предполагала; вдруг из уст его спутника вырвалось удивленное восклицание. Эмилии показалось, что она слышит Валанкура. Действительно, это был он... Легко себе представить, какова была встреча между двумя существами, так страстно влюбленными и так долго томившимися в разлуке...

Среди радости этих минут Эмилия позабыла о своих прошлых страданиях. Для Валанкура тоже, казалось, не существовало никого на свете, кроме одной Эмилии. Анри был молчаливым, удивленным свидетелем этой сцены.

Валанкур засыпал Эмилию вопросами о ней самой и о Монтони, так что она не успевала отвечать. Оказалось, что письмо ее было препровождено в Париж в то время, как Валанкур находился на пути в Гасконь. Наконец письмо вернулось туда. Из него он узнал о ее приезде во Францию и немедленно выехал в Лангедок. Достигнув монастыря, которым она пометила свое письмо, он убедился, к великому своему огорчению, что ворота уже закрыты на ночь. И, думая, что сегодня ему не удастся увидеть Эмилию, он возвращался к своей маленькой гостиницу с намерением написать ей, но тут ему попался Анри, с которым он был дружен в Париже, и тот привел его сюда, к Эмилии.

Все трое вместе вернулись на лужайку. Анри представил Валанкура графу, и Эмилии показалось, что тот принял пришельца не с обычной своей радушной любезностью, хотя они, очевидно, были раньше знакомы между собой.

Молодого человека пригласили, однако, участвовать в увеселениях вечера. Почтительно поздоровавшись с графом, Валанкур, пока продолжались танцы, поместился возле Эмилии, и между ними завязалась оживленная беседа. При свете фонарей, развешанных между деревьями, она могла на свободе разглядеть лицо, которое во время разлуки она так часто пыталась вызвать перед своими духовными очами; с некоторым сожалением она заметила, что оно уже не то, каким было раньше. Конечно, по-прежнему в нем сквозил ум и огонь пылкой души, но оно утратило былые простодушие выражения и отчасти ту открытую доброту, которая прежде составляла его отличительную особенность. Но все же это было интересное лицо. Эмилии показалось, что по временам какое-то беспокойство, какая-то грусть заволакивают черты Валанкура. Порою он впадал в задумчивость и потом как будто с усилием отгонял назойливые мысли. В другие минуты, когда он устремлял взор свой на Эмилию, в нем читалось такое выражение, будто какая-то тайная ужасная мысль засела в его мозгу. В Эмилии он нашел все ту же доброту, все ту же кроткую прелесть, которые очаровали его с первой встречи. Цветущий румянец ее щек немного поблек, но лицо ее стало еще интереснее, чем когда-либо, благодаря легкому оттенку меланхолии, разлитой по ее чертам.

По его просьбе, она рассказала вкратце все пережитое ею с тех пор, как она уехала из Франции; чувства жалости и негодования сменялись в его душе, пока он слушал, как много она выстрадала от злодейства Монтони. Не раз, когда она рассказывала о кознях итальянца, скорее смягчая его вину, чем стараясь ее преувеличивать, он вскакивал с места в гневе и, очевидно, в припадке самообвинения. Из его отрывочных замечаний видно было, что его поражали и заботили только ее страдания. Он не слушал ее повествования о том, что она лишилась поместий, доставшихся ей по наследству от г-жи Монтони, и о том, как мало надежды вернуть их. Наконец Валанкур погрузился в глубокое размышление; заметно было, что его удручает какая-то тайная тревога. Он вдруг резко повернулся и отошел от Эмилии. Когда он опять приблизился, она заметила, что он плакал, и с нежностью умоляла его успокоиться.

— Теперь все мои страдания миновали, — говорила она, — я избавилась от тирании Монтони и вижу вас здоровым и невредимым, но мне страстно хочется видеть вас счастливым!

Валанкур еще более взволновался.

— Я недостоин вас, Эмилия, — проговорил он. — Я не достоин вас...

Тон его еще более, чем значение этих слов, поразили Эмилию. Она устремила на него печальный, пытливый взор.

— Не смотрите на меня так, — продолжал он, отвертываясь и сжимая ее руку. — Я не могу вынести вашего взгляда.

— Желала бы я узнать, значение ваших слов, — молвила Эмилия кротким, но взволнованным голосом. — Но я замечаю, что такой вопрос был бы вам неприятен в настоящую минуту. Давайте говорить о чем-нибудь другом. Завтра вы, быть может, несколько успокоитесь. Взгляните на эти леса, озаренные луною, на эти башни, смутно обрисовывающиеся в перспективе. Когда-то вы были большим любителем красивых видов; не вы ли сами говорили мне, что способность черпать утешение в созерцании дивных картин природы, которых ни бедность, ни притеснение не могут отнять у нас, составляет особое благо невинных душ.

Валанкур был глубоко растроган.

— Да, — отвечал он, — когда-то и я имел склонность к невинным, художественным наслаждениям, когда-то и я имел неиспорченное сердце! — затем, удержавшись он прибавил: — Помните наше путешествие в Пиренеях?

— Могла ли я забыть его! — вздохнула Эмилия.

— Как хотел бы я забыть его! — воскликнул Валанкур, — то была самая счастливая пора моей жизни... Тогда я любил с энтузиазмом все, что есть на свете доброго, прекрасного...

Эмилия с трудом могла подавить свои слезы и совладать со своим волнением.

— Если вы так желаете позабыть это путешествие, — молвила она, — то и я, со своей стороны, должна желать позабыть его.

Она помолчала, потом прибавила:

— Вы очень огорчили меня, но теперь не время для дальнейших объяснений. Как могу я хоть одну минуту выносить мысль, что вы стали менее достойны моего уважений, чем прежде? Я все еще верю в вашу искренность и думаю, что когда я попрошу у вас объяснения, то вы не откажете мне дать его.

— Да, — отвечал Валанкур, — я еще не утратил своей искренности; в противном случае я лучше сумел бы замаскировать свое волнение при рассказе о том, как много вы страдали, тогда как я... Но больше я ничего не скажу... Я не хотел говорить даже и этого... так вышло, нечаянно... Скажите мне, Эмилия, что вы не забудете этого путешествия, не пожелаете забыть его, и я буду спокоен. Этих воспоминаний я не хочу утратить ни за что на свете!

— Какое противоречие в ваших словах! — заметила Эмилия, — Но довольно: нас могут подслушать. От вас же самих зависит, должна я помнить или забыть наше путешествие в Пиренеях. Однако пойдемте к графу.

— Сначала скажите, — остановил ее Валанкур, что вы прощаете мне беспокойство, причиненное вам сегодня и что вы все еще любите меня.

— Я искренно прощаю вам, — сказала Эмилия. — Но вы сами должны лучше знать, буду ли я по-прежнему любить вас, потому что сами чувствуете, заслуживаете ли вы моего уважения. Пока я думаю, что да. Нечего и говорить. — прибавила она, заметив его убитое лицо, — как сильно я огорчусь, если мне придется переменить мнение. Смотрите, сюда идет дочь графа.

Валанкур и Эмилия примкнули к Бланш, и все общество вместе с графом, его сыном и шевалье Дюпоном вскоре село за банкет, сервированный под навесом у деревьев. За другим столом поместились самые почетные из графских арендаторов. Это было веселое празднество для всех, кроме Валанкура и Эмилии. Когда граф собрался домой, он не пригласил с собой Валанкура; тот простился с Эмилией и удалился ночевать в свою гостиницу. Тем временем и она ушла в свою комнату, где с глубокой тоской и беспокойством стала обдумывать странное поведение Валанкура и прием, оказанный ему графом. Все ее внимание было поглощено этими мыслями, и она забыла о Доротее и назначенном ей свидании, пока не настал рассвет. Тогда, убедившись, что старушка уже не

придет сегодня, Эмилия прилегла отдохнуть на несколько часов.

На другой день, когда Эмилия случайно встретила с графом на прогулке, разговор зашел о вчерашнем празднестве и кстати упомянуто было имя Валанкура.

— Даровитый молодой человек, — отозвался о нем граф, — вы, кажется, раньше были с ним знакомы?

Эмилия отвечала утвердительно.

— Он был мне представлен в Париже, — сказал граф, — и в начале нашего знакомства он очень понравился мне...

Тут он остановился; Эмилия горела желанием услышать продолжение, но боялась показать графу, что она сильно заинтересована этим предметом.

— Позвольте узнать, — спросил наконец граф, — давно вы знакомы с мосье Валанкуром?

— Скажите сначала, отчего вы меня об этом спрашиваете? — проговорила Эмилия, — и я тотчас же отвечу на ваш вопрос.

— С удовольствием, это справедливое требование. Я мог заметить, что мосье Валанкур восхищается вами. В этом, однако, нет ничего мудреного: всякий, кто вас видит, должен восхищаться вами. С моей стороны это не банальный комплимент: я говорю искренно. Одного я боюсь: что вы поощряете его поклонение!

— Почему же вы этого боитесь, граф? — спросила Эмилия, стараясь скрыть свое волнение.

— А потому, — отвечал граф, — что я считаю его недостойным вашей привязанности.

Эмилия, сильно взволнованная, просила объяснения.

— Я объяснюсь, — сказал он, — в том случае, если вы поверите, что только горячее участие к вам и вашей судьбе могло побудить меня высказать мое мнение.

— Я готова этому верить, — сказала Эмилия.

— Сядем вот здесь, под тенью деревьев, — продолжал граф, заметив бледность ее лица, — вот скамья, вы утомились.

Они сели; граф продолжал:

— Многие молодые девицы на вашем месте, пожалуй, сочли бы мое вмешательство, после такого короткого знакомства, поступком дерзким, а не дружеским. Но, судя по тому, что я успел узнать о вашем характере и рассудительности, я не боюсь подобного отношения с вашей стороны: наше знакомство еще кратковременно, но даже за это время я почувствовал к вам уважение и живое участие к вашему благополучию. Вы заслуживаете быть счастливой и, надеюсь, будете счастливы.

Эмилия тихонько вздохнула и кивнула головой в знак благодарности.

Граф опять остановился.

— Я нахожусь в невыгодном положении, — сказал он, — но желание оказать вам важную услугу преодолит все другие побочные соображения. Не расскажете ли вы мне, как вы впервые познакомились с шевалье Валанкуром, или эта тема слишком тяжела для вас?

Эмилия в кратких словах рассказала их случайную встречу при жизни отца и затем так горячо умоляла графа не скрывать от нее ничего, что он, видя ее волнение и взглянув на нее с нежным состраданием, стал обдумывать, в какой форме сделать свое сообщение, желая пощадить свою собеседницу.

— Шевалье и сын мой, — начал граф, — познакомились у одного товарища офицера; в том же доме и я встретился с ним и пригласил его к себе. В то время я не знал, что он попал в кружок людей, позорящих свое звание, людей, которые живут мошенничеством и проводят всю жизнь свою в сплошном беспутстве. Я был знаком с некоторыми из родственников шевалье, живущими в Париже, и считал это достаточным ручательством для того, чтобы допустить Валанкура в мой дом. Но вам, кажется, нездоровится? — я оставлю этот предмет разговора...

— Нет, граф, это ничего, — отвечала Эмилия, — прошу вас продолжайте: я только огорчена.

— Только! — повторил граф с чувством. — Но я пойду дальше. Вскоре я узнал, что эти господа, его товарищи, втянули его в распутную жизнь, из которой он не имел ни сил, ни желания выпутаться. Он проиграл большие суммы в карты; он пристрастился к игре, он разорился... Я с участием стал говорить об этом его друзьям, а те отвечали, что старались удерживать его и что им надоело опекать его. Потом я узнал, что, принимая во внимание его искусство в картежной игре, обыкновенно очень удачной, если партнеры его не были шулерами, — принимая во внимание эту способность, кружок его приятелей посвятил его во все тайны своих проделок и предоставил ему долю в своих барышах...

— Быть не может! — вдруг прервала его Эмилия, — простите, граф, я не знаю, что говорю. Имейте снисхождение к моим расстроенным чувствам. Право, право, я думаю, что вас ввели в заблуждение: у шевалье несомненно есть враги, и они наклеветали на него...

— Я был бы рад верить этому, — отвечал граф, — но не могу. Только твердая уверенность в том, что это сущая правда, и желание вам добра могли побудить меня повторять такие неприятные вещи.

Эмилия молчала. Она вспомнила вчерашние речи Валанкура; они обличали муки самообвинения и, казалось, подтверждали все, что рассказывал граф. Однако она не имела сил отбросить сомнения; душа ее наполнилась горечью при одной мысли о его виновности, и верить в нее ей было слишком тяжело.

После долгого молчания граф продолжал:

— Я понимаю и допускаю, что вы не хотите верить этим обвинениям. Необходимо, чтобы я представил вам какие-нибудь доказательства; но этого я не могу сделать, не подвергая опасности существо, очень дорогое мне.

— Какой опасности боитесь вы, граф? — спросила Эмилия. — Если я в состоянии отвратить ее, то вы свободно можете довериться моей чести.

— На вашу честь я полагаюсь, — сказал граф, — но могу ли я положиться на вашу твердость. Вы думаете, что способны устоять против мольбы любимого человека, когда он в своем торе будет просить вас сказать имя того, кто помешал его счастью?

— Я не буду подвергаться такому искушению, граф, — отвечала Эмилия со скромным достоинством, — потому что я не могу любить человека, которого перестала уважать. Однако я с охотой даю вам слово.

Между тем слезы противоречили ее первому уверению; она чувствовала, что только время и усилие воли смогут искоренить привязанность, которая основывалась на уважении и которая поддерживалась и долгой привычкой и различными препятствиями.

— В таком случае, я доверюсь вам, — согласился граф, — твердая уверенность в виновности шевалье необходима для вашего спокойствия в будущем и не может быть достигнута помимо этого разоблачения. Сын мой часто бывал свидетелем распутного поведения Валанкура; сам он чуть не попал в тот же кружок негодяев. Действительно, он наделал не мало безумств, но я спас его от преступности и гибели. Судите же сами, м-ль Сент Обер, не имеет ли право отец, чуть было не лишившийся единственного сына, увлекшегося примером Валанкура, — не имеет ли право этот отец предостеречь особу, которую он уважает, чтобы она не отдавала своего счастья в подобные руки? Я сам собственными глазами видел Валанкура играющим в крупную игру с подозрительными личностями. Если вы все еще сомневаетесь, обратитесь к моему сыну.

— Я не могу сомневаться в том, что вы сами видели, — отвечала Эмилия, удрученная горем, — но, может быть, шевалье был только временно вовлечен в безумство и оно уже более не повторится. Если бы вы знали его прежние нравственные принципы, вы простили бы мне мое недоверие к вашим словам.

— Увы! — заметил граф, — трудно верить тому, что делает нас несчастными. Но я не стану успокаивать вас лестью или ложными надеждами. Все мы знаем, как обольстительна страсть к игре и как трудно победить раз сделанную привычку. Шевалье, может быть, исправится на время, но скоро опять отдастся беспутству. Боюсь я, что тут не столько будет действовать усвоенная привычка, сколько то, что нравственность его вконец испорчена.

Зачем стану я скрывать от вас, что страсть к игре не единственный его порок, — он имеет склонность ко всяким порочным удовольствиям.

Граф остановился в колебании; Эмилия изо всех сил старалась крепиться, так как она с возрастающей тревогой ждала дальнейших ударов. Последовала долгая пауза; граф был явно смущен. Наконец он проговорил:

— С моей стороны было бы ложной деликатностью утаивать от вас, что за свое сумасбродство шевалье дважды попадал в парижские тюрьмы, откуда его наконец вызволила одна всем известная парижская графиня, с которой он продолжал жить и в то время, когда я уехал из Парижа.

Опять он остановился; взглянув на Эмилию, он увидел, что лицо ее страшно изменилось и что она падает со скамьи. Он едва успел подхватить ее; но она лишилась чувств, и он стал громко звать на помощь. Однако они отошли слишком далеко от дома и слуги не могли слышать их; граф боялся оставить Эмилию одну, отправившись за помощью, а иначе не было возможности добыть ее. Вдруг ближайший фонтан попался ему на глаза; он прислонил Эмилию к дереву, под которым они сидели, а сам поспешил за водой. Тут опять явилось затруднение, во что зачерпнуть воды?.. Но в то время, как он наблюдал лицо Эмилии, ему показалось, что она начинает приходить в чувство.

Однако она довольно долго не приходила в себя, и когда очнулась, то увидела, что ее поддерживает не только граф, но и Валанкур; последний смотрел на нее встревоженным взором и заговорил с ней дрожа от волнения. При звуке знакомого голоса Эмилия подняла глаза, но тотчас же опять закрыла их — снова ею овладела дурнота.

Граф с довольно суровым лицом, знаком просил его удалиться; но Валанкур только тяжело вздохнул и стал звать Эмилию по имени, поднося к губам ее принесенную воду. Когда граф вторично отстранил его, Валанкур бросил на него раздраженный взгляд и отказался уйти до тех пор, пока она не очнется совершенно от своего обморока, и вообще не хотел ни на минуту поручать ее попечениям кого бы то ни было. Но в ту же минуту совесть, очевидно, подсказала ему, какой разговор, происходил между графом и Эмилией, и в глазах его сверкнуло негодование; но он быстро подавил его и лицо его приняло выражение сердечной тоски, побудившее графа отнестись к нему с жалостью, а не с гневом; вид его убитого лица так поразил Эмилию, в то время успевшую очнуться, что она залилась слезами. Но скоро она подавила в себе эту слабость; напрягши все свои силы, она сделала вид, будто совсем оправилась, встала, поблагодарила графа и Анри, пришедшего в сад вместе с Валанкуром, и двинулась к замку, как бы не замечая Валанкура. Тот, пораженный прямо в сердце, промолвил тихим голосом:

— Боже мой! чем я заслужил это? Что вызвало такую перемену?

Эмилия, не отвечая, только ускорила шаги.

— Что так расстроило вас, Эмилия, проговорил он, идя с нею рядом, — дайте мне сказать вам несколько слов, умоляю вас. Я очень несчастен!

Хотя это было сказано тихим голосом, но граф тем не менее услышал и вмешался, говоря, что м-ль Сент Обер чувствует себя нездоровой и не может принять кого бы то ни было; но он решается обещать за нее, что она примет мосье Валанкура завтра утром, если ей будет лучше.

Щеки Валанкура вспыхнули; он надменно взглянул на графа, потом на Эмилию; на лице его быстро сменялись чувства удивления, горя и мольбы: она понимала их, не могла устоять и проговорила слабым голосом:

— Завтра мне будет лучше; если вы желаете воспользоваться разрешением графа, то я могу повидаться с вами.

— Повидаться со мной! — воскликнул Валанкур, бросая на графа взгляд, полный гордости и гнева; затем, как бы опомнившись, прибавил; — Но я приду, сударыня, я воспользуюсь разрешением графа.

Когда дошли до дверей замка, Валанкур задержался на минуту — гнев его уже испарился — и, бросив на Эмилию взгляд, выражавший безумную нежность и глубокое

отчаяние, он пожелал ей доброго утра, слегка поклонился графу и исчез. Эмилия со стесненным сердцем удалилась в свою комнату; там, в тиши уединения, она пыталась припомнить все сказанное графом, обсудить те обвинения, которым он так верил, и решит, как ей впредь держать себя с Валанкуром. Но, когда она принялась размышлять, рассудок ее отказывался работать и она сознавала только одно, что глубоко несчастна! Вначале ее совершенно подавляло убеждение, что Валанкур уже не тот, кого она так нежно любила, о ком мысль до сих пор поддерживала ее во всех невзгодах, суля ей лучшие дни, теперь он — падший, преступный, недостойный человек, которого она должна привыкнуть презирать, если не может забыть!.. Потом, не имея сил выносить этой страшной мысли, она отгоняла ее и отказывалась верить, что Валанкур способен на такое гнусное поведение; ей представлялось, что его очернили какие-нибудь коварные враги. Были даже минуты, когда она начинала сомневаться в добросовестности самого графа и подозревала, не действует ли он под влиянием какого-нибудь эгоистического мотива, с расчетом порвать ее отношение к Валанкуру. Но это заблуждение было минутным: личность графа, насколько она могла судить по отзывам Дюпона и других лиц, а также по своим собственным наблюдениям, отнюдь не допускала подобного предположения. По зрелом размышлении она должна была отказаться от надежды, что Валанкура оклеветали перед графом: ведь тот признался, что говорит главным образом на основании своего собственного наблюдения и опыта, вынесенного сыном. Итак, она должна расстаться с Валанкуром, расстаться навеки! Могла ли она ожидать счастья, или даже спокойствия с человеком, погрязшим в гнусных пороках и усвоившим преступные привычки? С человеком, которого она уже не может уважать? Но, помня, каким он был прежде, и давно привыкнув любить его, как ей будет трудно и тяжело презирать его!

— О, Валанкур! — восклицала она, — неужели после такой долгой разлуки мы встретились только на горе? Неужели нам суждено расстаться навсегда?

Среди беспорядочных мыслей, осаждавших ее мозг, она упорно сознавала одно: его, по-видимому, искреннее и сердечное обращение накануне вечером; и если бы только она осмелилась довериться своему собственному сердцу, то она основала бы все свои надежды на этом впечатлении. Как бы то ни было, она не могла решиться оттолкнуть его навсегда, не получив никаких дальнейших доказательств его порочности, а между тем она не видела никакой возможности получить их. Однако на чем-нибудь необходимо было остановиться, и она почти решилась руководствоваться исключительно тем, как сам Валанкур примет ее намеки относительно его поведения за последние месяцы.

Так прошло несколько часов до обеда; Эмилия, подавленная горем, стараясь усилием воли ободриться, осушила слезы и вышла к семейному столу. Граф продолжал относиться к ней с самым деликатным вниманием; графиня и м-ль Беарн сперва с любопытством уставились на ее печальное лицо, затем сейчас же принялись, по обыкновению, болтать о пустяках. Глаза Бланш вопросительно следили за подругой, но в ответ получали только грустную улыбку.

Эмилия утратилась после обеда, как только позволили приличия; Бланш пошла за своей подругой, но на ее встревоженные вопросы та не имела сил отвечать, просила пощадить ее и не расспрашивать о причине ее горя. Вообще разговаривать о чем бы то ни было теперь стало так тягостно для Эмилии, что она скоро бросила всякие попытки вести беседу, и Бланш ушла, полная сострадания к горю, которого не могла облегчить.

Эмилия решила про себя вернуться в монастырь дня через два; всякое общество, а в особенности общество графини и м-ль Беарн, было ей невыносимо при теперешнем состоянии ее духа: в уединении монастыря и под покровительством доброй настоятельницы она надеялась скоро обрести покой и научиться покорно выносить надвигавшееся испытание.

Если бы Валанкур умер, или бы он женился на другой женщине, Эмилия, кажется, не испытывала бы такого страшного горя, как теперь, убеждаясь в его падении, которое должно вести его к гибели. Это лишало ее даже утешения хранить в своем сердце его образ. Ее

тяжелые размышления были прерваны на минуту запиской от Валанкура, написанной, очевидно, в состоянии полного отчаяния: он умолял Эмилию позволить ему посетить ее сегодня вечером вместо завтрашнего утра. Эта просьба привела ее в такое волнение, что она не могла отвечать: ей хотелось видеть его, хотелось покончить с теперешним состоянием неизвестности, вместе с тем она боялась этого свидания. Не зная, на что решиться, она послала просить графа принять ее на несколько минут в своем кабинете. Придя туда, она показала ему записку и просила его совета. Граф отвечал, что если она чувствует себя достаточно здоровой, чтобы вынести свидание, то, по его мнению, для облегчения обеих сторон, оно должно состояться сегодня же вечером.

— В его привязанности к вам нельзя сомневаться, — прибавил граф, — он, по-видимому, в таком ужасном горе, а вы, мой друг, так расстроены, что чем скорее дело решится, тем лучше.

Итак, Эмилия отвечала Валанкуру, что согласна принять его вечером, и затем употребила все усилия, чтобы успокоиться и запастись мужеством, — ведь ей предстояло вынести тяжелую сцену. Увы! не того она ожидала!

ГЛАВА XXXIX

*... Забыла ты мечты.
Которые делили мы с тобою,
Привязанность взаимную, часы,
Которые вдвоем мы проводили,
И быстроту их обвиняли в том,
Что нас они так скоро разлучили
— Ужели все забыто?.. И прежнюю любовь
Ты хочешь уничтожить?
Сон в летнюю ночь*

Вечером, когда Эмилию, наконец, известили, что граф де Вильфор просит ее к себе, она сейчас же догадалась, что внизу ее дожидается Валанкур. Стараясь казаться спокойной и собраться с силами, она встала и вышла из своей комнаты, но, дойдя до двери библиотеки, где она ожидала увидеть Валанкура, она опять почувствовала такой приступ волнения, что не решилась войти, вернулась в прихожую и там пробыла довольно долгое время, не имея сил совладать с собою.

Немного оправившись, она вошла в библиотеку; там сидел Валанкур и разговаривал с графом. Оба встали при ее появлении. Она не решалась смотреть на Валанкура; граф, доведя ее до кресла, немедленно удалился.

Эмилия сидела, потупив глаза в землю и с таким стесненным сердцем, что не могла говорить и с усилием переводила дыхание. Валанкур сел неподалеку и, тяжело вздыхая, молчал. Если бы она подняла глаза, то увидела бы, в каком он волнении.

Наконец он заговорил дрожащим голосом:

— Я просил у вас свидания сегодня вечером, чтобы по крайней мере избавиться от муки неизвестности, вызванной переменой вашего обращения со мною; намеки, пророненные сейчас графом в нашем разговоре с ним, отчасти объяснили мне эту перемену. Я убедился, что у меня есть враги, Эмилия; они позавидовали моему счастью и старались отыскать средство разрушить его. Я убеждаюсь также, что время и разлука ослабили привязанность, которую вы когда-то чувствовали ко мне, и вас не трудно было убедить позабыть меня...

На последних словах голос его оборвался; Эмилия, волнуясь еще более прежнего, продолжала молчать.

— О, какая встреча! — воскликнул Валанкур, вскочил с места и взволнованно заходил по комнате. Какая встреча после нашей долгой, долгой разлуки!

Он опять сел и после минутной борьбы проговорил тоном твердым, но полным

отчаяния:

— Это слишком тяжело, я не в состоянии этого вынести! Эмилия, отчего вы не говорите со мною?

Он закрыл лицо рукой, как бы для того, чтобы скрыть волнение, а другой рукой взял руку Эмилии; она не отнимала ее. Подняв глаза, он увидел, что она плачет; вся нежность его вернулась с новой силой, луч надежды озарил его душу, и он воскликнул:

— О, вы жалеете меня, значит, не разлюбили! Да, вы все еще моя Эмилия — меня не обманут эти слезы!

Эмилия сделала усилие, чтобы овладеть собою, и, торопливо осушив слезы, сказала:

— Да, мне жаль вас, я плачу о вас. Но сознайтесь, могу ли я сохранить к вам прежнее чувство? Если помните, я еще вчера вечером говорила, что верю в вашу искренность, верю тому, что, когда я попрошу у вас объяснения ваших слов, вы дадите мне его. Теперь объяснения уже не нужно, я и так поняла, что вы хотели сказать! Но докажите, что ваша искренность достойна моего доверия, — ответьте мне по душе: тот ли вы самый, достойный уважения Валанкур, которого я когда-то любила!

— Когда-то любили! — воскликнул он с горечью, — я тот же, все тот же!

Он умолк в несказанном волнении, потом прибавил голосом торжественным и полным отчаяния:

— Нет, вы правы, я уже не тот! Я погибший человек! Я не стою вас!

И опять закрыл себе лицо.

Эмилия была слишком растрогана этим честным порывом, чтобы отвечать сразу; пока она боролась с собой, стараясь подавить голос сердца и действовать с подобающей твердостью, необходимой для ее будущего спокойствия, она заметила, как опасно долго полагаться на свою решимость в присутствии Валанкура. Ей хотелось поскорее прекратить это свидание, мучительное для обоих; между тем она вспомнила, что, вероятно, это их последнее свидание; тогда решимость сразу покинула ее, и она отдалась чувству нежности и отчаяния.

Между тем Валанкур, объятый горем и угрызениями совести и не имея ни сил, ни возможности выразить эти чувства, сидел как громом пораженный, почти не сознавая присутствия Эмилии; лицо его было все еще закрыто, грудь волновалась от судорожных вздохов.

— Избавьте меня от необходимости... — взмолилась Эмилия, немного оправившись, — избавьте меня от необходимости говорить о ваших поступках, которые заставляют меня порвать с вами навеки! Мы должны расстаться — мы видимся в последний раз.

— Это невозможно! — воскликнул Валанкур, очнувшись от столбняка. — Не может быть, чтобы вы действительно думали то, что говорите! Вы не намерены бросить меня!

— Мы должны расстаться, — повторила Эмилия с ударением. — Расстаться навсегда! Ваше собственное поведение сделало это необходимым.

— Это — решение графа, а не ваше собственное, — промолвил он надменно, — и я желал бы знать, по какому праву он вмешивается между вами и мной?

Валанкур встал и в волнении опять заходил по комнате.

— Вы ошибаетесь, — возразила Эмилия, не менее его взволнованная. — Это решение принято мною сознательно, и если вы поразмыслите о своих поступках за последнее время, то убедитесь, что этого требует мое спокойствие в будущем.

— Как?! Ваше спокойствие в будущем требует, чтобы мы расстались... расстались навеки! — сказал Валанкур. — Не ожидал я услышать от вас такие жестокие слова!

— А я еще меньше ожидала, что мне придется так обойтись с вами! — заметила Эмилия; голос ее смягчился, приняв нежную интонацию, и слезы снова полились градом из глаз ее. — Могла ли я думать, чтобы вы, Валанкур, упали так низко в моем мнении!

С минуту он молчал, словно подавленный сознанием, что уже не заслуживает ее уважения и что лишился его навсегда; вслед затем, в порыве страстного отчаяния, он стал

проклинать себя за преступное поведение; наконец, удрученный воспоминаниями о прошлом и мыслями о погибшем будущем, он залился слезами, прерываемыми глубокими, судорожными вздохами.

Эмилия не могла оставаться равнодушной к его безумному отчаянию и к его искреннему раскаянию; если бы она не вспомнила всех фактов, переданных ей графом де Вильфор, и всего, что он говорил об опасности доверяться раскаянию, в которое обыкновенно впадает человек под влиянием страсти, она послушалась бы голоса своего сердца и позабыла бы о всех его преступлениях, отдавшись нежности под влиянием его раскаяния.

Валанкур опять сел возле нее и произнес глухим голосом:

— Это правда, я низко пал. Я утратил самоуважение! Но как могли бы вы, Эмилия, так скоро, сразу оттолкнуть меня, если бы не подчинялись интриге, неблагородным проискам моих врагов? Не будь этих происков — вы стали бы надеяться на мое исправление... вы не могли бы оттолкнуть меня, повергнуть в отчаяние и предоставить... самому себе!

Эмилия плакала навзрыд.

— Нет, Эмилия, нет... Вы не сделали бы этого, если бы любили меня... Вы обрели бы собственное счастье, спасая меня.

— На это слишком мало вероятия, — сказала Эмилия, — я не могу пожертвовать этой смутной надежде счастьем и покоем целой жизни. Позвольте вас спросить: сами-то вы желали бы, чтобы я так поступила, если бы истинно любили меня?

— Если бы я истинно любил!.. — воскликнул Валанкур. — Вы и в этом сомневаетесь! Впрочем, в самом деле, вы по справедливости можете сомневаться в моей любви, так как я скорее соглашусь вовлечь вас в погибель вместе с собой, чем вынести ужас разлуки с вами! Да, Эмилия, я погиб... погиб безвозвратно... Я запутался в долгах, которых никогда не могу выплатить!

Взор Валанкура, дикий и растерянный, пока он говорил, принял выражение мрачного отчаяния. Эмилия, невольно радуясь его чистосердечию, с несказанным горем увидела новые причины опасаться за него: ее пугали порывистость его чувств и те неисправимые бедствия, куда они могут привести его. Несколько мгновений она боролась со своим горем и искала в себе достаточно твердости духа, чтобы поскорее прекратить свидание.

— Я не хочу затягивать этих тяжелых минут, — сказала она, — зачем продолжать разговор, который все равно ни к чему хорошему не поведет? Прощайте, Валанкур.

— Неужели вы уходите? — прервал он ее с волнением. — Неужели вы покинете меня в такую минуту? Но нет, вы не бросите меня, когда я еще не в силах совладать с моим отчаянием и вынести мою потерю!

Мрачность его взгляда ужаснула Эмилию, и она произнесла успокаивающим тоном:

— Вы сами признали необходимым для нас расстаться; если вы желаете, чтобы я верила в вашу любовь, вы повторите ваше признание.

— Ни за что! ни за что! Я был сумасшедшим, когда это сказал. О, Эмилия, это уже чересчур! Хотя вы не заблуждаетесь насчет моей вины, но вас, наверное, кто-то подстрекает поступать со мною так жестоко. Граф является преградой между нами, но я этого не потерплю...

— В самом деле, вы сумасшедший, — сказала Эмилия. — Граф вовсе не враг вам; напротив, он — мой друг, и это до известной степени должно побуждать вас считать его своим благожелателем.

— Ваш друг! — с жаром воскликнул Валанкур. — Давно ли он сделался вашим другом, что так легко может заставить вас позабыть вашего жениха? Уж не он ли рекомендовал вам обратить свое благосклонное внимание на мосье Дюпона, который, вероятно, похитил у меня ваше сердце? Но я не имею права расспрашивать вас: вы — госпожа своих поступков. Может быть, Дюпон недолго будет торжествовать над моим несчастьем.

Эмилия, еще более прежнего испуганная безумными глазами Валанкура, проговорила едва слышным голосом:

— Ради Бога, образумьтесь... успокойтесь!.. Мосье Дюпон вовсе не соперник ваш, да и граф не думает за него ходатайствовать. У вас нет соперника, а есть один только враг — вы сами. Сердце мое и так разрывается от тоски, а ваши безумства еще более терзают его: я вижу, что вы уже не тот Валанкур, которого я привыкла любить.

Валанкур не отвечал ни слова: он сидел, облокотясь на стол и закрыв лицо руками; Эмилия, вся дрожа, стояла возле; она разрывалась от отчаяния и боялась оставить его одного в подобном состоянии духа.

— О, это верх несчастья! — воскликнул Валанкур. — Даже оплакивая свои мучения, я должен обвинять самого себя. Я не могу вспоминать вас, не вспоминая также безумства и порока, из-за которых я лишился вас! Зачем попал я в Париж? Зачем поддался я соблазнам, которые сделали меня презренным на весь свет? О, как бы я желал вернуться к блаженным дням невинности и мира, к дням нашей первой любви!

От этого воспоминания размягчилось его сердце и безумное отчаяние уступило место слезам. После долгой паузы, обернувшись к ней и взяв ее руку, он проговорил более спокойным голосом:

— Эмилия! скажите, как можете вы вынести мысль о разлуке? Как можете оттолкнуть сердце, обожающее вас? Правда, это сердце заблуждалось, страшно заблуждалось, но оно никогда не перестанет любить... Вы это сами знаете!

Эмилия не отвечала ни слова, только плакала.

— Как можете вы, — продолжал он, — как можете вы забыть наши былые дни счастья и доверия, когда у меня не было ни единой мысли втайне от вас, не было ни единой склонности, ни единого наслаждения, которых я не делил бы с вами?

— Ах, зачем трогать воспоминания об этих днях, — сказала Эмилия, — если вы не можете научить меня бесчувственности, чтобы равнодушно вынести это испытание? Я не хочу упрекать вас; если бы я хотела, я не проливала бы этих слез. Но зачем еще более растравлять свои страдания, вспоминая о ваших прежних добродетелях?

— Быть может, я не навсегда лишился бы этих добродетелей, — сказал Валанкур, — если бы ваша любовь осталась неизменной: ведь она питала и поддерживала мои добрые качества; но, право, я боюсь, что вы уже потеряли способность любить, иначе счастливые часы, проведенные вместе, оказали бы на вас действие, и вы не могли бы отнестись к прошлому так равнодушно! Но зачем я терзаю себя воспоминаниями? зачем я вообще остаюсь здесь? Ведь я погиб! Было бы безумием втягивать вас в свою погибель, даже если бы сердце ваше до сих пор принадлежало мне? Не хочу долгие тревожить вас. Но, прежде чем уйти, — прибавил он торжественным тоном, — позвольте мне повторить, что какова бы ни была моя судьба, что бы мне ни суждено было выстрадать, я всегда буду любить вас... любить самой нежной любовью!.. Я ухожу, Эмилия, я прощаюсь с вами навеки!..

При последних словах голос его задрожал, и он в бессилии опустился на стул. Эмилия была не в силах удалиться, или даже сказать ему последнее «прости». Все впечатления от его преступного поведения и безумств почти изгладились из ее памяти, осталось только одно сознание глубокой жалости и горя.

— Вся твердость моя исчезла, — проговорил, наконец, Валанкур, — я уже не в силах бороться. Я не могу покинуть вас, не могу произнести «прощай навеки». Скажите мне, по крайней мере, что вы согласны еще раз увидеться со мной!

Сердце Эмилии почувствовало некоторое облегчение от этой просьбы, и она старалась внушить себе, что ей не следует отказывать ему. Но она со смущением вспомнила, что она гостя в доме графа, которому может не понравиться посещение Валанкура. Однако скоро одолели другие соображения, более сильные, и она дала Валанкуру согласие на второе посещение, с условием, однако, чтобы он не считал графа своим врагом, а Дюпона своим соперником. После этого он ушел, с сердцем до того облегченным дарованной отсрочкой, что почти утратил сознание своего прежнего несчастья.

Эмилия удалилась в свою комнату, чтобы успокоиться хоть немного и изгладить следы слез, которые вызвали бы колкие замечания графини и ее компаньонки и возбудили бы

любопытство всего семейства. Однако ей никак не удавалось успокоиться; она не могла изгнать из своих помыслов последней сцены с Валанкуром и забыть, что завтра она увидится с ним еще раз. Эта встреча представлялась ей еще более страшной, чем даже предыдущая. Его чистосердечное признание в своем преступном поведении и в том, что он запутал свои дела, признание, обнаружившее всю силу и нежность его привязанности к ней, глубоко тронули ее и, невзирая на все дурное, что она слышала о нем и чему поверила в первую минуту, она чувствовала, что ее уважение постепенно возвращается к нему. Порою ей казалось невозможным, чтобы он действительно был виновен в тех развратных поступках, в которых его обвиняли: они совершенно не вязались с его чувствительной, искренней душой. Какова бы ни была преступность, подавшая повод к дурным слухам, она не могла поверить, чтобы эти слухи были вполне правдивы и чтобы его сердце было вконец испорчено. Глубокое осознание им своих заблуждений, по-видимому, подтверждало это убеждение; а так как она не имела понятия о непрочности юношеских зарок, если им приходится бороться с усвоенной привычкой, и о том, что все эти зарок часто обманывают и того, кто дает их, и того, кто их слышит, то она готова была бы поддаться голосу своего сердца и просьбам Валанкура, если бы ею не руководила разумная осторожность графа. Он представил ей в ярком свете опасность ее теперешнего положения: опасность выслушивать обещания исправления, которые давались под влиянием страсти. Он убеждал ее, как мало надежды на счастливый союз, когда все шансы на счастье зависят от восстановления расстроенных обстоятельств и исправления от беспутных привычек. Вот почему он жалел, что она согласилась на вторичное свидание; он понимал, как это свидание пошатнет ее решимость и осложнит трудности ее победы.

Все помысли Эмилии были в настоящую минуту так поглощены ближайшими личными интересами, что она совершенно позабыла старую экономку и обещанный ею рассказ, еще недавно так сильно возбудивший ее любопытство. Да и Доротея, видно, не особенно торопилась разоблачать свои тайны. Наступила ночь, а она все не являлась к Эмилии. Всю ночь Эмилия провела без сна, в тоске: чем дольше ее мысли останавливались на последней сцене с Валанкуром, тем больше слабела ее решимость. Ей приходилось призывать на помощь все аргументы, приведенные графом, для того, чтобы укрепиться в своем решении, и все правила, преподанные ей покойным отцом, чтобы действовать с осторожностью и достоинством в этом трудном случае ее жизни. Были минуты, когда твердость покидала ее и когда, вспоминая доверие прошлых дней, она считала невозможным отказаться от Валанкура. Тогда его исправление представлялось ей несомненным; все аргументы графа де Вильфора забывались; она готова была верить тому, чего желала, готова была встретить всякое несчастье, лишь бы не разлучаться с ним. Так прошла вся ночь в бесплодной борьбе между любовью и рассудительностью, и поутру Эмилия встала дрожащая как в лихорадке, с тяжелой головой и нерешимостью в сердце.

ГЛАВА XL

*...и будем вместе плакать;
Нет помощи, спасенья для меня.*
Ромео и Джульетта

Между тем Валанкур терзался угрызениями совести и отчаянием. Вид Эмилии пробудил в нем прежнюю пылкую любовь, временно остывшую, под влиянием разлуки и рассеянной жизни. Когда он получил ее письмо и поспешил выехать в Лангедок, он знал, что его безумства вовлекли его в беду, и ничего не намеревался скрывать от Эмилии. Он горевал только о том, что их брак придется отложить, по милости его беспутного поведения, но никак не предвидел, чтобы слухи о его проступках могли побудить Эмилию навеки порвать всякие отношения с ним. Перспектива этой разлуки подавляла его душу, уже измученную угрызениями, и он ждал вторичного свидания в состоянии, близком к умоисступлению. Но,

несмотря ни на что, у него все еще теплилась надежда, что его просьбы окажут на нее действие. Поутру он послал узнать, в котором часу она согласна принять его; записка эта застала Эмилию в то время, когда она была у графа, который сам пожелал поговорить с нею о Валанкуре; судя по ее крайне расстроенному состоянию, он более чем когда-либо опасался, чтобы она не поддавалась пагубной слабости. Когда Эмилия отпустила посланного, граф еще раз вернулся к тому же разговору и стал доказывать ей, что пугаться неприятностей, сопряженных с теперешним положением, значило бы только продлить свое страдание. Несколько раз повторял он свои аргументы, и действительно они одни могли оградить ее от опасности уступить привязанности, которую она все еще чувствовала к Валанкуру; поэтому она решилась руководствоваться советами графа.

Наконец настал условленный час. Эмилия явилась на свидание, с виду спокойная, но Валанкур был так сильно возбужден, что несколько минут не мог говорить. Наконец, оправившись, он сказал:

— Эмилия, я любил вас... любил больше жизни, но я погубил себя своим поведением. И после этого я хотел вовлечь вас в несчастный для вас союз, вместо того, чтобы нести достойную кару— лишиться вас... Я жалкий человек, Эмилия, но я не хочу быть подлецом. Я решил больше не стараться пошатнуть ваше решение в угоду моей эгоистической страсти. Я оставляю вас, Эмилия, и постараюсь найти себе утешение в мысли, что если я несчастен, зато вы можете быть счастливы. И не думайте, чтобы заслуга жертвы принадлежала мне, сам я никогда не мог бы достичь такой силы духа, чтобы отказаться от вас; мне помогло ваше благоразумие...

Он остановился, а Эмилия через силу удерживала слезы, поминутно навертывавшиеся ей на глаза. Ей хотелось сказать ему:

«Вот теперь вы говорите так, как бывало говорили прежде», — но она удержалась.

— Простите мне, Эмилия, — продолжал он, — все страдания, которые я причинил вам, и если вы когда-нибудь вспомните несчастного Валанкура, то знайте, — единственным его утешением будет уверенность, что вы уже не страдаете от его безумств.

Слезы закапали из глаз Эмилии; он опять готов был впасть в безумное отчаяние, но Эмилия старалась призвать на помощь все свое присутствие духа и покончить свидание, еще больше растравлявшее скорбь их обоих. Заметив ее слезы и то, что она собирается уходить, Валанкур еще раз попытался побороть свои чувства и успокоить ее.

— Память об этом горьком часе будет впредь моей охраной, — сказал он. — О! никогда уже никакое искушение и ничей пагубный пример не соблазнят меня на дурные дела, — молвил он, — меня спасет память о вашем горе...

Эмилия была несколько успокоена этим уверением.

— Теперь мы расстанемся навеки, — сказала она, — но если вам дорого мое счастье, то не забывайте: ничто не будет так способствовать ему, как сознание, что вы исправились и по-прежнему можете уважать самого себя.

Валанкур взял ее руку, глаза его застилались слезами и последнее «прости» было заглушено его вздохами. Через несколько мгновений Эмилия проговорила с волнением:

— Прощайте, Валанкур, будьте счастливы!

Она пыталась отнять свою руку; но он крепко держал ее, и она была омочена его слезами.

— Зачем затягивать эти минуты? — произнесла Эмилия едва слышным голосом, — они слишком тяжелы для нас обоих.

— Какая мука! какая мука! — восклицал Валанкур. Оставив ее руку и опустившись на стул, он закрыл лицо руками. Несколько мгновений слышались его раздирающие душу вздохи. Эмилия молча плакала, а Валанкур боролся со своим горем; наконец она встала, чтобы уйти. Он из всех сил старался казаться спокойным.

— Опять я огорчаю вас, — молвил он, — но вы простите меня, видя, как я терзаюсь.

Потом он прибавил торжественным голосом, трепещущим от сердечной муки:

— Прощайте, Эмилия, вы всегда останетесь единственным предметом моей любви.

Когда-нибудь вы, может быть, вспомните о несчастном Валанкуре, но вспомните с жалостью, а не с уважением. О, что значит для меня весь мир без вашего уважения! Однако я опять впадаю в свою прежнюю ошибку: нельзя дольше испытывать ваше терпение, да и я сам могу дойти до отчаяния...

Он прижал руку Эмилии к губам своим, взглянул на нее в последний раз и поспешно вышел.

Эмилия осталась сидеть на том же месте; сердце ее так болезненно ныло, что она едва могла перевести дыхание; долго прислушивалась она к его удаляющимся шагам, пока они не замерли в отдалении. Наконец ее вывел от оцепенения голос графини, послышавшийся из сада, и первый предмет, попавшийся ей на глаза, был стул, на котором только что сидел Валанкур. Слезы, сдерживаемые в первую минуту под влиянием смутного удивления, вызванного уходом Валанкура, теперь хлынули с новой силой и доставили ей отраду. Через некоторое время она немного успокоилась и могла вернуться к себе.

ГЛАВА XLІ

*...в том деле нет участия людей
И звуки были не земные!*

Вернемся теперь к Монтони; его ярость и досада по поводу бегства несчастной Эмилии скоро сменились другими более насущными заботами. Его хищнические экспедиции давно перешли за границы терпимого и достигли таких размеров, что им уже не мог потакать даже тогдашний робкий, продажный сенат Венеции; решено было одним ударом сокрушить его могущество и удовлетворить пострадавших от его насилий.

Довольно значительный отряд войск ждал только приказа, чтобы выступить против Удольфского замка; в это время один молодой офицер, подвижный, быть может, мстительным чувством по поводу какого-то оскорбления, нанесенного ему Монтони, а может быть, желанием отличиться, попросил аудиенции у министра, руководившего предприятием, и поставил ему на вид, что Удольфский замок слишком хорошо укреплен, чтобы можно было взять его открытой силой, и это было бы достижимо только путем долгих, томительных операций; что Монтони доказал за последнее время, как искусно он умеет управлять своими силами; что такой значительный отряд войск, какой назначен для экспедиции, не может подступить к Удольфскому замку незамеченным, и что вовсе не послужит к чести республики, если она отрядит значительную часть своих регулярных сил против шайки бандитов на тот долгий срок, какой понадобится для осады Удольфского замка. По мнению офицера, той же цели можно достигнуть гораздо быстрее и безопаснее, сочетая хитрость с силой. Можно встретить Монтони и его войско где-нибудь вне стен замка и атаковать его, или же подступить к крепости тайком, маленькими отрядами, а не то воспользоваться предательством или небрежностью кого-нибудь из офицеров и врасплох кинуться на их войска, даже в самом Удольфском замке.

Эти советы были выслушаны со вниманием, и подавший их офицер был сам назначен командовать войсками, отряженными для этой цели. Итак, он начал действовать согласно тщательно обдуманному плану. По соседству от Удольфского замка он стал выжидать, пока не заручится содействием кондотьеров; ни один из тех, к кому он обращался, не ответил ему отказом, все так и рвались наказать своего прежнего высокомерного повелителя, чтобы потом получить прощение от сената. Командир узнал также численность войска Монтони и то, что оно значительно увеличилось после его недавних успехов. Выполнение намеченного плана не заставило себя долго ждать. Вернувшись со своим отрядом в замок и получив пароль от своих товарищей, находящихся внутри стен, он с частью правительственных войск, направленной в самое здание, захватил Монтони и его офицеров, в то время как другая часть вела поблизости замка нетрудный бой, предшествовавший сдаче всего гарнизона. В числе лиц, захваченных вместе с Монтони, был убийца Орсино, о нахождении

которого в Удольфском замке было донесено сенату графом Морано, после его неудачной попытки похитить Эмилию. Собственно говоря, экспедиция была предпринята главным образом с целью овладеть этим человеком, убившим одного из членов сената, и успех предприятия был для сената так важен, что графа Морано немедленно выпустили на волю, несмотря на то, что Монтони в своем тайном доносе возводил на него обвинение в государственной измене. Вследствие быстроты и легкости, с какой было ведено это дело, оно не привлекло ничьего внимания и даже не попало в тогдашние хроники, так что Эмилия, находясь в Лангедоке, ничего не подозревала о поражении и о полном усмирении своего бывшего притеснителя. Все помышления ее были в настоящую минуту поглощены страданиями, которых никакие усилия рассудка не могли до сих пор побороть. Граф де Вильфор, искренно старавшийся своим участием сделать все, что мог, чтобы смягчить ее терзания, то предоставляя уединение, в котором она нуждалась, то заставляя ее участвовать в развлечениях маленького общества, так дружески к ней расположенного, все время ограждал ее по мере возможности от любопытных расспросов и колких выходок графини. Он часто приглашал Эмилию делать экскурсии с ним и его дочерью, и во время этих прогулок как бы невзначай заводил разговор о вещах для нее интересных, и таким образом постепенно старался отвлечь ее от предмета ее горя и пробудить в ней другие интересы. Эмилия, смотревшая на него как на просвещенного друга и покровителя своей молодости, скоро почувствовала к нему нежную привязанность дочери, а свою юную подругу Бланш она полюбила от всего сердца, как родную сестру, ценя ее доброту, ее простодушие, вознаграждавшие с избытком за недостаток в ней других более блестящих качеств. Прошло некоторое время, прежде чем Эмилии удалось настолько отвлечь свои помыслы от Валанкура, чтобы выслушать историю, обещанную старой Доротеей и по поводу которой ее любопытство было когда-то так сильно возбуждено. Однажды Доротея сама напомнила ей о своем обещании, и Эмилия попросила ее в ту же ночь прийти к ней.

У Эмилии голова все еще была занята одной и той же мыслью, и благодаря этому ее любопытство было несколько ослаблено, так что, когда Доротея постучалась к ней в дверь, она так удивилась, точно и не назначала ей свидания.

— Вот я пришла наконец, — начала старуха, — не знаю, отчего я вся дрожу сегодня; идя сюда, я раза два чуть было не упала от слабости.

Эмилия усадила ее и просила успокоиться, прежде чем приступить к повествованию.

— Увы, — молвила Доротея, — мне кажется, это и есть причина моих расстроенных чувств. По пути сюда я проходила мимо комнаты, где скончалась моя бедная, дорогая госпожа, все кругом было так тихо и мрачно; мне представлялось, что я вижу ее на смертном одре...

Эмилия ближе придвинула свой стул к Доротее, и та продолжала:

— Лет двадцать прошло с тех пор, как маркиза, невестой, в первый раз приехала в замок. О, я живо помню ее, когда она входила в главные сени, где собрались все слуги встречать ее, и каким счастливым казался маркиз. Ах, кто мог бы тогда предвидеть, что случилось после? Но, как я уже говорила вам, маркиза, несмотря на свое улыбающееся, милое личико, не казалась счастливой. Это я сейчас же и сказала мужу, а он отвечал мне, что это пустые фантазии, так что я замолчала, но не переставала наблюдать про себя. Маркиза была в то время приблизительно ваших лет и замечательно похожа на вас. И вот маркиз стал вести открытую жизнь, пошли в замке пиры да веселье, — после ничего подобного уже не бывало. Тогда я сама была помоложе теперешнего, барышня, и превеселая такая! Помню, раз я танцевала с Филиппом, дворецким, в розовом платье с желтыми лентами и в наколке, не такой, как теперь носят, а высокой, с лентами кругом; вы не поверите, как она была мне к лицу... В тот раз еще маркиз заметил меня. Ах, какой он был тогда добрый, обходительный. Вот подите ж, кто бы мог подумать...

— Но что же вы хотели рассказать про маркизу, Доротея, — прервала ее Эмилия, — вы начали говорить...

— Ах, да, маркиза... вот я и думала про себя, что она в душе несчастлива; и раз, вскоре

после свадьбы, я застала ее плачущей в спальне. Увидев меня, она сейчас же вытерла глаза и принужденно улыбнулась. Тогда я не посмела спросить ее, что с ней такое; но во второй раз, когда я опять увидела ее в слезах, я спросила ее напрямик, и ей это не понравилось, так что я больше и не совалась. Впоследствии я узнала, в чем дело. Отец ее, видите ли, силою заставил ее выйти замуж за маркиза из-за его богатства, а был другой господин, которого она больше любила, и тот тоже души в ней не чаял; вот она и тосковала по нем, но ни слова никому не говорила. Маркиза всегда старалась скрыть свои слезы от супруга: я часто сама видела ее после таких припадков грусти; она бывало старалась казаться спокойной и кроткой, как только он войдет в комнату. Но вот и маркиз вдруг ни с того ни с сего стал таким мрачным, раздражительным и часто очень сурово обходился с барыней. Это ее сильно огорчало, как видно, но она никогда не жаловалась; она кротко старалась угождать ему, развешивать его, а у меня сердце болело, на это глядячи... маркиз же хмурился и резко отвечал на ее тихие речи... Заметив, что все ее старания тщетны, она уходила к себе и горько плакала! Я сама это слыхала, сидючи в прихожей, бедняжка моя! но редко когда решалась войти к ней. Стала я догадываться, что маркиз ревнует. Разумеется, его супругой многие восхищались, но она была слишком добродетельна, чтобы заслуживать подозрения. В числе многих кавалеров, посещавших замок, был один, как мне казалось, словно созданный под пару моей барыне: учтивый, любезный, благородный... все его речи, все движения отличались какой-то особенной прелестью... Я всегда замечала, что, когда он бывал в замке, маркиз становился еще мрачнее, а его супруга еще задумчивее. Мне приходило в голову, что за этого самого господина моя барыня и предполагала выйти замуж, но так ли это — не знаю наверное...

— Как звали этого кавалера, Доротея? — спросила Эмилия.

— Ну, уж этого я не скажу даже вам, барышня, чтобы не вышло чего дурного. Раз я слышала от одной особы, ныне уже умершей, будто маркиза не была законной женой маркиза, так как она уже раньше была тайно обвенчана с любимым человеком и будто она боялась сознаться в этом суровому отцу, но все это мне представляется невероятным и я никогда этому не верила. Как я уже говорила, маркиз бывал постоянно не в духе в то время, как в замке гостил тот господин, и наконец от дурного обращения с ней мужа бедная барыня стала совсем несчастной. Он терпеть не мог видеть гостей в замке и жену заставлял жить почти отшельницей. Я была постоянно при ней и видела все, что она выстрадала; но по-прежнему она никогда не жаловалась ни единым словом, ни единым звуком... Так шли дела почти с год; барыня моя вдруг захирела; мне думалось, что это больше от неприятностей, а на поверку-то было гораздо хуже...

— Хуже, Доротея? — прервала ее Эмилия, — что это значит?

— Боюсь, что был тут тяжкий грех, по крайней мере признаки я видела самые подозрительные. Но я не стану приводить своих догадок... Так вот маркиз...

— Тсс, Доротея, что это за звуки? — прервала ее вдруг Эмилия.

Доротея изменилась в лице; обе насторожились и услышали в тиши ночной мелодию необыкновенной прелести.

— Мне кажется, я когда-то уже слышала этот голос! — вымолвила наконец Эмилия.

— А я так часто слыхала его, и все в один и тот же час, — торжественным тоном произнесла Доротея, — наверное, это музыка духов!

Между тем звуки приближались, и Эмилия убедилась, что это те самые, которые она слышала после смерти отца. И вот теперь, под влиянием ли воспоминаний, воскресивших это печальное событие, или под влиянием суеверного страха, но ее охватило такое волнение, что она почти теряла сознание.

— Я, кажется, уже рассказывала вам, сударыня, — начала опять Доротея, — что в первый раз слышала эту музыку после кончины моей доброй госпожи: уж как памятна мне эта ночь!

— Слышите! вот опять пение! — воскликнула Эмилия, — отворим окно и послушаем.

Так они и сделали; но вскоре звуки стали постепенно замирать в отдалении, потом все замолкло: звуки как будто пропали в лесу, кудрявые макушки которого виднелись на ясном

горизонте, тогда как все другие черты далекого пейзажа тонули в прозрачной тьме, причем, однако, можно было смутно различить предметы в саду.

Эмилия высунулась из окна и с трепетом устремила взор во мрак ночи; затем перевела глаза на безоблачный купол небес, усыпанный звездами. Доротея между тем тихим голосом продолжала свой рассказ.

— Да, живо помнится мне тот момент, когда я в первый раз услышала эту самую музыку. Случилось это ночью, вскоре после смерти моей госпожи, и я не ложилась спать дольше обыкновенного и все думала о моей бедной покойнице и о ее печальной судьбе. В замке стояла тишина, а я сидела в комнате, довольно отдаленной от людской; под влиянием одиночества, а отчасти и печальных мыслей у меня было так мрачно на душе: я часто прислушивалась, стараясь уловить малейший шум в замке. Сами знаете, барышня, когда слышишь движение и возню людей, тогда все не так жутко на сердце. Но слуги улеглись спать, а я все сидела да думала, так что наконец мне страшно стало оглянуться в комнате. Лицо моей бедной госпожи часто рисовалось передо мною такое, каким я видела его на смертном одре. Раза два мне почудилось, будто я вижу его въявь— вдруг слышу эту сладкую музыку близенько, точно под самым окном! Никогда не забуду, что я тогда почувствовала. У меня не было сил шевельнуться; но потом, когда я подумала, что это голос моей дорогой, бедной госпожи, к глазам моим подступили слезы. При жизни я часто слышала ее пение, у нее был чудесный голос; не раз он заставлял меня плакать, когда бывало она сидела вечером у окна в нише и пела такие грустные песни, акомпанируя себе на лютне. Ах! голос ее проникал прямо в сердце! Я, бывало, по часам сидела в прихожей и все слушала. Иной раз она играла у открытого окна в летнюю пору, играла, пока не смеркнется, и когда я приходила закрывать окна, она даже не сознавала, который может быть час. И вот, когда я в первый раз услышала вот такую необъяснимую музыку, я была уверена, что это маркиза поет; и впоследствии много раз мне думалось то же самое. Иногда проходили месяцы, и музыки не было слышно, а потом она опять раздавалась...

— Странно, — промолвила Эмилия, — что до сих пор не могли узнать, кто это играет и поет!

— Ах, барышня, если бы это были звуки земные, то давно бы уж узнали, кто этот музыкант, а вы сами подумайте, у кого хватило бы храбрости следить за духом? Духи, знаете ли способны принимать всякие облики и являться совсем неосязаемыми: то он здесь, то там...

— Пожалуйста, — сказала Эмилия, — продолжайте вашу историю про маркизу, — расскажите мне, как она умерла!

— Хорошо, барышня, но не лучше ли отойти от окна?

— Свежий воздух оживляет меня, — возразила Эмилия, — я люблю слушать, как шелестит ветерок в листве, и глядеть на потемневший пейзаж. Вы говорили про маркиза, когда нас прервала музыка.

— ... Маркиз становился все мрачнее и мрачнее, а барыня моя таяла не по дням, по часам; я была поражена, увидев, до чего она изменилась. Она так жалобно взглянула на меня и попросила позвать маркиза: дескать, она имеет сообщить ему что-то очень серьезное. Наконец маркиз явился; очевидно, ему стало жалко ее, но он мало выражал свои чувства. Маркиза сказала ему, что умирает и желает говорить с ним с глазу на глаз. Я вышла из комнаты, — век не забуду взгляда, которым она провожала меня.

Вернувшись, я осмелилась напомнить моему господину, чтобы он послал за доктором: в тревоге своей он, кажется, забыл об этом. Но маркиза промолвила, что теперь уже поздно. Господин мой, напротив, не разделял ее мнения и довольно легко относился к ее болезни; но вот ее вдруг схватили страшные боли! О! я никогда не забуду ее раздирающих душу криков! Тогда супруг ее послал верхового за доктором, а сам заходил по комнате и по всему замку в ужасном волнении. А я сидела у постели барыни и все делала, что могла, чтобы облегчить ее страдания. У нее были промежутки успокоения, и в один из таких моментов она опять послала за своим супругом. Когда он вошел, я собралась уходить, но она пожелала, чтобы я

не оставляла ее. Если бы вы знали, какая тут произошла сцена! Мне и теперь жутко о ней вспомнить. Мой господин был как безумный, а барыня словно кроткий ангел, с такой нежностью утешала его, что если у него когда-нибудь и являлись подозрения насчет ее верности, то теперь он мог убедиться, что был глубоко не прав. Наверное, он сам мучился мыслью о том, как дурно он обходился с нею; между тем от волнения она лишилась чувств. Мы увели маркиза из спальни: он пошел в библиотеку, повалился на пол и долго так лежал, не слушая никаких резонов. Когда барыня моя очнулась, она первым делом спросила о нем; но потом заметила, что ей тяжело смотреть на его горе — пусть ей дадут умереть спокойно. Она скончалась на моих руках, барышня, так тихо, как младенец; острые боли под конец прекратились.

Доротея остановилась и заплакала; Эмилия плакала с нею; ее трогала доброта покойной маркизы и кроткое терпение, с каким она выносила свои страдания.

— Когда пришел доктор, — продолжала Доротея, — увы, слишком уже было поздно! — он был поражен при виде покойницы: вскоре после ее кончины лицо ее страшно почернело. Выслав всех из комнаты, он обратился ко мне с несколькими странными вопросами о маркизе, в особенности о том, когда и как ее схватили боли; слушая мои ответы, он все качал головой и как будто что-то обдумывал про себя. Но я слишком хорошо понимала его; однако оставила свои догадки про себя и высказала их только моему мужу, который велел мне держать язык за зубами. Впрочем, некоторые из слуг подозревали то же, что и я; странные слухи заходили по околотку, но никто не смел подымать шума. Когда маркиз услышал, что маркиза скончалась, он заперся у себя и никого не хотел впускать, кроме доктора, который иногда по целому часу сидел у него; после этого доктор уже ни разу не заговаривал со мной о покойной маркизе. Когда ее хоронили в церкви монастыря, неподалеку отсюда (при луне из вашего окна видны его башни), все вассалы маркиза шли за гробом и ни у кого глаза не оставались сухи: покойница делала много добра бедным. Мой господин страшно грустил после похорон, и я в жизнь свою не видывала такой печали, а го временам на него находили такие припадки бешенства, что мы думали, не сошел ли он с ума? Недолго оставался он в замке и уехал в свой полк... Вскоре все слуги, кроме меня с мужем, получили расчет, а маркиз ушел на войну. После этого я уже никогда не видела его. Он ни за что не хотел возвращаться в замок, хотя поместье было такое чудное! Так и осталась неоконченной затеянная им постройка комнат на западной стороне замка. С тех пор замок долгие годы стоял запертый, заброшенный, пока не прибыл сюда граф.

— Смерть маркизы действительно была трагическая, — проговорила Эмилия. Ей очень хотелось узнать дальнейшие подробности этой истории, но она не решалась спросить.

— Да, барышня, она произошла при странной обстановке; я рассказала вам все, что видела, а о моих мыслях вы сами можете догадаться. Больше я ничего не скажу: мне не следует распространять слухи, которые могут быть неприятны его сиятельству, графу.

— Вы правы, Доротея. Но где умер маркиз?

— Кажется, на севере Франции, барышня, — отвечала Доротея. — Я очень образовалась, услышав, что граф сюда едет. Замок стоял пустынный, мрачный вот уже сколько лет! Мы слышали такие странные шумы после кончины маркизы, что переехали жить в избушку по соседству. А теперь, сударыня, я рассказала вам всю печальную историю до конца! Не забудьте, что вы обещали мне никогда никому об этом не говорить...

— Да, я обещаю, — отвечала Эмилия, — и свято сдержу свое слово, Доротея, и вы не можете себе представить, как заинтересовал меня ваш рассказ. Мне хотелось бы только, чтобы вы назвали мне имя того кавалера, который, как говорят, часто посещал замок и по своим качествам был достоин маркизы...

Но Доротея упорно отказывалась и затем вернулась к своему прежнему замечанию о необыкновенном сходстве Эмилии с покойной маркизой.

— Есть еще другой портрет ее, — прибавила она, — он висит в одной из комнат запертой анфилады. Говорят, он срисован с нее еще до замужества и еще более похож на вас, чем миниатюра.

Эмилия выразила сильное желание увидеть портрет; Доротея отговаривалась тем, что ей грустно входить в эти комнаты. Но Эмилия напомнила ей, что граф на днях говорил о своем намерении отпереть их; это заставило Доротею крепко призадуматься. Затем она призналась, что ей было бы все-таки менее тяжело в первый раз войти туда с Эмилией, чем с кем-нибудь другим. В конце концов она обещала Эмилии показать ей картину.

Между тем становилось поздно; Эмилия была слишком взволнована рассказом событий, происходивших в этих апартаментах, чтобы пожелать осматривать их в час ночи. Но она попросила Доротею прийти завтра вечером, когда никто не может их увидеть, и свести ее туда.

Помимо желания взглянуть на портреты, ее разбирало жгучее любопытство увидеть ту комнату, где скончалась маркиза и где, по словам Доротеи, все осталось по-старому, в том же самом виде, как было после того, как оттуда вынесли тело маркизы для погребения. Печальные чувства, возбужденные ожиданием увидеть эти грустные места, гармонировали с настоящим настроением ее духа, удрученного тяжким горем. Веселые впечатления скорее могли бы усилить, чем разогнать ее сердечную тоску; в самом деле она, может быть, слишком поддавалась своему меланхолическому настроению и безрассудно скорбела о несчастье, которого не могла избежать; но никаким усилием воли ей не удавалось принудить себя смотреть равнодушно на унижение человека, которого она когда-то так любила и уважала.

Доротея обещала прийти завтра вечером с ключами от запертых комнат и, пожелав Эмилии покойной ночи, удалилась. Эмилия, однако, продолжала сидеть у окна, размышляя о печальной судьбе маркизы, и с трепетом ожидала снова услышать музыку. Но тишина ночная долго ничем не нарушалась, кроме шелеста ветра в листве; затем далекий колокол монастыря прозвонил один раз. Эмилия отошла от окна, и пока она сидела у своей постели, погруженная в печальные грезы, навеянные глухим часом ночным, тишина была внезапно прервана, но уже не музыкой, а какими-то странными, невнятными звуками, исходившими не то из соседней комнаты, не то снизу. Страшная катастрофа, рассказанная Доротеей в совокупности со слухами о таинственных явлениях, происходивших после того в замке, так сильно поразили ее, что она на один миг отдалась суеверной слабости. Звуки, однако, не повторились, и Эмилия легла в постель, чтобы позабыть во сне плачевную историю бедной маркизы.

ГЛАВА XLII

*Пришла полночная пора,
Зияют все могилы;
И к храму духи мертвецов
Скользят толпой унылой.*

На другой день вечером в назначенный час Доротея пришла к Эмилии с ключами от анфилады покоев, когда-то принадлежавших исключительно хозяйке замка. Комнаты эти тянулись по северному фасаду, образуя часть старого здания; а так как спальня Эмилии была обращена на юг, то обеим женщинам пришлось пройти почти по всему замку и мимо спален многих членов семейства, внимания которых Доротея отнюдь не желала привлекать, так как это могло возбудить толки, неприятные графу. Вот почему она потребовала, чтобы Эмилия подождала с полчаса, прежде чем пуститься в экспедицию; надо было выждать, чтобы все слуги улеглись спать. Наконец около часу ночи водворилась полная тишина; Доротея нашла, что теперь им можно отважиться выйти из комнаты Эмилии. В этот промежуток времени старуха, размышляя о пережитых горестях и о том, что ей сейчас придется увидеть те места, где все это происходило и где она не была уже много лет, пришла в сильнейшее волнение. Эмилия тоже была в возбужденном состоянии; у нее было грустно на душе, но страха она не испытывала.

Наконец, обе очнулись от своих невеселых дум и отправились в путь. Сперва Доротея несла лампу, но рука ее так сильно дрожала, что Эмилия взяла у нее лампу, а самой предложила опереться на ее руку.

Им пришлось спуститься по главной лестнице и, пройдя почти по всему пространству замка, подняться по другой лестнице, ведущей в тот ряд покоев, которые они задумали посетить. Осторожно пробрались они по длинному, открытому коридору, огибавшему главные сени и куда выходили спальни графа, графини и Бланш; оттуда спустились по главной лестнице и пересекли сени. Пройдя по людской, где тлели в очаге остатки головней, а стол с остатками ужина был еще окружен стульями, загораживавшими путь, обе женщины достигли задней лестницы. Здесь старая Доротея остановилась и пугливо оглянулась.

— Послушаем, — сказала она, — не слышно ли чего? Барышня, вы не слышите голосов?

— Ничего не слышу! — отозвалась Эмилия, — конечно, теперь все спят в замке, кроме нас с вами.

— Дело в том, барышня, что я никогда здесь не бывала в такой поздний час, и после того, что я узнала, не мудрено труситься!

— Что же вы такое узнали? — спросила Эмилия.

— Ах, барышня, некогда теперь об этом рассуждать; пойдемте дальше. Вот эту дверь по левую руку нам и надо отпереть.

Поднявшись по лестнице, Доротея вложила ключ в замок.

— Ах, — молвила она, — столько лет не отпиралась эта дверь! Я, право, боюсь, не заржавел ли замок.

После некоторых стараний Эмилии, однако, посчастливилось отпереть дверь, и обе вошли в просторный, старинный покой.

— Ах, Боже мой! — воскликнула Доротея, — как подумаешь, что в последний раз я проходила в эти двери, следуя за телом моей бедной госпожи!

Эмилия молчала, пораженная этим замечанием и унылым, мрачным видом комнаты; обе женщины прошли по длинному ряду хором, наконец достигли одной комнаты, еще обширнее остальных и сохранившей остатки увядшей роскоши.

— Отдохнем здесь немного, — предложила Доротея слабым голосом, — сейчас мы войдем в опочивальню, где скончалась моя госпожа! Вот эта самая дверь ведет туда... Ах, барышня, и зачем вы только уговорили меня прийти сюда?

Эмилия, придвинув одно из массивных кресел, которыми была обставлена комната, просила Доротею сесть и успокоиться.

— Как все здесь напоминает былые времена! — проговорила старуха, — право, точно вчера все это случилось!..

— Слышите, Доротея! что это за шум? — встревожилась вдруг Эмилия.

Доротея порывалась вскочить с кресла, со страхом озираясь и прислушиваясь, но кругом все было тихо; тогда старуха опять вернулась к предмету своей печали:

— При жизни маркизы этот салон был самым роскошным во всем замке и убран по ее вкусу. Вся эта великолепная мебель... теперь нельзя разглядеть ее сквозь густой слой пыли, да и освещение у нас тусклое, — вся эта великолепная мебель нарочно выписана из Парижа и сделана по фасону обстановки Луврского дворца; все вывезено из Парижа, кроме вот этих огромных зеркал (те привезены из какого-то другого края) и этих богатых ковров! А как полиняли краски с тех пор, как я в последний раз была здесь!

— Вы говорили... это было двадцать лет тому назад? спросила Эмилия.

— Около того, сударыня, уж я-то твердо помню! но только это долгое время иногда кажется мне одним мигом! Смотрите, этими ковравыми обоями бывало все восхищались: на них изображены сцены из какой-то знаменитой книги, да я позабыла — какой!

Эмилия встала, чтобы рассмотреть фигуры на обоях и, прочтя стихи на провансальском наречии, вытканные под каждой сценой, убедилась, что картины представляют эпизоды из известных старинных романов.

Доротея, несколько успокоившись, встала и отперла дверь, ведущую в спальню покойной маркизы. Эмилия вступила в высокую комнату, увешанную кругом темными тканями обоями и до того обширную, что при свете лампы, которую она подняла вверх, невозможно было охватить глазом всего пространства. Доротея как вошла, так и опустилась на стул, тяжело вздыхая; она долго не могла решиться взглянуть на места, возбуждавшие у нее такие жгучие воспоминания. Но вот через несколько минут Эмилия различила сквозь полумрак кровать, на которой скончалась маркиза; пройдя в дальний конец комнаты, она увидела перед собой высокий драпированный балдахин темно-зеленого штофа, с занавесями, ниспадавшими до полу, в виде, как было двадцать лет тому назад; на постель был накинут, в виде одеяла, погребальный покров из черного бархата, спускавшийся до самого пола. Эмилия вся дрожала, рассматривая его при свете лампы, потом она заглянула под темный полог, почти ожидая увидеть там человеческое лицо. Но она вдруг вспомнила, какой ужас она испытала, увидев умирающую тетку в башне Удольфского замка, и у нее замерло сердце в груди. Она хотела отойти от постели, как вдруг подошла Доротея и воскликнула:

— Пресвятая Богородица! Мне так и чудится, что я вижу свою госпожу распростертой на этом покрове, как в ту пору, когда она только что умерла!

Эмилия, испуганная этим восклицанием, невольно опять взглянула за полог, но ничего не увидела, кроме мрачного черного бархата. Доротея, чтобы не упасть, удержалась за край постели, и хлынувшие слезы принесли ей некоторое облегчение.

— Ах, — молвила она, проплавав некоторое время, — здесь, на этом самом месте, я видела в ту страшную ночь и держала руку моей бедной госпожи, слышала ее предсмертные слова, видела все ее мучения, здесь она скончалась на моих руках!

— Не предавайтесь этим тяжким воспоминаниям, — уговаривала ее Эмилия, — уйдем отсюда. Вы лучше покажите мне картину, о которой вы мне говорили, если это не слишком расстроит вас.

— Она висит в соседней каморке!

Доротея встала и подошла к маленькой дверце у изголовья постели; Эмилия последовала за нею в род чулана.

— Вот она, смотрите на нее, барышня! — проговорила экономка, показывая на женский портрет, — вот она сама, как вылитая: такой она была, когда впервой приехала в замок. Видите, цветущая, юная... точь-в-точь как вы, и так скоро ее смерть подкосила!

Тем временем Эмилия внимательно рассматривала портрет, представлявший сильное сходство с миниатюрой, хотя выражение лица было несколько иное. Но Эмилии показалось, что и тут в чертах сквозит та же задумчивая меланхолия, составлявшая характерную особенность миниатюры.

— Пожалуйста, барышня, станьте рядом с портретом, чтобы я могла видеть вас вместе, — попросила Доротея.

Эмилия исполнила ее просьбу, и она опять разохалась, пораженная сходством. При взгляде на портрет Эмилии показалось, что она где-то видела лицо, похожее на это, но кто это был, не могла вспомнить.

В чулане было много вещей, принадлежавших покойной маркизе: платье и части одежды валялись по стульям, точно их сейчас только что сбросили. На полу стояли черные атласные туфельки, а на туалете лежали пара перчаток и длинная черная вуаль; чуть только Эмилия прикоснулась к ней, как она стала рассыпаться от ветхости.

— Ах, — заплакала Доротея, глядя на вуаль, — моя госпожа положила ее сюда собственными руками, никто и не трогал ее с тех пор!

Эмилия вздрогнула и сейчас же положила вуаль на прежнее место.

— Я помню, как она ее снимала, — продолжала рассказывать Доротея, — это было вечером, перед самой смертью; она вернулась с маленькой прогулки по саду, и мне показалось, что прогулка очень освежила ее. Я даже заметила ей, что у нее вид гораздо лучше стал, и помню, какой грустной улыбкой она отвечала мне. О Боже! ни она, ни я не подозревали, что в ту же ночь она умрет!

Доротея опять залилась слезами, затем, взяв в руки вуаль, вдруг набросила ее на голову Эмилии. Та вздрогнула, когда вуаль прильнула к ее голове и стану, падая до самого пола, и сейчас же хотела сбросить ее, но Доротея умоляла ее постоять так с минуточку.

— Простите, мне хотелось посмотреть, как вы похожи будете на мою дорогую госпожу в этом покрывале. Дай Бог, барышня, чтобы ваша жизнь была счастливее ее жизни!

Эмилия, освободившись от вуали, положила ее обратно на туалет и осмотрела каморку, где каждый предмет, каждая мелочь говорили о покойной маркизе. В амбразуре большого расписного окна стоял столик, а на нем большое серебряное распятие и открытый молитвенник. Эмилия вспомнила, с каким волнением Доротея рассказывала, как ее госпожа бывало любила играть на лютне у этого самого окна!.. А вот и сама лютня: она лежала тут же, на уголке стола, точно беспечно брошенная маркизой, когда-то извлекавшей из нее мелодические звуки.

— Какое печальное, заброшенное место! — молвила Доротея. — Когда скончалась моя госпожа, у меня не хватило духу убрать ее спальню и эту комнатку. Маркиз никогда сюда не заглядывал; так они и остались в том же виде, как были, после того как вынесли хоронить мою барыню...

Между тем Эмилия не отрывала глаз от лютни: оказавшейся испанской и необыкновенно большого размера. Она взяла ее робкой рукой и провела пальцами по струнам. Лютня была расстроена, но издала густой, полный звук. Доротея вздрогнула при знакомых звуках и, увидев инструмент в руках Эмилии, сказала:

— Эту лютню маркиза до страсти любила! Помню, когда она в последний раз играла на ней: это было вечером, незадолго до ее смерти. Я пришла по обыкновению раздеть ее и, входя в спальню, услышала звуки музыки, несущиеся из этой комнатки: это играла маркиза. Я тихонько подошла к притворенной двери и стала слушать: музыка, хотя и печальная, была бесконечно сладостна! Маркиза сидела с лютней в руках, устремив взор к небу. Слезы так и капали из глаз ее; она пела вечерний гимн, мелодичный, торжественный; голос ее дрожал по временам. Она останавливалась порою отереть слезы, потом продолжала еще грустнее прежнего. О! я часто слышала ее пение, но никогда оно не было таким трогательным! Я плакала, слушая его. Видно, бедняжка перед тем стояла на молитве; на столе лежала развернутая книга. Ах!.., вот она и теперь лежит открытая. Пожалуйста, уйдем отсюда, барышня, у меня сердце разрывается...

Вернувшись в спальню, Доротея пожелала еще раз взглянуть на постель; когда они очутились против двери, ведущей в салон, Эмилии при мерцающем свете лампы почудилось, будто что-то быстро проскользнуло в затемненную часть соседнего салона. Ее нервы были сильно потрясены окружающей мрачной обстановкой, иначе это явление, реальное или только воображаемое, не поразило бы ее до такой степени; она даже старалась скрыть свое волнение от Доротеи, но та, заметив ее изменившееся лицо, спросила, не больна ли она.

— Уйдем отсюда, — слабо промолвила Эмилия, — воздух здесь такой тяжелый; — но, решившись на это, она вдруг сообразила, что ей придется пройти по соседней комнате, куда только что промелькнула страшная тень... и тут она почувствовала такую слабость, что принуждена была опуститься на край постели.

Доротея, думая, что на нее так сильно подействовал ее рассказ о печальной катастрофе, разыгравшейся на этом самом месте, пыталась приободрить ее; сидя рядом с ней на постели, она принялась рассказывать о разных подробностях, касающихся того же события, не думая о том, что это может еще более расстроить Эмилию.

— Незадолго до смерти моей госпожи, — говорила она, — когда боли у нее совсем утихли, она подозвала меня к себе и протянула мне руку — я видела вот как раз здесь, где полог ниспадает до полу. Как живо помнится мне ее взгляд — смерть была в нем написана!.., точно я вижу ее сейчас перед собою... Вот тут она лежала... ее лицо покоилось на подушке, вот здесь!.. Этого погребального покрова тогда не было на постели, его разостлали уже после того, как она скончалась, и тело ее положили поверх его.

Эмилия обернулась, чтобы заглянуть под темный полог, как будто ожидая увидеть там

лицо, о котором говорила Доротея. Только край белой подушки выглядывал из — под сплошной черноты покрыва; но в ту минуту, как взор ее блуждал по самому покрыву, ей почудилось, что он тихонько шевелится. Молча, без слов, она ухватила за руку Доротеи; та, удивленная этим движением и помертвевшим от ужаса лицом Эмили, перевела глаза свои от нее к постели и в ту же минуту также увидела, как покрыв слабо приподымается и опускается.

Эмилия хотела уйти, но Доротея стояла, как пригвожденная, не отрывая взора от постели. Наконец она произнесла:

— Это только ветер колышет покрыв, барышня! Мы оставили все двери отворенными; смотрите, как пламя лампы трепещет тоже — это от ветра!

Едва успела она выговорить эти слова, как покрыв заволновался пуще прежнего; но Эмилия, устыдившись своих страхов, опять подошла к постели, точно желая проверить, что только ветер был причиной ее тревоги. Когда она глянула за полог, покрыв снова зашевелился, и в ту же минуту над ним показалось бледное человеческое лицо... Вскрикнув от ужаса, обе бросились бежать так быстро, как позволяли их дрожащие ноги, чтобы поскорее выбраться из страшной комнаты, оставляя на пути все двери отворенными. Достигнув лестницы, Доротея толкнула какую-то дверь, ведущую в одну из комнат женской прислуги, и еле дыша, как сноп, повалилась на постель; между тем Эмилия, потеряв всякое присутствие духа, делала лишь слабое усилие, чтобы скрыть от изумленных слуг причину своего испуга; и хотя Доротея, получив способность говорить, пыталась поднять на смех свой переполох и к ее смеху присоединилась Эмилия, но никакими силами нельзя было заставить перепуганную прислугу провести остаток ночи так близко от страшных комнат.

Доротея проводила Эмилию до ее спальни; придя туда, они пробовали хладнокровно обсудить страшное происшествие, только что случившееся с ними: Эмилия, может быть, усомнилась бы в своих собственных впечатлениях, если бы Доротея не подтвердила со своей стороны все виденное ею. Эмилия передала ей то, что она заметила в салоне, смежном со спальней, и она спросила экономку, уверена ли она, что ни одна дверь не была оставлена отпертой, через которую мог бы кто-нибудь прокрасться в апартаменты маркизы? Доротея отвечала, что она всегда держала у себя ключи от всех дверей; что когда она делала обход замка — что случалось часто — она пробовала эти двери, как и остальные, и всегда находила их запертыми. Поэтому нельзя предположить, чтобы кто-нибудь мог забраться в эту анфиладу; а если бы кто и забрался, то вряд ли избрал бы себе для сна такое холодное, неудобное место.

Эмилия заметила, что кто-нибудь, вероятно, подстерег их визит в эти всегда запертые комнаты и ради шуток последовал за ними туда, с целью напугать их, а пока они замешкались в чулане, успел спрятаться в постели.

Доротея допускала, что это возможно, но потом припомнила, что, войдя в апартаменты, она заперла на ключ крайнюю комнату, то, благодаря этой мере, принятой для того, чтобы никто из домашних не заметил их посещения, в сущности ни одна живая душа не могла забраться в эти комнаты за ними следом. Теперь Доротея стала упорно утверждать, что страшное лицо, которое они видели, не имеет в себе ничего человеческого, а, вероятно, какой-то неземной призрак.

Эмилия была серьезно расстроена. Какого бы свойства ни было явившееся им привидение — человек или дух, но ведь судьба покойной маркизы была истиной, вне всякого сомнения; и это необъяснимое происшествие, случившееся с нею в самом разгаре ее собственного сердечного горя, поразило воображение Эмили суеверным ужасом; она, вероятно, не поддавалась бы ему после того разоблачения всех сверхъестественных явлений в Удольфском замке, если бы она не слышала злополучной истории маркизы из уст экономки. К ней она и обратилась с горячей просьбой скрыть происшествия этой ночи, пренебречь всеми этими страхами, чтобы тревожные слухи не дошли до графа и не распространили смущения и беспокойства в его семье.

— Время, — прибавила она, — разъяснит это таинственное дело, а пока будем молчать

и наблюдать.

Доротея охотно согласилась. Тут она вдруг вспомнила, что оставила незапертыми все двери северной анфилады покоев; но она не имела достаточно храбрости, чтобы вернуться одной запереть хотя бы наружную дверь; тогда Эмилия, после некоторого усилия над собою, настолько победила свою трусость, что предложила сопровождать экономку до задней лестницы и там подождать внизу, пока Доротея подыметесь наверх; это немного приободрило старуху, она согласилась пойти, и обе отправились вместе.

Глубокая тишина не нарушалась ни малейшим звуком, пока они проходили по залам и галереям; но когда пришли к задней лестнице, решимость Доротеи опять изменила ей. Остановившись на минутку внизу, она насторожилась, но ничего не было слышно, и она стала подыматься, оставив Эмилию внизу; боясь даже заглянуть внутрь крайней комнаты, замыкавшей анфиладу, она быстро заперла дверь и поскорее вернулась к Эмилии.

В то время, как они шли по коридорчику, выходявшему в парадные сени, послышался какой-то жалобный звук, исходивший, очевидно, из сеней; обе женщины остановились в новой тревоге. Но вскоре Эмилия узнала голос Аннеты; она бежала с другой горничной через сени, до того перепуганная слухами, распространенными другими служанками, что, надеясь найти безопасность только там, где находится ее барышня, она тотчас же бросилась к ней в комнату. Напрасно Эмилия пробовала поднять на смех всю эту историю или урезонить свою камеристку — она ничего не хотела слышать. Тогда, из жалости к ее встревоженному состоянию, она позволила девушке переночевать в ее комнате.

ГЛАВА XLIII

*Привет тебе, прелестное Уединенье;
Товарищ добродетельных и мудрых
Тебе принадлежит час утренний, благоуханный,
Когда рососою отягченная родится роза.
Но больше люб тебе вечерний час.
Когда природа в сером мраке утопает;
Тебе принадлежит тот смутный, мягкий сумрак.
Любимый час задумчивой печали.*

Томсон

Эмилия строго на строго приказала Аннете, чтобы она молчала о напугавшем ее случае, но это не помогло. О происшествии прошлой ночи узнали слуги и встревожились не на шутку. Теперь все они стали уверять, будто часто слышали по ночам необъяснимые шумы в замке; наконец и до графа дошли тревожные слухи, что в северном крыле замка водятся привидения. Сперва он отнесся к этому с насмешкой, но заметив, что подобные слухи действуют очень вредно, порождая смуту среди челяди, напрямик запретил об этом болтать, под страхом наказания.

Приезд целой партии гостей скоро отвлек его мысли в другую сторону; теперь слухам уже некогда было много толковать об этом предмете, разве только вечером после ужина, когда они все собирались в людской и рассказывали друг другу страшные истории, так что после этого боялись даже оглянуться, вздрагивали, когда раздавалось по коридору эхо затворяемой двери, и отказывались в одиночку ходить по замку.

В таких случаях Аннета играла видную роль. Рассказывая не только пережитые, но и вымышленные чудеса в Удольфском замке, а также историю о страшном исчезновении синьоры Лаурентини, она производила огромное впечатление на умы слушателей. Свои подозрения насчет Монтони она тоже охотно высказала бы всей компании, если бы Людовико, поступивший теперь на службу к графу, не удержал ее от излишней болтливости.

В числе посетителей замка был барон де Сент-Фуа, старинный друг графа, и сын его, шевалье де Сент-Фуа, разумный и любезный молодой человек; в прошлом году, увидав однажды Бланш в Париже, он стал ее ревностным поклонником. Дружба, издавна

существовавшая между ее отцом и бароном, и равенство их состояний втайне склоняли графа в пользу этого союза; но он думал, что дочь его еще слишком молода, чтобы сделать выбор спутника на всю жизнь и, желая испытать искренность и силу привязанности молодого шевалье, пока отклонил его предложение, хотя не отнял у него надежды. И вот теперь молодой человек приехал с отцом требовать награды за свое постоянство; граф отнесся к нему сочувственно; Бланш тоже не отвергала его.

Пока эти посетители гостили в замке, в нем царили веселье и роскошь. Павильон в лесу был заново отделан и по вечерам там иногда сервировался ужин, заканчивавшийся обыкновенно концертом, в котором участвовали граф с графиней — оба прекрасные музыканты, а также Анри и молодой де Сент-Фуа и Бланш с Эмилией, голоса которых и тонкий художественный вкус вознаграждали за недостаток строгой школы. Некоторые из слуг графа, играя на духовых инструментах в различных пунктах парка, гармонично вторили мелодиям, раздававшимся из павильона.

Во всякое другое время такие собрания доставили бы Эмилиии искреннее наслаждение; но теперь ее настроение было слишком подавлено; она все более и более убеждалась, что ее меланхолию не в силах рассеять никакие развлечения; в иные минуты трогательная музыка этих концертов до боли растравляла ее грусть.

Эмилия особенно любила бродить по лесу, на высоком мысу, вдававшемся в море. Роскошная тень старых деревьев действовала успокоительно на ее печальную душу, а вид, открывавшийся оттуда на некоторые части Средиземного моря, с его извилистым побережьем и мелькавшими парусами, представлял сочетание мирной красоты с величием. Тропинки в этом лесу были дикие и местами полузаглохли под травой и порослью; но владелец леса, человек со вкусом, не позволял расчищать их и рубить ветки со старых деревьев. На пригорке, в самой глухой части леса, было устроено первобытное сиденье из пня поваленного дуба, когда-то бывшего гордым, благородным деревом; до сих пор еще зеленели его побеги, смешавшись с березой и сосной и образуя род шатра. Сидя под густой их тенью, можно было, поверх вершин других деревьев, спускавшихся под гору, видеть вдали клочки Средиземного моря. Налево сквозь прогалину виднелась полуразрушенная сторожевая башня, стоявшая на утесе над морем, возвышаясь из массы кудрявой зелени.

Сюда Эмилия часто приходила одна в тихий вечерний час; убаюканная тихой прелестью окружающей природы и слабым ропотом прибоя, она сидела там до тех пор, пока темнота не заставляла ее вернуться домой. Часто посещала она и сторожевую башню, откуда открывался вид на всю окрестность; прислонясь к полуразрушенной стене и мечтая о Валанкуре, она не раз думала о том, что, может быть, Валанкур так же часто заходит в эту башню, как и она, с тех пор, как он порвал связи с соседним замком.

Однажды вечером она замешкалась здесь до позднего часа, сидя на приступке башни и в тихой меланхолии наблюдая эффекты вечерних теней, расстилающихся по всей местности, пока, наконец, глаз уже ничего не мог различить, кроме серых вод Средиземного моря и лесных масс. Глядя то на них, то на кроткое бледно-голубое небо, где загоралась первая вечерняя звезда, она сложила следующие строки:

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

В последние минуты угасающего дня
Несусь я в сумерках по воздушным сферам
И слышу вдалеке хор смутных голосов
Сестер-нимф, провожающих пышную колесницу Дня.
Несусь за ними следом я в лазурной бездне,
Сияние последнее скрывается из глаз моих
И тонет в глубине пространства: мною руководит
Лишь слабый луч на дальнем горизонте неба.
На западе последний солнца луч тихонько догорает —
Усталый, он отходит в мир иной.

Но на прощанье пурпуром вершины задевает,
И сонный океан бледнеет с каждым мигом.
Безмолвно я несусь над потемневшею землею.
На высохшую мураву я лью прохладную росу.
Каждый цветочек томный исцеляю
И сладкое благоухание по воздуху несусь!
Широко над землей я посеваю свежий ветер, —
Он тихо дышит над лесами и над потемневшим долом
И нежным шепотом ласкает грусть задумчивой души
Того, кто дорожит вечерним тихим часом;
Люблю я слушать гармоничный его шелест
И в камышах по берегу ручья.
Или над волнами морскими, перед бурей.
Или когда несется он с далеких гор!
Я пробуждаю фей, — боятся они света
И с ложа из цветов они глядят украдкой
И, бледную мою звезду вечернюю заметив,
Бегут скорей плясать веселый хоровод.
Они по воздуху весь аромат тот разливают.
Что спал, как и они, в душистых чашечках цветов.
Потом несутся к берегам ручьев, луною озаренных.
Пока не зазвучит уж в поднебесье жаворонка песнь.
Лесные нимфы, приветствуют меня
И нежной песнею и легкой пляской
На берегах реки, в лесной долине,
И устилают путь мой свежими цветами.
Но быстро уношусь я в путь далекий;
Уже луна восток засеребрила.
Последний признак дня на небе угасает, —
И быстро уношусь я от могильной тьмы ночной!

Из-за горизонта над морем подымалась луна. Эмилия наблюдала, как она постепенно плыла вверх, как расширялась по воде полоса ее сияния, как сверкали весла, серебрились паруса и как лучи луны чуть-чуть задевали макушки деревьев и зубцы сторожевой башни, у подножия которой она сидела. Настроение Эмилии гармонировало с этой сценой. Она сидела задумавшись, как вдруг какие-то тихие звуки коснулись ее уха; она сейчас же узнала, что это та же самая музыка, тот же самый голос, который она слышала раньше в полночный час. К священному трепету, овладевшему ее душой, примешался некоторый страх, когда она вспомнила, что она одна в таком пустынном месте. Она сейчас же встала бы и ушла, но таинственные звуки неслись как раз оттуда, где ей надо было пройти, чтобы добраться до замка. И вот она, не двигаясь, продолжала сидеть в трепетном ожидании. Некоторое время звуки приближались, потом сразу замолкли. Эмилия напряженно слушала и наблюдала, не имея сил шевельнуться, как вдруг увидела какую-то фигуру, выходящую из леса и проскользнувшую по берегу на некотором расстоянии от нее. Фигура двигалась быстро; но Эмилия была так подавлена страхом, что хотя и видела ее, однако не могла внимательно рассмотреть.

Покинув это уединенное место, с намерением никогда туда не возвращаться одной, да еще в такой поздний час, она направилась к замку; вдруг она услышала голоса, громко зовущие ее из ближайшей части леса. То были графские слуги, разосланные искать ее по лесу; и когда она пришла к ужину и села за стол рядом с Бланш и Анри, последний тихо упрекнул ее в неосторожности; она покраснела, сознавая, что заслужила его упрек.

Этот маленький эпизод произвел на нее глубокое впечатление; удалившись к себе, она

опять стала обдумывать этот случай: он так напомнил ей происшествия, пережитые ею несколько дней тому назад, что она от страха почти не решалась оставаться одна. Она засиделась до позднего часа; не слышно было ничего, что могло бы встревожить ее; тогда она решилась лечь спать. Но спокойствие ее было непродолжительно; вскоре она была разбужена громким, непривычным шумом, как будто доносившимся из открытой галереи, куда выходила ее спальня. Отчетливо раздавались жалобные стоны; вслед затем какая-то тяжесть обрушилась на ее дверь с такой силой, что чуть не вышибла ее. Эмилия стала громко звать, спрашивая, кто тут, но не получила ответа, хотя и после этого по временам раздавалось нечто вроде тихих стонов. От страха она не имела сил шевельнуться. Вскоре поднялся топот шагов в дальнем конце галереи; когда шаги стали приближаться, она еще раз позвала погромче прежнего; наконец шаги остановились у ее двери. Тогда она узнала голоса некоторых из слуг, которые, по-видимому, были слишком заняты чем-то посторонним, чтобы обратить внимание на ее зов. В ту минуту вбежала к ней Аннета за водой; Эмилия догадалась, что с одной из девушек сделалось дурно; она велела привести ее к ней в комнату и помогала приводить ее в чувство. Когда девушка очнулась и получила способность говорить, она стала уверять, что, пробираясь по лестнице к себе в комнату, она встретила привидение на второй площадке:

— Я держала свечу низко, — рассказывала девушка, — потому что некоторые ступени плохи и полуразвалились, вдруг, подняв глаза, вижу перед собой призрак!.. — Он постоял с минуту в уголке площадки, к которой она подходила, потом, скользнув вверх по лестнице, исчез за дверью недавно отпертых апартаментов. Затем она слышала какой-то странный, глухой звук.

— Значит, черт раздобыл себе ключ от этих комнат! — заметила Доротея. — Это нечистый и никто больше: ведь я сама заперла все двери!

— Тогда я, — продолжала девушка, — пустилась бежать опрометью вниз по лестнице, потом со стоном понеслась по галерее, пока наконец не повалилась без чувств у дверей барышни.

Немного пожурив ее за причиненный переполох, Эмилия пробовала пристыдить ее за безрассудный страх; но девушка упорно уверяла, что она несомненно видела призрак; наконец, она ушла к себе, в сопровождении всех собравшихся слуг, кроме Доротеи, которая, по просьбе Эмилии, осталась у нее в комнате провести ночь. Эмилия была смущена, а Доротея пришла в ужас и стала рассказывать разные случаи из прежнего времени, подтверждавшие ее суеверные убеждения; между прочим она сама однажды видела такое же привидение и на том же самом месте; вот почему она приостановилась перед тем, как подняться по задней лестнице вместе с Эмилией, и этим же объяснялось ее нежелание отпирать анфиладу северных покоев. Каковы бы ни были мнения Эмилии, она не стала их высказывать, а внимательно выслушала Доротею, и ее рассказ возбудил в ней тревогу и смущение.

С этой самой ночи страхи прислуги дошли до того, что многие из них решили отойти и просили у графа расчета; граф, хотя втайне и разделял их страхи, но считал долгом прикинуться неверующим и, желая избежать неудобств по хозяйственной части, пробовал все обратить в смешную сторону и убедить слуг, что им нечего бояться сверхъестественной силы. Но от страха они стали недоступны никаким вразумлениям. Тогда-то и представился для Людовико случай доказать свое мужество и свою благодарность графу за все его милости: он вызвался сторожить ночью в подозрительной анфиладе комнат, в той самой, где водились привидения.

— Я никаких духов не боюсь, — ответил он, — а если покажется не дух, а простой смертный, то я докажу, что и он мне не страшен!

Граф обещал подумать об этом предложении; слуги, услышав об этом, стали переглядываться между собой в сомнении и страхе. Аннета, перепуганная за своего жениха, со слезами старалась отговорить его от такого безумного намерения.

— Ты смелый парень, как я вижу, — сказал ему граф с улыбкой, — но хорошенько

подумай, на что ты идешь, прежде чем решиться окончательно. Если ты в самом деле стоишь на своем решении, то я готов принять твое предложение, и твоя отвага не останется без награды.

— Я не желаю иной награды, эчеленца, кроме вашего одобрения, — отвечал Людовико. — Вы и так достаточно были добры и милостивы ко мне, эчеленца. Но мне нужно взять с собой оружие, чтобы дать достаточный отпор врагу, если он появится.

— Меч не защитит тебя от духа, — возразил граф, бросая иронический взгляд на других слуг, — не защитят ни замки, ни запоры; дух, как известно, может проникнуть сквозь замочную скважину так же легко, как в дверь.

— Дайте мне меч, ваше сиятельство, — сказал Людовико, — и я сокрушу всех духов, какие только посмеют напасть на меня.

— Хорошо, — решил граф, — у тебя будет меч, и отправляйся с Богом! Может быть, твои храбрые товарищи будут настолько смелы, что согласятся остаться еще на одни сутки в замке, так как в эту ночь вся злокозненность привидения, наверное, будет обращена против тебя, в отместку за твою дерзость.

Любопытство боролось с трусостью у его товарищей-слуг; наконец они согласились подождать, чем кончится опрометчивая затея Людовико.

Эмилия была удивлена и встревожена, услышав о его намерении; не раз она была готова рассказать графу, что она видела собственными глазами в северных покоях. Она не могла отогнать от себя страха за Людовико, хотя ее рассудок и убеждал ее в нелепости этого страха. Однако необходимость скрывать тайну, которую доверила ей Доротея и которой непременно пришлось бы коснуться, чтобы оправдать свой ночной визит в апартаменты покойной маркизы, заставляла ее молчать; она старалась только успокоить Аннетту, вообразившую, что Людовико обречен на гибель. На нее гораздо более действовали успокоения Эмилии, чем охи и вздохи старой Доротеи, которая при одном имени Людовико ужасалась и устремляла глаза к небу.

ГЛАВА XLIV

*О боги мирного покоя, сна глубокого!
О вы, чье кроткое владычество царит над этим
замком
И над обширными, безмолвными землями,
Простите, если робким я пером
Разоблачу то, что никогда никем не воспевалось.
Томсон*

Граф отдал распоряжение отпереть северную анфиладу комнат и приготовить их к приходу Людовико; но Доротея после недавно испытанных страхов не решалась исполнить это приказание; а так как никто из других слуг не осмеливался пойти туда, то ряд таинственных покоев оставался запертым до тех пор, пока Людовико не отправился туда провести ночь. Этого момента все домочадцы ожидали с нетерпением.

После ужина Людовико, по приказанию графа, явился к нему в спальню и оставался там с полчаса; на прощанье граф передал ему меч.

— Этот меч служил во многих битвах между смертными, — шутливо заметил граф, — я не сомневаюсь, что ты будешь достойно пользоваться им в борьбе с бесплотными духами... Завтра ты, надеюсь, доложишь мне, что во всем замке не осталось ни единого духа.

Людовико принял меч с почтительным поклоном.

— Ваше приказание будет исполнено, эчеленца; ручаюсь, что после этой ночи ни один дух уже не потревожит обитателей замка.

После этого они прошли в столовую, где гости графа ожидали его, чтобы проводить Людовико до дверей северных апартаментов; Доротею велели принести ключи и вручить их Людовико, который открывал шествие, а за ним потянулись вереницей чуть не все обитатели

замка. Достигнув задней лестницы, многие из слуг отстали, трюся идти дальше; остальные последовали за отважным юношей до верху лестницы, где на широкой площадке столпились вокруг него; пока он вкладывал ключ в замок, все следили за ним так пристально, точно он в самом деле совершал какой-то волшебный обряд.

Людовико, непривычный к замку, никак не мог повернуть ключа; Доротея, оставшаяся далеко позади, была позвана на помощь и под ее рукою дверь тихонько отворилась; взор ее скользнул внутрь темной комнаты. Она вскрикнула и отшатнулась. При этом движении испуга большая часть толпы бросилась вниз по лестнице; граф, Анри и Людовико остались одни. Тотчас же все трое ринулись в отпертую комнату — Людовико с обнаженным мечом, граф с лампой в руках, а Анри с корзиной провизии для неустрашимого смельчака.

Торопливо оглядев первую комнату, где не оказалось ничего страшного или подозрительного, прошли во вторую; и там тоже все было тихо, тогда направились в третью комнату — уже более сдержанным шагом. Граф начал посмеиваться над своей собственной тревогой и спросил Людовико, в которой из комнат он намерен провести ночь?

— Кроме этих комнат там есть еще несколько, эшеленца, — отвечал Людовико, указывая на дверь, — и в одной из них стоит постель. Там я и рассчитываю переночевать. Устану сторожить — могу лечь и уснуть.

— Хорошо, — одобрил граф, — пойдем дальше. Как видите, в этих покоях ничего нет особенного, кроме сырых стен и разваливающейся мебели. Я все время был так занят после приезда в замок, что и не заглядывал сюда. Запомни, Людовико: завтра же надо велеть экономке отворить настежь все окна. Штофные занавеси рассыпаются в клочья; я велю снять их и убрать всю эту старинную мебель.

— Смотри, отец, — заметил Анри, — вот массивное кресло с богатой позолотой, — ведь оно точь-в-точь такое, как кресла в Луврском дворце!

— Да, — сказал граф, остановившись разглядеть кресло, — существует целая история насчет этого кресла, но мне нет времени ее рассказывать; пойдем дальше. Эта анфилада длиннее, чем я думал: много лет прошло с тех пор, как я был здесь. Но где же спальня, о которой ты говорил, Людовико? Ведь все это только аванзалы к большому салону; его я помню в былом великолепии...

— Мне сказывали, ваше сиятельство, что постель стоит в комнате, смежной с салоном и замыкающей всю анфиладу.

— А! вот и пресловутый салон! — воскликнул граф, когда они вошли в просторный покой, тот самый, где раньше Доротея с Эмилией останавливались отдыхать.

Граф постоял там с минуту, оглядывая остатки поблекшего величия: пышные ковровые обои, длинные, низкие бархатные диваны, с густо позолоченной резной отделкой, мраморный мозаичный пол, устланный посередине красивым ковром; огромные венецианские зеркала, таких размеров и качества, каких в те времена во Франции не умели выделывать, отражали в себе всю обстановку огромной комнаты. В этих зеркалах отражалось когда-то веселое, блестящее общество: прежде салон служил парадной приемной, и здесь у маркизы происходили многолюдные собрания, по случаю ее бракосочетания. Если бы по мановению волшебной палочки могли воскреснуть исчезнувшие группы (многие их участников давно исчезли навеки с лица земли), когда-то отражавшиеся в гладкой поверхности зеркал, то какую резкую противоположность представили бы они с теперешним запустением?.. Вместо сияющих огней и роскошной, оживленной толпы, они отражали одинокую, тускло мерцающую лампу, которую граф высоко подымал над головой и при свете которой смутно обрисовывались три растерянных фигуры, оглядывавшие просторные пустые стены.

— Ах, — обратился граф к сыну, пробуждаясь из глубокой задумчивости, — как картина изменилась сравнительно с тем временем, когда я в последний раз был здесь! В ту пору я был молодым человеком; покойная маркиза тоже находилась в цветущей поре жизни; много было здесь и других людей, теперь давно уже умерших! Вот здесь помещался оркестр; здесь мы танцевали затейливые фигуры, стены оглашались нашим весельем. Теперь в них

раздается одинокий, слабый голос; пройдет еще немного времени, и его не станет... Сын мой, помни, что и я когда-то был молод, как ты, и что ты сам промелькнешь, как и твои предшественники, которые, танцуя и распевая в этих когда-то веселых хором, забывали, что годы состояются из минут и что каждый шаг приближает их к могиле. Но подобные размышления бесполезны, скажу, даже преступны, если не научают нас готовиться к вечности; иначе они только затуманивают наше счастье в настоящем, не направляя нас к блаженству в будущем. Но довольно об этом — пойдем дальше.

Людовико отпер дверь спальни; войдя туда, граф был поражен мрачным видом ее, благодаря темным тканым обоям.

Он приблизился к постели с каким-то торжественным волнением и, заметив, что она застлана черным бархатным покровом, остановился в смущении:

— Что бы это значило? — проговорил он, устремив на покров пристальный взор.

— Рассказывают, ваше сиятельство, — отвечал Людовико, стоя в ногах постели под складками полога, — рассказывают, что маркиза де Вильруа скончалась в этой самой комнате; на этой кровати лежало ее тело, пока его не вынесли хоронить; может быть, этим и объясняется присутствие здесь этого погребального покрывала.

Граф не отвечал; он стоял несколько минут, погруженный в думы и, видимо, взволнованный.

Затем, обратившись к Людовико, он с ударением спросил его: выдержит ли он, если ему придется остаться здесь на всю ночь?

— Если ты в этом сомневаешься, — добавил граф, — то не стыдись сознаться: я освобожу тебя от твоего обязательства, не подвергая тебя насмешкам торжествующих товарищей-слуг.

Людовико задумался; в сердце его боролись самолюбие и другое чувство, похожее на страх. Однако первое одержало верх. Он покраснел, все колебания его исчезли.

— Нет, ваше сиятельство, — отвечал он, — я исполню до конца то, за что взялся; благодарю за ваши милости ко мне. Здесь, в камине, я разведу огонь и при помощи доброго угощения, припасенного в этой корзине, я не сомневаюсь, что буду чувствовать себя недурно!

— Будь по-твоему, — согласился граф, — но как ты скоротаешь долгую томительную ночь, если не будешь спать?

— Когда я устану, ваше сиятельство, — отвечал Людовико, — я не побоюсь заснуть; а пока у меня есть книга, которая позабавит меня.

— Прекрасно, — сказал граф, — надеюсь, ничто не потревожит тебя; но если тебя серьезно что-нибудь испугает, то приходи ко мне, прямо в спальню. Я слишком доверяю твоему здравому смыслу и мужеству, чтобы думать, что ты струсил бы каких-нибудь пустяков, поддашься впечатлению этих мрачных хором или их отдаленности от других, чтобы уступить каким-то воображаемым страхам! Завтра я отблагодарю тебя за оказанную тобой важную услугу; эти комнаты будут отперты настежь и моя челядь убедится в своем заблуждении. Покойной ночи, Людовико; приходи же завтра рано утром и помни, что я говорил тебе.

— Буду помнить, ваше сиятельство; покойной ночи и вам; позвольте посветить вам.

Он проводил графа и Анри по всему ряду покоев до наружной двери. На площадке лестницы стояла лампа, оставленная одним из перепуганных слуг; взяв ее в руки, Анри еще раз попрощался с Людовико; тот почтительно ответил на привет молодого барина, затворил за ним дверь и запер ее на ключ. Затем, направляясь в спальню, стал оглядывать комнаты, по которым проходил, с большей тщательностью, чем прежде; он опасался, не спрятались ли там кто-нибудь нарочно, с целью испугать его. Но кроме него самого там не оказалось ни души; оставляя отворенными все двери, через которые проходил, он снова попал в большую гостиную, размеры которой и мрачное безмолвие внушали ему трепет. С минуту он стоял неподвижно, оглядываясь назад на длинную анфиладу пройденных комнат; повернувшись, он увидел свою собственную фигуру, отраженную в большом зеркале, и вздрогнул... Смутно

виднелись и другие предметы в темной поверхности стекла, но он не останавливался рассматривать их, а поспешно вернулся в спальню; заметив дверцу в смежную каморку, он вошел туда. Там все было тихо. Глаза его остановились на портрете покойной маркизы; долго он рассматривал его со вниманием и некоторым изумлением. Обшарив все углы в чулане, он вернулся в спальню и развел в камине яркий огонь; это несколько ободрило его и подняло его мужество, которое уже начинало падать, под влиянием мрака и безмолвия, нарушаемого лишь завываниями ветра. Людовико придвинул столик к огню, вытащил из корзины бутылку вина и кое-какую холодную провизию и принялся закусывать. Покончив с ужином, он положил свой меч на стол; ему еще не хотелось спать, и он вынул из кармана принесенную с собой книжку. Это был сборник провансальских новелл. Помешав огонь, так что в камине вспыхнуло яркое пламя, он поправил лампу, придвинул кресло к огню и погрузился в чтение; скоро все его внимание было поглощено повестью.

Тем временем граф вернулся в столовую, куда явилось и остальное общество, которое проводило его до дверей северных покоев и, услышав крик Доротеи, поспешно разбежалось. Все стали приставать к графу с расспросами. Граф слегка потрунил над гостями по поводу их поспешного бегства и суеверной слабости. Этот разговор повел к интересному вопросу: может ли душа, расставшаяся с телом, посещать земную юдоль, и если может, то будет ли дух видимым для смертных? Барон выражал мнение, что первое очень вероятно, а второе—возможно, и старался подкрепить свое мнение цитатами из авторитетных писателей древнего и нового времени. Граф же, наоборот, не разделял этого мнения. Завязался горячий спор. С обеих сторон приводились ловкие аргументы, но ни та, ни другая сторона не сдавалась. Действие этого разговора на слушателей было различное. Хотя на стороне графа было превосходство по части аргументации, но у него оказалось значительно меньше сторонников; свойственная человеку склонность ко всему сверхъестественному, чудесному заставила большинство гостей держать сторону барона; и хотя на многие из положений графа не нашлось ответа, но его противники склонны были думать, что это объясняется их личной неосведомленностью по такому отвлеченному предмету, а вовсе не тем, что не существует на свете аргументов, с помощью которых можно было бы разбить доводы графа.

Бланш слушала, вся бледная от волнения, но насмешливый взгляд, брошенный на нее отцом, вызвал румянец смущения на ее щеках, и она старалась позабыть суеверные рассказы, слышанные ею еще в монастыре. Между тем Эмилия с напряженным вниманием следила за спором, затрагивавшим такой интересный для нее вопрос; вспомнив призрак, виденный ею в спальне покойной маркизы, она почувствовала холодную дрожь по всему телу. Несколько раз она готова была рассказать то, что видела; но ее удерживало опасение сделать неприятность графу и самой очутиться в смешном положении. С тревожным нетерпением ожидая, чем кончится отважное предприятие Людовико, она решила поставить свое молчание в зависимость от этого исхода.

Наконец общество разошлось на ночь, и граф удалился в свою уборную; при воспоминании о только что виденных в собственном доме заброшенных унылых апартаментах его охватила грусть; внезапно он был пробужден из своих дум:

— Что это за музыка? — спросил он вдруг своего камердинера. — Кто это играет в такой поздний час?

Слуга ничего не отвечал; граф все слушал и наконец заметил:

— Это незаурядный музыкант, у него искусная рука. Кто это такой, Пьер?

— Ваше сиятельство... — колеблясь начал слуга.

— Кто играет на этом инструменте? — повторил граф.

— Разве вашему сиятельству неизвестно? — сказал камердинер.

— На что ты намекаешь? — строго спросил граф.

— Ни на что... решительно ни на что, ваше сиятельство... — отвечал покорно слуга, — но только эта музыка частенько раздается в доме в полночь; вот я и думал, что ваше сиятельство уже слышали ее раньше.

— Музыка в моем доме в полночь! Ах, ты бедняга! так по-твоему, может быть, кто-

нибудь и пляшет под эту музыку?

— Она не в самом замке, надо думать, ваше сиятельство; говорят, звуки несутся из лесу, хотя кажутся такими близкими; но ведь духи могут делать все, что им угодно!

— Ах, — повторил граф, — я вижу, и ты такой же глупый, как и все остальные слуги; завтра ты убедишься в своем смешном заблуждении. Однако слушай! что это за голос?

— Ах, ваше сиятельство, этот голос часто слышится вместе с музыкой.

— Часто!.. Скажи, пожалуйста, как часто? Голос превосходный!

— В сущности, ваше сиятельство, сам-то я слышал его не больше двух-трех раз; но другие люди, здешние старожилы, довольно-таки часто слыхали этот голос.

— Какая дивная высокая нота! — воскликнул граф с восхищением знатока, продолжая слушать, — а теперь какая каденца! Право, точно неземная музыка.

— Как раз это же самое и другие говорят, ваше сиятельство, — поддакнул слуга, — дескать, не простому смертному принадлежит этот голос, — и если дозволено мне выразить свое мнение...

— Какая странность, — молвил он задумчиво, отходя от окна. — Закрой окна, Пьер!

Пьер повиновался; и после этого граф отпустил его; но он не скоро отделался от впечатления музыки; еще долго звучала в его воображении тающая мелодия, между тем как мыслями его овладевало недоумение и тревога.

Между тем Людовико в своем одиночном заключении слышал от времени до времени слабое эхо хлопающих дверей, когда домочадцы расходились по своим спальням; наконец на больших часах в сенях пробую двенадцать ударов.

— Ого, уже полночь! — сказал он про себя и окинул подозрительным взглядом всю просторную комнату.

Огонь в комнате почти совсем угас; до сих пор все внимание Людовико было поглощено чтением, и он забыл о нем. Но тут он подложил еще дров, не потому, что чувствовал холод, хотя ночь была бурная, но потому, что становилось жутко и неуютно. Снова поправив лампу, он налил себе стакан вина, ближе придвинулся к трещащему огню, стараясь оставаться глухим к ветру, печально завывавшему на дворе, и отрешиться от меланхолии, постепенно овладевавшей его помыслами. Снова принялся он за книгу. Эту книгу ему одолжила Доротея, а та когда-то подобрала ее в темном уголке библиотеки покойного маркиза; раскрыв ее, она увидела, о каких чудесах там говорится, и поэтому тщательно сберегла ее у себя в комнате: книга была в таком виде, что это давало ей право присвоить ее себе. В сыром углу, куда она завалилась, переплет ее заплесневел и съезжился, листы были в пятнах, так что местами трудно было разобрать буквы. Фантастические творения провансальских писателей, заимствованные из арабских легенд, занесенных сарацинами из Испании, или повествовавшие о рыцарских подвигах крестоносцев, которых трубадуры сопровождали на Восток, всегда были увлекательны и заключали в себе много чудесного. Немудрено, что Доротея и Людовико прельстились этими вымыслами; в прежние века они неудержимо пленяли воображение народное. Впрочем, некоторые из рассказов, помещенных в книге, лежавшей перед Людовико, отличались очень незатейливым содержанием; в них не было ни хитроумных вымыслов, ни поразительных героев, какие обыкновенно встречались в повестях XII столетия; такого же свойства был один из рассказов, попавшийся ему на глаза. В оригинале он отличался очень пространством изложением, но мы передадим его вкратце. Читатель убедится, что рассказ проникнут суеверным духом того времени.

Провансальская новелла

Жил-был однажды в провинции Бретани один благородный барон, известный своим богатством и гостеприимством. Замок его посещался дамами очаровательной красоты и толпою благородных рыцарей. Слава о том, какую честь он воздавал рыцарским подвигам, проникла далеко, и храбрецы даже из дальних стран стекались к нему, чтобы попасть в число его гостей; двор его был великолепнее, чем у других князей и принцев. Восемь менестрелей состояли на его

службе и пели с акомпанементом арф романтические песни на сюжеты, заимствованные у арабов, или воспевали приключения рыцарей в крестовых походах, или же воинственные подвиги самого барона, их повелителя, в то время как барон, окруженный рыцарями и дамами, пировал в большой зале своего замка, где на дорогах ковровых обоях, украшавших стены, были изображены подвиги его предков, а на расписных окнах красовались рыцарские гербы. Пышные знамена, развевавшиеся с крыши, великолепные балдахины, обилие золота и серебра, сверкавшего на буфетах, многочисленные блюда, покрывавшие столы, бесчисленные слуги в роскошных ливреях, рыцарский вид и изящные наряды гостей, все это вместе взятое составляло такую великолепную картину, какой мы уже не можем надеяться увидеть в наши дни упадка.

Рассказывали, что с бароном случилось следующее приключение. Однажды после банкета, удалившись поздно в свою спальню и отпустив прислугу, он был удивлен появлением какого-то незнакомца благородной наружности, но со скорбным, мрачным лицом. Предположив, что незнакомец был заранее спрятан в его апартаментах, так как казалось невозможным, чтобы он мог пробраться через переднюю, не замеченный пажами, которые непременно помешали бы ему беспокоить их господина, барон громко позвал своих людей и, обнажив меч, который еще не успел снять с себя, встал в оборонительную позу. Незнакомец, тихо подходя к нему, стал уверять, что барону нечего его бояться, что он пришел не с враждебными намерениями, но для того, чтобы сообщить ему страшную тайну, которую ему необходимо узнать.

Барон, успокоенный благородным обхождением незнакомца, молча пристально оглядел его, вложил меч в ножны и попросил его объяснить, каким образом он пробрался в его спальню и какова цель его прихода.

Не отвечая ни на один из этих вопросов, незнакомец объявил, что пока он не может дать никаких разъяснений, но, что если барон последует за ним на опушку леса, лежащего в небольшом расстоянии от стен замка, то он сообщит ему нечто очень важное.

Слова эти опять встревожили барона; ему не верилось, чтобы чужой человек намеревался заманить его ночью в уединенное место, не питая замысла лишить его жизни; он отказался идти, заметив в то же время, что, если бы намерения незнакомца были честные, он не стал бы так настойчиво скрывать цель своего посещения.

С этими словами он еще внимательнее начал оглядывать незнакомца, но не заметил ни перемены в его лице, ни других каких-либо признаков злого умысла. Одет он был в рыцарские доспехи, отличался статным ростом и благовоспитанным обращением. И при всем том он отказывался открыть причину своего прихода, пока барон не выйдет на опушку леса. Между тем его намеки, касающиеся тайны, которую он желает открыть, возбудили в бароне такое сильное, такое жгучее любопытство, что он, наконец, согласился на требование незнакомца, но на известных условиях.

— Господин рыцарь, — сказал он ему, — я пойду с вами в лес, но только возьму с собой четверых людей — они будут свидетелями нашей беседы.

На это рыцарь, однако, не согласился.

— То, что я намерен разоблачить, предназначено для вас одного. На свете есть только три лица, которым известна эта тайна: она близко касается вашего дома, но сейчас я еще не могу этого объяснить. Впоследствии вы припомните эту ночь или с благодарностью, или с раскаянием, смотря по тому, как поступите в настоящую минуту. Ести желаете благоденствовать в будущем — следуйте за мною. Ручаюсь вам честью рыцаря, с вами не случится ничего дурного. Если же вы хотите бросить вызов своей судьбе, то оставайтесь здесь, в своей спальне, а я удалюсь, как пришел.

— Господин рыцарь, — возразил барон, — как возможно, чтобы мое счастье в будущем зависело от моего теперешнего поступка?

— Пока я не могу этого объяснить, — молвил незнакомец, — я уже сказал все, что мог. Становится поздно; если хотите пойти со мною, надо решаться

поскорее...

Барон задумался; взглянув на рыцаря, он заметил, что лицо его приняло необыкновенно торжественное выражение...

На этом месте Людовико вдруг почудилось, что он слышит шум; он внимательно оглядел всю комнату при свете лампы, но, не заметив ничего подтверждающего его тревогу, снова взялся за книгу и продолжал читать.

...Некоторое время барон молча шагал по комнате, взволнованный словами незнакомца; он боялся исполнить его странную просьбу, боялся и отказать ему. Наконец он проговорил:

— Господин рыцарь, вы мне совершенно незнакомы; ну, сознайтесь сами, — разве было бы благоразумно с моей стороны довериться чужому человеку в такой час, в пустынном месте? Скажите, по крайней мере, кто вы такой и кто помог вам спрятаться в этой комнате?

Рыцарь нахмурился и молчал, наконец он произнес с суровым лицом:

— Я английский рыцарь; зовут меня сэра Бэвис Ланкастерский — подвиги мои небезызвестны в Святом граде, откуда я возвращался к себе на родину, и вот меня застигла ночь в соседнем лесу.

— Ваше имя покрыто славой, — сказал барон. — Я слышал его. (Рыцарь окинул его надменным взглядом.) Но почему же — ведь мой замок известен гостеприимством и я всегда рад принять у себя всех истинных рыцарей, — почему вы не приказали своему герольду возвестить о себе? Почему вы не пожаловали на банкет, где все приветствовали бы вас с радостью, вместо того чтобы прятаться в замке и тайком забираться в мою спальню?

Незнакомец опять нахмурился и молча отвернулся; но барон повторил свой вопрос.

— Я пришел не для того, чтобы отвечать на расспросы, а чтобы разоблачить факты, — промолвил рыцарь. — Если хотите узнать больше, следуйте за мною, и я снова клянусь честью рыцаря, что вы вернетесь целы и невредимы. Решайтесь скорее — мне пора уходить.

После некоторого колебания барон решился последовать за незнакомцем и посмотреть, что выйдет, если он исполнит его странную просьбу. Обнажив меч и захватив с собой лампу, он предложил рыцарю идти вперед. Тот повиновался. Отворив дверь спальни, они прошли в прихожую; барон удивился, увидав, что все пажы его крепко спят. Он остановился и собирался пожуричь их за такую беспечность, но рыцарь махнул рукою и так выразительно взглянул на барона, что тот подавил свой гнев и пошел дальше.

Рыцарь, спустившись с лестницы, отворил потайную дверь, известную, как думал барон, только ему одному, и, пройдя по нескольким узким, запутанным ходам, достиг, наконец, маленькой калитки, ведущей за стены замка. Барон молча шел за ним следом; он дивился, что эти тайные ходы так хорошо знакомы совершенно чужому человеку, и готов был повернуть назад и отказаться от предприятия, отзывавшегося предательством и грозившего опасностью. Но, сообразив, что он вооружен, и принимая во внимание благородный, почтенный вид своего путеводителя, он опять собрался с мужеством, покраснел от стыда за свою трусость и решился проследить тайну до самого источника.

Вот наконец они очутились на поросшем вереском плоскогорье, расстихшемся за воротами замка; взглянув вверх, барон увидел огоньки, светившиеся в окнах гостей, которые ложились спать; он вздрогнул от порыва холодного ветра и, оглянувшись на темноту и пустынность вокруг, подумал, как уютно теперь в теплой комнате, у веселого, яркого очага — в этот момент его поразил контраст с теперешним его положением...» (Здесь Людовико сделал паузу и, взглянув на огонь в камине, помешал его, так что опять взвился столб живительного пламени).

...Дул сильный ветер; барон с беспокойством следил за своей лампой, ежеминутно ожидая, что она вот-вот погаснет; однако пламя хотя и колебалось, но не потухало, а барон все шел за незнакомцем, который часто вздыхал, но не говорил ни слова.

Когда они дошли до опушки леса, рыцарь обернулся и поднял голову, точно собираясь заговорить с бароном, однако тотчас же снова сомкнул уста и пошел дальше.

Они вошли под сень нависших, перепутанных ветвей; барон, под влиянием жуткой, торжественной обстановки, колебался, идти ли дальше, и спросил рыцаря, много ли осталось пути. Рыцарь отвечал только жестом, и барон колеблющимися шагами и с смущением в душе последовал за ним по темной, извилистой тропинке; наконец, когда они зашли уже порядочно далеко, он опять спросил: куда же они направляются, и отказался следовать дальше, если не получит объяснения.

Сказав это, он взглянул сперва на свой меч, потом на рыцаря; тот покачал головой, и его угнетенный вид на минуту обезоружил барона.

— Еще немного, и мы придем на то место, куда я хотел повести вас, — сказал незнакомец, — не бойтесь, вам не будет сделано никакого вреда, я поклялся честью рыцаря.

Барон, несколько успокоенный, опять молча пошел за рыцарем, и скоро, они зашли в густую чащу леса, где высокие, темные каштаны совсем заслоняли небо и где почва была так густо покрыта порослью, что трудно было двигаться. Рыцарь глубоко вздыхал и порою останавливался. Наконец достигли местечка, где деревья росли группой; незнакомец остановился и с ужасом на лице указал наземь... барон увидел распростертое тело человека, плавающее в крови, на лбу его зияла страшная рана, и смерть уже наложила свою печать на его черты.

Барон, увидев это зрелище, отшатнулся в ужасе и взглянул на рыцаря, как бы ища объяснения; он уже собирался приподнять голову трупа, чтобы удостовериться, не осталось ли еще в нем признаков жизни, но незнакомец сделал знак рукою, устремив на барона взгляд, до того выразительный и печальный, что пораженный барон отказался от своего намерения.

Но каково было душевное состояние барона, когда он поднес лампу к лицу трупа и убедился, что мертвец — двойник таинственного незнакомца... Он устремил на своего спутника пристальный взор, полный ужаса и недоумения! И тут барон заметил, что лицо неизвестного меняется, бледнеет... вот вся его фигура постепенно расплывается, исчезает... В то время как барон стоял над телом, раздался чей-то голос и произнес следующие слова...

Людовико вздрогнул и отложил книгу в сторону; ему показалось, будто он тоже слышит чей-то голос; оглянувшись, он, однако, ничего не увидел, кроме темных занавесей и погребального покрова... Людовико насторожился, затаив дыхание, но слышен был лишь далекий рев моря, шум бушующей бури и порыв ветра, потрясавшего оконные рамы; подумав, что он был введен в заблуждение злобным воем ветра, он опять принялся за прерванное чтение:

— Перед вами лежит тело сэра Бэвиса Ланкастерского, благородного английского рыцаря. Ночью его ограбили и убили в лесу, в то время, как он пробирался домой, возвращаясь из Святой Земли. Воздайте уважение рыцарской доблести и закону человеколюбия, похороните его останки в освященной земле и разыщите его убийц. От того, соблюдете ли вы этот завет, будет зависеть мир и счастье в вашем доме; если же вы пренебрежете им, то над вашим домом разразится беда и кровопролитие!

Барон, оправившись от испуга и удивления после своего страшного приключения, вернулся в замок; туда на другой же день он приказал перенести тело сэра Бэвиса Ланкастерского, а еще через день оно было предано погребению со всеми рыцарскими почестями в часовне замка, в присутствии благородных рыцарей и дам, украшавших собой двор барона де Брюнна.

Окончив повесть, Людовико оттолкнул от себя книгу, — ему захотелось спать. Подложив еще дров в огонь и выпив стакан вина, он улегся в кресло у камина. Во сне он увидел ту же комнату, где находился, и раза два вскакивал спросонья, воображив, что видит лицо какого-то человека, высывающегося из-за высокой спинки кресла. Эта мысль так глубоко засела у него в голове, что, подняв глаза, он почти наверное ожидал увидеть другую

пару глаз, устремленную на него в упор. Он даже поднялся с кресла и поглядел за спинку его, тогда только он вполне уверился, что там никого нет.

ГЛАВА XLV

*Спокойно насладись медвяною росой сна.
В уме твоём ни цифр нет, ни фантазий,
Которые забота начертала на мозгу людей, —
Вот почему ты спишь так крепко.*

Шекспир

В эту ночь граф спал тревожно; он проснулся рано и, сгорая нетерпением поскорее увидеться с Людовико, отправился в северную половину замка; но накануне дверь была заперта изнутри и граф принужден был постучаться. Но ни на стук его, ни на громкий зов не последовало ответа. Однако, принимая в расчет отдаленность наружной двери от спальни и то, что Людовико, вероятно, крепко заснул, граф не особенно удивился, не получив ответа. Отойдя от двери, он пошел пока прогуляться по саду.

Было серенькое осеннее утро. Солнце, поднявшись над Провансом, давало лишь тусклый, слабый свет; лучи его с трудом пробивались сквозь дымку испарений, подымавшихся с моря, и тяжело носились над макушками деревьев, уже тронутых осенним багрянцем. Буря миновала, но волны все еще не улеглись и пенистыми валами ударялись о берег, между тем как бриза трепетала в парусах кораблей, готовившихся сняться с якоря и отплыть.

Тихая, грустная погода нравилась графу, и он направился в лес, погруженный в глубокую думу.

Эмилия тоже поднялась рано в это утро и отправилась, по обыкновению, гулять на краю обрыва, нависшего над морем. Мысли ее не были поглощены странными происшествиями, разыгравшимися в замке; печальные думы ее были всецело посвящены Валанкуру. Она еще не приучила себя смотреть на него равнодушно, хотя рассудок постоянно упрекал ее за эту привязанность, все еще не покидавшую ее сердца, хотя уважение уже давно исчезло. Ей часто вспоминались его прощальные взгляды и звук его голоса, произносившего последнее «прости»; какое-то случайное совпадение с особенною силой привело ей на ум эту сцену прощания, и она залилась горькими слезами.

Достигнув сторожевой башни, она села на обломанные ступени и в глубокой меланхолии стала наблюдать волны, подернутые туманной мглой и грядами катившиеся к берегу, разбрасывая на скалы легкие брызги. Их глухой ропот и туман, слоями подымавшийся вверх по утесам, придавали всей картине какую-то мрачную торжественность, гармонировавшую с настроением ее души; она сидела, отдаваясь воспоминаниям о прошлом; наконец ей стало невыносимо тяжело на сердце, и она поскорее отошла от этого унылого места. Проходя мимо дверцы сторожевой башни, она заметила какие-то буквы, вырезанные на каменной притолоке, и остановилась разглядеть их; хотя они были грубо выцарапаны перочинным ножом, но склад букв показался ей знакомым. Узнав наконец почерк Валанкура, она с тоской и волнением прочла следующие строки, озаглавленные:

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

Торжественная полночь!
На уединенной круче
В развалинах старинной башни.
Где образы мистические путника смущают,
Я отдыхаю; вниз гляжу на водную пустыню,
Когда холодный месяц из-за туч
Сверкает на волнах.

С таинственной, невидимою силой
Мятется ветер над волнами.
Их мрачный рев мой поражает слух.
Порой средь бурных завываний ветра
Несется сверху голос духов — тихий, мелодичный,
И часто между туч их образы скользят.
Но тсс! Чей это вопль предсмертный раздается?
Вдали на океане блещет парус,
Корабль качается по бурным волнам!
О, моряки несчастные! Настанет день,
А взор его живительный вас к гавани уж не направит!

Из этих строк было ясно, что Валанкур посещал эту башню; что он, вероятно, был здесь не далее, как вчера, — описанная им ночь походила на вчерашнюю, — и что он удалился из башни лишь к утру, потому что в темноте невозможно было бы вырезать эти буквы на камне. Весьма вероятно, что он до сих пор бродит где-нибудь в парке.

Эти размышления быстро проносились в голове Эмилии, возбуждая в ней разнообразные чувства, угнетающие ее душу; но первым ее движением было избегнуть встречи с ним. Она сейчас же удалилась от сторожевой башни и торопливыми шагами направилась к замку. По пути она вспомнила музыку, которую недавно слышала вблизи башни, и промелькнувшую мимо фигуру... в эту минуту волнения она готова была подумать, что тогда она слышала и видела Валанкура, но тут же припомнила другие обстоятельства, убеждавшие ее, что она заблуждается. Углубившись в чащу леса, она увидела какую-то фигуру, медленными шагами идущую в некотором отдалении. Мысли ее были заняты Валанкуром; она вздрогнула и остановилась: ей сейчас же представилось, что это он. Незнакомец стал приближаться, ускорив шаги, и прежде чем она успела сообразить, как избегнуть его, он заговорил с нею. Тогда она узнала голос графа. Он удивился, что она гуляет в такой ранний час, и пытался было посмеяться над ее любовью к уединению. Но с первых же слов он убедился, что смеяться в эту минуту было бы некстати и, переменяя тон, ласково пожурил Эмилию за то, что она предается тщетной печали. Эмилия прекрасно сознавала справедливость его слов, но не могла удержать слез, и граф тотчас же переменял разговор. Он выразил удивление, что до сих пор не получил известий от своего приятеля, авиньонского адвоката, в ответ на его письмо с вопросами, касающимися поземельной собственности покойной г-жи Монтони. Граф с дружеским участием старался развлечь Эмилию надеждами на то, что можно будет восстановить ее права на наследство. Но надежда обладать этими поместьями уже не радовала Эмилию, раз она будет разлучена с Валанкуром.

Когда они пришли в замок, Эмилия тотчас же удалилась к себе, а граф де Вильруа вторично подошел к дверям северной анфилады. По-прежнему она была заперта; но теперь граф решил непременно разбудить Людовико и стал звать его еще громче прежнего. Ответа не было; граф, убедившись, что его старания тщетны, наконец стал бояться, не случилось бы какой беды с Людовико; быть может, он от ужаса, испугавшись какого-нибудь воображаемого видения, лишился чувств. И вот граф отошел от двери с намерением созвать всех слуг и сломать замок; снизу уже доносились шаги и возня проснувшейся прислуги.

На вопросы графа, не видал ли кто Людовико или не слышал ли о нем чего, все испуганно уверяли, что со вчерашнего вечера никто из них не отважился подойти к северной анфиладе покоев.

— Ну и крепко же он спит! — проговорил граф, — так как комната слишком удалена от наружной двери, то придется сломать замок. Захватите инструменты и идите за мной.

Слуга не двигался и молчал; и только когда собралась почти вся домашняя челядь, нашлись между нею люди, решившиеся исполнить приказание графа. Между тем Доротея сообщила, что есть дверь, ведущая с парадной лестницы прямо в одну из аванзал перед

большим салоном; так как эта дверь помещалась гораздо ближе к спальне, то можно было думать, что Людовико проснется, услышав шум, когда ее начнут отпирать. Туда-то и направился граф и стал звать, но и тут крики его ни к чему не привели. Seriously тревожась за Людовико, он собирался сам взять в руки отмычку и сломать замок, но вдруг его поразила необыкновенная, художественная работа этой двери, и он остановился. С первого взгляда можно было подумать, что она сделана из черного дерева, так темна и плотна была ткань, но по ближайшем рассмотрении она оказалась из лиственницы прованской породы — Прованс в то время славился своими лесами лиственниц. Красота отделки, тонкая резьба, чудный цвет и гладкость дерева убедили графа пощадить двери, и он опять вернулся к первой двери, той, что выходила на заднюю тестницу; взломав замок, он, наконец, вошел в первую прихожую; его сопровождал Анри и наиболее отважные из слуг: прочие дожидались исхода следствия, стоя на лестнице и на площадке.

В покоях, по которым проходил граф, стояла тишина; дойдя до большого салона, он громко окликнул Людовико; затем, не получив никакого ответа, распахнул настежь дверь спальни и вошел.

Глубокая тишина, царившая в комнате, подтверждала его опасения за Людовико: не слышно было даже тихого сонного дыхания. Но в окнах были закрыты ставни, так что в комнате стояла тьма и нельзя было различить предметы.

Граф приказал слуге открыть ставни; тот, идя по комнате, чтобы исполнить это распоряжение, вдруг споткнулся обо что-то и растянулся на полу. Его крик вызвал такую панику среди его товарищей, что они все мгновенно разбежались, и граф с сыном остались одни довершать затеянное предприятие.

Анри сам бросился к окну, и когда он открыл одну из ставней, то увидели, что слуга споткнулся на кресло у камина, — то самое, на котором вчера сидел Людовико; но теперь его уже там не было, да и нигде, насколько могли рассмотреть, при неполном свете одного окна. Граф серьезно встревожился; он велел открыть и другие ставни, чтобы продолжать поиски. Никаких следов Людовико... Граф постоял с минуту, ошеломленный изумлением и едва доверяя своим чувствам. Наконец глаза его невольно скользнули по постели; он подошел посмотреть, не спит ли там юноша, но и там оказалось пусто. Тогда граф заглянул в нишу — очевидно, и туда никто не заходил... Людовико точно в воду канул...

Граф старался разумно объяснить себе это необыкновенное явление: ему приходило в голову, не убежал ли Людовико еще ночью, подавленный ужасом в этих пустынных, мрачных покоях, под влиянием страшных слухов, ходивших о них между прислугой. Но ведь в таком случае Людовико с перепугу, естественно, первым делом искал бы общества людей, а его товарищи-слуги все уверяли, что не видели его. Дверь последней комнаты также была найдена запертой и с ключом в замке. Следовательно, невозможно было предположить, что он прошел оттуда, да и все наружные двери анфилады оказались запертыми засовами и с ключами налицо. Один момент граф склонен был думать, что юноша вылез в окно; тогда он осмотрел все окна; те из окон, которые отворялись настолько, чтобы в них мог пролезть человек, были тщательно заперты засовами или железными болтами и, по-видимому, никто не делал попытки отворить их. Да и трудно было допустить, чтобы Людовико стал подвергаться риску сломать себе шею, прыгая в окно, когда так просто было пройти через дверь.

Граф был до такой степени изумлен, что не находил слов; еще раз он вернулся осмотреть спальню; там не видно было никаких следов беспорядка, кроме разве опрокинутого слугою кресла, возле которого стоял маленький столик, а на нем по-прежнему находился меч Людовико, стояла на столе его лампа, бутылка с остатками вина и лежала книга, которую он читал. У стола, на полу виднелась корзина с кое-какими остатками провизии и топлива.

Тут Анри и слуги стали уже без стеснения выражать свое удивление; граф говорил мало, но лицо его обличало серьезную тревогу. Приходилось допустить, что Людовико выбрался из этих покоев каким-нибудь тайным ходом: граф не мог предположить, чтобы тут

участвовала сверхъестественная сила; а между тем, если бы существовал такой ход, являлось необъяснимым, почему юноша удалился украдкой. Поражало и то, что не замечалось никаких следов, указывавших на такое бегство. В комнатах все было в таком порядке, как будто Людовико ушел обычным путем.

Граф сам помогал приподнимать тканые обои, которыми были увешаны спальня, салон и одна из передних, чтобы убедиться, не скрывается ли под ними какой-нибудь потайной двери; но после тщательного обыска, никакой двери не оказалось.

Наконец он ушел из северных покоев, заперев дверь последней из аванзал, и взял ключ с собою. Первым делом он отдал распоряжение произвести самые тщательные поиски с целью напасть на след Людовико не только в самом замке, но и по соседству.

Удалившись с Анри в свой кабинет, он долго просидел с ним с глазу на глаз. О чем они беседовали — неизвестно, но с тех пор Анри утратил некоторую долю своей обычной живости и всякий раз принимал какой-то печальный, сдержанный вид, когда при нем касались предмета, так сильно волновавшего теперь семейство графа.

После исчезновения Людовико барон де Сент Фуа как будто еще более утвердился в своем мнении относительно возможности сверхъестественных явлений, хотя трудно было бы отыскать, какая может быть связь между тем и другим предметом; одно можно было предположить, что тайна, касающаяся Людовико, возбуждая страх и любопытство, делала воображение более чувствительным к влиянию суеверия вообще. Как бы то ни было, с той поры барон и его приверженцы еще усерднее прежнего стали держаться своих убеждений, а страхи среди прислуги замка достигли небывалых размеров; многие немедленно отошли от места, а прочие остались в замке лишь до тех пор, пока будут найдены новые слуги, чтобы заменить их.

Самые усиленные розыски оставались безуспешными: Людовико точно сгинул. После нескольких дней неутомимых поисков бедная Аннета предалась отчаянию, а прочие обитатели замка не помнили себя от изумления.

Эмилия, воображение которой было глубоко потрясено судьбою покойной маркизы и таинственной связью, существовавшей, как она думала, между нею и Сент Обером, была особенно заинтересована этим последним необычайным происшествием и очень огорчена исчезновением Людовико, своей верной и преданной службой заслужившего ее уважение и благодарность. Более чем когда-нибудь ей хотелось вернуться в спокойный, мирный приют свой в монастыре. Но малейший намек на это намерение возбуждал в Бланш искреннее огорчение; также и отец ее ласково удерживал Эмилию. К графу она чувствовала почтительную привязанность дочери и с согласия Доротеи, наконец сообщила ему о привидении, явившемся им обоим в спальне покойной маркизы.

Во всякое другое время граф только посмеялся бы над таким рассказом и подумал бы, что он порожден расстроенной фантазией рассказчицы. Но теперь он выслушал Эмилию со вниманием, и когда она кончила, попросил ее сохранить это происшествие втайне.

— Какова бы ни была причина и значение этих необыкновенных явлений, — прибавил граф, — их может разъяснить только время. Я намерен неусыпно следить за всем происходящим в замке и буду всеми силами стараться узнать судьбу Людовико. Тем временем надо молчать и быть осторожными. Я сам лично буду караулить в северных покоях; но еще ничего об этом не говорю, пока не настанет ночь, которую я наметил для исполнения моего намерения.

Затем граф послал за Доротеей и просил ее также молчать обо всем, что она видела и что впредь увидит сверхъестественного; тогда эта старая слуга рассказала ему подробности кончины маркизы де Вильруа, впрочем, с некоторыми из них он был уже знаком, а другие, напротив, сильно удивили и взволновали его.

Выслушав повествование экономки, граф удалился в кабинет и несколько часов оставался там один. Когда он опять появился, на его лице было какое-то торжественное выражение, поразившее Эмилию, но она никому об этом не сказала.

Через неделю после странного исчезновения Людовико, все гости графа разъехались;

остались только барон де Сент Фуа с сыном да Эмилия. Вскоре, однако, последняя была смущена неожиданным приездом нового гостя — мосье Дюпона. Это заставило ее решиться немедленно уехать в монастырь. Восторг, написанный на его лице при встрече с нею, убедил ее, что он по-прежнему пылает к ней нежной страстью. Эмилия встретила его сдержанно, а граф с нескрываемым удовольствием. Он подвел Дюпона к Эмилии с улыбкой, как бы желая замолвить перед нею слово в его пользу. По всей вероятности, граф счел благоприятным признаком для своего друга смущение, появившееся на ее лице при встрече с ним.

Но сам Дюпон, более чуткий, понял смысл ее смущения, лицо его сразу утратило живость и по нему разлились печаль и отчаяние.

На другой день он, однако, искал случая побыть с нею наедине и повторил свое предложение. Эмилия выслушала это признание с искренним огорчением: она старалась смягчить вторичный отказ уверениями в своем уважении и дружбе. Однако отчаяние Дюпона возбудило в ее сердце нежное сострадание. Сознывая более чем когда-либо, как неловко ей долее оставаться в замке, она немедленно пошла к графу и сообщила ему о своем намерении вернуться в обитель.

— Милая моя Эмилия, — сказал он, — я с огорчением замечаю, что вы предаетесь иллюзии, — впрочем, иллюзии общей всем юным, чувствительным душам. Сердце ваше получило же стокий удар; вы убеждены, что никогда уже не оправитесь от него, и хотите поддерживать в себе эту уверенность до тех пор, пока привычка лелеять в себе горе не подточит силы вашего ума и не обесцветит ваших надежд на будущее печальными сожалениями. Позвольте мне рассеять эту иллюзию и пробудить вас к сознанию вашей опасности.

Эмилия грустно улыбнулась.

— Я знаю, что вы все это искренно чувствуете, — возразил граф. — Знаю я также, что время сгладит эти чувства, если только вы не станете переживать их в одиночестве и — простите меня — лелеять их с романтической нежностью. Я более чем кто-нибудь другой вправе говорить об этом и сочувствовать вашим страданиям, — прибавил граф с ударением, — потому что я сам испытал, что значит любить и оплакивать предмет своей страсти. Да, — продолжал он, в то время как глаза его наполнились слезами, — я тоже страдал! Но времена эти миновали, давно миновали! И теперь я могу уже оглядываться назад без волнения.

— Но, милый граф, — робко проговорила Эмилия, — что означают эти слезы? Я боюсь, что они противоречат вашим словам и говорят в мою пользу...

— Это слезы слабости, тщетные слезы! — возразил граф, отирая глаза. — Мне хотелось бы видеть вас выше подобной слабости. Впрочем, это только последние следы горя, которое довело бы меня до безумия, если бы я не старался всеми силами победить его. Судите сами, имею ли я право предостеречь вас от опасности предаваться горю? Ведь это ведет к ужасным последствиям: если вовремя не оказать противодействия этой слабости, то она затуманит печалью долгие годы, которые иначе могли бы быть счастливыми. Мосье Дюпон умный, прекрасный человек и давно питает к вам нежную привязанность; положение его и состояние исключительные; после всего сказанного мне нечего и добавлять, что я порадовался бы вашему счастью и что, мне кажется, мосье Дюпон мог бы дать его вам. Не плачьте, Эмилия, — продолжал граф, взяв ее руку, — я уверен, что вас ожидает счастье!

Он помолчал немного, затем прибавил более твердым голосом:

— Я не требую от вас никаких мучительных усилий для того, чтобы преодолеть свои чувства, одного я прошу, чтобы вы постарались подавить в себе воспоминания о прошлом, чтобы вы не утратили надежды на возможность счастья, чтобы вы с добрым чувством иногда помышляли о Дюпоне, а не повергали его в состояние отчаяния, то самое, из какого я стремлюсь извлечь вас, милая Эмилия!

— Ах, граф, — отвечала Эмилия, и слезы градом полились из ее глаз, — я боюсь, что, желая мне добра, вы поддерживаете в шевалье Дюпоне несбыточные надежды; я не могу принять его руки! Если я верно понимаю свое сердце, то этому никогда не бывать. Я готова

следовать вашим советам во всем остальном, и только в этом не могу изменить своего решения.

— Но допустите, что и я понимаю, что творится в вашем сердце, — отвечал граф со слабой улыбкой. — Вы льстите мне, говоря, что соглашаетесь следовать моим советам во всем остальном, и я извиняю вам ваше несогласие с моим мнением по поводу ваших отношений к мосье Дюпону. Я даже не стану убеждать вас оставаться в замке дольше, чем вы желали бы; не смею вас удерживать теперь, однако, ссылаясь на права дружбы, требую ваших посещений на будущее время.

Эмилия, проливая слезы признательности и нежного сожаления, поблагодарила графа за все эти доказательства дружбы; она обещала ему слушаться его советов во всем, кроме одного предмета, и уверела его, что с удовольствием в недалеком будущем воспользуется приглашением его и графини, но в том только случае, если мосье Дюпона не будет в замке.

Граф улыбнулся этому условию.

— Пусть будет по-вашему, — сказал он, — а между тем монастырь отстоит от нас так недалеко, что я и дочь будем часто посещать вас; если же случится, что мы приведем с собою еще и другого посетителя, неужели вы не простите нас за это?

Эмилия смутилась и молчала.

— Ну, хорошо, — продолжал граф, — я не стану более касаться этого предмета, и прошу у вас извинения за то, что настаивал на нем так долго. Но надеюсь, вы отдадите мне справедливость и признаете, что мною руководило только искреннее желание счастья и вам и моему славному другу шевалье Дюпону.

Расставшись с графом, Эмилия отправилась известить о своем предстоящем отъезде графиню; та, из учтивости пробовала удерживать ее, но, конечно, тщетно; затем Эмилия послала записку к матери-игуменье, извещая о своем возвращении в монастырь; на другой же день вечером она отправилась туда. Мосье Дюпон с горестью провожал ее, а граф старался разогнать его печаль надеждой, что когда-нибудь Эмилия бросит на него более благосклонный взгляд.

Эмилия была рада снова очутиться в мирном убежище обители; там она снова встретила материнскую нежность игуменьи и дружеское участие монахинь. До них уже дошли слухи о необычайных происшествиях, случившихся за последнее время в замке, и после ужина, в самый день ее приезда, об этом только и говорили в монастырской трапезной; к Эмилии обращались с расспросами об этом необъяснимом случае. Эмилия держалась крайне осторожно; она лишь вкратце рассказала кое-какие подробности, касающиеся Людовико, исчезновение которого ее слушатели единогласно объясняли себе действием сверхъестественной силы.

— Давно уже существовало убеждение, — сказала одна из монахинь, сестра Франциска, — что в замке водятся духи, и я очень удивилась, услышав, что граф имеет смелость поселиться там. Кажется, у прежнего владельца замка было на душе какое-то преступление, которое он желал искупить; будем надеяться, что добродетели теперешнего владельца предохранят его от кары за грехи его предшественника, если тот в самом деле совершил преступление.

— В каком преступлении обвиняли его? — спросила мадемуазель Фейдо, одна из пансионерок монастыря.

— Будем молиться за упокоевание его души! — произнесла одна из монахинь. — Если он и совершил преступление, то уже достаточно наказан в этом мире!

Слова эти, произнесенные каким-то странным тоном, полным торжественности, поразили Эмилию; но мадемуазель Фейдо повторила свой вопрос, не обращая внимания на горячее вмешательство монахини.

— Я не решаюсь выражать предположений насчет того, в чем состояло его преступление, — отвечала сестра Франциска, — но я слышала много толков довольно странного свойства о покойном маркизе де Вильруа; между прочим говорили, что вскоре после смерти своей супруги он покинул замок Ле-Блан и уже никогда больше туда не

возвращался. Меня здесь не было в ту пору, так что я передаю только слухи; так много лет прошло со времени смерти маркизы, что немногие из наших сестер помнят то время.

— А я помню, — сказала та же монахиня, что вмешалась в разговор, звали ее сестрой Агнесой.

— Значит, вы знакомы со всеми обстоятельствами дела, — обратилась к ней м-ль Фейдо, — и можете судить, был маркиз преступен, или нет, и в чем состояло злодеяние, в котором его обвиняли?

— Да, — отвечала монахиня, — но кто дерзнет выпытывать мои мысли, кто дерзнет силою исторгать мое мнение? Один Господь ему судья, и к этому Судье он призван...

Эмилия с изумлением переглянулась с сестрой Франциской.

— Я просто спросила вашего мнения, — кратко заметила м-ль Фейдо, — еоти предмет этот вам неприятен, я могу не касаться его.

— Неприятен! — с горячностью воскликнула монахиня, — мы пустые болтуны, мы не взвешиваем значения произносимых слов; неприятен — это жалкое слово. Я пойду помолиться!

С этими словами она встала и, глубоко вздохнув, вышла из комнаты.

— Что это значит? — спросила Эмилия, как только она удалилась.

— Ничего особенного, — отвечала сестра Франциска, — на нее это часто находит; но в ее словах нет никакого смысла. Ее рассудок по временам приходит в расстройство. Разве вы раньше никогда не видели ее такой?

— Никогда, — сказала Эмилия. — Правда, иной раз мне казалось, что в глазах ее светится печаль и даже безумие... Но в речах ее я ничего не замечала. Бедняжка, я помолюсь за нее!

— Ваша молитва сольется с нашими, дочь моя, — заметила аббатиса, — Агнеса нуждается в молитвах!

— Матушка, — обратилась м-ль Фейдо к аббатисе, — а каково ваше мнение о покойном маркизе? Странные происшествия в замке до такой степени раззадорили мое любопытство, что вы мне простите мои расспросы... В чем состояло возводимое на него преступление и на какое наказание намекала сестра Агнеса?

— Мы должны быть осторожны, выражая свое мнение о таком щекотливом предмете, — проговорила аббатиса сдержанным, но торжественным тоном. — Я не возьму на себя произносить приговор над покойным маркизом и догадываться, в чем состоял его грех. Что касается наказания, на которое намекала сестра Агнеса, то мне о нем ничего не известно. Вероятно, она подразумевала жестокое наказание, происходящее от угрызений совести. Берегитесь, дети мои, навлечь на себя такое страшное наказание — это не жизнь, а чистилище! Покойную маркизу я хорошо знала; она была образцом всех добродетелей; даже наш святой орден не краснея мог бы следовать ее примеру. В нашей святой обители погребены ее смертные останки, а небесная душа ее, без сомнения, вознеслась в обители горние!

В то время, как аббатиса произносила эти слова, прозвучал колокол к вечерне, и она встала.

— Пойдемте, милые дети, — произнесла она, — и помолимся за несчастных; пойдемте, покаемся в своих собственных грехах и постараемся очистить души свои, чтобы быть достойными небес, куда «она» призвана.

Эмилия была тронута торжественностью этого обращения и, вспомнив отца своего, тихо проговорила:

— Небес... куда и он призван!

Она подавила тяжкий вздох и последовала за игуменьей и монахинями в часовню.

ГЛАВА XLVI

Блаженный дух или проклятый демон

*Облекаясь бы в благоуханья неба
Иль в ада дым, со злом или с любовью
Приходишь ты?.. ... Я говорю с тобой!*
Гамлет

Граф де Вильфор наконец получил письмо от своего авиньонского адвоката, который вполне одобрял намерение Эмилии предъявить в суд свои права на поместья покойной г-жи Монтони; около того же времени прибыл нарочный от г.Кенеля с вестями, которые устраняли необходимость прибегать к содействию закона, так как оказывалось, что единственного лица, имеющего возможности тягаться с Эмилией из-за поместья, уже не было в живых. Один хороший знакомый Кенеля, постоянный житель Венеции, написал ему о кончине Монтони. Последнего судили вместе с Орсино, как его сообщника по делу об убийстве венецианского сенатора. Орсино был признан виновным, осужден на казнь и колесован; но так как не имелось никаких улик для обвинения Монтони и его сотоварищей, то они все были освобождены, исключая одного Монтони. Сенат признал его личностью чрезвычайно опасной и тотчас же издал новый приказ арестовать его и заключить в тюрьму, где он и покончил жизнь каким-то таинственным, подозрительным образом: думали, что он отравился. Источник, из которого Кенель получил эти сведения, не позволял сомневаться в их достоверности. Он писал Эмилии, что теперь ей остается только предъявить свои права на наследство после покойной тетки, чтобы тотчас же вступить во владение им. Он изъявлял готовность оказать ей содействие в исполнении необходимых формальностей. Кстати, срок отдачи внаймы имения Эмилии, «Долины», уже почти истек, и Кенель советовал Эмилии, когда она отправится туда, захватить в Тулузу повидаться с ним. Он обещал, что постарается избавить ее от затруднений по части судебной процедуры, в которой она, конечно, ничего не смыслит. По его мнению, ей следует быть в Тулузе не позже, как недели через три.

Счастливый поворот в денежных обстоятельствах Эмилии, по-видимому, и был причиной такой внезапной любезности г.Кенеля к своей племяннице; разумеется, он питал больше уважения к богатой наследнице, чем когда-то чувствовал сострадания к бедной обездоленной сироте.

Удовольствие, с каким Эмилия встретила эти известия, было несколько затуманено мыслью, что тот, ради кого она когда-то жалела о неимении состояния, уже недостойн разделить с нею эти блага; но, вспомнив дружеские наставления графа, она подавила это печальное размышление и старалась чувствовать только благодарность за неожиданное богатство, свалившееся ей с неба. Более всего радовало ее то, что «Долина», ее родной дом, дорогое пепелище, где жили ее родители, опять вернется к ней. Там она намеревалась поселиться; хотя дом в «Долине» не мог сравниться с тулузским замком, который превосходил его и размерами и роскошью, но прелестное местоположение отцовского дома и нежные воспоминания, витавшие в его стенах, были дороже ее сердцу, чем роскошь и тщеславие. Она немедленно написала г.Кенелю письмо, в котором благодарила его за деятельное участие к ее интересам и обещала в условленное время приехать в Тулузу для свидания с ним.

Когда граф де Вильфор с Бланш посетили Эмилию в монастыре, чтобы сообщить ей советы, полученные от адвоката, Эмилия передала ему содержание письма г.Кенеля; граф выразил ей искреннее поздравление по этому случаю, но она заметила, что, как только с лица его сошло выражение удовольствия по поводу ее успеха, оно опять приняло сумрачный, озабоченный вид. Она тотчас же осведомилась о причине его расстройства.

— Моя озабоченность — не новость, — отвечал граф, — я измучен и раздосадован расстройством и тревогой, водворившимися у меня в доме, по милости этих глупых суеверий. Ходят какие-то праздные толки, и я не могу ни опровергнуть их, ни признать их правдой. Кроме того, я беспокоюсь за этого бедного малого Людовико; до сих пор мне не удается напасть на его след. Весь замок до малейших закоулков, все окрестности были обысканы, а дальше я решительно не знаю, что делать, так как обещал выдать крупную награду тому, кто его отыщет. Ключи от северных комнат я постоянно держу при себе и

сегодня же ночью намерен сам караулить в этих покоях.

Эмилия, серьезно тревожась за графа, присоединилась к мольбам Бланш, чтобы отговорить графа от его смелого намерения.

— Чего мне бояться? — говорил он. — Я не верю в проказы нечистой силы; а что касается людских козней, то я приму меры. Мало того: я обещаю, что буду караулить не один.

— Но кто же окажется достаточно мужественным, граф, чтобы сторожить в компании с вами?

— Мой сын, — отвечал граф. — Если меня не похитят в эту ночь, — прибавил он, улыбаясь, — то вы услышите завтра же о результатах моего предприятия.

Граф и Бланш вскоре простились с Эмилией и вернулись домой; граф уведомил Анри о своем намерении, а тот, скрепя сердце, согласился сторожить вместе с отцом. После ужина, когда они сообщили об этом плане, графиня пришла в ужас, а барон и Дюпон присоединились к ее просьбам, чтобы он не бросал вызова своей судьбе, как это сделал Людовико.

— Нам неизвестны, — прибавил барон, — свойства и силы злого духа; а что в этих комнатах водится нечистый дух — в этом теперь уже едва ли может быть сомнение. Берегитесь, граф, вызывать его мщение, он уже дал нам страшный пример своей злобности. Я допускаю возможность того, что душам усопших разрешается иногда посещать землю, ради целей крайней важности; быть может, теперешняя цель их — ваша погибель.

Граф не мог удержаться от улыбки.

— Неужели же моя погибель имеет настолько важное значение, что способна привлечь на землю дух умершего существа? Увы! мой добрый друг, даже и не требуется подобных уловок для того, чтобы погубить человека. Словом, в чем бы ни заключалась тайна, я надеюсь, мне удастся сегодня же ночью раскрыть и разъяснить ее. Вы знаете, я не суеверен.

— Я знаю, что вы Фома неверующий, — прервал его барон.

— Называйте это, как хотите; я хочу только сказать, что я свободен от суеверий; но если там являлось что-нибудь сверхъестественное, то явится и мне, если же какая-нибудь опасность висит над моим домом, или если в этом доме когда-то, в прежнее время, случилось что-нибудь необычайное, то я, вероятно, узнаю, в чем дело. Во всяком случае, я попытаюсь раскрыть тайну; а для того, чтобы быть готовым на случай злодейского нападения со стороны простого смертного, чего я, по правде сказать, и ожидаю, я приму все предосторожности и отправлюсь туда вооруженный.

Граф распрощался со своим семейством на ночь с напускнутой веселостью, под которой, однако, плохо скрывалось беспокойство, угнетавшее его мысли, и удалился в северные апартаменты. Вместе с сыном барон де Сент Фуа и несколько слуг довели его до наружной двери анфилады и там с ним распрощались. В покоях все оставалось по-прежнему, даже в спальне незаметно было никаких изменений; граф сам развел в камине огонь, так как ни одного из слуг нельзя было убедить войти туда. Тщательно осмотрев комнату и чулан, граф с сыном придвинули свои кресла к камину, поставили на столик бутылку вина и лампу; туда же положили мечи и, размешав огонь так, что вспыхнуло яркое пламя, стали беседовать между собой о разных предметах. Но Анри часто умолкал и казался рассеянным, а порою окидывал мрачную комнату взглядом, полным ужаса и любопытства; постепенно и граф прекратил разговор и сидел, то глубоко задумавшись, то читая том Тацита, который принес с собою, чтобы скоротать томительную ночь.

ГЛАВА XLVII

И пусть печать безмолвия сомкнет мои уста.

Барон де Сент Фуа не мог заснуть всю ночь от беспокойства за своего друга; он встал рано, чтобы узнать исход ночных событий. Проходя мимо кабинета графа и услышав там

движение, он постучался в дверь, и ему тотчас же отворил сам хозяин. Обрадовавшись при виде его здоровым и невредимым и горя нетерпением поскорее узнать о происшествиях, случившихся за ночь, он не успел разглядеть непривычную серьезность, разлитую по чертам графа, — и впервые заметил ее только тогда, когда услышал сдержанные ответы его. Граф говорил улыбаясь и нарочно напускал на себя легкий, небрежный тон; но барон не был расположен шутить и продолжал свой допрос так настойчиво, что граф, снова сделав серьезное лицо, сказал ему;

— Умоляю вас, друг мой, не расспрашивайте; да и на будущее время попрошу вас хранить молчание насчет всего, что показалось бы вам странным в моем поведении. Не скрою от вас, что мне очень тяжело и что моя попытка караулить всю ночь несколько не помогла мне отыскать Людовико; простите мне великодушно, если я буду молчать о происшествиях нынешней ночи.

— Но где же Анри? — спросил барон, с удивлением и разочарованием встретив такой решительный отпор.

— Он здоров... отдыхает у себя, — неохотно отвечал граф. — Но, вероятно, вы и его не станете расспрашивать, зная мое желание на этот счет.

— Конечно, не стану, — отозвался барон несколько огорченным тоном, — раз это вам неприятно. Но мне думается, друг мой, что вы могли бы положиться на мою скромность и оставить такое обидное недоверие. — У меня даже возникает подозрение, уж не видели ли вы что-нибудь необычайное, побудившее вас уверовать в мою теорию, — словом, что вы перестали быть Фомой неверующим, каким были прежде!

— Оставим этот разговор, — отрезал граф, — можете быть уверены, что не совсем обыкновенные причины заставляют меня молчать перед другом, с которым я в хороших отношениях уже более тридцати лет. Надеюсь, моя теперешняя сдержанность не может возбуждать у вас сомнений насчет моего уважения или искренности моей дружбы.

— Не буду сомневаться ни в том, ни в другом, — сказал барон, — хотя, признаюсь, не могу не выразить своего удивления по поводу такой странной сдержанности.

— Как бы то ни было, — отвечал граф, — но я серьезно прошу вас ничего не говорить членам моей семьи ни об этом и вообще ни о чем, что могло бы показаться вам странным в моем дальнейшем поведении...

Барон охотно дал обещание; поговорив еще немного о безразличных предметах, оба явились к завтраку; граф встретил свою семью со спокойным лицом и отделялся от их расспросов легкими шутками, напуская на себя непривычную веселость. Он уверял всех и каждого, что им нечего бояться северных комнат, раз он и сын его выбрались оттуда живыми и невредимыми.

Анри не так легко удавалось замаскировать свои чувства. Лицо его еще хранило следы испуга; он часто делался молчалив и задумчив, и хотя отвечал шутками на заигрывания м-ль Беарн, но видно было, что он смеется через силу.

Вечером граф, согласно своему обещанию, посетил монастырь, и Эмилия с удивлением заметила смесь игривой шутки и сдержанности в его тоне, когда он говорил о северных апартаментах. О том, что там произошло, он, однако, не обмолвился ни единым словом; а когда она попробовала напомнить ему его обещание рассказать ей о результате своих наблюдений и спросила его, убедился ли он в том, что там водится нечистая сила, взор его на минуту принял какое-то торжественное выражение; но вдруг, как бы одумавшись, он улыбнулся и проговорил:

— Милая Эмилия, пожалуйста, не позволяйте аббатисе набивать вам голову подобными бреднями: она рада внушить вам, что привидения водятся чуть не в каждой темной комнате. Верьте мне, — прибавил, он с глубоким вздохом, — мертвецы не являются с того света по пустякам или ради забавы, чтобы пугать робких людей... — Он остановился и впал в задумчивость; — однако довольно об этом, — прибавил он в заключение.

Вскоре затем он простился и ушел домой, а Эмилия, вернувшись к монахиням, очень

удивилась, узнав, что они уже знакомы с теми обстоятельствами, о которых он так тщательно избегал говорить; многие из них восхищались неустрашимостью графа, решившегося провести ночь в тех покоях, откуда исчез Людовико. Тут Эмилия наглядно убедилась, как быстро разносится молва: монахини получили эти сведения от крестьян, которые приходили продавать фрукты в монастырь и которые со времени исчезновения Людовико с любопытством следили за происшествиями в замке.

Эмилия молча выслушивала различные мнения монахинь о поступке графа: большинство осуждало его, называя безрассудным и самонадеянным, утверждая, что врываться таким образом в пристанище злого духа — значит нарочно раздражать его и навлекать на себя мщение.

Сестра Франциска, наоборот, уверяла, что граф действовал с мужеством и неустрашимостью добродетельной, честной души. Сам он сознает себя ни в чем неповинным и не заслуживающим кары со стороны добрых духов, а чары злых ему не страшны, раз он вправе рассчитывать на покровительство сил высших, на покровительство Того, Кто обуздывает злых и охраняет невинных.

— Грешники не смеют надеяться на покровительство свыше! — произнесла вдруг сестра Агнеса. — Пусть граф остерегается в своих поступках, чтобы не лишиться права на Божию охрану! А в сущности — кто посмеет себя самого назвать невинным? Земная невинность лишь относительна. Но как страшна бездна греха и в какую ужасающую пропасть мы можем свергнуться! О!..

Произнеся эти слова, монахиня вздрогнула всем телом и глубоко вздохнула. Эмилия была поражена; взглянув на нее, она заметила, что глаза сестры Агнесы устремлены на нее. Затем монахиня встала, взяла ее за руку, несколько мгновений молча и пристально смотрела ей в лицо и, наконец, изрекла:

— Вы молоды, вы невинны! Я хочу сказать, что вы невиновны ни в каком великом преступлении! У вас в сердце гнездятся страсти... это скорпионы; они дремлют пока, но берегитесь пробудить их! они уязвят вас... уязвят до смерти!

Эмилия, взволнованная этими речами и торжественностью, с какой они были произнесены, не могла удержаться от слез.

— А! так вот в чем дело! — воскликнула Агнеса, и суровое лицо ее смягчилось. — Так молода и уже несчастна! Значит, мы с вами сестры! А между тем не существует уз привязанности между грешниками! — прибавила она, и глаза ее опять приняли дикое выражение. — Нет среди них ни кротости, ни покоя... ни надежды! Все эти чувства я знавала когда-то... Глаза мои умели плакать... теперь слезы выжжены... душа моя застыла и стала бесстрастной!... Я уже не знаю горя!

— Будем каяться и молиться, — прервала ее другая монахиня. — Нас учили надеяться, что молитва и покаяние — путь ко спасению. Для всех раскаянных грешников жива надежда!

— ...Для всех, кто раскается и обратится к вере истинной, — заметила сестра Франциска.

— Для всех, кроме меня! — торжественно вымолвила Агнеса. Она замолкла, потом вдруг отрывисто произнесла:

— Голова моя горит... я, кажется, больна... О, если бы я могла изгладить из своей памяти все события былого времени: эти образы вырастают предо мною, словно фурии, и мучат меня!.. Я вижу их и во сне, и наяву; они неотлучно стоят у меня перед глазами! И теперь я вижу их... и теперь!..

Она остановилась в застывшей позе — олицетворение ужаса; напряженный взор ее медленно обводил стены комнаты, точно ища чего-то. Одна из монахинь тихо взяла ее за руку и хотела увести ее из приемной. Агнеса притихла, провела другой рукой по глазам и с тяжким вздохом проговорила:

— Вот теперь они ушли... ушли... У меня лихорадка... Я не знаю, что говорю. На меня

иногда это находит... Потом я скоро оправлюсь. Сейчас мне будет лучше... Что это? Кажется, звонили к заутрене?

— Нет, — отвечала Франциска, — вечерняя служба окончена. Пусть Маргарита проводит вас в келью.

— В самом деле, — покорно согласилась сестра Агнеса. — Там мне лучше будет. Покойной ночи, сестры. Помяните меня в ваших молитвах!

Когда они удалились, Франциска, заметив волнение Эмилии, сказала ей:

— Не тревожьтесь! На сестру Агнесу иногда находит расстройство, хотя за последнее время я что-то не наблюдала у нее таких припадков возбуждения. Обычное ее настроение — меланхолия. Этот припадок подготовлялся уже много дней. Уединение в келье и вседневная рутина оправят ее.

— Но как разумно она рассуждала сначала! — заметила Эмилия, — ход ее мыслей был совершенно логичен.

— Да, — отвечала монахиня, — в этом нет ничего нового: иной раз она рассуждает не только логично, но даже проникательно и вслед за тем с ней делается припадок острого помешательства.

— По-видимому, ее мучают какие-то угрызения совести, — заметила Эмилия. — Не знаете ли вы, какие несчастья довели ее до такого жалкого состояния?

— Я слышала об этом кое-что... — отвечала монахиня и остановилась, пока Эмилия не повторила своего вопроса; тогда она прибавила тихим голосом и многозначительно оглянувшись на остальных пансионеров:

— Я ничего не могу объяснить вам теперь; но если вы интересуетесь этим предметом, то приходите ко мне в келью вечером, когда вся община отойдет ко сну, и вы услышите от меня все, что я знаю. Но не забывайте, что мы должны встать к полному бдению, поэтому приходите или до, или после полуночи.

Эмилия обещала помнить; вскоре появилась сама настоятельница, и они прекратили разговор о несчастной монахине.

Между тем граф, вернувшись домой, застал Дюпона в припадке мрачного отчаяния; на него часто находило отчаяние, под влиянием его несчастной привязанности к Эмилии, привязанности, настолько продолжительной, что ее трудно было преодолеть: чувство это не поддавалось ни времени, ни сопротивлению его друзей. Впервые Дюпон увидел Эмилию в Гаскони еще при жизни своего отца, который, узнав о страсти сына к м-ль Сент Обер, девушке гораздо беднее его, запретил ему просить ее руки и вообще думать о ней. Пока жив был его отец, молодой человек исполнял первое из этих приказаний, но второму не мог повиноваться, и по временам успокаивал свою страсть, посещая любимые места ее прогулок, между прочим, рыбацью хижину, где раз или два обращался к ней в стихах, хотя скрывал свое имя, исполняя слово, данное отцу. В этом домике он сыграл на лютне трогательную арию, к которой Эмилия прислушивалась с таким удивлением и восхищением; там же он нашел ее миниатюрный портрет и с тех пор лелеял его с мучительной страстью, нарушавшей его покой. Во время его экспедиций в Италию скончался отец Дюпона; но сын получил освобождение от родительской строгости в такой момент, когда он менее всего способен был им воспользоваться, так как предмет, ради которого он мог более всего радоваться этой свободе, был недоступен для него. Благодаря какой случайности он отыскал Эмилию, каким образом он содействовал освобождению ее из страшной тюрьмы — уже известно читателю, известны и тщетные надежды, которыми он поддерживал свою несчастную страсть, и затем бесплодные усилия преодолеть ее.

Граф все еще продолжал дружески успокаивать его, уверяя, что с помощью терпения, настойчивости и осторожности он в конце концов добьется счастья и расположения Эмилии.

— Время, — говорил он, — изгладит сердечную печаль, овладевшую ею после понесенного разочарования, и она оценит ваши достоинства. Вашими услугами вы уже успели снискать себе ее благодарность, а вашими страданиями возбудили ее жалость. И поверьте мне, друг мой, в таком чувствительном сердце, как сердце Эмилии, благодарность и

сострадание ведут к любви. Когда она отрешится от своих теперешних иллюзий, она охотно разделит привязанность такой души, как ваша.

Дюпон вздыхал, слушая эти речи; ему хотелось верить тому, что настойчиво твердил его друг, и он с удовольствием принял приглашение продлить свое пребывание в замке.

Теперь мы покинем его и вернемся в монастырь св.Клары.

Когда монахини удалились на покой, Эмилия украдкой пробралась на свидание, назначенное ей сестрой Франциской. Она застала монахиню в ее келье молящейся перед аналоем, на котором лежал образ святой, а над ним висела тусклая лампада, слабо освещавшая келью.

Когда отворилась дверь, сестра Франциска повернула голову и знаком пригласила Эмилию войти; та молча села возле маленького соломенного матраца монахини и ждала, когда кончится ее молитва. Скоро сестра поднялась с колен, сняла лампаду и поставила ее на стол; тогда Эмилия увидела на столе человеческий череп и кости, рядом с песочными часами; монахиня, не замечая волнения Эмилии, села возле нее на соломенный матрац и начала так:

— Любопытство ваше, сестрица, заставило вас быть пунктуальной; но вы не услышите от меня ничего замечательного об истории бедной Агнесы. Я избегала говорить о ней в присутствии светских сестер только потому, что не хотела разглашать ее грех.

— Ваше доверие ко мне я сочту за особенную милость, — заметила Эмилия, — и не буду злоупотреблять им.

— Сестра Агнеса, — продолжала монахиня, — происходит из знатной фамилии, как вы уже можете догадаться по ее виду, полному благородного достоинства; но я не стану порочить фамилию, называя ее вам. Любовь была причиной ее преступления и безумия. Ее страстно любил один дворянин из небогатой фамилии, а отец выдал ее замуж за другого дворянина, которого она не любила. Неумение овладеть своею страстью повело ее к гибели. Она позабыла долг добродетели, долг жены и нарушила свои супружеские обеты; но ее виновность была скоро открыта, и она пала бы жертвой мщения своего супруга, если бы отец ее не постарался вырвать ее из его рук. Какими путями он этого достиг — не могу вам сказать, но он укрыл ее в стенах обители и впоследствии убедил ее постричься, между тем как в миру была пущена молва, что она умерла. Отец, чтобы спасти дочь свою, усиленно подтверждал этот слух и пустил в ход такие вести, которые внушили супругу ее мысль, что она погибла жертвой его ревности. Вы как будто поражены! — прибавила монахиня, бросив пытливый взгляд на лицо Эмилии. — Допускаю, что история необычайная, но ведь подобные случались и раньше.

— Прошу вас, продолжайте, — сказала Эмилия, — я очень заинтересована.

— Да больше нечего и рассказывать, — продолжала монахиня, — остается только добавить, что продолжительная борьба, которую вынесла Агнеса между любовью, угрызениями совести и сознанием долга, принятого ею на себя, когда она вступила в наш орден, наконец расстроила ее рассудок. Вначале у нее резко сменялись припадки бешенства с припадками меланхолии, потом она погрузилась в угнетенное состояние, которое все-таки иногда прерывалось дикими выходками, последнее время довольно-таки частыми.

На Эмилию произвела впечатление история этой сестры, напоминая ей в некоторых частностях историю маркизы де Вильруа, — ту тоже отец заставил отказаться от предмета ее привязанности, чтобы выйти за другого дворянина, уже по его выбору; судя по рассказам Доротеи, не было причины предполагать, что она избежала мщения ревнивого супруга, или сомневаться хоть на минутку в ее невинности. Эмилия, вздохнув над несчастьями монахини, не могла не пролить нескольких слез над участью маркизы. Вернувшись к разговору о сестре Агнесе, она спросила Франциску, помнит ли она ее в молодости и была ли она хороша собою.

— Меня еще не было в монастыре в ту пору, как она постриглась, — отвечала Франциска, — это случилось уже так давно, что немногие из нынешних сестер присутствовали при церемонии; даже наша матушка — игуменья еще не была тогда

настоятельница обители, но я помню то время, когда сестра Агнеса была очень красивой женщиной. У нее до сих пор сохранилось благородство осанки, всегда отличавшее ее, но красота ее исчезла, как вы сами могли заметить. Я сама почти не замечаю на ее лице следов прежней миловидности.

— Странно, — молвила Эмилия, — но бывают минуты, когда лицо ее кажется мне знакомым! Пожалуй, вы назовете меня фантазеркой, да и я сама готова с этим согласиться, — потому что ведь я никогда не видела сестру Агнесу, прежде чем поступила в ваш монастырь; надо думать, что я раньше видела какое-нибудь лицо, очень похожее на сестру Агнесу, но чье это лицо — решительно не помню.

— Просто вас заинтересовала глубокая меланхолия, которой дышат ее черты, — заметила Франциска, — и это впечатление ввело в заблуждение вашу фантазию; если так, то ведь и я, пожалуй, найду сходство между вами и Агнесой. Никким образом вы не могли видеть ее нигде, кроме как в монастыре, а сюда она поступила, когда еще вас не было на свете.

— В самом деле! — проговорила Эмилия.

— Ну да, конечно, — отвечала Франциска, — но почему это обстоятельство так сильно возбуждает ваше удивление?

Эмилия будто пропустила мимо ушей вопрос и некоторое время сидела задумавшись, потом у нее вырвалось:

— Около того же времени скончалась маркиза де Вильруа.

— Страшное замечание! — проронила Франциска. Эмилия, вызванная из задумчивости, улыбнулась и переменила разговор; но вскоре он опять как-то невольно вернулся к несчастной монахини, и Эмилия оставалась в келье сестры Франциски до тех пор, пока колокол полнотной службы не призвал ее на молитву; тогда, попросив прощения, что она нарушала покой сестры до такого позднего часа, она вышла из кельи вместе с монахиней. Эмилия вернулась к себе, а монахиня, неся мерцающую восковую свечу, поспешила на молитву в часовню.

Прошло еще несколько дней; Эмилия не видела ни графа, ни других членов его семейства, и когда наконец он посетил ее, она заметила с беспокойством, что у него особенно расстроенный вид.

— Я измучен и сбит с толку, — сказал он в ответ на ее встревоженные вопросы, — и намерен уехать отсюда на некоторое время; надеюсь, перемена места вернет мне обычное спокойствие духа. Я собираюсь вместе с дочерью проводить барона Сент Фуа в его замок: он лежит в той части долины Пиренеев, которая обращена в сторону Гаскони, и мне пришло в голову, Эмилия, что когда вы отправитесь в свое имение «Долину», то мы можем часть пути проехать вместе! Для меня было бы удовольствием охранять вас в путешествии вашем домой.

Она поблагодарила графа за его дружеское внимание, но выразила сожаление, что необходимость заехать сперва в Тулузу помешает выполнению этого плана.

— Но когда вы будете гостить у барона, — прибавила она, — то ведь оттуда очень недалеко до «Долины», и я надеюсь, граф, вы не уедете из тех краев, не посетив меня; нечего и говорить, что я с радостью буду ждать к себе вас и Бланш.

— В этом я не сомневаюсь, — отвечал граф, — и не намерен отказывать себе и Бланш в удовольствии сделать вам визит, если только ваши дела позволят вам быть в «Долине» около того времени, когда мы можем посетить вас.

Эмилия прибавила приглашение и графине, но по правде сказать, не особенно огорчилась, узнав, что та собирается ехать с м-ль Беарн гостить на несколько недель к одним знакомым в Нижний Лангедок.

Побеседовав еще немного о предполагаемом своем путешествии и о планах Эмилии, граф простился и уехал. Через несколько дней после этого посещения Эмилия получила второе письмо от Кенеля, извещающее ее, что он находится в Тулузе, что «Долина» уже покинута арендатором и что он, Кенель, зовет ее немедленно в Тулузу, где он будет ждать ее,

притом просит поторопиться, так как его личные дела призывают его в скором времени вернуться в Гасконь. Эмилия повиновалась не колеблясь и трогательно распростилась с семейным кружком графа, к которому все еще принадлежал мосье Дюпон, и со своими монастырскими подругами; она пустилась в путь в Тулузу в сопровождении несчастной Аннеты и под охраной надежного графского слуги.

ГЛАВА XLVIII

*В бесчисленных изгибах мозга дремлют
Наши мысли, невидимую связанные цепью;
Лишь стоит разбудить одну — и чу... весь рой
Мгновенно встрепелется!*
Утехи памяти

Эмилия благополучно совершила свое путешествие по равнинам Лангедока и, прибыв в Тулузу, откуда в последний раз уехала вместе с г-жой Монтони, много размышляла о злополучной судьбе своей тетки, которая, если бы не ее собственное безрассудство, — могла бы до сих пор жить в счастье и довольстве. Образ Монтони также часто рисовался ее воображению, каким она знавала его в дни благополучия, — смелым, властным, полным энергии; потом каким он был впоследствии, в дни злобы и мщения. Прошло всего несколько месяцев, и Монтони уже неспособен вредить кому бы то ни было — он сам превратился в горсть праха, а вся жизнь его промелькнула как тень! Эмилия готова была заплакать над его жалкой участью, но вовремя вспомнила о всех его преступлениях. О несчастной тетке она проливали горькие слезы; сознание ее заблуждений и недостатков исчезало при воспоминании о ее несчастьях.

Другие мысли, другие заботы овладевали Эмилией, по мере того, как она приближалась к знакомым местам, где протекала ее юная любовь, и размышляла, что Валанкур навек погиб для нее и для самого себя.

Вот и вершина холма, откуда, уезжая в Италию, она бросила последний прощальный взгляд на прелестный пейзаж, на леса и поля, где она бывало бродила с Валанкуром, перед тем как судьба забросила ее далеко — далеко!.. Опять она увидела знакомую цепь Пиренеев, возвышавшуюся над родной «Долиной»; теперь она представлялась в виде смутных облаков на далеком горизонте. «А там и Гасконь расстилается у подошвы Пиренеев! — думала она про себя: — О отец, о дорогая мать моя! Вот и Гаронна! — прибавила она, отирая слезы, туманившие ей зрение, — и Тулуза, и тетушкин дом, и деревья ее сада! О, дорогие друзья мои! всех вас я утратила! Неужели же мне никогда больше не суждено увидеться с вами?» К глазам ее опять подступили слезы; она неудержимо плакала, пока на крутом повороте экипаж чуть не опрокинулся; взглянув кверху, она увидела другую часть знакомых окрестностей Тулузы. Все мысли, все страхи, какие она испытывала в тот момент, когда прощалась с этими местами, теперь нахлынули на нее с новой силой. Она вспомнила, с какой тревогой она взирала на будущее, которое должно было решить ее судьбу с Валанкуром, и какие гнетущие страхи осаждали ее душу; самые слова, которые она тогда произносила, прощаясь с этими местами, пришли ей на память: «Если бы я была уверена, — говорила она тогда, — что когда-нибудь опять вернусь сюда и что Валанкур по-прежнему будет любить меня, — я уехала бы со спокойной душой!»

И вот теперь это пугавшее ее будущее наконец наступило: она вернулась на родину, — но какая страшная пустота! Валанкур перестал существовать для нее! Она лишилась даже печальной отрады хранить его образ в своем сердце — он уже не тот Валанкур, чей образ она так лелеяла и который был для нее утешением в часы печали, поддержкой, помогавшей ей переносить преследования Монтони, далекой надеждой, сиявшей над ее мрачной судьбой!.. Убедившись, что эта дорогая, любимая мысль — не более как иллюзия, создание ее воображения, что Валанкур погиб для нее, она чувствовала, как замирает ее сердце перед этой зияющей пустотой! Ей казалось, что его женитьба на какой-нибудь сопернице, даже

смерть его она в силах была бы перенести с большей твердостью, чем теперешнее горе. Тогда она могла бы даже среди своей печали втайне лелеять тот образ доброты и честности, какой она рисовала себе, и все-таки капля отрады примешалась бы к ее страданиям.

Осушив слезы, она еще раз устремила взор на пейзаж, возбуждавший в ней эти горькие размышления, и заметила, что она проезжает как раз по тому самому берегу, где она прощалась с Валанкурром в то утро, когда уезжала из Тулузы; сквозь слезы она опять увидела его перед собою, каким он явился ей, когда она выглянула из экипажа, чтобы проститься с ним в последний раз, увидела его печально прислонившимся к высокому дереву, вспомнила устремленный на нее взгляд его, полный нежности и тоски. Такое воспоминание было слишком невыносимо для ее сердца: она в бессилии откинулась на спинку экипажа и ни разу не выглянула из окна, пока экипаж не остановился у ворот дома, теперь уже ставшего ее собственностью.

Ворота открыл слуга, оставленный при замке. Въехали во двор; Эмилия, выскочив из экипажа, торопливо прошла по обширным сениям, теперь безмолвным и пустынным, в дубовую гостиную, любимую комнату покойной г-жи Монтони. Там вместо того, чтобы быть встреченной самим г.Кенелем, она нашла его письмо, извещавшее ее, что важные дела заставили его за два дня перед тем уехать из Тулузы. Эмилия не особенно огорчилась отсутствием своего родственника. Неожиданный отъезд, по-видимому, указывал на его прежнее равнодушное отношение к ней.

В том же письме говорилось о том, что уже сделано им для ограждения ее интересов; в заключение он давал ей инструкции относительно выполнения некоторых формальностей.

Нелюбезность г.Кенеля недолго занимала ее мысли; они опять обратились к тем лицам, которых она когда-то привыкла видеть в этом доме, в особенности к несчастной заблуждавшейся г-же Монтони. Вот здесь, в этой самой комнате, они вместе завтракали утром перед отъездом в Италию; вид этой комнаты невольно пробудил в ней воспоминание о терзаниях, выстраданных ею в то время, и о веселых планах будущего, которые составляла ее тетка. Тут глаза Эмилии невольно обратились к большому окну, выходившему в сад, и в ее сердце проснулись новые воспоминания: перед нею расстилалась та самая аллея, где она прощалась с Валанкурром, накануне ее отъезда; вспоминались ей вся нежность, весь восторг, с каким он мечтал о будущем счастье, его горячие просьбы, чтобы она не отдавала своей судьбы в руки Монтони, вспоминалась искренность и честность его привязанности... В эту минуту ей вдруг показалось почти невозможным, чтобы Валанкур сделался недостойным ее уважения; она усомнилась во всем дурном, слышанном о нем, и даже в его собственных словах, подтверждавших отзыв графа де Вильфора. Подавленная воспоминаниями, вызванными видом этой аллеи, она отвернулась от окна и опустилась на стул, стоявший возле. Так она просидела, отдаваясь своему глубокому горю, до тех пор, пока не явилась Аннета, принеся ей кофе.

— Милая барышня, — начала Аннета, — каким мрачным смотрит этот дом сравнительно с тем, что было прежде! Грустно возвращаться домой, где некому тебя встретить!..

Это замечание еще более расстроило Эмилию; слезы так и брызнули из глаз ее. Выпив чашку кофе, она тотчас же удалилась к себе и старалась успокоить свою истомленную душу. Но неугомонная память не переставала работать и продолжала будить образы прошлого: опять Эмилия увидела перед собой Валанкура, привлекательного, нежного, каким он был в первую пору их любви и в тех местах, где она надеялась провести с ним всю жизнь свою; наконец сон смежил ее очи и скрыл от них эти горестные сцены.

На другое утро насущные заботы отвлекли ее от грустных размышлений; желая поскорее уехать из Тулузы, чтобы поспеть в «Долину», Эмилия сейчас же принялась за дела по вводу ее во владение имением и за исполнение некоторых формальностей, согласно инструкции г.Кенеля. Ей понадобилось большое усилие воли, чтобы сосредоточить свои мысли и заняться иными интересами; но она была вознаграждена за эти усилия, еще раз убедившись на опыте, что труд — самое действительное лекарство против горя.

Весь этот день был целиком посвящен делам. Между прочим, она приняла все меры, чтобы ознакомиться с положением своих беднейших арендаторов; ей хотелось оказать им помощь и устроить их благополучие.

Вечером настроение ее духа настолько успокоилось, что она рискнула посетить сад, где, бывало, гуляла с Валанкуром; зная, что чем дольше она будет откладывать это посещение, тем тяжелее ей будет увидеть эти знакомые места, она воспользовалась своим бодрым настроением, чтобы отправиться туда сейчас же.

Поспешно пройдя через калитку, ведущую со двора в сад, она торопливыми шагами направилась по большой аллее, почти не позволяя своей памяти останавливаться на той мысли, что здесь она прощалась с Валанкуром, и скоро повернула в другие аллеи, не столь памятные ее сердцу. Наконец, она достигла ступеней, ведущих из нижнего сада к террасе. Здесь она пришла в сильное волнение и остановилась в колебании — идти ли дальше? Но опять к ней вернулась решимость и она продолжала путь.

«Ах, — думала Эмилия, подымаясь по ступеням, — вот те самые высокие деревья, которые и прежде качались над террасой, вот те самые цветущие кустарники: альпийский ракитник, шиповник, вошанка, что бывало росли под террасой! А вот на берегу те же цветы, за которыми Валанкур сам ухаживал! Ах, как много воды утекло с тех пор!»

Она подавила в себе горестные мысли, но не могла удержаться от слез. Несколько минут она шла вперед тихими шагами, наконец ее волнение, под влиянием переживаемых знакомых сцен, до того усилилось, что она принуждена была остановиться и прислониться к стенке террасы. Был теплый, прекрасный вечер. Косые лучи заходящего солнца, вырываясь из-под темной тучи, нависшей над западом, придавали роскошный колорит всему пейзажу и желтым отблеском скользили по кудрявым верхушкам деревьев. Эмилия с Валанкуром бывало часто любовались такой сценой, в такой же час. Как раз на этом же самом месте вечером накануне ее отъезда в Италию он горячо уговаривал ее, чтобы она не предпринимала этого путешествия, и молил ее остаться здесь со всей страстностью молодой любви. Оглянувшись на окружающие предметы, Эмилия теперь живо вспомнила всю эту сцену и разговор между ними; вспомнились ей тревожные сомнения его насчет Монтони, сомнения, впоследствии оправдавшиеся; все его доводы и мольбы, чтобы убедить ее немедленно обвенчаться с ним; вся нежность его любви, порывы его необузданного горя и сказанные им слова, что больше им, вероятно, никогда не видать взаимного счастья... Все эти подробности и тогдашние ощущения с поразительной ясностью выросли перед нею. Прежняя любовь к Валанкуру овладела ею с такой же силой, как в те минуты, когда она прощалась с ним и со своим счастьем и когда, вооружившись твердостью, она восторжествовала над своими страданиями и не согласилась на тайный брак, чтобы избежать упреков совести впоследствии. «Увы, — думала Эмилия, в то время, как эти воспоминания проносились у нее в голове, — что я выиграла этой твердостью духа? Разве я счастлива теперь?.. Он сказал тогда, что нам уже не видать взаимного счастья, но мог ли он ожидать в то время, что его собственное распутство будет причиной нашего разрыва?»

Эти мысли естественно усилили ее тоску; приходилось сознаться, что твердость духа, проявленная ею раньше, если и не повела ее к счастью, то спасла ее от непоправимого несчастья, от самого Валанкура! Но в эти минуты она не имела силы радоваться своему благоразумию: она могла только оплакивать злую судьбу, увлекшую Валанкура на путь, столь не похожий на тот, какой сулили ему раньше его добродетели, его изящный вкус и высокие стремления его молодости. Эмилия все еще любила его слишком горячо, чтобы верить в окончательную испорченность его сердца, хотя поведение его и было преступно. Не раз приходило ей на ум замечание, когда-то сделанное Сент Обером:

«Этот молодой человек, — говорил он, — видно, никогда не бывал еще в Париже».

В то время это замечание удивило ее, но теперь она поняла его глубокий смысл, и у нее вырвалось горестное восклицание:

— О, Валанкур! если бы вы очутились в Париже с таким другом, как мой отец, — то ваша благородная, искренняя натура устояла бы против всех соблазнов!

Между тем солнце уже закатилось; через силу оторвавшись от этих печальных предметов, Эмилия продолжала свою прогулку; ей приятен был задумчивый вечерний сумрак, а из соседней рощи полилась жалобная, тягучая мелодия соловья, всегда трогавшая ее сердце; благоухание цветущих кустарников вокруг террасы усилилось в прохладном вечернем воздухе, до того тихом, что еле-еле шелестели листочки на деревьях.

Эмилия дошла наконец до ступенек павильона в конце террасы, где так неожиданно состоялось ее последнее свидание с Валанкур, как раз перед ее отъездом из Тулузы. Дверь была закрыта; Эмилия остановилась перед нею в колебании и дрожа всем телом; но желание еще раз увидеть то место, которое было свидетелем ее бывшего счастья, наконец преодолело боязнь тяжелых впечатлений, и она вошла. Внутри павильона стоял меланхолический полумрак; но сквозь открытые окна, затемненные свешивающейся зеленью винограда, смутно виднелся вдаль обширный пейзаж. Гаронна, отражавшая в себе вечерние небеса и еще не погасший закат. У одного из балконов был отставлен стул, точно перед тем там кто-то сидел; но остальная мебель павильона вся оставалась по прежним местам, как будто никто и не притрагивался к ней после того, как Эмилия уехала в Италию. Тишина и запустение этой комнаты придавали еще более торжественности ее ощущениям. Слышен был лишь легкий шорох бриза в виноградных листьях, да издали доносился слабый рокот Гаронны.

Эмилия села у одного из окон и вся отдалась сердечной печали, вспоминая подробности своего прощания с Валанкур на этом самом месте. Здесь же она проводила с ним счастливейшие часы своей жизни, когда тетка ее стала поощрять его ухаживание; здесь она бывало сидела за каким-нибудь рукоделием в то время, как он читал ей вслух или беседовал с нею. Опять вспомнилось ей, с каким чувством, с какой энергией он повторял лучшие места из любимых авторов; как часто он останавливался во время чтения, чтобы объяснять ей эти места, и с каким нежным восторгом он слушал ее замечания и поправлял ее ошибки.

— Возможное ли дело, — говорила про себя Эмилия, — чтобы человек, с душой такой чуткой ко всему великому и прекрасному, унизился до гнусных поступков и поддался суетным соблазнам?

Она помнила, как часто он, бывало, смахивал внезапно наворачнувшуюся слезу, как голос его дрожал от волнения, когда он рассказывал о каком-нибудь благородном, возвышенном поступке! «И такая душа, — говорила она про себя, — такое сердце пали жертвой нравов огромного развращенного города!»

От этих размышлений у нее стало невыносимо тяжело на сердце; она поскорее вышла из павильона и, спасаясь от бывших свидетелей своего погибшего счастья, вернулась в замок. Проходя вдоль террасы, она вдруг увидела какую-то фигуру, идущую тихими шагами, под деревьями, в некотором отдалении. Сгустившиеся сумерки не позволяли различить, кто это такой; Эмилия подумала, что это, вероятно, кто-нибудь из слуг, но вот незнакомец, услышав ее шаги, вдруг обернулся к ней лицом, и ей показалось, что она видит перед собой... Валанкура!

Кто бы ни был незнакомец, он тотчас же шмыгнул в чащу влево и исчез; а Эмилия, устремив пристальный взор на то место, куда он скрылся, и дрожа так сильно, что едва держалась на ногах, простояла несколько мгновений точно окаменевшая и почти в бессознательном состоянии. Опомнившись, она бросилась к дому; но и там она не решилась осведомиться, кто из домашних был сейчас в саду, боясь выдать свое волнение. Она удалилась к себе в комнату, чтобы в одиночестве хорошенько припомнить фигуру, вид и черты виденного человека. Но он промелькнул мимо нее так быстро и в потемках очертания его были так смутны, что она в точности ничего не могла припомнить; однако общий вид фигуры и быстрота, с какой она скрылась, внушали ей почти уверенность, что это был Валанкур. Правда, в иные минуты ей казалось, что ее фантазия, поглощенная мыслями о нем, вызвала его образ перед ее затуманенным взором; но это предположение было мимолетным. Если это был действительно Валанкур, она удивлялась, как он мог очутиться в Тулузе и пробраться в сад; но всякий раз, как она порывалась спросить, не был кто-нибудь

посторонний впущен в парк, ее удерживало нежелание выдать свои сомнения; и так весь вечер она провела в догадках, беспокойстве и стараниях отогнать от себя назойливые мысли.

Но эти усилия оказались напрасными: ее осаждали самые противоречивые чувства при мысли, что Валанкур, может быть, находится поблизости: то она боялась, что это действительно так, то, напротив, жалела, что этого нет... Как ни пробовала она убедить себя, что не желает, чтобы незнакомец оказался Валанкуром, но сердце ее упорно противоречило рассудку.

Весь следующий день был занят посещениями разных соседей, прежних знакомых г-жи Монтони; они приходили изъявлять Эмилии свои соболезнования по случаю кончины ее тетки, вместе с тем приветствовали ее по поводу вступления во владение поместьями, и кстати старались выведать кое-что о Монтони и странных слухах, дошедших до них, о ее разрыве с Валанкуром; все это делалось с соблюдением строгих приличий, и гости удалялись с таким же спокойным достоинством, с каким приходили.

Эмилия утомилась всеми этими формальностями; ей были противны заискивания людей, которые раньше не находили ее даже достойной внимания, пока считали ее приживалкой г-жи Монтони.

«Наверное, — думала она, — в богатстве заключается какое-то волшебство, заставляющее людей раболепствовать перед ним, даже если это не сопряжено ни с какими выгодами для них самих! Как странно, что к дураку или негодяю, если он богат, относятся в свете с большим уважением, чем к хорошему, умному человеку, который беден!»

Только к вечеру она очутилась одна, и ей захотелось освежиться прогулкой по саду; но она боялась идти туда, чтобы опять не встретиться со вчерашним незнакомцем: что если вдруг он окажется Валанкуром!.. Все ее усилия подавить эту тревогу оказывались тщетными; тайное желание увидеть еще раз Валанкура так, чтобы он не мог видеть ее, побуждало ее сойти в сад, но осторожность и щекотливая гордость удерживали ее. В конце концов она решила избежать возможности встречи, воздержавшись от посещения сада в продолжение нескольких дней.

По прошествии недели она опять отважилась пойти туда, но на этот раз взяла с собой Аннету и не пошла дальше нижнего сада. При малейшем шелесте бриза в листве она вздрагивала — ей все чудилось, что кто-то прячется в чаще кустарников, и на каждом повороте аллеи она озиралась с пугливым ожиданием. Молча, в задумчивости, продолжала она свою прогулку, она так волновалась, что даже не могла разговаривать с Аннетой. А для Аннеты молчание и задумчивость были до того нестерпимы, что она сама наконец пустилась в разговоры со своей госпожой.

— Милая барышня, и с чего это вы все вздрагиваете? Уж верно слышали о том, что у нас случилось?

— Что такое случилось? — отозвалась Эмилия упавшим голосом, стараясь сдержать свое волнение.

— Знаете, третьего дня ночью, барышня...

— Я ничего не знаю, Анне га, — проговорила ее госпожа коснеющим языком.

— Ну, да ведь третьего дня ночью к нам в сад забрался разбойник...

— Разбойник!..

— Я думаю, что разбойник, барышня, а то кто же еще?

— Где ты видела его, Аннета? — спросила Эмилия, озираясь и повернув назад к замку.

— Сама-то я не видела, а Жан — садовник — тот видел. Было часов двенадцать ночи, садовник шел через двор к черному ходу дома. Глянь-ка, кто-то пробирается по аллее против садовой калитки... Ну, конечно, Жан смекнул, в чем дело, и побежал за ружьем,

— За ружьем!.. — воскликнула Эмилия.

— Да, барышня, за ружьем; потом опять вышел во двор караулить. Смотрит — а тот опять тихо идет по аллее; потом прислонился к калитке, да так и уставился на наш дом, точно выбирал, в которое окно ему влезть.

— Ну, а ружье... ружье... — твердила Эмилия.

— Все в свое время... погодите, барышник. Жан рассказывает, что разбойник отпер калитку и прошел во двор; тогда Жан нашел, что пора спросить его, что ему нужно; он окликнул его и спросил, кто он такой и для чего забрел сюда? Но человек, не отвечая на вопросы, повернул вспять и шмыгнул в сад. Жан понял, что это значит, и выстрелил ему вслед.

— Выстрелил!.. — вскрикнула Эмилия.

— Да, выстрелил из ружья; но что с вами, барышня, отчего вы так побледнели? Человека не убили, я думаю, что нет; но если он и был убит, то товарищи унесли его. Поутру, когда Жан отправился искать его тело, он ничего не нашел, кроме следа крови на земле. Жан проследил кровь, чтобы узнать, куда скрылся незнакомец, но след пропадал в траве и...

Тут рассказ Аннеты был прерван; Эмилия окончательно потеряла присутствие духа и упала бы, если бы ее не подхватила горничная и не дотащила до ближайшей скамейки.

Когда Эмилия наконец пришла в себя после продолжительного обморока, она пожелала, чтобы ее отвели домой: она чувствовала себя слишком разбитой в эту минуту, чтобы стараться разузнавать что-нибудь о незнакомце или «разбойнике», который мог оказаться Валанкуром.

Отпустить Аннету, чтобы можно было плакать и размышлять на свободе, она стала ломать себе голову, припоминая в точности вид и фигуру незнакомца, виденного ею на террасе, и по-прежнему он представлялся ей не кем иным, как Валанкуром. Действительно, она уже почти не сомневалась, что это был он и что в него-то и стрелял садовник. По описанию Аннеты этот неизвестный не похож был на разбойника, да и трудно было допустить, чтобы разбойник покушался забраться один в такой большой дом.

Когда Эмилия почувствовала себя настолько оправившейся, чтобы выслушать то, что может рассказать ей Жан, она послала за ним; но он не сообщил ей никаких признаков, по которым можно было бы узнать, кто был раненный им незнакомец. Она строго побранила садовника за то, что он стрелял пулями, и приказала разузнать, нет ли того раненого в околоте. Затем она отпустила Жана, а сама оставалась в прежнем состоянии страшной неизвестности. Вся любовь ее к Валанкуру пробудилась от сознания его опасности, и чем больше она обдумывала это происшествие, тем сильнее укреплялось в ней убеждение, что это он посетил ее сад, чтобы облегчить томление несчастной любви среди обстановки своего погибшего счастья.

— Милая барышня, я никогда еще не видывала вас такой встревоженной! — говорила ей Аннета. — Успокойтесь: ведь, кажется, человек этот не убит...

Эмилия вздрогнула, возмущаясь безрассудством садовника, который вздумал выстрелить пулей.

— Я знала, что вы разгневаетесь, барышня, поэтому и не рассказала вам раньше про эту историю; да и садовник знал, что ему достанется. Он мне и сказал: «Аннета, — говорит, — пожалуйста, не говорите барышне. Ее спальня на другом конце дома, может, она не слышала выстрела. Она осерчает на меня, коли узнает, особенно когда увидит след крови. Но опять-таки, — прибавил он, — можно ли держать сад в порядке, коли не позволено даже выстрелить в разбойника, раз он туда забрался?»

— Ну, довольно об этом, — остановила ее Эмилия. — Оставь меня, уходи.

Аннета повиновалась, и Эмилия опять погрузилась в те же мучительные размышления, но потом она стала постепенно успокаиваться, остановившись на том предположении, что если этот незнакомец в самом деле Валанкур, то он несомненно пришел один; следовательно, он был в силах выбраться из сада без посторонней помощи, и значит, рана его не была особенно тяжелая.

Такими соображениями она старалась поддержать в себе мужество, пока слуги ее производили разведки по соседству; но дни шли за днями, и дело нисколько не разъяснялось. Эмилия молча страдала; наконец она не выдержала под гнетом тоски и беспокойства. С нею сделалась изнурительная лихорадка, и когда она по настояниям Аннеты прибегла к

медицинской помощи, то врачи предписали ей, вместо всякого лекарства, свежий воздух, легкий моцион и развлечения. Но как достигнуть последнего условия? Однако она старалась, по мере сил, отвлечь свои мысли от предмета своего беспокойства и заняться заботами о чужом счастье, после того как она утратила свое собственное. Вечером, в хорошую погоду, она предпринимала поездки по соседству, посещая избытки некоторых бедных арендаторов: положение их она уже настолько изучила, что могла, даже не расспрашивая их, оказывать им деятельную помощь.

Нездоровье и дела, касающиеся ввода во владение имением, задержали ее в Тулузе гораздо дольше срока, назначенного ею для возвращения в «Долину», а теперь ей не хотелось уезжать из единственного места, где она могла получить разъяснения о предмете своих опасений. Но пришла пора, когда присутствие ее в «Долине» становилось необходимым. Бланш уведомляла ее письмом, что она в настоящее время гостит с отцом в замке барона Сент Фуа и что они собираются посетить ее в «Долине», как только та известит их о своем прибытии туда. В заключение письма Бланш прибавляла, что они задумали посетить ее в надежде, что удастся уговорить ее вернуться с ними в замок Ле-Блан.

Эмилия ответила на письмо своей юной подруги, сообщив ей, что через несколько дней она уже будет в «Долине», и затем занялась поспешными сборами в дорогу. Покидая Тулузу, она утешалась тем предположением, что если бы с Валанкуром действительно случилась беда, то за этот промежуток времени она успела бы узнать о ней.

Вечером накануне отъезда она пошла проститься с террасой и павильоном. Весь день стояла духота; но перед солнечным закатом прошел дождь и освежил воздух, придав лесам и пастбищам тот ярко — зеленый, веселый колорит, который так отраден глазу; дождевые капли, трепетавшие на кустах, сверкали при последних золотистых лучах заката; воздух был напоен дивным благоуханием трав, цветов и самой земли. Но прелестный вид, открывавшийся с террасы, уже не веселил сердца Эмилии. Она глубоко вздыхала, в то время как взор ее блуждал по чудной картине природы. Настроение ее духа было до такой степени удрученное, что она не могла без слез подумать о предстоящем ее возвращении в «Долину» и как будто вновь оплакивала кончину отца, точно это случилось лишь вчера. Дойдя до павильона, она села у открытого окна; устремив взор на далекие горы, возвышавшиеся над Гасконью и все еще окрашенные пурпуром заката, хотя солнце уже покинуло долину, она размышляла про себя: «Увы! скоро я вернусь на родину, но уже не встречу там ни отца, ни матери, с которыми я когда-то жила так счастливо, не увижу я больше никогда их улыбки приветя, не услышу их ласкового голоса. Все будет холодно и неприютно в родном доме, где когда-то царили радость и спокойствие!..» Слезы текли по ее щекам при воспоминании об отце; некоторое время она всей душой отдавалась своему горю, но затем отогнала от себя грусть и упрекнула себя в неблагодарности: оплакивая умерших, как могла она забыть о друзьях, оставшихся в живых? Наконец она покинула павильон и террасу, не увидав ни тени Валанкура или кого-либо другого.

ГЛАВА XLIX

*Счастливые холмы! Тенистые дубравы!
Любимые, прекрасные поля!
Где детство протекло беспечное мое,
Не зная горя и печали!
Я чувствую, как ветер, что оттуда дует,
Приносит мне мгновенную отраду, —
Измученную душу освежает.
Грэй*

На другое утро, чуть свет, Эмилия выехала из Тулузы и к закату солнца прибыла в свое имение «Долину». Когда улеглось первое потрясение, которое она испытала при виде тех мест, где жили ее родители и где протекло ее счастливое детство, к грустным впечатлениям

этого свидания примешалась и нежная, невыразимая радость. Время настолько притупило остроту ее горя, что теперь она с восторгом приветствовала каждый уголок, напоминавший о существах, дорогих ее сердцу, и она поняла, что «Долина» по-прежнему осталась ее любимым, родным домом. Одной из первых комнат она посетила бывший кабинет отца и уселась там в его кресле, воскрешая в своей памяти картины прошлого и проливая слезы, — но их никак нельзя было бы назвать слезами скорби.

В самый день приезда она была приятно поражена визитом почтенного г.Барро, поспешно явившегося приветствовать дочь уважаемого друга, вернувшуюся в давно покинутый отчий дом. Эмилию очень обрадовало посещение старого друга, и она провела целый час в интересной беседе с ним о делах минувших дней и о том, что случилось с каждым из них после того, как они расстались.

Было уже довольно поздно, когда ушел Барро, и Эмилия не успела сойти погулять в сад; зато на другое утро она с горячим чувством обошла каждое местечко, каждый уголок давно покинутого сада, и когда она проходила по роще, насаженной отцом, где они часто гуляли с ним, дружески беседуя между собой, в ее воображении с поразительной ясностью обрисовались его лицо, его улыбка, ей почудился даже звук его голоса... и сердце ее растаяло от этих нежных воспоминаний.

Кстати, осень была его любимым временем года: отец и дочь часто вместе восхищались разнообразными оттенками листвы и волшебными эффектами осенних теней в горах; и теперь та же картина пробудила у нее целый рой воспоминаний. Пока она задумчиво прохаживалась по саду, в голове ее сложилось следующее обращение к осени:

К ОСЕНИ

Прелестная осень! Твоя грустная краса
Трогает мое сердце, когда я брожу в тени густого сада;
Убаюканная твоими вздохами, я с грустью вспоминаю
Картины прошлого, воскресшие в задумчивой душе!
Любимые места, любимые друзья, давно умершие, вокруг
меня, восстали,
И вызвали и мысли нежные и тихую слезу печали!
Слеза эта дороже для меня веселья!..
Твою прощальную улыбку я с грустью созерцаю,
Сияющий наряд густого леса,
Весь пейзаж далекий, тронутый осенней желтизной
Извилистый поток, теперь окутанный густою тенью.
Где только белый парус ловит солнца блик... ;, ; ,
Но вдруг картина изменилась:
Промчалась туча и волна опять блистает!
Эмблема жизни — Так пестры ее предначертанья.
Так радость вдруг сменяет горе!
И улыбка ясная лицо недавнего страдальца озаряет!

Приехав в «Долину», Эмилия первым делом навела справки о старой Терезе, бывшей служанке ее отца, которую, если помнит читатель, г.Кенель выгнал из дома, отдав его в аренду. Эмилии сказали, что старуха живет неподалеку в избушке, и Эмилия отправилась навестить ее; подходя к указанному месту, она была приятно удивлена, заметив, что домик стоит в прелестной местности, на зеленом склоне, осенен группой дубов и имеет необыкновенно уютный, опрятный вид. Она застала старушку в избе, отбирающей виноградные лозы; увидав свою молодую госпожу, она пришла в неописанный восторг.

— Ах, голубушка вы моя! — восклицала она. — А я думала, что мне уже никогда не придется свидеться с вами на этом свете, когда я услышала, что вы уехали в заморские края. Меня тут без вас жестоко обидели, барышня: взяли, да на старости лет и вытолкали из

дома моего доброго барина!

Эмилия выразила ей свое сожаление, но уверила старуху, что она успокоит ее на старости лет; между прочим, она похвалила ее хорошенький домик.

Тереза со слезами благодарила барышню за доброе слово.

— Да, слава Богу, — прибавила она, — у меня уютный уголок, благодаря доброте одного друга, который спас меня от нужды, когда вы были далеко... Он и поселил меня здесь!.. Но довольно об этом...

— Кто же этот добрый друг? — спросила Эмилия. — Кто бы он ни был, я отныне готова считать его также и своим другом.

— Ах, барышня! этот друг запретил мне благовестить о его добром деле, — я не смею даже сказать, кто он такой. Но как же вы переменились с тех пор, как мы с вами расстались! Такая бледненькая, да худая! А улыбка все такая же, что у папеньки-покойника! Да, улыбка не изменится, как и доброта, которую он передал вам. Ох, горюшко! — бедные люди лишились в нем благодетеля!

Эмилия была растрогана этим напоминанием о ее отце; заметив это, Тереза переменяла разговор.

— Слыхала я, барышня, — начала она, — будто г-жа Шерон вышла замуж за иностранца и увезла вас с собой за границу. Как-то она поживает?

Эмилия рассказала о смерти тетки.

— Увы! — промолвила Тереза, — если бы она не была родной сестрой моего господина, я бы и не любила ее — такая она была сердитая. Ну, а как поживает этот милый молодой барин, мосье Валанкур? Красивый юноша, да и добрый такой!.. Здоров он?

Эмилия пришла в сильное волнение.

— Да благословит его Господь! — продолжала Тереза. — Ах, дорогая моя, нечего конфузиться! ведь мне все известно! Вы думаете, я не знаю, что он влюблен в вас? В ваше отсутствие он беспрестанно приходил в замок и все бродил тут в страшной тоске! В каждую, бывало, комнату зайдет в нижнем этаже, а иной раз сядет в кресло, скрестит руки на груди, да так и просидит целый час, задумавшись и потупив глаза в землю. Очень любил он южную гостиную, — я ему сказала, что это была ваша комната; он подолгу оставался там, рассматривал картины, что вы рисовали, ваши книги. После он должен был вернуться в поместье брата, а потом...

— Ну, довольно, Тереза, — остановила ее Эмилия. — Как давно живешь ты в этой избушке и чем я могу помочь тебе? Хочешь здесь остаться или переселиться ко мне?

— Полно, барышня, — сказала Тереза, — не конфузьтесь же перед вашей бедной старой слугой; право же, нет ничего худого любить такого ставного молодого человека!

У Эмилии вырвался глубокий вздох.

— А как он бывало любил говорить о вас! За это и я полюбила его. Впрочем, он больше все слушал, что я рассказывала, а сам говорил мало. Однако я скоро догадалась, зачем он ходил в замок. Бывало, отправится в сад и по террасе к большому дереву и там сидит целый день с одной из ваших книг в руках: но читал-то он мало, мне кажется. Раз случилось мне пойти самой в ту сторону — вдруг слышу: кто-то разговаривает. Кто бы такой? думаю себе; ведь никого я в сад не впускала, кроме шевалье. Вот подхожу тихонько — и что же? это шевалье и разговаривает с самим собою, да все про вас! Твердит ваше имя и вздыхает так тяжело! Я подумала, в своем ли он уме? — но ничего не сказала и поскорее ушла.

— Перестань об этих пустяках, — сказала Эмилия, пробуждаясь из своей задумчивости, — мне это не нравится.

— А когда мосье Кенель отдал имение внаем, я думала, что у шевалье сердце разорвется от горя!

— Тереза, — серьезно остановила ее Эмилия, — не смей больше произносить даже имени шевалье!

— Не произносить его имени, вот как! — воскликнула Тереза, — до каких времен мы

дожили? А я так люблю шевалье больше всех на свете, после вас, барышня...

— Может быть, ты ошиблась, отдав ему свою привязанность, — возразила Эмилия, — стараясь скрыть свои слезы, — но как бы то ни было, мы с ним уже больше не увидимся.

— Не увидите?.. Я ошиблась?.. — восклицала Тереза. — Что же это такое? Нет, барышня, уж извините, а я не думала ошибаться — ведь это шевалье Валанкур поместил меня в этой избушке, это он помог мне на старости лет, когда г.Кенель выгнал меня вон из дома моего покойного господина!

— Шевалье Валанкур! — отозвалась Эмилия, вся затрепетав.

— Да, барышня, он самый! хотя он и взял с меня слово, что я никому не скажу, но как могла я удержаться, услышав, что о нем говорят дурно? Ах, дорогая моя барышня, я понимаю, что вы плачете, если поступили с ним жестоко, потому что более нежного сердца я еще не встречала ни у одного молодого человека! Он пришел мне на помощь в моей беде, когда вы уехали так далеко, а г.Кенель отказывался помочь и советовал мне опять поступить на службу. Увы! я уже слишком стара для этого! — Шевалье отыскал меня, купил мне эту избушку и дал мне денег на утварь; потом велел мне найти еще какую-нибудь бедную женщину, которая могла бы жить со мной, и распорядился, чтобы управляющий его брата выдавал мне содержание по четвертям, так что я могу жить безбедно. Подумайте-ка, барышня, ну разве нет у меня причин отзываться хорошо о шевалье Валанкуре?.. А между тем он не так богат, чтобы позволить себе такую благотворительность. Боюсь даже, что он вошел в изъясн из-за своего великодушия — срок платежа за эту четверть уже давно истек, а денег все нет, как нет! Да не убивайтесь так, барышня: разве вам неприятно слышать про доброту бедного шевалье?

— Неприятно!.. — отозвалась Эмилия и еще сильнее заплакала. — Как давно вы не видали его?

— Да уж давненько, сударыня.

— А когда имели от него известие? — спросила Эмилия с усиливающимся волнением.

— Увы! не имела вовсе с той самой поры, когда он неожиданно уехал в Лангедок; это было вскоре после возвращения из Парижа. Срок выдачи денег давно уже миновал, а я до сих пор их не получаю. Начинаю беспокоиться — не случилось ли с ним беды какой!.. Не будь так далеко до Этьюьера и не будь я хромая, уж я давно бы сбегала туда осведомиться, — а послать-то мне некого.

Беспокойство Эмили о судьбе Валанкура дошло до крайней степени; так как приличие не позволяло ей самой послать слугу в замок его брата, то она поручила Терезе нанять кого-нибудь, кто бы мог сходить к управляющему от Терезино имени и, попросив о выдаче четвертного содержания, кстати осведомиться о Валанкуре. Но пуще всего она умоляла Терезу никогда не упоминать ее имени в связи с именем Валанкура. Верная служба Терезы г.Сент Оберу служила ей ручательством, что она исполнит ее просьбу. Тереза радостно занялась отыскиванием какого-нибудь человека для исполнения поручения; затем Эмилия, снабдив ее некоторой суммой денег на жизнь, вернулась домой. Более чем когда-либо она скорбела о том, что такое золотое сердце, как у Валанкура, пришло в соприкосновение со светской порочностью: до глубины души ее трогало его деликатное внимание к ней самой, выразившееся в добром отношении к ее старой служанке.

ГЛАВА L

*...Уже бледнеет день,
Летит в свою родную рошу ворон,
Вздремнули добрые создания дня
И духи тьмы несутся за добычей.*
Макбет

Между тем граф де Вильфор с дочерью Бланш приятно прогостили две недели в замке

у барона и баронессы Сент Фуа; за это время они несколько раз предпринимали экскурсии в горы и приходили в восторг от романтической дикости Пиренейской природы. С сожалением распростился граф со своими старинными друзьями; он питал надежду скоро породниться с ними, так как решили, что молодой шевалье Сент Фуа, теперь провожавший их домой в Гасконь, будет обвенчан с Бланш, как только они вернутся в замок Ле-Блан. Путь из поместья барона к «Долине», родовому имению Эмили, вел через самые дикие области Пиренеев, недоступные для экипажей; поэтому граф нанял для себя и для своего семейства несколько мулов, а также пару дюжих проводников, хорошо вооруженных и знакомых с этой горной местностью; проводники хвастались, что изучили, как свои пять пальцев, каждый кустик, каждую ложбинку, знают названия всех высших точек этой цепи Альпов, каждое ущелье, каждую рощу, броды во всех потоках, через которые им придется переправляться, а также изучили в точности расстояния между пастушьими шалашами и охотничьими лачужками, мимо которых лежит их путь — эта последняя статья не требовала, впрочем, обширной памяти: жилища попадались очень редко в этих пустынях.

Граф выехал из замка Сент Фуа рано поутру с намерением переночевать в маленькой гостинице в горах, на полпути к «Долине»; гостиницу рекомендовали ему проводники, и хотя она преимущественно посещалась испанскими погонщиками мулов по пути во Францию и там нельзя было надеяться встретить большие удобства, но у графа не оставалось другого выбора — это был единственный постоянный двор по дороге.

После целого дня утомительного пути и бесконечных восторгов по поводу живописности края, путники очутились на закате солнца в лесистой ложине, сдавленной между крутыми утесами. Перед тем они проехали несколько миль, не встретив ни единого человеческого жилья, и только слышали несколько раз вдаль унылое позвякивание овечьих колокольцев. Но теперь вдруг раздалась невдалеке веселая музыка, и в маленьком зеленеющем углублении между скал они увидели группу пляшущих горцев.

Граф не мог равнодушно относиться ни к чужой радости, ни к чужому горю, — он остановился полюбоваться на эту сцену незатейливого деревенского веселья. Группа французских и испанских крестьян, обитателей соседней деревушки, весело плясала, причем женщины били в кастаньеты, под музыку лютни и тамбурина. Но вот вдруг бойкая французская мелодия сменилась медленным, тягучим темпом, и две девушки принялись танцевать испанский паван.

Граф сравнивал эту незатейливую пляску со сценами веселья, еще недавно виденными в Париже, где искусственная краска на лицах танцующих никак не могла заменить природного румянца, где вместо непринужденного оживления царило одно жеманство, вместо искреннего веселья — притворство и аффектация, где самый воздух заражен пороком; граф вздыхал, размышляя, что естественная грация и невинные удовольствия процветают только в глуши — их нельзя встретить в странах цивилизованного общества. Но удлиняющиеся тени напомнили путешественникам, что им нельзя терять времени; покинув веселую группу поселян, они продолжали путь к маленькой гостинице, где должны были провести ночь.

Лучи заходящего солнца бросали желтый отблеск на сосновые и каштановые леса, покрывавшие нижние области гор, и сияли на снеговых пиках. Но вскоре и эти блики потухли, пейзаж принял более суровый характер, погрузившись в вечерний сумрак. Там, где раньше виднелся поток, теперь он был только слышен; где раньше дикие утесы представляли неистощимое разнообразие форм и очертаний, — теперь там торчала сплошная каменная гряда; долину, сиявшую далеко внизу, как страшная пропасть, уже не видно было глазу. Печальный отблеск все еще держался на самых высоких вершинах Альп; они как бы смотрели с высоты на глубокий вечерний покой и делали тишину, разлитую в природе, еще более торжественной.

Бланш молча оглаживала местность и задумчиво прислушивалась к шуму сосен, тянувшихся темными линиями по горам, и к слабому вою барсука в горах, раздававшемуся по временам в вечернем воздухе. Но ее упоение сменилось страхом, когда она в полутьме

заглянула в пропасть, зиявшую на краю дороги: ей почудились всевозможные фантастические опасности, таившиеся в этом мраке. Она спросила отца, далеко ли еще до гостиницы и не думает ли он, что опасно ехать в такой поздний час.

Граф повторил первый из этих вопросов, обратившись к проводникам, а те отвечали неопределенно, прибавив, что когда совсем смеркнется, то безопаснее было бы сделать привал и подождать, пока взойдет луна.

— Очевидно, теперь уже небезопасно ехать дальше, — сказал граф дочери.

Но проводники уверяли, что пока еще можно. Бланш, несколько ободрившись, опять отдалась приятной задумчивости, наблюдая, как разливаются сумерки над горами и лесами, как с каждой минутой скрываются от глаз и исчезают все мелкие подробности пейзажа и наконец остаются одни лишь общие очертания. Затем тихо пала роса; каждая ароматическая травка, каждый дикий цветок, распутившийся между скал, издавал сладкое благоухание; горная пчела забралась на свое цветущее ложе, замолкли все маленькие насекомые, днем весело жужжавшие в солнечных лучах, и раздался в отдалении, неслышный до тех пор, рокот многочисленных ручьев и потоков. Бодрствовали только летучие мыши; многие из них беззвучно проносились мимо Бланш, и она припомнила следующие строки, сообщенные ей Эмилией.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Подальше от людей, от яркого дневного света
Ты забиваеагся в обросшую плющом, полуразрушенную
башню,
Или в густую чащу романтической долины,
Где колдуны готовят свои мистические чары,
Где таится мрачный ужас и глухая злоба...
Но в тихий, сладостный вечерний час,
Когда в дремоту погрузились томные цветы,
Ты носишься по воздуху, как тень,
Обманивая глаз, следящий за твоим полетом.
Резвишься, мечешься и весело кружишься.
Летишь навстречу страннику усталому,
Когда он тихими шагами бредет тропой росистой,
С индейских островов ты прилетаешь с колесницей лета,
И сфера твоя — сумерки, путеводительница — вечерняя
звезда.

Для пылкого воображения эти расплывчатые образы, носящиеся в вечернем сумраке, представляют больше прелести, чем яркие картины, залитые солнечным светом. Когда фантазия витает над пейзажами, отчасти ею же самою созданными, какая-то грусть охватывает нашу душу:

Тончайшие в нас будит чувства —
И сладкую слезу восторга исторгает.

Отдаленный грохот потока, слабый шелест бриза среди листвы, далекие звуки человеческого голоса, которые то слышатся, то пропадают, — все это удивительно усиливает восторженное настроение души. Молодой Сент Фуа, несомненно одаренный пылкой фантазией и чуткий к энтузиазму, порою нарушал молчание, охватившее все маленькое общество, указывая Бланш на поразительные эффекты вечернего пейзажа. Бланш перестала трусить под влиянием речей своего жениха и отдалась таким же впечатлениям, как и он. Молодые люди беседовали между собой тихими, сдержанными голосами; на них действовала задумчивая тишина вечера и всей окружающей природы. Сердце молодого

человека размягчалось под влиянием очаровательной природы, и от восхищений ею он постепенно перешел к своей любви: он все говорил, а Бланш слушала, до тех пор, пока наконец оба позабыли о горах, о лесах и волшебных иллюзиях сумерек.

Вечерние тени скоро сменились тьмою, наступившей несколько раньше обыкновенного, благодаря туману, который сгущался в горах и темными грядками полз по их склонам. Проводники предложили отдохнуть немного, пока не взойдет луна, прибавив, что, кажется, надвигается гроза. Оглядываясь вокруг и стараясь отыскать какое-нибудь пристанище, путники увидели на скале, пониже, какой-то предмет, смутно выделявшийся в потемках: они приняли его за шалаш охотника или пастуха и осторожными шагами направились в ту сторону. Однако ожидания их не оправдались; достигнув цели своих поисков, они убедились, что это монументальный крест, отмечавший место, где когда-то совершилось убийство.

В потемках не было возможности разобрать надписи на кресте; но проводники знали, что он был воздвигнут в память некоего графа де Белиара, зарезанного на этом самом месте шайкой бандитов, наводившей страх на эту область несколько лет тому назад; необычайные размеры памятника, по-видимому, подтверждали предположение, что он был воздвигнут для увековечения знатного вельможи. Бланш вздрагивала, слушая ужасающие подробности его судьбы, которые передавал один из проводников тихим, сдержанным тоном, точно пугаясь звуков собственного голоса; но пока они медлили у подножия креста, слушая его рассказ, вспышка молнии озарила скалы, вдали загрохотал гром, и перепуганные путники покинули это мрачное место убийства в поисках какого-нибудь убежища.

Выйдя на первоначальную дорогу, проводники старались позабавить графа различными историями о разбойниках и даже об убийствах, совершенных в тех самых местах, по которым они неизбежно должны были ходить, расписывая свои собственные неустрашимые подвиги и поразительные случаи спасения от разбойников. Главный проводник, то есть тот, который был вооружен лучше другого, вытащил один из четырех пистолетов, заткнувших у него за пояс, и поклялся, что из него он застрелил трех разбойников в течение года. Затем он помахал в воздухе складным ножом огромных размеров и приготовился рассказывать о поразительных экзекуциях, совершенных этим ножом, но его остановил Сент Фуа, заметивший испуг Бланш. Граф между тем исподтишка посмеивался над этими страшными историями и нелепым хвастовством проводника, — ему захотелось его поморочить. Шепнув Бланш о своем намерении, он принялся рассказывать свои собственные подвиги, стараясь перещеголять проводника в хвастовстве и доблестях.

Своим удивительным приключениям он так искусно умел придать правдивую окраску, что под влиянием их храбрость проводника значительно поколебалась, и они долго молчали после того, как граф окончил свои рассказы. Словоохотливость главного проводника несколько поулеглась, зато зоркость его зрения и острота слуха удвоились: он с тревогой прислушивался к глухим раскатам грома, раздававшимся по временам, и часто замедлял шаги, когда поднявшийся порывистый ветер шелестел в соснах. Но вот вдруг он остановился, как вкопанный, перед группой пробковых дубов, нависших над дорогой, и выхватил из-за пояса пистолет, словно ожидая, что сейчас выскочат бандиты из-за деревьев. Тогда граф уже не мог удержаться от смеха.

Добравшись до площадки, немного защищенной от ветра нависшими скалами и рощей лиственниц, возвышавшейся над пропастью слева, наши путешественники, приняв во внимание, что проводники не знают, далеко ли еще осталось до гостиницы, решили отдохнуть здесь, пока взойдет луна, или пройдет гроза. Бланш, очнувшись к осознанию действительности, с ужасом глядела на окружающий мрак; при помощи Сент Фуа она сошла с мула и путешественники забрались в род пещеры, если можно так назвать неглубокую выемку, образуемую нависшей скалой. Высекли огня, развели костер, и пламя его придало всей картине немного больше веселости и уюта: весь день стояла жара, а ночи в этих горных областях всегда холодные. Костер был отчасти нужен и для того, чтобы не подпускать волков, водившихся в этих пустынных местностях.

На выступе скалы разложили провизию, и граф с семьей принялись за ужин, показавшийся особенно вкусным в такой непривычной, грубой обстановке. Когда окончили закусывать, Сент Фуа, нетерпеливо ожидавший восхода луны, пошел побродить по краю обрыва, направляясь к выступу, обращенному к востоку; но вся окрестность была еще окутана мраком, и тишина ночная нарушалась только шумом леса внизу да отдаленными раскатами грома, а по временам голосами путешественников, от которых он отделился. Сент Фуа с умилением и трепетом глядел на гряды мрачных туч, которые неслись в верхних и средних сферах воздуха, и на молнии, разрезавшие тучи то безмолвно, то порою в сопровождении громовых раскатов, отдававшихся в горах, причем весь горизонт и обрыв, над которым он стоял, мгновенно озарялись этими вспышками. После этого наступала тьма и выделялся костер, разведенный в пещере; пламя бросало отблеск на части противоположных скал и на макушки сосновых лесов, пониже, тогда как все углубления, казалось, хмурились, оставаясь в глубокой тени.

Сент Фуа остановился и устремил взор на картину, открывавшуюся перед ним в пещере: изящная силуэтка Бланш представляла контраст с могучей фигурой графа, сидевшего возле нее на обломке камня, и обе эти фигуры казались еще эффектнее на фоне, который образовали проводники в своих живописных костюмах и слуги, сопровождавшие графа. Интересен был и эффект освещения: оно падало светлым, бледноватым пятном на группу фигур, сверкая на оружии, тогда как зелень гигантской лиственницы, бросавшей тень на скалу сверху, горела темным багровым отблеском, почти незаметно сливавшимся с тьмою ночи.

Пока Сент Фуа любовался этой сценой, луна — огромная, желтая — поднялась над восточными вершинами и смутно озарила величие небес — массу испарений, сползавших вниз с обрыва, и слабые очертания далеких гор.

Какое наслаждение стоять над бездной,
Как после бури на пустынном берегу
И созерцать, как облака тумана
Грядами ходят и волнуются вокруг.

Из этих романтических грез Сент Фуа был пробужден голосами проводников, повторявших его имя, — зов их разносился эхом между утесов, и казалось, будто его зовут сотни голосов. Молодой человек тотчас же успокоил встревожившихся за него графа и Бланш. Так как все-таки надвигалась буря, то они не покидали своего пристанища, и граф, поместившись между своей дочерью и Сент Фуа, старался развлечь трусовшую Бланш беседой, касающейся естественной истории этого края. Он говорил о минеральных и ископаемых богатствах, находимых в недрах гор; о жилах мрамора и гранита, которыми они изобиловали; о наслоениях раковин, открытых близ вершин, на высоте многих саженей над уровнем моря и на громадном отдалении от его нынешнего берега; о грозных, пропастях и пещерах в скалах, о причудливых очертаниях гор и о разнообразных явлениях вселенной, носящих отпечаток всемирного потопа. От естественной истории он перешел к политическим событиям и явлениям, связанным с гражданской историей Пиренеев, назвал некоторые из самых замечательных крепостей, воздвигнутых Францией и Испанией в горных проходах, и привел краткий очерк наиболее знаменитых осад и столкновений, происходивших в давние времена, когда честолюбие впервые спугнуло уединение из этих горных пустынь и когда горы, где до тех пор раздавался лишь грохот потоков, огласились звоном оружия и обагрились человеческой кровью.

Бланш, с напряженным вниманием слушала эти рассказы, придававшие особенный интерес этим местам; она чувствовала некоторое волнение от сознания, что у нее под ногами та самая почва, где разыгрывались все эти кровопролитные события; вдруг ее мечтательное настроение было нарушено каким-то звуком, принесенным ветром: то был отдаленный лай сторожевой собаки. Путешественники прислушивались с горячей надеждой; ветер

усиливался, и им казалось, что звуки доносятся очень издалека. Проводники же почти не сомневались, что лай несется с постоянного двора, который они ищут, поэтому граф решил продолжать путь. Скоро луна стала давать более яркий, хотя все еще довольно неопределенный свет, так как ее беспрестанно заволакивали тучи; и путешественники, направляясь по звуку, стали подвигаться вперед по краю обрыва, предшествуемые одиноким факелом, пламя которого боролось с лунным светом; проводники, надеясь добраться до постоянного двора вскоре после солнечного заката, не позаботились припасти побольше факелов. Молча, осторожно пробирались они по звуку, раздававшемуся лишь от времени до времени; наконец лай совершенно замолк. Проводники старались, однако, направлять свой путь в то место, откуда он раньше доносился; но глухой рев потока вскоре заглушил все звуки, и вот они подошли к грозной пропасти: дальше невозможно было подвигаться. Бланш слезла со своего мула; граф и Сент — Фуа сделали то же, между тем как проводники ходили по краю пропасти, ища какого-нибудь моста, хотя бы первобытного, для переправы на ту сторону; наконец они признались в том, что граф давно уже подозревал, а именно, что они окончательно сбились с дороги.

На некотором расстоянии отыскивали наконец первобытную, опасную переправу, в виде огромной сосны, поваленной через пропасть, вероятно, каким-нибудь охотником, в погоне за козой или волком. Все путешественники, за исключением проводников, с трепетом глядели на альпийский мостик без перил, по бокам которого зияли пропасти: свалиться с него значило убиться насмерть... Проводники, однако, приготовились вести по нему мулов, между тем как Бланш стояла вся дрожа на краю и слушала рев потока, который устремлялся со скалы, наверху осененной высокими соснами, оттуда низвергался вниз в глубокую пропасть, где его пена сверкала при лунном свете. Бедные животные двинулись по опасному мосту с инстинктивной осторожностью, не пугаясь шума водопада и не обманываясь темной тенью, бросаемой поперек их пути нависшей зеленью. Вот тут-то одинокий факел, до тех пор приносивший мало пользы, оказался неоценимым сокровищем. Бланш, трепещущая, испуганная, старалась собраться с духом, — впереди нее шел жених, отец поддерживал ее под руку, и вот она пошла за красным пламенем факела и благополучно переправилась на ту сторону.

По мере того, как они подвигались дальше, две гряды утесов тесно подступали друг к другу, образуя узкий проход, на дне которого грохотал поток, через который они только что переправились. Но опять их подбодрил лай собаки, сторожившей, очевидно, стадо овец в горах, охраняя их от ночного нападения волков. Звук слышался уже гораздо ближе прежнего; путники радовались надежде скоро добраться до убежища, где можно отдохнуть, как вдруг в отдалении мелькнул огонек. Мелькнул он на высоте, повыше их тропинки, потом скрылся, потом опять показался, как будто качающиеся ветви деревьев по временам скрывали его из виду. Проводники аукнули изо всех сил, но в ответ им не послышалось человеческого голоса; наконец, прибегнув к более действенному средству обратить на себя внимание, они выстрелили из пистолета. Но пока они прислушивались в тревожном ожидании, шум, произведенный выстрелом, один разносился между утесов; постепенно эхо ослабевало и совсем замерло, но дружеского голоса все не было слышно. Однако огонек, виденный раньше, стал яснее, и вскоре ветром стало доносить какие-то смутные голоса. Но когда проводники принялись опять громко звать, голоса мгновенно смолкли и свет исчез.

Бланш совсем изнемогала от усталости, беспокойства и страха; соединенным усилием отца и Сент Фуа едва удавалось поддерживать в ней некоторую бодрость духа. Они продолжали подвигаться вперед и вдруг увидели на вершине скалы какой-то предмет, в который ударили в ту минуту яркие лучи луны: оказалось, что это сторожевая башня. Судя по ее положению и по некоторым другим признакам, граф пришел к убеждению, что это так; думая, что огонек виднелся именно оттуда, он старался ободрить дочь свою близкой надеждой на отдых и убежище, хотя бы самое незатейливое: многого нельзя было и ожидать от полуразрушенной сторожевой вышки.

— Таких сторожевых вышек было воздвигнуто множество в Пиренейских горах, —

заметил граф, которому хотелось развлечь Бланш и успокоить ее страхи, — оттуда извещали о приближении неприятеля посредством огней, которые зажигались на верхушке этих сооружений. Таким путем иногда передавались сигналы с одного поста на другой вдоль всей пограничной линии, протяжением в нескольких сот миль. И вот, когда являлась надобность, подстерегающие войска выступали из своих крепостей или из лесов и шли на защиту какого-нибудь важного прохода; расположившись там на высотах, они нападали врасплох на удивленного неприятеля, идущего по долине внизу, обломками камней сея среди них смерть и поражение. Старинные форты и сторожевые вышки над главными горными проходами в Пиренеях тщательно сохраняются; но некоторые из второстепенных пришли почти в полное разрушение и в настоящее время превращены в мирные жилища охотников или пастухов, которые после дневного труда удаляются в эти башни со своими верными собаками и у пылающего очага забывают и трудности погони за зверем, и хлопотливое собиранье стада; здесь они находят себе приют и защиту от ночной бури.

— Но разве всегда бывают такие мирные обитатели в этих башнях? — полюбопытствовала Бланш.

— Не всегда, — отвечал граф, — иной раз они служат убежищем для французских и испанских контрабандистов, которые перевозят через горную цепь контрабандные товары из своих стран; особенно много испанцев занимаются этим ремеслом; против них посылают сильные отряды королевских войск. Эти авантюристы, зная, что если они попадутся, то принуждены будут искупить нарушение закона жесточайшей казнью, совершают свои экспедиции большими шайками и хорошо вооружены; их отчаянность часто устрашает солдат. Впрочем, контрабандисты ищут только чтобы их оставили в покое, и никогда не вступают в бой, когда могут этого избежать; войска тоже, сознавая, что в этих стычках им угрожает опасность, а слава почти недостижима, дерутся неохотно; поэтому редко дело доходит до столкновения, но уж если оно случается, то всегда оканчивается отчаянным, кровопролитным боем. Но ты меня не слушаешь, Бланш, — прибавил граф, — прости, что я надоел тебе такой скучной материей; но посмотри, вон там стоит озаренное луною здание, куда мы стремились. Слава Богу, нам посчастливилось достигнуть его раньше, чем разразилась буря.

Бланш, подняв глаза, увидела, что они действительно находятся у подошвы утеса, на вершине которого стояло здание; но света там не было видно; лай собаки также пока прекратился, и у проводников уже явилось сомнение, туда ли они направлялись. На расстоянии, да еще при тучах, то и дело застилавших луну, здание казалось обширнее, чем обыкновенно бывают эти одинокие сторожевые вышки; главная трудность состояла в том — как взобраться на утес: на обрывистом склоне его не видно было ничего похожего на тропинку.

Проводники пошли вперед с факелом, чтобы поближе осмотреть утес, а граф с Бланш и молодым Сент Фуа остались у подошвы его, под тенью деревьев; граф опять пробовал скоротать время в разговорах, но душою Бланш овладела мучительная тревога. Тогда граф потихоньку стал советоваться с Сент Фуа о том — желательно ли, если найдут доступную тропинку, забираться в здание, которое, быть может, служит притоном для бандитов. Оба соображали, что их отряд довольно многочислен, причем некоторые из людей хорошо вооружены; и если принять во внимание опасности, сопряженные с ночевкой под открытым небом в пустынной местности, да еще в грозу и бурю, то пожалуй и выйдет, что следует рискнуть искать убежища в этой башне кто бы ни были ее обитатели; но отсутствие огня и мертвое безмолвие, царившее вокруг здания, по-видимому, опровергали предположение, что оно обитаемо.

В эту минуту крик проводников привлек их внимание; через некоторое время вернулся один из слуг графа с известием, что найдена тропинка. Все бросились тотчас же вслед за проводниками и стали карабкаться по узкой, извилистой дорожке, высеченной в скале между карликовыми деревьями; после многих усилий и некоторой опасности путники достигли вершины утеса, где оказалось несколько полуразрушенных башен, окруженных массивной

стеною и частью освещенных луной. Пространство вокруг здания было пустынно и, по-видимому, заброшено; но граф был осторожен.

— Пробирайтесь беззвучно, — промолвил он тихим голосом, — пока мы осмотрим здание.

Пройдя молча несколько шагов, они остановились перед воротами, казавшимися грозными даже в их разрушенном состоянии, и после минутного колебания прошли во двор; но тут опять остановились у входа на террасу, которая тянулась по краю обрыва. Над нею возвышался главный корпус здания, которое вблизи оказалось вовсе не сторожевой вышкой, а одною из тех старинных крепостей, которые от ветхости и небрежения превратились в руины. Некоторые части ее, однако, уцелели; она была сооружена из серого камня, в тяжелом саксонско-готическом стиле, с огромными круглыми башнями и устоями соответственных размеров; арка больших ворот, как будто сообщавшаяся с сенями здания, была круглая, как и окно над нею. Величавый вид, вероятно, отличавший это сооружение во дни его бывшего могущества, теперь усугублялся его поломанными зубцами, полуразрушенными стенами и громадной массой камней, наваленных на обширном дворе, теперь безлюдном и заросшем травой. В этом же дворе виднелись останки исполинского дуба: очевидно, он процветал и пришел в разрушение вместе со зданием, которое он как будто хмуро охранял своими немногими уцелевшими ветвями, лишенными листьев и покрытыми мхом; по громадным размерам этих ветвей можно было судить о том, каким гигантским было дерево в былые века. Крепость эта, несомненно, была когда-то чрезвычайно могущественной, и по своему положению на утесе, нависшем над глубокой лощиной, обладала огромной силой обороны и способностью держать неприятеля в страхе: глядя на нее, граф удивлялся, как допустили, чтобы она пришла в разрушение, и ее теперешнее запустелое, заброшенное состояние возбудило в нем какое-то тоскливое чувство. В то время, как он отдавался этим впечатлениям, ему показалось, что внутри здания доносится звук отдаленных голосов, нарушая мертвую тишину, и он опять окинул пытливым взором фасад здания, но огня нигде не было видно. Тогда он решил обойти кругом форта, чтобы пробраться в ту отдаленную часть его, откуда, по-видимому, неслись голоса, и посмотреть, не видно ли там огонька, прежде чем отважиться постучаться в ворота; для этой цели он вошел на террасу, где в толстых стенах еще виднелись остатки пушек, но не успел он сделать несколько шагов, как его остановил громкий лай собаки изнутри, как ему показалось, тот же самый лай, который направил путешественников в эту сторону. Теперь уже нельзя было сомневаться, что здание обитаемо; граф вернулся, чтобы посоветоваться с молодым Сент Фуа, следует ли им домогаться, чтобы их впустили внутрь, так как одичалый вид здания немного поколебал его прежнюю решимость; но после вторичного совещания он решил все-таки подчиниться первоначальным соображениям. Он отрядил одного из своих слуг постучаться в ворота; тот отправился исполнять это распоряжение, как вдруг в бойнице одной из башен показался свет, и граф громко позвал; не получив ответа, он сам пошел к воротам и ударил в них окованным железом шестом, помогавшим ему карабкаться по круче. Когда замерло эхо, пробужденное этим стуком, возобновившийся лай (теперь уже лаяла не одна собака, а несколько) был единственным звуком, послышавшимся в ответ. Граф отступил на несколько шагов, чтобы взглянуть, есть ли еще свет в башне; заметив, что света нет, он опять вернулся к portalу, и уже поднял шест, чтобы ударить еще раз, как вдруг ему показалось, что слышится шум голосов внутри здания, и он остановился прислушаться. Догадка его подтвердилась, но голоса были чересчур отдаленны и доносился только смутный гул; тогда граф всей тяжестью ударил шестом об ворота, затем наступила глубокая тишина. Очевидно, обитатели здания услышали шум, и осторожность их относительно впуска незнакомцев произвела благоприятное впечатление на графа.

— Наверное, это охотники, или пастухи, — сказал он себе, — как и мы, они, должно быть, заблудились и приютились здесь на ночлег, а теперь боятся впустить чужих, предполагая, что это разбойники. Постойте, я постараюсь успокоить их.

С этими словами он громко крикнул:

— Мы люди смирные, просим приюта на ночь!

Через несколько минут внутри послышались шаги — и чей-то голос спросил:

— Кто там зовет?

— Друзья, — отвечал граф, — отойдите ворота и узнаете все.

Слышно было, как отодвигались тяжелые засовы; вслед затем появился человек, вооруженный охотничьим копьем.

— Что вам нужно в такой поздний час? — осведомился он. Граф поманил к себе своих слуг, потом ответил, что он желал бы узнать дорогу к ближайшей избушке.

— Разве вы так мало знакомы со здешней местностью, что не знаете, что никакой избушки нет на расстоянии нескольких миль? Я не могу указать вам дорогу; ищите сами, вот и луна взошла.

Сказав это, он собрался захлопнуть ворота, и граф уже поворачивал назад, не то разочарованный, не то испуганный, как вдруг раздался другой голос над ним; взглянув вверх, граф увидел огонь и чье-то лицо за решеткой окна.

— Стой, друг, ты сбился, что ли, с дороги? — спросил незнакомец. — Небось вы такие же охотники, как и мы? Погодите, я сейчас выйду к вам.

Голос замолк, свет исчез. Бланш была испугана видом человека, отпировавшего ворота, и стала просить отца уйти отсюда, не долго думая; но граф заметил охотничье копье в руках незнакомца, а слова, произнесенные из башни, побуждали его выждать, что будет дальше. Ворота скоро отворились: появилось несколько человек в охотничьей одежде; выслушав объяснение графа, они сказали, что приглашают его отдохнуть и провести ночь в их жилище. С необыкновенной учтивостью они попросили его войти и принять участие в их ужине, за который они как раз собираются садиться. Граф, все время внимательно наблюдавший этих людей, пока они говорили, держался с опаской и довольно недоверчиво. Но, с другой стороны, он очень устал, боялся надвигающейся грозы и ему не хотелось блуждать в горах в глухую полночь; кроме того, доверяя силе и численности своих слуг, он после некоторого раздумья решил принять приглашение. С этим намерением он созвал своих слуг, и те, обойдя башню, позади которой они молча слушали эти переговоры, последовали за своим господином, Бланш и Сент Фуа внутрь крепости. Незнакомцы ввели их в большую, мрачную залу, которую только отчасти можно было рассмотреть при свете очага, пылавшего в дальнем конце ее; вокруг очага сидели четверо людей в охотничьих костюмах, а у ног их, растянувшись, спали несколько собак. В середине залы стоял большой стол, а над очагом жарилось жаркое, часть какого-то крупного зверя. Когда подошел граф, люди встали; собаки, приподнявшись, свирепо покосились на пришельцев, но, услышав голоса своих хозяев, успокоились и остались в прежних позах у очага.

Бланш оглядела огромную, мрачную залу, потом бросила взгляд на людей и на отца; тот, весело улыбаясь ей, обратился к охотникам:

— Какой гостеприимный очаг, — молвил он, — пламя так живительно действует на человека после долгой ходьбы по здешним суровым пустыням. Ваши собаки измучены. Удачна ли была охота?

— Как обыкновенно, — отвечал один из людей, сидевших раньше у огня, — мы бьем дичь почти наверняка.

— Вот тоже товарищи-охотники, — заговорил один из тех, которые привели в залу графа с его свитой, — они заблудились в горах, и мы сказали им, что здесь, в крепости, хватит места на всех.

— Правда, правда! — подхватил один из его товарищей, — а вам как повезло на охоте, братцы? Вот мы так убили двух серн; ведь недурно, а?

— Вы ошибаетесь, друг мой, — отвечал граф, — мы вовсе не охотники, а просто путешественники; но если вы позволите нам принять участие в охотничьем ужине, то мы будем очень рады и отблагодарим вас за ваше угощение.

— Так садитесь же, брат мой, — пригласил один из хозяев. — Жак, подбрось-ка топлива в очаг, скоро козленок наш поспеет. Принеси стул для барышни. Мадемуазель, не

угодно ли отведать нашей водки? Настоящая барселонская и светлая, как слеза.

Бланш робко улыбалась и хотела было отказаться, но отец перебил ее, взяв с добродушным видом предложенный ей стакан; а мосье Сент Фуа, сидевший с нею рядом, пожал ее руку и бросил на нее подбадрывающий взгляд; вдруг внимание Бланш привлек какой-то человек, молча сидевший у огня и наблюдавший Сент — Фуа серьезным, пристальным взором.

— Вам здесь весело живется! — заметил граф. — Жизнь охотника — приятная, здоровая жизнь; отдых сладок после такого труда.

— Да, — согласился один из хозяев, — жизнь наша довольно приятная. Но мы проводим здесь только летние и осенние месяцы; зимой тут жить скучно, а вздувшиеся потоки делают охоту невозможной.

— Это жизнь свободная, раздольная, что и говорить! — сказал граф, — право, мне очень хотелось бы провести месяц-другой по-вашему.

— Здесь лафа и нашим ружьям, — вставил один из людей, стоявших позади графа, — здесь водится множество превкусной пернатой дичи, питающейся диким тмином и травами, растущими в долинах. А кстати, там, в каменной галерее, висит связка дичи; ступай-ка, принеси ее сюда, Жак, мы ее зажарим.

Граф стал расспрашивать о способах преследования дичи среди скал и пропастей в этой романтической местности и с интересом слушал какой-то любопытный охотничий рассказ, как вдруг у ворот раздался звук рога. Бланш пугливо оглянулась на отца; тот продолжал разговаривать об охоте, хотя на лице его отразилось некоторое беспокойство и он беспрестанно обращал взор в ту часть залы, которая была ближе к воротам. Опять прозвучал рог, и вслед затем раздались громкие крики.

— Это наши товарищи вернулись с дневной работы, — проговорил один из людей, лениво поднимаясь с места и идя к воротам. Через несколько минут появилось еще двое людей с ружьями через плечо и с пистолетами, заткнутыми за пояс.

— Ну, что у вас тут нового, ребята, что нового? — говорили они подходя.

— А вам, братцы, повезло ли? — отозвались их товарищи. — Принесли с собою ужин? Если нет, то ничего и не получите.

Ха, а вы кого это привели сюда? — заговорили новоприбывшие на ломаном испанском языке, заметив графа и его свиту. — Откуда они — из Франции или из Испании? Где это вы их, черти, подцепили?

— Они повстречались с нами, — отвечал громко один из их товарищей на чистом французском языке. — Вот этот барин со своей свитой заблудились в горах и просили ночлега у нас в крепости.

Новоприбывшие ничего не ответили, но сбросили с плеч котомки и вытащили оттуда несколько связок дичи. Мешок грузно шлепнулся об пол и внутри его сверкнуло что-то яркое, металлическое; граф это заметил и с еще большим вниманием начал рассматривать человека, державшего котомку. Это был дюжий, рослый парень, с суровым лицом и короткими, вьющимися черными волосами. Вместо охотничьего платья на нем был надет поношенный военный мундир; на толстых ногах его в коротких штанах были зашнурованы сандалии. На голове торчала кожаная шапка, несколько похожая формой на старинный римский шлем, но насупленные под ним брови скорее напоминали варваров, покоривших Рим, чем самих римских солдат. Граф, наконец отвернулся от него и некоторое время сидел молча, задумавшись; потом, снова подняв глаза, он заметил какую-то фигуру, стоящую в отдаленном углу залы и пристально уставившуюся на Сент Фуа, который в это время разговаривал с Бланш и не замечал этого пристального взора. Вскоре граф увидел, что этот самый человек через плечо другого, одетого в солдатский мундир, также пристально воззрился на него самого. Он отвел взор, встретившийся с глазами графа, и тот почувствовал, что им вдруг овладело подозрение, но боялся, чтобы его лицо не выдавало тревоги: он заставил себя через силу улыбнуться и обратился к Бланш с каким-то незначительным замечанием. Оглянувшись опять, он убедился, что солдата и его товарища уже нет в зале.

Тот, кого звали Жаком, вернулся из каменной галереи.

— Мы там развели огонь и птицы жарятся, — объявил он, — стол уже накрыт, пойдем туда, там потеплее будет, чем здесь.

Товарищи одобрили это перемещение и пригласили гостей пройти в галерею. Но Бланш молча, с беспокойством озиравшись, а Сент Фуа переглянулся с графом. Тот заявил, что предпочитает остаться здесь: он так уютно расположился у очага. Охотники же настаивали на переселении в галерею с такой видимой приветливостью, что граф, хотя и сомневался в душе, но боялся выдать свою тревогу и наконец согласился пойти за ними. Длинные, полуразвалившиеся ходы, по которым они направились, несколько пугали графа, но на дворе страшно грохотал гром и было бы опасно покидать это крытое убежище; поэтому он не стал раздражать своих хозяев, показывая, что не доверяет им. Охотники шли впереди с фонарем; граф и Сент Фуа, из любезности, взялись разделить их труд и несли каждый по табурету, а Бланш шла сзади колеблющимися шагами. По пути она зацепила платьем за гвоздь, вбитый в стене, остановилась и стала кропотливо освобождать свое платье; между тем граф, разговаривая с Сент Фуа и не заметив, что она отстала, повернули со своим проводником за угол коридора, и Бланш осталась одна в потемках. Раскаты грома заглушали ее зов; отцепив платье, она побежала за ними следом, по крайней мере, так ей показалось. Огонь, мелькавший в отдалении, подтверждал ее предположение. И вот Бланш, сбившись с пути, направилась к какой-то отворенной двери, откуда лился свет, думая, что эта комната и есть каменная галерея, о которой упоминал один из охотников. Оттуда слышались голоса; Бланш остановилась в нескольких шагах от двери, чтобы удостовериться, туда ли она идет. При свете лампы, висевшей с потолка, она увидела четырех каких-то людей, сидевших вокруг стола и, очевидно, державших совет. В одном из них она узнала того самого, который с таким пристальным вниманием разглядывал Сент Фуа: он говорил убежденным, хотя сдержанным тоном; другой горячо возражал ему. Вдруг все четверо загалдели разом, резкими грубыми голосами. Бланш страшно испугалась, увидев, что тут нет ни отца ее, ни жениха; ее встревожили зверские лица и дикие жесты этих людей; она хотела торопливо повернуть назад, чтобы разыскать наконец галерею, но вдруг услышала, как один из незнакомцев сказал:

— Полно спорить! Ну, какая тут опасность? Последуйте моему совету и опасности ровно никакой не будет — схватите этих главных, а с остальными расправа легкая...

Бланш, пораженная этими словами, остановилась, как вкопанная, чтобы слушать дальше.

— С остальных и взять-то нечего, — заметил один из людей. — Я никогда не стою за то, чтобы проливать кровь, если можно этого избежать — покончим-ка с теми двумя и готово дело: остальные пусть убираются.

— Ишь, как хорошо ты рассудил! — возразил первый злодей со страшным проклятием. — Славно! Чтобы они пошли, да разболтали, как мы расправились с их господином; ведь на нас пошлют королевские войска, а те потащат нас к колесу! Ты всегда был умником, парень. Небось, забыл канун Фомина дня в прошлом году?

У Бланш сжалось сердце от ужаса. Первым ее побуждением было поскорее отойти от двери; но ее дрожащие ноги отказывались повиноваться; спотыкаясь, сделала она несколько шагов в более темный угол коридора, но волей-неволей принуждена была слушать дальше страшные совещания головорезов; что они действительно бандиты — в этом она теперь уже не могла сомневаться. Через минуту до нее долетели такие слова:

— Так неужто же ты хочешь, чтобы уколошили всю компанию?

— Так что ж — их жизни стоят наших! — возразил ему товарищ. — Если мы не убьем их, то они подведут нас, и мы будем повешены. Уж лучше же им умереть, чем нам попасть на виселицу...

— Лучше, лучше! — закричали товарищи.

— Совершить убийство — ненадежный путь, чтобы избежать виселицы! — сказал первый злодей, — не один честный малый попадал в петлю таким манером!

Настало молчание; очевидно, все задумались и соображали.

— Черт побери наших молодцов, — нетерпеливо воскликнул один из разбойников, — давно уже им следовало бы вернуться; будь они тут, наше дело было бы совсем просто. Уж я вижу, что сегодня нам никак не справиться — нас меньше числом, чем противников; утром они захотят уйти, а как их удержишь иначе, как силком?

— Я уже обдумал один план: он пригодится, — заявил один из душегубов, — если бы можно было спровадить обоих кавалеров втихомолку, то с остальными легко было бы распорядиться.

— Славный план, ей-Богу! — заметил другой с презрительной улыбкой: — все равно, что сказать — если бы я мог прогрызть стену тюрьмы, то был бы на воле! Ну, как же прикажешь покончить с ними втихомолку?

— Очень просто: — отравить их! — подсказали товарищи.

— Прекрасно сказано! — одобрил второй злодей. — Смерть будет медлительная и это удовлетворит мою месть. Пусть остерегаются эти бароны дразнить нас!

— Сына-то я узнал сразу, — проговорил тот человек, которого Бланш видела наблюдающим молодого Сент Фуа, — меня он не знает, а вот отца я запомнил.

— Ну, говори что хочешь, — сказал третий злодей, — только не верю я, чтобы это был барон, а ведь мне он должен быть также известен, как и вам; ведь я был в числе наших храбрецов, которые производили нападение на него, а потом пострадали.

— А я-то разве там не был? — вмешался первый злодей. — Говорят вам, это и есть сам барон; да и не все ли равно, барон это, или другой кто... нельзя же выпускать из рук такой добычи... не часто нам выпадает такое счастье! Ведь и так мы постоянно подвергаемся опасности колесования за то, что провезем несколько фунтов табаку в ущерб королевской фабрике, или опасности сломать себе шею, гоняясь за дичью... Изредка лишь приходится ограбить какого-нибудь брата-контрабандиста или странствующего богомольца; так неужто же упускать такой приз? При них столько добра, что нам на весь наш век хватит.

— Ну, это для меня не самое главное... — возразил третий разбойник. — Только, если это в самом деле барон, то мне хотелось бы хорошенько потешиться над ним и отомстить за наших храбрых товарищей, которых по его милости вздернули на виселицу...

— Ладно, ладно, толкуй, — сказал первый, — говорят тебе, барон повыше будет ростом.

— К черту твою проклятую болтовню! — крикнул второй негодяй. — Выпустим мы его, что ли, из рук, или не выпустим? Если мы еще долго будем мямлить, то они раскусят, в чем дело, и удерут, не спросивши у нас позволения. Кто бы они там ни были, они люди богатые. Гляди-ка, сколько слуг! А видал ты, какой перстень на пальце у того, которого ты называешь бароном? Ведь алмаз чистейшей воды; но теперь его уже не видать: он заметил, что я смотрю на его палец, и снял перстень.

— Да, да! а видал ты картинку на шее у барышни? Та до сих пор не сняла ее, — заметил первый злодей, — эта штучка все болтается у нее на шее; кабы она не блестела так сильно, я бы и не приметил: она ее наполовину скрыла в складках платья; кругом все алмазы насажены... и страсть как их много...

— Но вот вопрос, как бы нам все это ловчее обделать? — вмешался второй разбойник. — Потолкуем-ка об этом ладком; нечего бояться, что будет мало добычи, но вот как бы захватить ее?

— Твоя правда, надо это обсудить хорошенько и помни, нельзя терять ни минуты.

— Я стою за яд, — заметил третий, — но подумай, как их много — человек девяносто вооруженных верзил: когда я увидел, что их такая уйма стоит у ворот, я было и впускать их не хотел, право! да ведь и ты небось тоже...

— Я подумал, что они все-таки наши враги, — сказал второй, — поэтому я не очень-то смотрел на то, сколько их.

— Зато теперь тебе придется-таки смотреть, иначе худо будет. Нас шестеро — не больше, как же нам справиться с десятью открытой силой? Говорят вам, надо некоторым из

них всыпать хорошую порцию зелья, а потом с остальными уж можно будет справиться.

— А я скажу тебе еще лучший способ, — нетерпеливо вставил другой. — Подойдика сюда поближе.

Бланш, слушавшая весь этот разговор в неопишемом страхе, уже не могла разобрать, что они говорили дальше: злодеи понизили голоса; но надежда на то, что она еще может спасти своих близких от гибели, вдруг оживила ее мужество и придала ей силу; она решила отправиться отыскивать галерею. Однако ее ужас и окружающая темнота помешали исполнению этого намерения. Она прошла несколько шагов почти в полном мраке; нога ее споткнулась о ступеньку поперек коридора, и она упала.

Шум падения встревожил бандитов; они сразу замолчали, потом все выскочили в коридор посмотреть, кто подслушивал их беседу. Бланш видела, что они приближаются, успела заметить их зверские, разгоряченные лица, но прежде чем она могла подняться, они увидели ее и схватили... затем поволокли в ту же комнату, где только что совещались; на вопли ее они отвечали страшными ругательствами и угрозами.

Войдя в комнату, они опять стали совещаться между собою, что делать с захваченной девицей.

— Сперва надо разузнать, что она слышала? — сказал главный разбойник.

— Долго ли вы простояли в коридоре, барышня, и зачем сюда забрались?

— Сперва давайте-ка сюда вашу картинку, — сказал другой его товарищ, подходя к дрожащей Бланш.

— Прелестная дама, с вашего разрешения — давайте вашу картинку, не то мы сами возьмем.

Бланш, умоляя о пощаде, тотчас же отдала миниатюру, между тем как другой негодяй расспрашивал ее относительно того, что она слышала из их разговора; ее смущение и испуг слишком ясно выражали то, что язык ее не решался высказать; злодеи многозначительно переглянулись между собой, и двое из них отошли в дальний угол, как бы для совещания.

— Ей-ей это настоящие, неподдельные бриллианты, — клянусь св.Петром! — воскликнул разбойник, рассматривая миниатюру, — да и картинка прехорошенькая! Пригожий молодой кавалер — ваш супруг, я полагаю, барыня... ведь это тот самый франт, что вертелся около вас сию минуту...

Бланш, изнемогая от ужаса, умоляла пощадить ее и, отдавая свой кошелек, обещала ничего не говорить о случившемся, лишь бы только ей позволили вернуться к своим.

Разбойник иронически усмехнулся и собирался отвечать, как вдруг внимание его было отвлечено каким-то отдаленным шумом; прислушиваясь, он крепко схватил руку Бланш, точно боялся, что она убежит, а она снова закричала о помощи.

Приближающийся шум вызвал других злодеев из противоположного конца комнаты.

— Нас выдали, — сказали они, — но сперва послушаем: может быть, это вернулись наши товарищи из своей экспедиции в горах; в таком случае, наше дело верное — послушайте-ка!

Отдаленный выстрел в первую минуту подтвердил это предположение; но вслед затем прежние звуки стали приближаться и из коридора послышался лязг мечей, злобные восклицания, тяжкие стоны... Злодеи начали готовить оружие; в ту же минуту они услышали, что их зовут товарищи откуда-то издали, затем раздался пронзительный звук рога вне крепости, по-видимому, какой-то сигнал, который все понимали; из них трое, оставив Бланш на попечении четвертого, мгновенно бросились вон из комнаты.

Пока Бланш, вся трепещущая и близкая к обмороку, молила выпустить ее, она различила среди приближающейся суматохи голос Сент Фуа; не успела она еще раз крикнуть, как дверь комнаты распахнулась настежь, и он вбежал, с лицом, залитым кровью, а за ним гналось несколько злодеев. Бланш больше ничего не видела и не слышала; голова у нее закружилась, в глазах потемнело, и она лишилась чувств на руках державшего ее разбойника.

Когда она очнулась, она увидела при тусклом, мерцающем свете, что находится в той

же комнате; но ни граф, ни Сент Фуа, ни кто-либо другой не показывались; некоторое время она лежала неподвижно, в каком-то столбняке. Но вот опять вернулись к ней страшные картины пережитого; она попробовала подняться, чтобы разыскать своих близких; вдруг жалкий стон в недалеком расстоянии напомнил ей о Сент Фуа и в каком положении он находился, когда вбежал сюда; тогда, с усилием поднявшись с пола, она подошла к тому месту, откуда доносился стон, и увидела тело, распростертое на полу; при тусклом мерцании лампы она разглядела бледное, искаженное лицо Сент Фуа... Легко представить себе ее ужас в эту минуту... Несчастный не мог говорить; глаза его были полузакрыты, а рука, которую она схватила в припадке отчаяния, была покрыта холодным потом. Она тщетно повторяла его имя, тщетно звала на помощь... Вдруг послышались шаги, в комнату вошел какой-то человек, но не отец ее, как она вскоре убедилась. Каково же было ее удивление, когда она, обратившись к нему с просьбой оказать помощь несчастному Сент Фуа, узнала в вошедшем Людовико! Не говоря ни слова, он немедленно занялся перевязкой ран у шевалье Сент Фуа; убедившись, что он лишился чувств, вероятно, от потери крови, Людовико побежал за водой; только что успел он выйти, как Бланш снова услышала звук приближающихся шагов; она почти обезумела от страха, ей казалось, что это опять идут разбойники, — вдруг на стенах отразилось пламя факелов, и перед нею предстал граф де Вильфор; с перепуганным лицом и задыхаясь от волнения, он звал свою дочь... При звуке его голоса Бланш вскочила, бросилась ему на шею, а он, выронив из рук окровавленный меч, прижимал ее к своей груди в припадке восторга и благодарности; затем он сейчас же осведомился о Сент Фуа, который в эту минуту уже начал проявлять признаки жизни.

Вскоре вернулся Людовико с водой и водкой; воду поднесли к губам раненого, а водкой намочили ему виски и руки, и вот наконец Бланш увидела, что он открывает глаза, и услышала его голос: он осведомлялся о ней. Но радость, испытанная ею в эту торжественную минуту, была тотчас же омрачена новой тревогой: Людовико объявил, что раненого необходимо немедленно удалить отсюда, прибавив:

— Тех разбойников, которые были в отсутствии, ожидают домой с минуты на минуту; они непременно застанут нас здесь, если мы замешкаемся. Они знают, что такой пронзительный звук рога издается только в самых критических случаях; он разносится в горах очень далеко, на несколько миль в окружности. Бывало, что они являлись на этот звук домой даже от подошвы «Пеликановой ноги». Поставлен у вас кто-нибудь сторожить ворота, ваше сиятельство?

— Кажется никто, — отвечал граф, — остальные мои слуги разбежались Бог весть куда. Ступай, Людовико, собери их поскорее и сам прислушивайся, не услышишь ли топота мулов.

Людовико поспешно удалился, а граф задумался над тем, каким способом везти Сент Фуа: он не вынес бы тряски езды на муле, даже если бы был в силах держаться в седле...

Пока граф рассказывал дочери, что бандиты, которых они нашли в крепости, все заперты в крепостном каземате, Бланш заметила, что он сам ранен и левая рука его повисла, как безжизненная; но он улыбался ее беспокойству, уверяя, что это пустяки.

Слуги графа, кроме двоих, стороживших у ворот, вскоре появились все, следом за Людовико.

— Кажется, слышен топот мулов в долине, ваше сиятельство, — сказал тот, — но рев потока мешает слышать отчетливо. Вот я принес одно приспособление, которое пригодится молодому барину, — прибавил Людовико, показывая на медвежью шкуру, привязанную к двум длинным шестам; — эта штука уже служила бандитам, которым случалось быть ранеными в стычках.

Людовико, разостлав шкуру на полу и наложив сверху еще несколько козьих кож, устроил род постели; на нее осторожно подняли шевалье, теперь уже очнувшегося и значительно оправившегося; шесты положили на плечи проводникам, более надежным, чем другие, так как они привыкли ходить по кручам, и раненого понесли мерным шагом. Некоторые из графских слуг также были ранены, но не опасно; им перевязали раны, и все

направились к большим воротам. Когда они проходили по зале, издали неся страшный шум и возня. Бланш опять пришла в ужас.

— Это шумят те негодяи, которых мы заперли в каземате, барышня, объяснил Людовико.

Они, пожалуй, выломают дверь, :— заметил граф.

Нет, ваше сиятельство, дверь железная; теперь нам нечего их бояться; но дайте мне пойти вперед; я осмотрю окрестности с крепостного вала.

Все поспешно последовали за Людовико и нашли своих мулов, щипавших траву у ворот; как они ни прислушивались, не слышно было ни малейшего звука, кроме разве рева потока внизу и шелеста предрассветной брызги среди ветвей старого дуба, посреди двора; и как же обрадовались наши путники, заметив первый отблеск занимавшейся зари на вершинах гор! Все сели на мулов и Людовико, вызвавшись быть их проводником, повел их вниз в долину другим, менее трудным спуском.

— Нам надо избегать этой лощины к востоку, ваше сиятельство, — сказал он, — иначе мы непременно встретим разбойников; вчера утром они выступили именно в ту сторону.

Путники вскоре вышли из ложбины и очутились в узком ущелье, тянувшемся к северо-западу. Рассвет быстро разливался по горам, и постепенно обнаруживались зеленые холмики у подножия утесов, поросшие кудрявыми пробковыми деревьями и вечнозелеными дубами. Грозовые тучи рассеялись, небо было ясно и безоблачно; Бланш оживляла свежая бриза и вид яркой зелени, sprыснутой недавним дождем. Вскоре взошло солнце и при лучах его засверкали влажные утесы, кусты, увенчивавшие их вершины, и зеленеющие склоны. В конце ущелья виднелись клубы тумана; но свежий ветерок разгонял его перед путниками и под лучами солнца туман скоро поднялся к вершинам гор. Путники прошли уже с милею, но вот Сент Фуа стал жаловаться на сильное головокружение, и они принуждены были остановиться, чтобы дать ему оправиться и, кстати, дать отдых носильщикам. Людовико захватил с собою из крепости несколько фляг хорошего испанского вина, которое оказалось теперь укрепляющим лекарством не только для Сент Фуа, но и для всей партии; раненому вино принесло лишь мгновенное облегчение, но затем еще усилило лихорадку, разлитую в его жилах; он не в силах был скрыть на лице своем мучения, которые он испытывал, и несколько раз повторил желание поскорее достигнуть постоянного двора, того самого, куда они направлялись накануне вечером.

Пока они расположились на отдых под тенью темно-зеленых сосен; граф попросил Людовико вкратце объяснить ему, какими путями он исчез из северных апартаментов его замка, как очутился во власти бандитов и каким образом ему удалось оказать такие существенные услуги ему и его семейству: ведь никто другой, а он, освободил их из рук разбойников. Людовико приготовился рассказывать, как вдруг они услышали эхо пистолетного выстрела с той стороны, откуда они пришли, и в тревоге вскочили, чтобы скорее продолжать путь.

ГЛАВА LI

*Ах, отчего Судьбой ты обречен
Скитаться по пути житейских бурь
Вдали от радостей семьи, друзей...*
Беатти

Тем временем Эмилия продолжала мучиться неизвестностью о судьбе Валанкура; Тереза нашла наконец надежного человека, которому могла доверить свое поручение к графскому управляющему, и уведомила свою барышню, что ее посланный вернется завтра. Эмилия обещала сама посетить ее избушку, так как у Терезы болели ноги и ей трудно было бы придти к ней в большой дом.

Вечером Эмилия одна пустилась в путь к избушке Терезы, полная самых мрачных

предчувствий; вечерняя тьма еще более способствовала угнетенному состоянию ее духа. Был пасмурный, ненастный вечер, уже в конце осени; тяжелые туманы стлались в горах, холодный ветер завывал между березовыми рощами, усеивая ее путь последними желтыми листьями. Эти листья; крутясь по ветру и предвещая кончину года, создавали в ее воображении печальные картины и рисовали ей смерть Валанкура.

Эта смерть так живо представлялась ей, что она не раз готова была вернуться домой, не имея сил долее бороться со своим отчаянием; но через силу она все-таки овладела своими чувствами и продолжала путь.

Печально поглядывая на густые клубы тумана и наблюдая ласточек, носимых ветром и то исчезающих среди грозных туч, то опять появлявшихся на мгновение в более спокойных сферах воздуха, Эмилия видела в полете быстрокрылых птичек как бы олицетворение своей собственной судьбы за последнее время, со всеми ее превратностями, со всеми огорчениями: ведь точно так же ее носило на бурном море невзгод, и только изредка выпадали ей на долю просветы спокойствия, но того спокойствия, которое может быть названо лишь отсрочкой горя. А теперь, когда она спаслась от стольких опасностей, когда она свергла зависимость от своих притеснителей и очутилась обладательницей крупного состояния, теперь, когда она естественно могла ждать счастья, — она убедилась, что оно так же далеко от нее, как и прежде. Она упрекнула бы самое себя в слабости и неблагодарности за то, что все эти щедрые блага судьбы пропадают для нее даром, в то время как она поглощена единственным своим несчастьем, если бы только это несчастье касалось ее одной: когда она оплакивала живого Валанкура, оплакивала существо, унизившее себя пороком и, следовательно, впавшее в несчастье, рассудок и человеколюбие оправдывали эти слезы, и твердость духа еще не научила ее отделять их от слез любви. Но в настоящую минуту ее угнетала уже не уверенность в его порочности, но опасения, что он умер (себя самое она считала хотя и невольной, но все-таки отчасти виновницей его смерти). Страх за него усиливался по мере того, как приближалась возможность удостовериться в печальной истине! Но вот вдали показалась избушка Терезы, и Эмилия почувствовала такое смятение, такую слабость, что она не имела сил идти дальше, и опустилась на скамью у дорожки; ее расстроенному воображению представлялось, что ветер, завывавший над ее головою в высоких ветвях деревьев, доносит какие-то далекие жалобы, слабые стоны... Внимательно прислушавшись, она убедилась, что это одна игра воображения; между тем, начинало темнеть, собирались темные тучи, — это побудило ее идти дальше, и колеблющейся походкой она направилась к избушке. Сквозь окно она увидела веселое пламя очага; Тереза, заметившая приближающуюся Эмилию, вышла за дверь встретить ее.

— Вечер выдался холодный, барышня, — проговорила старуха, — наступает осеннее ненастье. Я подумала, что вам приятно будет погреться у камелька. Пожалуйста сюда, сядьте к огню.

Эмилия, поблагодарив, села у очага и, взглянув на лицо Терезы при свете пламени, была поражена его выражением, — не имея сил произнести ни слова, она откинулась на спинку стула и на чертах ее отразилась такая безысходная скорбь, что Тереза поняла причину ее, но тоже молчала.

— Ах, — промолвила, наконец, Эмилия, — нет надобности спрашивать о результате твоих справок — твоё молчание и твоё лицо достаточно красноречивы — он умер!

— Увы! бедная моя, дорогая барышня! — отвечала Тереза, и глаза ее налились слезами, — свет весь создан из несчастья: на долю богатых его выпадает столько же, сколько и на долю бедняков! Но мы должны твердо выносить испытания, которые нам посылает небо...

— Итак, он умер!... — прервала ее Эмилия, — Валанкур умер!

— О, Господи! Боюсь я, что это так, — отвечала Тереза.

— Ты боишься? только боишься?

— Увы, да, сударыня, боюсь, что его уже нет в живых! Ни управляющий и никто из семьи в Этювьере не имели от него весточки с той самой поры, как он уехал из Лангедока, и

граф в большом огорчении из-за него — он всегда так аккуратно писал, но с тех пор, как он уехал, от него ни строки... он рассчитывал быть дома уже три недели тому назад, но вот все не приезжает и сколько времени не пишет: дома опасаются, не случилось ли с ним какого несчастья. Господи! думала ли я, что мне суждено будет оплакивать его смерть! Я старуха и если бы умерла, никто бы даже и не заметил! А он...

Эмилия почувствовала себя дурно и попросила воды. Тереза, испуганная ее ослабевшим голосом, поспешила к ней на помощь и, поднося воду к ее губам, сама все успокаивала ее:

— Ну, милая, ну, дорогая, не принимайте этого так к сердцу! Авось шевалье еще жив и здоров; будем надеяться на самое лучшее!

— Ах, нет, не могу я надеяться! — проговорила Эмилия, — я знаю многое такое, что не позволяет мне надеяться... Теперь мне лучше и я в состоянии выслушать все, что ты имеешь еще сказать. Сообщи мне, ради Бога, все подробности, какие знаешь.

— Погодим немножко, пока вы оправитесь; вид у вас измученный, барышня!

— Ради Бога, Тереза, не скрывай от меня ничего, пока я в силах слушать, скажи мне все, умоляю тебя!

— Хорошо, барышня, пусть будет по-вашему. Но ведь управляющий немного и сказал; Ричард уверяет, будто он неохотно говорил про мосье Валанкура; кое-что Ричард успел выпытать от Габриэля, а тот слышал это от графского камердинера...

— Что же такое он слышал? — спросила Эмилия.

— Дело в том, сударыня, что у Ричарда память-то куриная, половину он перезабыл, и если бы я сама не засыпала его вопросами, то так бы ничего и не выведала; он говорит, видите ли, что и Габриэль и все прочие слуги в ужасном беспокойстве за мосье Валанкура: он всегда был такой добрый молодой барин, все в нем души не чаяли, — и как подумаешь, вдруг с ним несчастье приключилось! Такой был ласковый со всеми, обходительный, и если кто, бывало, провинится, так мосье Валанкур всецело первый заступался за него перед графом. А если какая-нибудь семья попадала в беду, опять же Валанкур спешил бедным людям на выручку; а ведь другие-то, небось, и побогаче его, да ничего не делают... Габриэль рассказывает, что хотя вид у него благородный, чисто барский, — а чтобы на кого крикнуть, или обойтись свысока, как другие знатные молодые господа, — это Боже сохрани! и мы от этого ничуть не меньше уважали его. Даже больше, говорит Габриэль, и за него готовы были в огонь и в воду, — да, и гораздо больше боялись не угодить ему, чем другим господам, которые грубо обращались с ними.

Эмилия, уже не считая более опасным для себя выслушивать похвалы Валанкуру, не пыталась прерывать Терезу, а внимательно слушала ее слова, хотя изнемогала от горя.

— Граф сильно тужит по мосье Валанкуру, — продолжала Тереза, — тем более тужит, что он обходился с ним, говорят, очень сурово за последнее время. Габриэль слышал от камердинера самого графа, что мосье Валанкур больно кутил в Париже и потратил много денег, а граф очень прижимист на деньги, гораздо больше мосье Валанкура, которого сбили с толку злые люди. Говорят, будто бы по этой самой причине мосье Валанкура засадили в тюрьму в Париже, а граф не захотел его выручить и сказал, — дескать, поделом ему, — пусть помучится. Когда старый дворецкий Грегуар услышал об этом, он тотчас же заказал себе дорожный посох и собрался посетить своего молодого господина в Париже. Вдруг, слышим мы, говорит все тот же Габриэль, — едет к нам мосье Валанкур. То-то мы обрадовались все, когда он вернулся домой! Но приехал он сильно изменившийся, и граф встретил его холодно, а он, бедняжка, был грустный-прегрустный... Вскоре после того он опять уехал — на этот раз в Лангедок, и с тех пор мы больше не видали его.

Тереза остановилась; Эмилия, глубоко вздыхая, сидела молча, потупив глаза в землю. После долгой паузы, она осведомилась: не слыхала ли Тереза еще чего-нибудь?

— Впрочем, зачем спрашивать? — прибавила она, — и того, что ты сказала, уже слишком достаточно. — О, Валанкур! Где ты? куда ты скрылся? Вероятно, мы простились с тобой навеки... Ведь это я убила тебя!..

Эти слова и лицо ее, полное отчаяния, встревожили Терезу; она стала бояться, уж не подействовало ли только что испытанное потрясение на рассудок Эмилии.

— Милая моя молодая госпожа, успокойтесь, — молвила она, — не произносите таких страшных слов! Вы убили мосье Валанкура!.. Да что вы, Господь с вами!

Эмилия отвечала тяжелым вздохом.

— Дорогая моя, у меня сердце разрывается, на вас глядячи! Сидите, глазки потупивши в землю, и такая бледная, убитая; мне, право, боязно за вас...

Эмилия все молчала и как будто даже не слышала, что ей говорила старуха.

— Да и то сказать, — продолжала Тереза, — может быть, мосье Валанкур живехонек и здоровехонек... кто знает?..

При этом имени Эмилия подняла глаза и устремила растерянный взор на Терезу, точно силилась понять, что такое она говорит.

— Ну да, правда, милая барышня, — продолжала Тереза, — не поняв значения этого пытливого взгляда, — мосье Валанкур, может быть, жив и весел...

Услыхав опять те же слова, Эмилия уразумела наконец их смысл, но вместо того, чтобы произвести желаемое действие, они только усилили ее муку. Она поспешно вскочила со стула, стала ходить взад и вперед по тесной комнатке, порою вздыхая, вздрагивая и ломая себе руки.

Между тем Тереза, с безыскусственной, искренней преданностью, старалась всячески угодить ей: она подложила огня в очаг, разворошила его, так что вспыхнуло яркое пламя, подмела очаг, переставила стул, с которого встала Эмилия, на более удобное, теплое место, затем вынула из шкапа фляжку вина.

— Ночь бурная, барышня, — сказала она, — на дворе дует холодный ветер; подвиньтесь-ка поближе к огню и выпейте стаканчик этого вина: оно оживит, подкрепит вас, — мне оно часто помогало, — ведь такого вина не каждый день найдешь: это доброе лангедокское вино — последние шесть бутылок прислал мне мосье Валанкур накануне своего отъезда из Гаскони в Париж. Вино это все время служило мне вместо лекарства; и всякий раз, как я пью его, так и вспоминаю своего благодетеля и слова, которые он сказал мне: «Тереза, — говорит, — вы уж не молоденькая, вам нужен стакан доброго вина от времени до времени. Я пришлю вам несколько бутылок; пейте себе на здоровье, да вспоминайте меня, вашего друга». — Да, именно, это были его собственные слова — «меня, вашего друга!»

Эмилия все ходила по комнате, как будто не слыша, что говорит Тереза.

— И я часто-таки вспоминаю о нем, бедном юноше: ведь это он доставил мне кров и кусок хлеба... Ах, он теперь на небе, вместе с праведником, старым моим барином!...

Голос Терезы прервался; она заплакала и поставила бутылку на стол, не имея сил налить вина. Ее горе как будто заставило Эмилию очнуться из забытья; она подошла к ней, остановилась и, пристально поглядев на нее, молча отвернулась, как бы удрученная мыслью, что Тереза сокрушается тоже о Валанкуре.

Опять Эмилия беспокойно заметалась по комнате. Вдруг среди завываний ветра раздались мягкие звуки гобоя или флейты, и эти мелодические звуки проникли в душу Эмилии: она остановилась и прислушалась. Нежные звуки, по временам приносимые ветром и затем опять заглушаемые бурей, были проникнуты жалобой, тронувшей сердце Эмилии; она залилась слезами.

— Так и есть! — заметила Тереза, — это Ричард, сын соседа, играет на гобое; грустно в такие минуты слушать прелестную музыку!

Эмилия продолжала плакать, не отвечая.

— Он часто играет по вечерам, — прибавила старуха, — иногда молодежь пляшет под звуки его гобоя. Да не плачьте вы так, голубушка моя! и пожалуйста, отведайте вина!

С этими стонами она налила немного вина и подала Эмилии, которая нехотя взяла стакан.

— Пригубите за здоровье мосье Валанкура, — сказала Тереза в то время как Эмилия

подносила стакан к губам, — ведь это он подарил мне вино, сударыня. — Рука Эмилии дрожала, и она пролила вино, отводя его от губ своих.

— За чье здоровье? Кто тебе прислал это вино? — промолвила она прерывающимся голосом.

— Мосье Валанкур, дорогая моя: я знала, что вам это будет приятно. Это уже последняя бутылка, все вышли...

Эмилия поставила стакан на стол и расплакалась; Тереза, испуганная и встревоженная, старалась ее успокоить; но Эмилия только махнула ей рукою, прося оставить ее одну, и зарыдала еще сильнее прежнего.

Внезапный стук в дверь избушки помешал Терезе тотчас же исполнить приказание своей госпожи. Она пошла было отворять, но Эмилия, остановив ее, просила никого не впускать; однако тут же вспомнив, что приказала своему слуге прийти за ней, чтобы проводить ее домой, прибавила, что это, вероятно, Филипп пришел, и старалась сдерживать свои слезы, пока Тереза отправилась отворять дверь.

Чей-то голос, заговоривший снаружи, привлек внимание Эмилии. Она насторожилась, устремила взор на дверь, из которой показался в ту минуту какой-то человек и мгновенно, при ярком отблеске пламени, она узнала... Валанкура!

Эмилия вскочила с места, задрожала и, снова опустившись на стул, потеряла сознание.

Тереза громко вскрикнула, — тут только она узнала Валанкура, — раньше она не могла его признать по слабости зрения, да еще в потемках; но все его внимание сразу устремилось на женскую фигуру, которая на его глазах упала со стула перед очагом; поспешив к ней на помощь, он убедился, что поддерживает Эмилию! Можно себе представить все разнообразные чувства, охватившие его при свидании с той, с кем он уже никогда не надеялся больше свидеться, и при виде ее, бледной и безжизненной, в своих объятиях, — но описать эти чувства в нескольких словах невозможно. Не описать и ощущений Эмилии, когда она открыла глаза и опять увидела перед собой Валанкура. Страшное беспокойство, с каким он глядел на нее, мгновенно сменилось радостью и нежностью, когда глаза его встретились с ее взглядом и он убедился, что она оживает. Он мог только воскликнуть: «Эмилия! Эмилия!», наблюдая как она приходит в себя; но Эмилия отворачивала от него взор и слабо пыталась высвободить свою руку. Однако в эти первые минуты упоения, когда она избавилась от мучений неизвестности и страха за его жизнь, она позабыла все его проступки, заслуживавшие негодования и, видя Валанкура таким, каким он был, когда она полюбила его, испытывала одну только нежность и восторг!.. Но, увы! солнце проглянуло лишь на один миг! Воспоминания, как тучи, вдруг омрачили ее душу, и затмили образ, овладевший ее воображением, — опять ей представился Валанкур униженный, Валанкур недостойный ее прежней любви и уважения. Сердце ее сжалось; отняв у него свою руку, она отвернулась, чтобы скрыть свое горе, а он молчал, еще более смущенный и взволнованный.

Сознание собственного достоинства заставило ее сдержать свои слезы и до некоторой степени преодолеть смешанные чувства горя и радости, боровшиеся в ее сердце; она встала и, поблагодарив его за оказанную ей помощь, пожелала Терезе покойной ночи. Когда она уже выходила из избушки, Валанкур, точно внезапно пробудившийся от сна, стал взволнованным голосом умолять ее, чтобы она его выслушала. Сердце Эмилии, быть может, также сильно рвалось к нему, но у нее хватило твердости устоять против него и против самой себя... Между тем Тереза шумно протестовала против того, чтобы она шла домой одна в такую темь; Эмилия уже отворила дверь хижины, но разыгравшаяся буря заставила ее послушаться просьбы старухи.

Молча, смущенная, она опять приблизилась к огню, между тем как Валанкур, в усиливавшемся волнении, шагал по комнате; ему хотелось заговорить, но он боялся. Тереза, между тем, без удержу выражала свой восторг по поводу его появления.

— Ах ты Господи! вот радость-то, вот удивление! А мы тут страшно горевали, как раз перед вашим приходом, думали, что вас уже и в живых нет... оплакивали вас, как покойника... вдруг вы стучитесь... Моя молодая госпожа так плакала о вас, что сердце мое

разрывалось...

Эмилия с неудовольствием оглянулась на Терезу; но прежде чем она успела прервать ее, Валанкур, не умея скрыть волнения, вызванного в нем замечанием неосторожно проговорившейся Терезы, воскликнул:

— О, моя Эмилия! неужели я все еще дорог вам! Неужели вы в самом деле уделили мне хоть одну мысль, хоть одну слезу?... О, Боже! вы плачете... вы плачете обо мне!..

— Тереза имеет причины вспоминать о вас с благодарностью, — молвила Эмилия сдержанно и глотая слезы, — понятно, она беспокоилась, так давно не получая от вас известий. Позвольте мне поблагодарить вас за вашу доброту к ней и сказать вам кстати, что теперь она уже не должна больше зависеть от ваших щедрот.

— Эмилия! — воскликнул Валанкур уже не владея своим волнением, — так-то вы встретились с человеком, которому когда-то согласились отдать свою руку, с человеком, который любил вас, страдал по вас!.. Но что я говорю?... Простите, простите меня, мадемуазель Сент Обер... Я не сознаю, что произносят мои уста... я не имею более никакого права на то, чтобы вы помнили меня, я потерял всякое притязание на ваше уважение, на вашу любовь... Да! я не могу забыть, что когда-то обладал вашим расположением: сознание, что я лишился его, для меня величайшее огорчение. Я говорю огорчение, — но это выражение чересчур мягкое!

— Ах, Господи! — заговорила Тереза, не давая Эмилии отвечать, — что там толковать о какой-то прежней привязанности! Да ведь моя барышня и теперь любит вас больше всего на свете, хотя и притворяется жестокой!

— Это, наконец, невыносимо! — воскликнула Эмилия. — Тереза, ты сама не знаешь, что говоришь. Сударь, если вы уважаете мое спокойствие, то, конечно, избавите меня от дальнейших страданий.

— Я слишком уважаю ваше спокойствие, чтобы добровольно нарушить его, — отвечал Валанкур, в груди которого боролась теперь гордость с любовью, — я не хочу быть навязчивым, я попросил бы уделить мне несколько минут внимания, — но ведь это ни к чему не поведет!.. Вы перестали уважать меня; рассказывать вам о своих страданиях — значило бы только еще больше унижать себя, даже не возбуждая вашего сочувствия. А между тем, Эмилия, я много вынес и очень несчастен!

При этих словах Валанкура торжественный тон его перешел в скорбный.

— Как! неужели мой дорогой молодой барин уйдет отсюда в такой ливень. Нет! я ни за что не пушу его. Господи! как подумаешь, из-за чего это господа иной раз портят себе счастье! Будь вы люди простые, бедные, ведь ничего бы этого не вышло. Все толкуют, будто друг друга и знать не хотят, а ведь небось в целом свете не найти такой влюбленной парочки! Ведь они друг в друге души не чают, ей-Богу!

Эмилия, крайне раздосадованная, встала с места.

— Мне надо уходить, — сказала она, — буря прошла.

— Оставайтесь, Эмилия, оставайтесь, мадемуазель Сент Обер! — остановил ее Валанкур, — призвав на помощь всю свою решимость. — Я не хочу более досаждать вам своим присутствием. Простите, что я раньше не исполнил вашу волю, и если можете, пожалейте человека, который, потеряв вас, лишился всякой надежды на спокойствие! Будьте счастливы, Эмилия, дай вам Бог такого полного счастья, о каком я мечтаю для вас.

Голос его оборвался на последних словах, лицо изменилось; он кинул на нее взор, полный горя и неизъяснимой нежности, и вышел вон.

— Ай, ай, ай! — кричала Тереза, провожая его до двери, — что это вы, мосье Валанкур! Ишь ведь какой проливной дождь! Да он простудится насмерть! А ведь не далее как сию минуту вы сами плакали о нем, барышня, думая, что он умер. Ну, уж подлинно сказать, эти барышни, что ни час, то меняют свои мысли.

Эмилия не отвечала; она не слыхала, что ей говорят; погруженная в тупое горе, она сидела у огня, с остановившимся взором — точно еще видела перед собою образ Валанкура.

— А ведь как переменился мосье Валанкур, — молвила Тереза, — так страшно

похудел, такой печальный, и рука у него на перевязи...

При этих словах Эмилия подняла глаза; она не заметила этой последней подробности и теперь уже не сомневалась, что в Валанкура попал выстрел, сделанный ее садовником в тулузском доме: тут она опять почувствовала к нему жалость и начала раскаиваться, что позволила ему уйти в такую адскую погоду.

Вскоре явились слуги Эмилии с экипажем. Эмилия еще раз побранила Терезу за ее легкомысленные речи в присутствии Валанкура и, строго наказав ей никогда не повторять ему подобных намеков, поехала домой, озабоченная и безутешная.

Между тем Валанкур вернулся в маленькую деревенскую гостиницу, куда прибыл лишь за несколько минут до посещения своего Терезиной избушки, по пути из Тулузы в замок графа Дюварнея, где он не был после того, как распрощился с Эмилией в замке Ле-Блан; долго еще он медлил по соседству от замка, не решаясь покинуть места, где жил предмет, дорогой его сердцу. На него находили минуты, когда, под влиянием отчаяния, он готов был опять броситься к Эмилии и, невзирая на гибель своих надежд, возобновить свое предложение. Однако гордость и глубина его привязанности, не выносившей мысли вовлечь любимую девушку в свои несчастья наконец заставили его настолько победить свою страсть, что он отказался от своего; отчаянного намерения и покинул окрестности замка Ле-Блан. Но воображение его все еще не могло оторваться от тех мест, которые были свидетелями его юной любви; по пути в Гасконь он остановился в Тулузе как раз в то время, когда туда приехала Эмилия, и отдавался своему меланхолическому настроению, гуляя по садам, где когда-то проводил с нею счастливые часы. Часто он с горькими сожалениями переживал тот вечер, накануне ее отъезда в Италию, когда она так неожиданно встретила его на террасе, и старался припомнить каждое ее слово, каждый взгляд, все аргументы, которые он тогда приводил, чтобы отговорить ее от путешествия, и всю нежность их последнего прощания. В то время, как он предавался этим меланхолическим воспоминаниям, Эмилия неожиданно появилась на этой же самой террасе, в вечер прибытия ее в Тулузу. Не трудно себе представить его волнение при виде любимого существа; но он преодолел первый порыв своей любви и, не показываясь Эмилии, скрылся из сада. Но это прелестное видение всецело овладело его воображением; он почувствовал себя еще несчастнее прежнего; единственным утешением в его горе было вернуться на то же место в тиши ночной, обойти те дорожки, где она гуляла днем, и бродить вокруг жилища, где она покоилась мирным сном. В одно из таких печальных странствований в него выстрелил садовник, приняв его за разбойника, и ранил его в руку, что и задержало его очень долго в Тулузе, пока он лечился от раны. Там жил он, равнодушный к своей участи, забыв о друзьях, неласковое обхождение которых за последнее время заставляло его думать, что они безучастны к его судьбе, — он никому не давал о себе вести и теперь, настолько оправившись, чтобы вынести путешествие, заехал в «Долину», по дороге в Этьювер, имение графа, отчасти чтобы услышать что-нибудь об Эмилии и побыть поблизости от нее, а отчасти чтобы осведомиться о бедной старой Терезе, которая, как он имел основание предполагать, была временно лишена своего маленького пособия; эта забота и привела его в избушку Терезы как раз в то время, когда там находилась Эмилия.

Это неожиданное свидание, доказавшее ему в одно и то же время и нежность ее любви и силу ее решимости, расшевелило в нем прежнее отчаяние и сделало его таким же острым, как в момент их первой разлуки; этого отчаяния никакие усилия воли не могли победить. Ее образ, ее взгляд, звук ее голоса — все это властно захватило его сердце и изгнало из него все другие чувства — кроме любви и отчаяния.

Еще до наступления вечера он опять отправился в избушку Терезы, чтобы только услышать, как она будет говорить об Эмилии, и увидеть то место, где Эмилия была вчера. Верная слуга обрадовалась его приходу, но ее радость сразу перешла в огорчение, когда она заметила сперва его дикий, блуждающий взор, а затем глубокую грусть, разлитую по его чертам.

Некоторое время он выслушивал все, что она рассказывала ему об Эмилии, потом отдал ей почти все свои наличные деньги, хотя она усердно отказывалась, говоря, что

барышня щедро наделила ее всем необходимым; наконец, сняв с пальца ценное кольцо, он отдал его Терезе, с поручением передать его Эмили и попросить ее, в виде милости, принять этот дар на память о нем, чтобы иногда, глядя на кольцо, она вспоминала о несчастном Валанкуре.

Тереза плакала, принимая кольцо, но больше из симпатии к нему, чем от какого-нибудь дурного предчувствия; и прежде чем она успела ответить, Валанкур быстро вышел из избушки. Она побежала за ним, звала его по имени и просила вернуться, но ответа не последовало и больше она не видела его.

ГЛАВА LII

Пусть он dokonчит свою повесть

О смелых подвигах Камбусков.

Мильтон

На другое утро Эмилия сидела в приемной, смежной с библиотекой, размышляя о происшествии вчерашнего вечера. Вдруг в комнату стремительно вбежала Аннета и, еле дыша, кинулась в кресло. Несколько мгновений она была не в силах вымолвить ни слова на тревожные расспросы Эмили о причине ее волнения; наконец она прокричала:

— Я сейчас видела его призрак, сударыня, ей-Богу, я видела его призрак!

— О ком ты говоришь? — нетерпеливо прервала ее Эмилия.

— Он шел из сеней, сударыня, когда я направлялась сюда.

— Да кто такой? — повторила Эмилия, — не понимаю, о ком ты толкуешь?

— Одет он был точно так же, как бывало прежде, — прибавила Аннета. — Ах, кто бы мог подумать!

У Эмили наконец лопнуло терпение. Она рассердилась на Аннету за ее вздорные фантазии, но тут вошел слуга и доложил, что какой-то незнакомец желает ее видеть. Эмили сейчас же представилось, что это должен быть Валанкур, и она велела слуге сказать ему, что занята и никого не принимает.

Слуга, передав поручение, вернулся сказать, что незнакомец настойчиво просит свидания, уверяя, будто имеет сообщить нечто важное; Аннета, сидевшая до тех пор молча, точно ошеломленная, вскочила и закричала: «Это Людовико! это Людовико!» и выбежала вон из комнаты. Эмилия приказала слуге пойти за нею следом, и если это действительно Людовико, то позвать его сюда, в приемную.

Через несколько минут в самом деле явился Людовико в сопровождении Аннеты, которая на радостях позабыла даже правила приличия по отношению к своей госпоже и, никому не давая вставить слова, не переставая тараторила сама. Эмилия очень обрадовалась и удивилась, увидав Людовико здоровым и невредимым; ее удивление еще усилилось, когда Людовико передал ей письма от графа де Вильфора и от Бланш; они рассказывали о пережитых приключениях и о том, что находятся в настоящее время на постоялом дворе в Пиренейских горах, где задержались по случаю болезни шевалье Сент Фуа и утомления Бланш; в конце письма упоминалось, что недавно прибыл туда сам барон Сент Фуа, чтобы проводить своего сына в замок, где он останется до полного заживления ран, а потом вернется в Лангедок; тем временем она с отцом намерены завтра посетить Эмилию в «Долине». Бланш заранее приглашала Эмилию к себе на свадьбу и просила ее приготовиться ехать с ними в замок Ле-Блан, по прошествии нескольких дней. Что касается приключений, испытанных Людовико, то она предоставляет ему самому рассказать их Эмили; и хотя Эмилия сильно интересовалась, каким способом он исчез из северных апартаментов, но имела настолько выдержки, что решила потерпеть, пока он подкрепится пищей и питьем и побеседует с Аннетой, которая выражала такую неистовую радость, увидав его живым и здоровым, как будто он воскрес из мертвых.

Между тем Эмилия еще раз перечла письма своих друзей; их любовь и преданность к

ней были утешением, в котором нуждалось ее сердце, терзаемое после свидания с Валанкуром нестерпимым горем и сожалением.

Приглашение в замок Ле-Блан от имени графа и его дочери было сделано с такой любезной настойчивостью (вдобавок было получено еще письмо от графини), и свадьба была, действительно, случаем таким важным в жизни ее юной подруги, что Эмилия никоим образом не могла отказаться. Правда, ей очень хотелось бы побыть в тихом уединении у себя дома, но она не могла не понять, как неприлично ей оставаться одной в своем имении, когда поблизости все еще находился Валанкур. Иногда ей казалось, что перемена места и общество друзей будет ей полезнее уединения и скорее успокоит ее нервы.

Когда опять появился Людовико, она попросила его рассказать подробно свои приключения в северной анфиладе покоев, и как случилось, что он сделался товарищем бандитов, у которых нашел его граф.

Людовико согласился. Аннета, еще не успевшая расспросить его об этом деле, приготовилась слушать с напряженным любопытством, решившись кстати напомнить своей барышне о том, что вот она не верила в духов в Удольфском замке, а вышло, что она, Аннета гораздо прозорливее и сразу поверила им. Между тем Эмилия, краснея от сознания своего легковерия, заметила что если бы приключения Людовико могли оправдать суеверие Аннеты, то его самого, вероятно, не было бы здесь, чтобы рассказывать о них.

Людовико усмехнулся над рассуждениями Аннеты и, слегка поклонившись Эмили, начал свой рассказ:

— Вам, вероятно, помнится, сударыня, что в ночь, когда я караулил в северных покоях, граф и мосье Анри провожали меня, и пока они там оставались, не случилось ничего такого, что могло бы возбудить тревогу. Когда они ушли, я развел огонь в спальне, и так как спать мне не хотелось, то я уселся у камелька с книгой, которую принес с собой для развлечения. Сознаюсь, что я частенько ожирался, с чувством, несколько похожим на страх.

— О, еще бы, как же не бояться? вмешалась Аннета, — небось, ты трясся как осиновый лист!

— Ну, не совсем так, — улыбнулся Людовико, — но несколько раз, когда ветер завывал вокруг замка, потрясая старые окна, мне казалось, будто я слышу какие-то странные, необъяснимые звуки; раза два я вставал и оглядывал комнату; но ничего не было видно, кроме мрачных фигур на ковровых обоях, как будто хмурившихся на меня. Так просидел я с час времени; вдруг опять слышу какой-то шум, но ничего не видя, продолжаю читать... Окончив начатый рассказ, я почувствовал дремоту и заснул. Вдруг я был разбужен опять тем же шумом, что слышал раньше: он как будто исходил из той части комнаты, где стояла кровать, и затем — уже не знаю, было ли это впечатление от прочитанного, или от странных слухов, ходивших про эту ком

нату, — но когда я опять взглянул в сторону кровати, мне показалось, что мелькнуло человеческое лицо из-за темного полога...

При этих словах Эмилия задрожала, на лице ее отразилась тревога: она вспомнила то, что сама видела в этой опочивальне вместе с Доротеей.

— Сознаюсь, сударыня, у меня упало сердце в эту минуту; но повторившийся шум отвлек мое внимание от постели и затем я отчетливо услышал звук, похожий на повертывание ключа в замке; однако, странное дело — я не видел никакой двери в том месте, откуда шел звук. Но в ту же минуту обивка у постели стала тихо колыхаться и показался какой-то человек из маленькой потайной дверцы в стене... Он постоял с минуту в нерешимости, с головой полускрытой обивкой — только глаза его пронзительно выглядывали из — под ковра; вот он приподнял повыше ковровую обивку, и я увидел лицо другого человека, глядевшего из-за его плеча. Не знаю, как это случилось, но хотя мой меч лежал на столе, передо мною, я как-то не находил сил схватиться за него, а сидел не шевелясь и следил за ними с полускрытыми глазами, точно дремал. Мне кажется, они поверили, что я сплю, и стали совещаться между собой, как им поступить: я слышал, что они шептались, стоя в той же позе с добрую минуту. Потом, мне почудилось, будто я вижу еще и

другие лица в полумраке за дверью, откуда неслся громкий шопот.

— Эта дверь удивляет меня, — заметила Эмилия, — ведь я поняла из рассказов графа, что он приказал поднять всю ковровую обивку и осмотреть стены, подозревая, что там скрывается потайной ход, через который вы могли ускользнуть.

— По-моему вовсе не мудрено, сударыня, отвечал Людовико, что эта дверца осталась незамеченной; она была проделана в отделении, составлявшем по-видимому часть наружной стены, и граф проглядел ее; он вероятно думал, что бесполезно искать двери там, где не могло быть хода, сообщающегося с нею; дело в том, что ход был проделан в самой толще стены. Но возвращаясь к тем странным людям, которых я смутно видел за дверью и которые недолго оставляли меня в неизвестности относительно своих намерений. Все они вдруг ворвались в комнату, окружили меня, — однако я все-таки успел схватиться за свой меч. Но что может сделать один против четверых? Скоро они обезоружили меня, связали руки, заткнули рот и силой увлекли с собой в дверку, оставив меч мой на столе, нарочно, говорили они, чтобы те, кому вздумается придти за мною завтра утром, могли сражаться с духами, затем они повели меня многими узкими переходами и лазейками, проделанными, думается мне, в самых стенах, потому что раньше я никогда не видал их, и вниз по каким-то лестницам, пока мы не достигли подвалов, под замком; там, отворив каменную дверь, которую я по виду принял бы за самую стену, мы направились по длинному ходу и опять спустились по ступеням, высеченным в скале, далее еще отперли дверь и она привела нас в пещеру. Покружив там некоторое время, мы достигли входа в нее и я вдруг очутился на берегу моря, у подошвы скал, а наверху виднелся замок. На берегу ждала лодка. Разбойники вошли в нее, увлекая и меня за собою, и скоро мы подплыли к небольшому суденышку, стоявшему на якоре; там оказались другие товарищи моих похитителей. Препроводив меня на борт, двое остальных вернулись назад к берегу. Вскоре я смекнул, что все это значит и что эти люди делали в замке. Мы поплыли и высадились в Руссильоне; помешкали еще несколько дней на берегу, пока не прибыли другие разбойники, спустившиеся с гор, — те и захватили меня с собой в форт, где я оставался до тех пор, пока туда случайно не прибыл граф. Злодеи усердно старались о том, чтобы я не убежал, и завязывали мне глаза днем; да если бы даже они этого и не делали, то я, кажется, ни за что не нашел бы дороги по этому дикому краю. В форте меня стерегли как пленника и никуда не пускали, иначе как с двумя-тремя провожатыми, и мне так опостылела жизнь, что я не раз собирался покончить с собой.

— Но ведь тебе же не запрещали говорить, заметила Аннета, тебе не затыкали рта, после того как увели из замка, и я не понимаю, с чего это тебе так жизнь могла опостылеть... уж не говоря о том, что у тебя все-таки оставалась надежда увидаться со мною!

Людовико улыбнулся; Эмилия спросила, с какою же целью эти люди похитили его?

— Скоро все это я разъяснил себе, сударыня, — продолжал Людовико. — То были пираты, которые в продолжение многих лет прятали свою добычу в подземельях замка; последний, находясь на берегу моря, представлял для них удобный тайник. Чтобы избежать ареста и тюрьмы, они старались распространять слухи, будто в замке водятся духи, и, отыскав потайной ход в северную анфиладу покоев, которая стояла запертой с самой кончины ее сиятельства маркизы, им это удавалось без труда. Экономка и ее муж, единственные обитатели замка в продолжение многих лет, были так напуганы странными шумами, слышанными по ночам, что не ужились там. Скоро распространили слух, что в замке шалют духи; в окрестностях этому поверили тем легче, мне кажется, что маркиза скончалась, будто бы, какою-то странною смертью и ее супруг дал себе слово никогда не возвращаться в замок.

— Но почему же, — спросила Эмилия, — эти пираты не удовольствовались пещерой? Зачем им понадобилось складывать свою добычу в самом замке?

— Пещера, сударыня, была доступна всем и каждому, возразил Людовико, и сокровища их недолго остались бы там в целости; но в подземельях они могли лежать сколько угодно времени, пока держался слух, что в здании водится нечистая сила. Таким образом оказывалось, что разбойники по ночам привозили добычу, награбленную в море, и

держали ее там, пока не являлся случай распорядиться ею по усмотрению. Пираты эти поддерживали сношения с испанскими контрабандистами и бандитами из диких областей Пиренейских гор и занимались разного рода таинственными оборотами. И вот с этими отчаянными головорезами я и должен был жить, пока не явился граф. Никогда не забуду, что я почувствовал, когда узнал, что он в форте. Я почти не сомневался, что ему суждено погибнуть. Но я знал, что если я покажусь ему, то разбойники узнают, кто он такой, и, вероятно, всех нас перережут, боясь, чтобы не открыли их убежища в замке. Поэтому я не показывался на глаза графу, а сам зорко наблюдал злодеев и решил, что если только они причинят какой-нибудь вред графу, или его семейству, то я сейчас же покажусь и буду драться, защищая их жизнь. Тут мне довелось подслушать, что некоторые из них строили дьявольский план с целью ограбить и перерезать всю партию; тогда я умудрился войти в сношения с одним из графских слуг, рассказал ему, что замышляют злодеи, и мы стали совещаться, что делать. Между тем, его сиятельство, встревоженный отсутствием графини Бланш, спросил, где она, и, не получив от разбойников удовлетворительного ответа, пришел в бешенство, а также и шевалье Сент Фуа. Тогда мы решили, что пора разоблачить замысел злоумышленников. Я ворвался в комнату, где сидел граф, крича: — «Измена, ваше сиятельство! Защищайтесь!» — Граф и шевалье выхватили оружие и завязался бой. В конце концов мы одержали верх, как вам уже известно, сударыня, из письма графа.

— Удивительное приключение! — проговорила Эмилия, — и нельзя не похвалить вас, Людовико, за вашу осторожность и смелость. Но некоторые обстоятельства относительно северных апартаментов все еще смущают меня; впрочем, может быть, вы сумеете объяснить их. Не слыхали ли вы от бандитов чего-нибудь особенного про эти покои?

— Ничего не слыхал, сударыня, — отвечал Людовико, — а только один раз они при мне потешались над легковерием старухи-домоправительницы, которые однажды чуть-чуть было не поймала одного из пиратов; это случилось вскоре после того, как граф приехал в замок, говорил он и хохотал от души, рассказывая про шутку, которую сыграл с этой экономкой.

Эмилия вспыхнула ярким румянцем и просила Людовико объясниться.

— Ну, вот, сударыня, один из ребят забрался ночью в спальню... Вдруг слышит, кто-то идет туда из смежной комнаты; он не успел поднять ковровую обивку и шмыгнуть в потайную дверь. Что тут делать? Он спрятался в постель по близости и лежал там, перепуганный...

— Это когда вы там были, барышня, — прервала его Аннета. — Да, наверное, он в ту пору изрядно-таки перетрусил, разбойник-то! Вдруг к постели подходит экономка и с ней еще какая-то особа. А он, думая, что они собираются поднять покров, сообразил, что единственное средство избежать ареста — это напугать их до полусмерти. Он и давай колыхать покров, но и это не помогало... Наконец, он взял, да и высунул голову из — под одеяла. Тогда обе барыни живо дали тягу! рассказывал он, точно самого черта увидели, а он потом благополучно выбрался оттуда.

Эмилия не могла удержаться от улыбки, услышав про эту хитрую уловку, когда-то нагнавшую на нее такой суеверный страх; теперь она удивлялась, как она могла допустить в себе подобную тревогу, но известно, что кто раз поддастся суеверной слабости, на того потом действует всякий вздор. Несмотря на эти размышления, она все-таки с каким-то трепетом вспоминала таинственную музыку, слышанную ею в полночь у замка Ле-Блан, и спросила Людовико, может ли он как-нибудь объяснить это странное явление.

Тот отвечал отрицательно.

— Одно я знаю, сударыня, что пираты тут ни при чем; я сам слышал, как они глумились над этой музыкой и говорили, что, видимо, сам черт с ними стакнулся.

— Да, уж я готова поручиться, что тут действовала нечистая сила, — молвила Аннета, и лицо ее прояснилось; — с самого начала я была уверена, что это нечистый хозяйничает в северных покоях, и теперь сами видите, сударыня, я-таки осталась права!

— Ну, тебя не переспоришь, — улыбнулась Эмилия. — Но я удивляюсь, Людовико, что

эти пираты продолжали действовать по-прежнему и после приезда графа; ведь они могли ожидать неизбежного ареста и заключения в тюрьму.

— Я имею основание думать, сударыня, — отвечал Людовико, что они давно уже решили не держать свои сокровища в подземелье и желали удалить их оттуда как можно скорее. Они уже начали перетаскивать свое добро вскоре после приезда графа. Но так как им приходилось посвящать на это всего несколько часов по ночам, да в то же время приводить в исполнение и другие замыслы, то подвалы и наполовину не были опустошены в ту пору, как они захватили меня. Они очень гордятся возможностью поддерживать суеверные слухи про эти покои и старательно оставляли там все на местах, чтобы еще лучше надувать публику. Часто под веселую руку они хохотали над смущением и ужасом всех обитателей замка по поводу моего исчезновения; они нарочно увезли меня в такую даль, чтобы я как-нибудь не выдал их тайны. С этих пор они смотрели на замок, как на свою собственность, но из разговора некоторых их товарищей я узнал, что однажды они чуть не попались. Отправившись ночью в северные покои, чтобы поднять тот шум, который так пугал слуг, и уже собираясь отпереть потайную дверь, они услышали голос в спальне. Граф потом говорил мне, что он с сыном находился в то время в этом покое и они слышали какие-то странные стоны; оказывается, их издавали эти ребята, все с той же целью — навести страх и ужас; его сиятельство сознавался, что ощутил тогда не одно удивление, а более жуткое чувство. Но так как необходимо было для спокойствия всего семейства не поднимать из-за этого тревоги, то он и сам молчал об этом и сыну наказал молчать.

Эмилия вспомнила перемену в настроении графа после ночи, проведенной им в северной спальне, и теперь только поняла ее причину. Сделав еще несколько вопросов об этом странном деле, она отпустила Людовико, а сама занялась распоряжениями о приеме своих друзей на завтрашний день.

Вечером Тереза, несмотря на свои больные ноги, притащилась в замок, чтобы передать Эмилии кольцо Валанкура. Эмилия очень заволновалась, помня, что много раз видела это кольцо на его пальце в счастливые дни их любви. Однако, она рассердилась на Терезу за то, что та взяла кольцо, и наотрез отказалась принять его, хотя иметь его доставило бы ей печальную отраду. Тереза умоляла, убеждала, описывала отчаяние Валанкура, когда он вручал ей кольцо, и повторяла слова, сказанные им по этому случаю. Эмилия не могла скрыть своего горя при этом рассказе и горько плакала.

— Увы! дорогая моя барышня! — говорила Тереза, — и почему все это так печально сложилось? Я знаю вас с детства и, можно сказать, люблю вас, как родную и от души желаю вам счастья. Мосье Валанкура я узнала не очень давно, но ведь зато имею причины любить его, как сына родного. Мне известно, как вы любите друг друга, — так зачем же, скажите на милость, эти слезы и терзания?

Эмилия сделала ей знак рукою, чтобы она замолчала, а старуха, не обращая на это внимания, все твердила свое:

— И ведь оба вы так сродни между собой и по вкусам и по характерам, и если бы вы поженились, то из вас вышла бы самая счастливая парочка во всем крае... Ну, и что же мешает вам пожениться? Господи! Как это люди портят себе счастье, а потом плачутся, точно не сами во всем виноваты! Ученость, слова нет, великое дело, но куда она годится, если не может научить людей разуму! Нет уж, в таком случае можно и без учености обойтись!

Старость и долгая служба давали Терезе право высказывать свои мысли; но в данном случае Эмилия старалась остановить ее словоохотливость; она чувствовала справедливость ее замечаний, однако ей не хотелось объяснять причину, почему она переменилась к Валанкуру. Она только сказала Терезе, что ей неприятно возвращаться к этому предмету, что она имеет свои причины так поступать, но не желает их объяснить, что перстень непременно надо вернуть, что приличия не позволяют ей принять его. В то же время она запретила Терезе на будущее время передавать ей какие — либо поручения от Валанкура, если она дорожит ее спокойствием.

Тереза разогорчилась и опять пыталась, хотя уже слабо, вступить за Валанкура; но лицо Эмилии выражало такую непривычную суровость, что старуха принуждена была отказаться от своих стараний и ушла, опечаленная и удивленная.

Чтобы развлечься до некоторой степени и отогнать печальные воспоминания, осаждавшие ее душу, Эмилия занялась приготовлениями к предстоящему путешествию в Лангедок; и пока Аннета, помогавшая ей, радостно болтала о благополучном возвращении Людовико, Эмилия обдумывала, как бы лучше устроить счастье молодой четы. Она решила, что если привязанность Людовико не изменится, как и привязанность к нему честной, простодушной Аннеты, то она даст своей камеристке приданое и поселит ее с мужем где-нибудь в одном из своих имений.

Эти соображения привели ей на память отцовское родовое поместье, когда-то, вследствие изменившихся обстоятельств, перешедшее в руки г.Кенеля; у нее часто являлось желание вернуть это поместье, так как сам Сент Обер бывало печалился, что коренные владения его предков, где он сам родился и провел свои юношеские годы, перешли другой семье. К тулузскому поместью она не чувствовала особенного влечения и желала бы избавиться от него, с тем, чтобы выкупить отцовское родовое угодье, если бы только г.Кенеля удалось уговорить расстаться с ним; а это казалось возможным, если принять во внимание, что он всегда мечтал основаться в Италии.

ГЛАВА LIII

*Сладостно дыханье весенней бризы
И сладок мед, который пчелка собирает, —
И сладки тающие звуки музыки, но слаще
Во сто крат скромный голос благодарности.
Грэй*

На другой день приезд подруги развлек Эмилию, начинавшую уже не на шутку падать духом, и дом в «Долине», опять ожил, огласившись светскими разговорами и увидав в своих стенах изящное общество. Нездоровье и испытанный испуг отчасти лишили Бланш прежней резвости, но добродушие ее и ласковость остались неизменными; она немного побледнела после пережитых ужасов, однако была не менее очаровательна. После несчастного приключения в Пиренеях граф жаждал поскорее вернуться домой и, прогости с неделю в «Долине» собрался в Лангедок вместе с Эмилией, которая поручила надзор за своим домом старой Терезе. Впрочем накануне отъезда Эмилии старая служанка опять приносила ей кольцо Валанкура и со слезами умоляла свою барышню взять подарок, так как Валанкур точно в воду канул: она не видала его и ничего не слыхала о нем с того самого вечера, как он принес ей это кольцо. При этих словах на лице ее отразилась тревога, которой она не смела высказать. Но Эмилия, стараясь отогнать свое собственное беспокойство, думала, что он, вероятно, уехал в имение брата; она опять наотрез отказалась принять кольцо и велела Терезе сохранить его у себя до следующего свидания с Валанкуром; старуха, скрепя сердце, обещала.

На другой день граф де Вильфор с Эмилией и Бланш выехали из «Долины» и в тот же вечер прибыли в замок Ле-Блан, где их встретили с радостью и поздравлениями графиня, Анри и мосье Дюпон; присутствие последнего было сюрпризом для Эмилии и она с беспокойством заметила, что граф по-прежнему поощряет ухаживание своего друга; на лице Дюпона можно было ясно прочесть, что его увлечение несколько не ослабело под влиянием разлуки. Эмилия очень смутилась, когда во второй же вечер после их приезда граф отозвал ее от Бланш, с которой она гуляла, и возобновил разговор о надеждах Дюпона. Кротость, с какой Эмилия выслушивала его речи, ввела его в заблуждение насчет ее чувств; он вообразил себе, что ее привязанность к Валанкуру уже окончательно побеждена и что она готова отнестись благосклонно к сватовству мосье Дюпона. И когда она вслед затем стала убеждать его, что он ошибается, то граф, побуждаемый горячим желанием устроить счастье

двух лиц, которых он так искренно уважал, пытался деликатно пожурить ее за то, что она настаивает на своем неудачном увлечении и отравляет себе лучшие годы жизни.

Заметив, что она молчит и что на лице ее написана глубокая скорбь, граф, наконец, проговорил:

— Пока я больше ничего не скажу, но продолжаю верить, милая мадемуазель Сент-Обер, что вы в конце концов не отвергнете человека, столь достойного уважения, как шевалье Дюпон.

Он избавил ее от труда отвечать ему, тотчас же удалившись; а Эмилия продолжала гулять, в душе несколько досадуя на графа за то, что он так упорно отстаивает искательство, которое она решительно отвергла. Погруженная в печальные думы, пробужденная этим разговором, она незаметно подошла к опушке леса, окружавшего монастырь св.Клары, и вдруг заметив, как далеко зашла, решила продолжить свою прогулку еще немного дальше и зайти в монастырь провести аббатису и некоторых из своих подруг-монахинь.

Хотя уже настал вечер, но она приняла приглашение войти от монаха-привратника, отпиравшего ей калитку, и, желая увидеть кого-нибудь из своих прежних приятельниц, направилась к монастырской приемной. Проходя по лужайке, полого спускавшейся от фасада монастыря к морю, она была поражена картиной покоя, представившейся ее глазам: несколько монахов сидели передкельями, тянувшимися по опушке леса, и в тихий вечерний час размышляли о благочестивых предметах; но внимание их по временам отвлекалось созерцанием природы, сменившей теперь свои яркие солнечные краски на более тусклый вечерний колорит. Перед зданием общежития стоял старый каштан и своими широкими ветвями заслонял великолепие картины, которая могла бы вызвать у монахов желание вернуться к светским наслаждениям; но все же из-под темной развесистой листвы сверкала вдали обширная площадь океана и мелькавшие мимо паруса, тогда как справа и слева тянулись густые леса вдоль извилистых берегов. Некоторая часть картины оставалась доступной созерцанию монахов, как бы нарочно, чтобы оставить заточникам напоминание об опасностях и превратностях светской жизни и утешить их, отказавшихся от наслаждений света, по крайней мере уваренностью, что они избавились от его зол. Эмилия задумчиво шла вперед, размышляя, как много страданий она избегла бы, если бы также постриглась в орден и осталась жить в монастыре после смерти отца; в эту минуту зазвонили к вечерне и монахи тихо побрели к часовне; Эмилия вошла в большую залу, где царила, как ей показалось, необычная тишина. Пустой оказалась и приемная, смежная с залой; между тем вечерний колокол продолжал благовестить; Эмилия подумала, что монахини, вероятно, пошли в часовню, и присела отдохнуть, немного, перед тем как вернуться в замок, куда ей хотелось попасть еще засветло.

Не прошло нескольких минут, как в приемную торопливо вошла монахиня и, осведомившись, нет ли здесь настоятельницы, хотела удалиться, не узнав Эмилии; но Эмилия назвала себя, и монахиня сообщила ей, что сейчас начнется месса о здравии сестры Агнесы, которая сильно хворала в последнее время, а теперь находится чуть не при последнем издыхании. О страданиях несчастной Агнесы сестра сообщила самые печальные подробности: на нее не раз находили припадки буйного помешательства; теперь это прошло, зато она впала в состояние мрачного уныния, из которого не могли вызвать ее ни ее молитвы, сообщая со всей общиной, ни увещания ее духовника; ничто не в силах облегчить ее душу хотя бы мгновенным проблеском утешения.

Эмилия выслушала этот рассказ с сердечным сокрушением и, припомнив безумные выходки и дикие восклицания Агнесы, а также историю ее, рассказанную ей сестрой Франциской, почувствовала глубокую жалость к несчастной сестре. Так как становилось уже поздно, то Эмилия не сочла возможным идти к ней сейчас, да и не хотела примкнуть к толпе монахинь; поручив монахине передать привет своим старым друзьям, она верхней дорогой по скалам вернулась в замок, размышляя о только что слышанном; думы эти так удручали ее, что она, наконец, насильно отвлекла свои помыслы к менее волнующим предметам.

Дул сильный ветер; подходя к замку, Эмилия часто останавливалась, прислушиваясь к

унылым завываниям его над волнами, бушевавшими внизу, и в окрестных лесах; сидя на одном из утесов, уже по близости от замка, и устремив взор на обширное пространство вод, смутно видневшихся в полумраке, она сочинила следующее обращение.

К БУЙНЫМ ВЕТРАМ

Невидимо, по необъятному своду небес, вы держите свой
путь,
Неведомо откуда взялись и куда несетесь;
Таинственные силы! то слышу я ваш тихий шепот,
То громкий вой вдруг поразит мой слух,
Как будто говоря: здесь близок Бог!
Люблю я слушать ночью ваши голоса
Средь грозной бури, что проносится над морем,
Сливаясь с страшным ревом волн.
И вот среди затишья звук вдруг нежный раздается.
То песня духов — скорбный плач;
Но вслед затем опять невидимые силы восстают,
По воздуху торжественно несутся.
Стонут они в снастях корабля, пугая юнгов,
И песню тихую мгновенно заглушают.
Молю вас, силы страшные,
Не приносите вы на своих крыльях стонов.
Не приносите треска судна на далеких волнах
И криков гибнущего экипажа!...
Не подымайте вы, молю вас, силы неба!
Войны стихий и рева диких волн!

ГЛАВА LIV

*Дела неслыханные порождают
И страх неслыханный: больная совесть
Глухим подушкам поверяет тайну,
Священник ей нужней врача.*

Макбет

На другой день вечером, случайно взглянув на монастырскую колокольню, поднимающуюся из-за леса, Эмилия вспомнила про больную монахиню, положение которой возбуждало в ней такую жалость; желая узнать, как ее здоровье, и увидеть кое-кого из прежних друзей, она с Бланш, вместо прогулки, решили зайти в монастырь. У монастырских ворот стоял экипаж и, судя по взмыленным коням, можно было догадаться, что он только что подъехал. Непривычная тишина царила во дворах и в здании общежития, по которому должны были пройти Эмилия и Бланш, направляясь в большую залу; по пути они встретились с монахиней, и та на расспросы Эмилии отвечала, что сестра Агнеса еще жива и в памяти, но что она очень слаба и, вероятно, не переживет сегодняшней ночи. В приемной девушки застали нескольких пансионеров монастыря; они очень обрадовались Эмилии и поспешили рассказать ей разные мелкие события, случившиеся в монастыре после ее отъезда и интересовавшие ее, потому что касались лиц, к которым она чувствовала расположение. Пока они болтали, в приемную вошла аббатиса и радостно приветствовала Эмилию; но вид у нее был непривычно торжественный и на лице отражалась печаль.

— Наша община, — сказала она поздоровавшись, — погружена в скорбь, — одна из сестер готовится отойти в вечность. Вы, может быть, слышали, что сестра Агнеса умирает...

Эмилия выразила свое искреннее соболезнование.

— В настоящем случае смерть преподает нам великое, страшное назидание, — продолжала аббатиса, — воспользуемся им себе во спасение, пусть оно научит нас готовиться к великому переходу, неизбежному для всех! Вы молоды и имеете возможность обеспечить себе лучшее, самое драгоценное из спокойствий, — спокойствие совести. Храните его в юности своей, чтобы оно доставило вам утеху в старости, ибо тщетны, увы! и несовершенны все добрые дела наших позднейших лет, если только в молодости мы творили зло!

Эмилия могла бы возразить, что добрые дела никогда не тщетны, но постеснялась прерывать аббатису и молчала.

— Позднейшая жизнь Агнесы, продолжала аббатиса, была примерной. Ах, если бы она могла загладить свои прежние грехи и заблуждения! В настоящую минуту она тяжело страдает; будем верить, что эти страдания доставят ей спасение в будущей жизни. Я оставила ее с духовником и одним господином, которого она давно желала видеть; он только что прибыл из Парижа. Надеюсь, им сообща удастся доставить ее душе успокоение; она давно в нем нуждается.

Эмилия от всей души присоединилась к этому пожеланию.

— Во время своей болезни Агнеса несколько раз называла ваше имя, — продолжала игуменья; быть может, ей было бы утешительно повидаться с вами. Когда удалятся ее посетители, мы пойдем к ней, если вы только не боитесь тяжелой сцены. Но, право, к подобным сценам, хотя бы самым раздирательным, нам следует привыкать: они душеполезны и приготовят нас к тому, что нам самим, может быть, придется выстрадать.

Эмилия задумалась и опечалилась; разговор этот пробудил в ней воспоминания о предсмертных минутах ее возлюбленного отца, и ей захотелось поплакать над его могилой. Пришли ей на память разные обстоятельства, сопровождавшие его последние минуты: его волнение, когда он убедился, что находится по-соседству от замка Ле-Блан, его желание быть похороненным в определенном месте в монастырской церкви, и данный ей торжественный завет уничтожить его бумаги, не читая. Вспомнились ей также таинственные, страшные слова, нечаянно попавшиеся ей на глаза в рукописях, и хотя они теперь, как и всегда, возбуждали в ней мучительное любопытство насчет их значения и мотивов, руководивших волею отца, но для нее было великим утешением сознание, что она свято исполнила его последнюю волю.

После этого аббатиса умолкла; она, видимо, была слишком взволнована, чтобы разговаривать; ее собеседницы молчали по той же причине. Это задумчивое настроение женщин было прервано приходом незнакомца, мосье Боннака, вышедшего из кельи сестры Агнесы. Он был сильно расстроен, но Эмилии показалось, что она подметила на лице его больше страха, чем горя. Отведя аббатису в сторону, он начал что-то рассказывать ей; она слушала его с напряженным вниманием. Но вот он кончил, молча поклонился остальным присутствующим и вышел. Тогда игуменья предложила Эмилии пойти к сестре Агнесе; она согласилась, скрепя сердце, а Бланш осталась внизу с пансионерками.

У дверей кельи они натолкнулись на духовника, и при одном взгляде на него Эмилия убедилась, что это тот же самый монах, который напутствовал ее умирающего отца; но он прошел мимо, не заметив ее, и они вошли в келью, где на постели лежала сестра Агнеса; возле нея сидела монахиня. Лицо больной так сильно изменилось, что Эмилия не узнала бы ее, если бы заранее не приготовилась ее увидеть: лицо умирающей было страшно, на нем застыло выражение мрачного ужаса; тусклые, провалившиеся глаза были устремлены на распятие, лежавшее у нее на груди; она так глубоко ушла в свои мысли, что не заметила, как подошли аббатиса с Эмилией. Но вот, подняв свой безжизненный взор, она с ужасом устремила его на Эмилию и вдруг взвизгнула:

— О, какое видение!... зачем оно посетило меня в предсмертный час!

Испуганная Эмилия отшатнулась от нее и взглянула на игуменью, как бы прося объяснения; но та знаком показала ей, чтобы она не смущалась. Затем спокойным тоном обратилась к Агнесе:

— Дочь моя, я привела к вам мадемуазель Сент Обер; я знала, что вам приятно будет познакомиться с нею.

Агнеса не отвечала, и не отрывая безумных глаз от Эмилии, воскликнула:

— Это она!... На лице ее то же очрование, которое сгубило меня! Чего ты хочешь от меня? Зачем пришла меня мучить? Ты хочешь, возмездия! Что же, скоро ты получишь его — оно уже твое! Сколько лет прошло с тех пор, как я видела тебя? Мое преступление совершилось лишь вчера!... Я уже состарилась под бременем его, а ты все еще молода и цветуща, как в то время, когда заставила меня совершить то страшное дело! О, как бы я хотела забыть его!... Но какая польза желать: дело сделано, его уже не веротишь!...

Эмилия, потрясенная этой дикой выходкой, хотела убежать из комнаты; но аббатиса, взяв ее за руку, старалась успокоить и просила остаться еще несколько минут, пока Агнеса очнется, и принялась уговаривать больную. Но та не обращала на аббатису никакого внимания и, устремив сумасшедшие глаза на Эмилию, опять заговорила:

— Что значит целые годы молитвы и раскаяния? Они не в силах смыть скверны убийства!... Да, убийства... Где он?... где он?... Смотрите... он там... он идет сюда! Зачем и ты пришел терзать меня? — кричала Агнеса, вперив взор в пространство. — Разве я и так недостаточно наказана? О, не гляди так сурово!... Ха! вот опять она!... Зачем ты глядишь на меня с такой жалостью... хочешь покарать меня? Улыбнись... Кто это стоит?...

Агнеса откинулась назад, как безжизненный труп, а Эмилия едва держалась на ногах и оперлась о кровать; аббатиса с сиделкой вливали Агнесе в рот обычные успокоительные лекарства.

— Пойдите, — остановила аббатиса Эмилию, когда она хотела заговорить, — бред проходит, теперь она скоро придет в себя. Давно этого не случилось с ней, дочь моя? — спросила она сиделку.

— Уже несколько недель не бывало ничего подобного, — отвечала монахиня, но она очень сильно взволновалась приездом этого господина, которого сама как желала видеть.

— Да, — заметила аббатиса, — вероятно, это и вызвало припадок бреда. Когда она оправится, мы уйдем и дадим ей отдых.

Эмилия охотно согласилась; правда, она могла оказать теперь мало помощи, однако ей не хотелось уходить отсюда, пока помощь еще нужна.

Очнувшись, Агнеса опять во все глаза уставилась на Эмилию; но дикое выражение ее взора уже пропало, сменившись мрачной печалью. Прошло несколько минут, прежде чем она оправилась настолько, чтобы заговорить, потом она произнесла слабым голосом:

— Сходство поразительное! без сомнения, это не игра фантазии! Скажите мне, умоляю вас, хотя фамилия ваша Сент Обер — вы не дочь маркизы?

— Какой маркизы? — отозвалась Эмилия в крайнем удивлении.

Ей казалось, судя по спокойствию тона Агнесы, что ее умственные способности уже пришли в нормальное состояние. Аббатиса бросила на нее многозначительный взгляд, но она все-таки повторила свой вопрос.

— Какая маркиза? — воскликнула Агнеса, я знаю только одну — маркизу де Вильруа.

Эмилия вспомнила, в какое волнение пришел ее отец при одном имени этой маркизы, вспомнила его требование, чтобы его похоронили возле фамильного мавзолея де Вильруа. Слова Агнесы возбудили в ней горячий интерес: она стала умолять больную объяснить ей, что значит этот вопрос. Аббатисе хотелось бы увести Эмилию из кельи, но та, сильно заинтересованная, просила остаться еще немного.

— Принеси, мне вон ту шкатулку, сестра, — сказала Агнеса. Я покажу вам маркизу; стоит вам только взглянуть в это зеркало и вы сами убедитесь, что вы дочь ее: такого разительного сходства не бывает иначе, как между близкими родственниками.

Монахиня принесла требуемую шкатулку; Агнеса дала ей наставление, как отпереть ее, и затем вынула оттуда миниатюру, представлявшую точное сходство с той, которую Эмилия нашла в бумагах отца. Агнеса взяла портрет в руки и несколько минут молча, внимательно рассматривала его; затем с выражением глубокого отчаяния на лице, устремила глаза свои к

небу и отдалась горячей внутренней молитве. Окончив молитву, она передала миниатюру Эмилии.

— Храните этот портрет, — сказала она, я вам завещаю его, я убеждена, что вы вправе владеть им. Часто я наблюдала ваше сходство с нею, но никогда еще оно не поражало меня до такой степени, как сегодня!... Пойдите, сестрица, не убирайте шкатулку — там есть еще один портрет, который мне хотелось бы показать.

Эмилия вся трепетала от страха и ожидания, а игуменья опять пробовала увести ее из кельи.

— Агнеса все еще не в своем уме, — говорила она, — заметьте, она опять бредит. В подобном настроении духа она не стесняется обвинять самое себя в самых ужасных преступлениях.

Эмилии, однако, казалось, что в непоследовательных выходках Агнесы кроется не сумасшествие, а нечто другое: ее слова о маркизе и этот портрет до такой степени возбуждали ее любопытство и участие, что она решилась, по возможности, разъяснить это дело до конца.

Монахиня опять подала шкатулку; Агнеса показала Эмилии потайной ящичек и вынула оттуда другую миниатюру.

— Вот, пусть этот портрет послужит в назидание вашему тщеславию, промолвила больная; смотрите на него хорошенько и старайтесь отыскать сходство между тем, какой я была прежде, и тем, какова я теперь...

Эмилия нетерпеливо схватила миниатюру, и при первом же взгляде ей бросилось в глаза поразительное сходство ее с портретом синьоры Лаурентини, который она когда-то видела в Удольфском замке, — портретом дамы, исчезнувшей столь таинственным образом и в убийстве которой подозревали Монтони.

— Что вы так сурово глядите на меня? — спросила вдруг Агнеса, не поняв причины волнения Эмилии.

— Я где-то уже раньше видела это самое лицо, — проговорила наконец Эмилия, — неужели в самом деле это вы?

— Вопрос этот понятен, — отвечала монахиня, — но когда-то портрет считался поразительно схожим. Глядите на меня хорошенько и полюбуйтесь, что сделали из меня страдания и преступление! Тогда я была невинна; порочные страсти моей натуры еще дремали. Сестрица! — прибавила она торжественным тоном и простирая свою влажную, холодную руку к Эмилии, которая вздрогнула от этого прикосновения. — Сестрица! остерегайтесь в начале жизни давать волю страстям, самое важное в начале! Впоследствии их бурный поток уже невозможно остановить; они заведут нас невесть куда, быть может, к преступлениям, которых потом не замолить многолетними молитвами и покаянием!... Так ужасна может быть сила одной единственной страсти, что она преодолевает все прочие и преграждает доступ в сердце всем другим чувствам. Овладев нами, как нечистая сила, эта страсть ведет нас к дьявольским поступкам, она делает нас нечувствительными к состраданию и к упрекам совести. И вот, когда цель ее достигнута, она, как дьявол, бросает нас на растерзание тем же чувствам, которые она сначала отгоняла, на растерзание сожалениям и угрызениям совести. Тогда мы вдруг пробуждаемся, как от глубокого сна, и видим вокруг себя новый мир; мы озираемся в удивлении и ужасе, но злое дело уже совершено и призраки совести не хотят исчезнуть! Что значит богатство... знатность... даже телесное здоровье сравнительно с благом чистой совести, этого здоровья душевного? Что значат все страдания бедности, разочарования, отчаяния сравнительно с муками совести! О, как давно незнакома мне эта роскошь — душевный мир! Я думала, что уже испытала все самые страшные мучения человеческие в любви, ревности, отчаянии, но эти муки были еще легкими в сравнении с теми, что я вынесла впоследствии. Я испробовала также и то, что называется сладостью мщения, но это чувство было мимолетным: оно умерло вместе с предметом, возбуждившим его. Не забывайте, сестрица, что страсти — это семена пороков так же, как и семена добродетелей; из них все может вырасти, смотря по тому, как питать их.

Горе тем, кто не научился владеть своими страстями!

— Горе им, горе! — подтвердила аббатиса, они не ведают основ нашей святой религии!

Эмилия слушала речи Агнесы с безмолвным трепетом; она продолжала внимательно разглядывать миниатюру и убедилась в ее большом сходстве с портретом в Удольфском замке.

— Это лицо очень знакомо мне, с— сказала она, желая навести монахиню на какое-нибудь объяснение, но боясь неожиданно открыть ей, что она знакома с Удольфом.

— Вы ошибаетесь, — возразила Агнеса, — не может быть, чтобы вы видели этот портрет когда-нибудь раньше.

— Но я видела другой в высшей степени похожий на этот!

— Немыслимо! — стояла на своем Агнеса, которую отныне мы будем звать синьорой Лаурентини.

— Это было в Удольфском замке... — продолжала Эмилия, пристально взглянув на нее.

— Удольфо! — воскликнула Лаурентини. — Удольфо в Италии?

— Именно, — подтвердила Эмилия.

— Итак, вы знаете меня, — молвила Лаурентини, — и вы дочь маркизы.

Эмилия была ошеломлена этим неожиданным заключением.

— Я дочь покойного дворянина Сент Обера, а дама, о которой вы говорите, чужая для меня.

— Это вы так думаете. — возразила Лаурентини.

Эмилия спросила, — какие могут быть причины думать иначе?

— Семейное сходство ваше с нею, — сказала монахиня. — Маркиза, насколько известно, любила одного гасконского дворянина в ту пору, как вышла замуж за маркиза де Вильруа, повинувшись воле своего отца. Несчастливая, злополучная женщина!

Эмилия припомнила необыкновенное волнение Сент Обера при одном имени маркизы, и если бы не твердая уверенность в непогрешимости отца, то она в эту минуту испытала бы не одно удивление, а другие, более тяжелые чувства. Но она ни на мгновение не могла допустить того, на что намекали слова больной; однако все-таки они сильно заинтересовали ее, и она попросила дальнейшего объяснения.

— Ах, не заставляйте меня говорить об этом, — сказала монахиня, — это предмет ужасный! Как хотела бы я, чтобы все это изгладилось из моей памяти! — Она тяжело вздохнула и после минутной паузы спросила Эмилию, каким образом она узнала ее имя.

— Да по вашему портрету в Удольфском замке, с которым миниатюра поразительно похожа, — отвечала Эмилия.

— Так, значит, вы сами бывали в Удольфо? — воскликнула монахиня в сильном волнении. — Увы! какие разнообразные картины возникают в моем воображении при одном этом имени: сцены счастья, страдания... ужаса!

В эту минуту Эмилии пришло на память леденящее кровь зрелище, которое она видела в одном из покоев замка; она задрожала, не отрывая глаз от монахини, и вспомнила ее недавние слова, что долгие годы молитвы и покаяния не смоют скверны порока... Теперь уже она приписала эти слова другой причине, а не болезненному бреду. Ею овладел ужас, почти лишивший ее сознания, она была уверена, что видит перед собой убийцу!... Все, что она знала о поступках Лаурентини, как будто подтверждало это предположение. Но все же Эмилия терялась в лабиринте недоумений и, не решаясь прямо задать вопрос, который повел бы к разъяснению истины, могла только намекнуть на него в несвязных фразах.

— Ваше неожиданное исчезновение из Удольфо...

Лаурентини тяжело застонала.

— Слухи, поднявшиеся вслед затем... продолжала Эмилия, — комната в западном флигеле... траурный занавес... страшный предмет, скрывающийся за ним...

Монахиня пронзительно вскрикнула:

— Как! опять это видение! — произнесла она, пытаясь приподняться, между тем как

безумные глаза ее обводили комнату... Выходцы из гроба! И кровь, кровь... кровь!... Но крови не было... ты не можешь этого утверждать... Не улыбайся, не улыбайся так жалко!...

С Лаурентини сделались судороги, в то время, как она произносила эти слова. Эмилия, не имея сил долее выносить ужаса этой сцены, выбежала из кельи и послала нескольких монахинь к аббатисе просить помощи.

Бланш и пансионеры, находившиеся в приемной, обступили Эмилию и, встревоженные ее взволнованным лицом, засыпали ее вопросами, на которые она уклонилась отвечать, сказав, что сестра Агнеса умирает. Это и сочли причиной ее ужаса; женщины старались оживить Эмилию, дав ей выпить успокоительного питья. Но душа ее была так потрясена страшными подозрениями и сомнениями, на основании некоторых слов монахини, что она не могла ни с кем говорить и ушла бы тотчас же из монастыря, но ей хотелось узнать, переживет ли Лаурентини свой болезненный припадок. По прошествии некоторого времени ее уведомили, что судороги прошли и что синьора Лаурентини как будто оживает. Эмилия с Бланш собрались уходить, но тут вышла аббатиса и, отозвав Эмилию в сторону, заявила, что имеет сообщить ей нечто очень важное, но так как теперь уже поздно, то она не будет задерживать ее, но просит Эмилию зайти к ней завтра.

Эмилия обещала посетить ее и, простившись, направилась вместе с Бланш к их замку; начало уже смеркаться; окружающая тишина, полумрак в лесу возбуждали в Бланш тревогу, хотя их провожал слуга. Эмилия же была слишком потрясена недавней сценой, чтобы трусить потемок в густой лесной чаще; этот полумрак только способствовал ее глубокой задумчивости, из которой она впрочем скоро была выведена Бланш; та указала подруге на какие-то две фигуры, идущие медленным шагом по темной тропинке впереди. Невозможно было избежать их иначе, как углубившись в уединенную лесную чащу, куда незнакомцы легко могли последовать за ними. Но страх их миновал, когда Эмилия узнала голос мосье Дюпона и убедилась, что путник его — тот самый господин, которого она только что видела в монастыре. В настоящую минуту он был занят такой горячей беседой с Дюпоном, что даже не обратил внимания на их приближение. Когда Дюпон подошел к девицам, незнакомец откланялся, и они втроем направились к замку. Граф, услышав фамилию Боннака, объявил, что знаком с ним и, узнав по какому печальному случаю он прибыл в Лангедок и остановился в маленькой деревенской гостинице, просил мосье Дюпона пригласить его от имени графа в замок.

Дюпон с радостью исполнил это поручение; он уговорил Боннака отбросить всякие церемонии и принять радушное приглашение; тогда они вместе явились в замок, где любезность графа и веселое оживление его сына отчасти рассеяли мрачное настроение незнакомца. Боннак был офицером на французской службе; на вид ему было лет под пятьдесят; он был высокого, статного роста, манеры его отличались утонченным изяществом и вообще во всей наружности его было что-то чрезвычайно интересное. По чертам его, в молодости, вероятно, очень красивым, была разлита меланхолия, вероятно следствие пережитых несчастий.

За ужином он хотя и участвовал в разговоре, но, очевидно, только из учтивости — бывали минуты, когда он, не имея сил бороться с угнетавшими его чувствами, вдруг замолкал и видимо думал о другом. Граф не пробовал вывести его из этого состояния и вообще относился к нему с добротой и деликатностью, напомнившей Эмилии ее покойного отца.

Общество разошлось рано; Эмилия удалилась в свою спальню, и там, в тиши уединения, все пережитые сцены с удвоенной силой овладели ее мыслями. Ее поражало, что умирающая монахиня оказалась синьорой Лаурентини, которая вовсе не была умерщвлена синьором Монтони, как раньше подозревали, а сама виновна в каком-то страшном преступлении; пророненные ею намеки относительно замужества маркизы де Вильюра и ее расспросы о происхождении Эмилии возбуждали в ней не меньший интерес, хотя уже интерес другого свойства.

История Агнесы, раньше рассказанная ей сестрой Франциской, оказывалась неверной;

но с какой целью она была выдумала, если не для того, чтобы удобнее скрыть истину? Более всего Эмилию интересовало отношение между историей покойной маркизы де Вильруа и судьбой ее отца; что существовало между ними какое-то отношение, это несомненно доказывало горе Сент Обера, когда при нем произнесли ее имя, его желание быть похороненным возле нее и портрет ее, найденный в его бумагах. В иные минуты Эмилии приходило в голову, что ее отец и был тем возлюбленным, к которому была так привязана маркиза в то время, когда ее насильно выдали за маркиза де Вильруа; но чтобы он и позже питал к ней страсть — этому она не верила ни минуты. Она была почти убеждена, что бумаги, которые он так торжественно велел ей уничтожить, касались именно этих отношений. Более чем когда-либо она жаждала узнать, почему он считал нужным отдать ей такое приказание, и не будь у нее такой непоколебимой веры в его правоту, это внушило бы ей мысль, что есть какая-то тайна, касающаяся ее рождения, тайна, постыдная для ее родителей, и что эти рукописи могли бы разоблачить ее.

Подобные размышления мучили ее всю ночь, и когда она наконец, забылась в тревожном сне, и тогда ее беспокоил видения умирающей монахини и всех ужасов, испытанных за день.

На другое утро она чувствовала себя слишком слабой и нездоровой, чтобы пойти на свидание с аббатисой; еще до наступления вечера ее уведомили, что сестра Агнеса скончалась. Г.Боннак принял это известие с подобающей печалью; но Эмилия заметила, что теперь он менее расстроен, чем накануне вечером, когда вышел из кельи монахини, — очевидно, смерть ее была для него меньшим ударом, чем та исповедь, которую он услышал от нее. Как бы то ни было, его, вероятно, утешило до некоторой степени сведение об оставленном ему наследстве, — семья у него была большая, причем сумасбродства некоторых ее членов навлекли на него большие неприятности и даже заключение в тюрьму; беспутство любимого сына и связанные с ним денежные заботы и огорчения были главными причинами той печали, которая была написана на его лице и которая возбуждала участие Эмилии.

Мосье Дюпон рассказал своим друзьям историю его последних несчастий: несколько месяцев просидел он в заключении в одной из парижских тюрем, причем даже не мог надеяться на скорое освобождение и не имел утешения видаться с женою, которая в то время уезжала в деревню, стараясь, хотя и тщетно, добиться помощи от его друзей. Когда она, наконец, получила разрешение посетить мужа, то была так поражена его измученным видом от долгого заточения и горя, что с ней сделались припадки, которые, вследствие своей продолжительности, угрожают ее жизни.

— Наше положение возбуждало сострадание у всех окружающих, — продолжал Боннак, один великодушный друг, сидевший в тюрьме вместе со мною, впоследствии воспользовался первыми минутами своей свободы для того, чтобы начать хлопотать о моем освобождении. Старания его увенчались успехом; огромный долг, обременявший меня, был выплачен. Но когда я пожелал выразить ему мою признательность, мой благодетель уклонился от этого. Я имею причины думать, что он сам сделался жертвой своего великодушия и опять попал в заключение после того, как помог мне освободиться. Все мои поиски оказались безуспешными. Добрый, несчастный Валанкур!

— Валанкур! — подхватил мосье Дюпон. — Из каких Валанкуров?

— Это Валанкуры — графы Дюварней, — пояснил Боннак.

Нетрудно себе представить волнение Дюпона, когда он узнал, что великодушный благодетель его друга и его соперник в любви — одно и то же лицо.

Преодолев свое изумление, он поспешил успокоить Боннака, сказав ему, что Валанкур на свободе и еще не так давно был в Лангедоке; затем из преданности к Эмилии, Дюпон стал расспрашивать Боннака об образе жизни его соперника в Париже, — так как Боннак был хорошо осведомлен на этот счет. Из его ответов можно было вывести заключение, что на Валанкура наговорили много лишнего; как ни тяжела была эта жертва для Дюпона, но он решил окончательно отступить от своих притязаний на Эмилию и передать их другому,

который, как теперь обнаруживалось, был по-прежнему достоин ее уважения.

Из рассказов Боннака оказывалось, что Валанкур, вскоре по прибытии в Париж, попался в тенета, расставленные ему наглым пороком; время свое он разделял между пиршествами у соблазнительной маркизы и игорными собраниями, куда тащили его товарищи-офицеры — из зависти к его порядочности, или просто из желания пожить за его счет. На этих собраниях он сперва проигрывал мелкие суммы, но потом, желая отыграться, проиграл много денег, — свидетелями его проигрышей не раз были граф де Вильфор и его сын Анри. Наконец, ресурсы Валанкура истощились, и граф Дюварней, его брат, возмущенный его поведением, отказался наотрез давать ему средства на поддержание подобного образа жизни; тогда Валанкур, вследствие накопившихся долгов, был заключен в тюрьму, откуда брат и не пробовал его выручить, в надежде, что такое наказание исправит его поведение, так как оно не было следствием привычки, усвоенной с юных лет.

В уединении тюрьмы Валанкур имел досуг одуматься и, раскаяться; образ Эмилии, несколько поблекший за время его распутной жизни в столице, но не изгладившийся из его сердца, — снова ожил во всем очаровании невинности и красоты; этот дорогой образ укорял его в том, что он погубил свое счастье и унизил свои прекрасные душевные качества такими увлечениями, которые он в прежнее время, по благородству своего характера, считал бы пошлыми и постыдными. Но хотя страсти его поддались соблазну, сердце его не было развращено, и так как он сохранил силу воли, необходимую ему для того, чтобы свергнуть это рабство порока, то он в конце концов освободился от него, разумеется, не без огромных усилий и страданий.

Освобожденный стараниями брата из тюрьмы, где он был свидетелем трогательного свидания между Боннаком и его женой, с которыми он несколько времени тому назад познакомился, Валанкур воспользовался первыми же минутами своей свободы для того, чтобы совершить поступок, положим, гуманный, но вместе с тем и поразительный по своему легкомыслию. Взяв с собой почти всю сумму денег, данную ему братом, он сейчас же отправился в игорный дом и поставил эту сумму на карту, с тем, чтобы, в случае выигрыша, выкупить на свободу своего друга и вернуть его огорченной семье. Валанкуру повезло — он выиграл и тут же дал себе торжественную клятву никогда более не поддаваться опасному соблазну игры.

Возвратив почтенного отца семейства, Боннака, в объятия его образованной семьи, Валанкур поспешил уехать из Парижа в Этьювер; радуясь, что ему удалось осчастливить бедняков, он на время позабыл о своих собственных несчастьях. Вскоре, однако, он пришел в себя и сообразил, что растратил состояние, без которого никогда не может надеяться жениться на Эмилии; между тем жизнь без нее казалась ему невыносимой — ее доброта, деликатность, сердечная простота придавали ее красоте в глазах его еще больше очарования. Опять научил его вполне оценить те качества, которыми он раньше только восхищался: в силу контраста, после всего, что ему довелось видеть в свете, он стал боготворить эти благородные качества. Такие размышления усиливали муки его совести и раскаяние и вызвали в нем отчаяние, так как он считал себя уже недостойным Эмилии; что касается позорного пользования денежными средствами от маркизы Шамфор, или от других светских интриганок, то до этого Валанкур никогда не доходил, хотя об этом и наговорили графу Вильфору, — точно также он никогда не участвовал в шулернических проделках игроков; это была злостная сплетня, одна из тех, какие часто примешиваются к истине, подавляя несчастных. Граф де Вильфор получил эти сведения из источников, по его мнению, не допускающих никаких сомнений, и неосторожное поведение Валанкура, не раз виденное им самим, тем легче заставило его поверить этим сплетням. Слухи эти были такого шекотливого свойства, что Эмилия не могла передать их Валанкуру, поэтому он не имел даже случая опровергнуть их, и когда он сам заявил ей, что недостойн ее уважения, то ни мало не подозревал, что подтверждает самую возмутительную клевету. Таким образом, ошибка была взаимной и никто не думал исправить ее, пока Боннак не выяснил Дюпону поведение своего великодушного, но неосторожного молодого друга, и вот Дюпон, строго придерживаясь

справедливости, решился не только разубедить графа на этот счет, но и отказаться от всякой надежды получить руку Эмилии.

Когда графу объяснили его ошибку, он был крайне поражен последствиями своего легковерия; рассказ Боннака о положении его молодого друга в то время, как он проживал в Париже, убедил его, наконец, что Валанкур просто запутался в силках, расставленных ему целым кружком распутных молодых людей, частью товарищей по профессии, и что он вовсе не имел природной склонности к пороку. Очарованный непосредственным и благородным, хотя и несколько легкомысленным поступком его по отношению к Боннаку, он простил ему мимолетные заблуждения, запятнавшие его молодость, и вернул ему то высокое уважение, какое питал к нему в начале их знакомства. Но так как дать удовлетворение Валанкуру он мог не иначе, как доставив ему случай объясниться с Эмилией, то он немедленно написал молодому человеку; прося прощения за невольно нанесенную ему обиду, и приглашал его к себе в замок Ле-Блан.

Щекотливые соображения деликатности не допускали графа сообщить Эмилиии об этом письме; из сердечной доброты он не рассказал ей и об открытии, сделанном насчет Валанкура, до тех пор, пока приезд его не избавит ее от возможности беспокоиться об исходе этого дела. Такая предосторожность спасла ее от еще более тяжелой тревоги, чем даже предвидел граф: он не знал о симптомах отчаяния, замеченных у Валанкура за последнее время.

ГЛАВА LV

*Но суд свершается над нами здесь:
Едва урок кровавый дан, обратно
Он на главу учителя падет;
Есть суд и здесь: рукою беспристрастной
Подносит вам он чашу с нашим ядом.*
Макбет

Вскоре случилось необыкновенное происшествие, которое на время отвлекло Эмилиию от ее личных горестей и возбудило в ней смешанные чувства удивления и ужаса.

Через несколько дней после кончины синьоры Лаурентини ее завешание было вскрыто в монастыре, в присутствии игуменьи и Боннака; третья часть ее личного состояния завещана ближайшей, оставшейся в живых родственнице покойной маркизы де Вильруа, и этой родственницей оказалась Эмилия.

Семейная тайна Эмилии давно была известна аббатисе; но по горячей просьбе Сент Обера, знакомый монах, исповедовавший его на смертном одре, скрыл от его дочери ее родство с маркизой. Некоторые намеки, пророненные синьорой Лаурентини во время ее последнего свидания с Эмилией, и странные вещи, разоблаченные на ее исповеди перед смертью, побудили аббатису поговорить с молодой девушкой о предмете, которого она раньше не решалась касаться; для этой цели она и просила ее повидаться с нею на другой день после ее свидания с монахиней. Нездоровье Эмилии тогда помешало предполагаемой беседе. Но теперь, после вскрытия завешания, Эмилия получила вторичное приглашение в монастырь и поспешила туда; то, что сообщила ей игуменья, просто ошеломило ее. Так как повествование аббатисы было не полно во многих отношениях, и она пропустила кое-какие подробности, может быть, интересные для читателя, и так как история монахини существенно связана с судьбою маркизы де Вильруа, то мы не станем передавать разговора, происходившего в монастырской приемной, и расскажем отдельно краткую историю.

СИНЬОРА ЛАУРЕНТИНИ ДИ УДОЛЬФО

Она была единственной дочерью у своих родителей и наследницей старинного родового поместья Удольфо в Венецианской области. Главным несчастьем ее жизни, повлекшим за собою все последующие страдания, было то,

что близкие люди, которым следовало бы сдерживать ее пылкие страсти и постепенно учить ее управлять ими, напротив, баловали ее напропалую и развивали эти задатки во впечатлительной девочке. В ней они в сущности лелеяли свои собственные недостатки: потакая страстям ребенка или подавляя их; они только ублажали самих себя. Они то потворствовали ей из слабости, то вдруг резко накидывались на нее. Душа девочки возмущалась их тиранией, вместо того, чтобы исправляться, под влиянием их разумности. И всякое их сопротивление порождало борьбу, в которой каждой из сторон хотелось победить, при чем одинаково забывалась и родительская нежность, и обязанности ребенка по отношению к родителям; но так как любовь к дочери очень быстро обезоруживала гнев родителей, то синьора Лаурентини воображала, что она остается победительницей в борьбе и после каждого подобного столкновения страсти ее становились все более и более необузданными.

После смерти ее отца и матери, последовавшей в один и тот же год, она очутилась одинокой и совершенно самостоятельной, и что еще значительно затрудняло ее положение, — это ее молодость и красота. Она любила общество, ее тешило поклонение, однако она пренебрегала мнением света в тех случаях, когда оно противоречило ее наклонностям; нрав у нее был веселый, остроумный и она была мастерицей в искусстве очаровывать. Чего же можно было ожидать от нее при слабости ее принципов и силе страстей?..

Среди ее многочисленных поклонников был покойный маркиз де Вильруа, который во время путешествия по Италии увидел синьору Лаурентини в Венеции, где она обыкновенно проживала, и страстно влюбился в нее. Очарованная наружностью и талантами маркиза, который в то время слыл одним из выдающихся вельмож французского двора, она сумела настолько искусно скрыть от него предосудительные черты своего характера и прегрешения своей прежней жизни, что он просил ее руки.

До свадьбы синьора Лаурентини удалилась в Удольфский замок, куда за нею последовал и маркиз; там она, отбросив сдержанность, которую соблюдала за последнее время, показала себя в настоящем свете; нареченный жених, увидав пропасть, над которой стоял, и окончательно убедился, что он заблуждался насчет ее характера и нравственности; та, которую он хотел сделать своей женой, стала его любовницей.

Маркиз провел несколько недель в Удольфском замке, но вдруг был неожиданно вызван во Францию; он уехал неохотно, потому что сердце его все еще было очаровано блестящей синьорой, свадьбу с которой он, однако, откладывал под разными предлогами; но, чтобы примирить ее с этой разлукой, он неоднократно давал ей обещания жениться, лишь только позволят ему дела, из-за которых он был вызван во Францию.

Успокоенная до известной степени его уверениями, Лаурентини, скрепя сердце, отпустила его; вскоре после этого прибыл в Удольфо ее родственник, Монтони, и возобновил предложение, которое она уже однажды отвергла. И теперь она ответила ему отказом; мысли ее были всецело заняты маркизом де Вильруа: она любила его пылкой, мучительной, чисто итальянской страстью, еще усилившейся в уединении, на которое она добровольно обрекла себя: теперь она утратила всякий вкус к светским удовольствиям. Единственным ее занятием было вздыхать и плакать над миниатюрой маркиза, бродить по местам их прежних прогулок, изливать свое сердце в письмах к нему, считать недели, дни, часы, остававшиеся до свидания с ним. Однако назначенный срок прошел, а он все не возвращался; недели шли за неделями в тяжком, почти нестерпимом ожидании. За этот период времени воображение синьоры Лаурентини, занятое одной исключительной мыслью, начало приходить в расстройство; сердце ее целиком предалось одному и тому же предмету и жизнь ее стала невыносимой после того, как она убедилась, что этот предмет погиб для нее. Прошло несколько месяцев; маркиз де Вильруа не давал о себе вести и в иные дни она впадала в безумное отчаяние. Она замкнулась в одиночестве, не допускала к себе никаких посетителей; иногда по целым неделям не выходила из своей спальни, ни с кем не говорила ни

слова, кроме своей любимой горничной, писала какие-то письма, перечитывала те, которые раньше получила от маркиза, плакала над его портретом и разговаривала с ним по часам, браня, упрекая и целуя его вперемежку.

Наконец до нее дошло известие, что маркиз женился во Франции; перестрадав все муки любви, ревности и бешенства, она задумала отчаянный план: тайно пробраться во Францию, и если известие о его женитьбе окажется верным, отомстить ему ужасной мстью... Только одной своей любимой горничной она доверила свой замысел и пригласила ее ехать с собою. Собрав все свои бриллианты, доставшиеся ей по наследству от нескольких отраслей ее фамилии и представлявшие огромную ценность, а также и наличные деньги, на крупную сумму, она все это уложила в чемодан, который тайно был препровожден в соседний город; туда же направилась и синьора Лаурентини со своей наперсницей; затем они пробрались в Легхорн, где сели на корабль, чтобы отплыть во Францию.

По прибытии в Лангедок, убедившись, что маркиз де Вильруа действительно женился несколько месяцев назад, она впала в страшное горе, почти лишившее ее рассудка. Она попеременно то решалась выполнить задуманный страшный план, — убить маркиза, жену его и самое себя, то опять бросала его. Наконец, ей удалось подстеречь где-то маркиза с намерением упрекнуть его за его измену и тут же, на его глазах, заколоть себя кинжалом; но когда она увидела после долгой разлуки того, кто был единственным предметом ее помыслов и ее мечтаний, гнев ее сменился пылкой любовью; решимость ее ослабела; она затрепетала в борьбе осаждавших ее чувств и лишилась сознания...

Маркиз не мог быть совершенно равнодушным к соблазну ее красоты и преданности; любовь охватила его сердце с прежней силой: раньше он боролся против нее только в силу благоразумия. Так как честь фамилии не позволяла ему жениться на синьоре Лаурентини, то он старался подавить свою страсть; это удалось ему настолько, что он избрал маркизу себе в жены. В первое время он любил свою супругу спокойной, рассудительной любовью; но кроткие добродетели этой женщины не вознаграждали его за ее равнодушие, сквозившее в ее отношениях к нему, несмотря на ее усилия скрыть свои чувства; одно время он даже подозревал, что ее привязанность принадлежит другому, вот тут-то как раз и приехала синьора Лаурентини. Хитрая итальянка тотчас же заметила, что снова приобрела прежнее влияние на возлюбленного; успокоенная этой уверенностью, она решила не лишать себя жизни, а пустить в ход все свое очарование, чтобы заручиться его согласием на дьявольское дело, которое она считала необходимым для обеспечения своего счастья. Она повела интригу чрезвычайно искусно и с терпеливой настойчивостью; совершенно изгладив в сердце графа привязанность его к жене, кроткая доброта и бесстрастный характер которой перестали ему нравиться, в сравнении с чарами итальянки, она продолжала подстрекать в его душе ревность оскорбленного самолюбия, но уже не любви, и указала ему даже на то лицо, ради которого маркиза, по ее словам, пожертвовала своей честью; но перво-наперво Лаурентини исторгла у маркиза торжественное обещание воздержаться от мести по отношению к своему сопернику. Это было одним из важных пунктов ее плана: она понимала, что если не дать ему отомстить сопернику, то его жажда мести еще сильнее обрушится на жену и тогда можно будет убедить его помочь ей в совершении страшного дела, которое уничтожит последнюю помеху на пути Лаурентини.

Между тем, ни в чем неповинная маркиза с горестью замечала перемену в обращении мужа. Он стал сдержан и задумчив в ее присутствии; обхождение его было сурово и порою даже грубо. Иногда она по целым часам плакала из-за какой-нибудь резкой выходки его и задумывалась, каким путем вернуть себе его привязанность. Поведение его огорчало ее тем более, что она согласилась выйти за него, повинувшись воле отца, несмотря на то, что была влюблена в другого человека, доброта и прекрасный характер которого могли бы составить ее счастье. Это обстоятельство синьора Лаурентини пронюхала вскоре по приезде во Францию и широко воспользовалась им для своих интриг: она доставила маркизу мнимые доказательства неверности его жены, и он, в порыве бешенства, согласился извести

несчастную. Ей дали медленного яда, и она погибла жертвой коварства синьоры Лаурентини и преступной слабости своего супруга.

Но момент торжества для Лаурентини, момент, которого она так ожидала, надеясь, что тогда осуществятся все ее заветные мечты, оказался лишь началом страданий, которые уже не оставляли ее до самой смерти.

Жажда мщения, отчасти побуждавшая ее совершить это гнусное злодеяние, угасала в тот же момент, как была удовлетворена, и оставила ее во власти раскаяния и мучительных угрызений совести, которые отравили бы все те годы, которые она надеялась прожить с маркизом де Вильруа, если бы осуществились ее расчеты на брак с ним. Но и он также убедился, что момент мщения был для него началом тяжких угрызений и ненависти к сообщнице своего преступления; убеждение в виновности жены сразу исчезло, и он очутился в недоумении и смущении, видя, что не существует никаких доказательств ее измены теперь, когда она понесла наказание за свой мнимый грех. Когда ему сообщили, что она умирает, он вдруг почувствовал необъяснимую уверенность в ее невинности, и торжественное признание, которое она сделала ему перед смертью, еще более убедило его в ее безупречном поведении.

В пылу раскаяния и отчаяния он решился было предать в руки правосудия и самого себя и женщину, вовлекшую его в бездну преступления, но когда миновал первый припадок горя, он переменял намерение. С синьорой Лаурентини он однако виделся всего один раз после этого: он осыпал ее проклятиями, как главную зачинщицу преступления, и объявил ей, что пощадит ее жизнь лишь с условием, чтобы она согласилась посвятить остаток дней своих молитве и покаянию.

Удрученная и разочарованная презрением и ненавистью со стороны человека, ради которого она не задумалась запятнать свою совесть человеческой кровью, и сама ужасаясь своего бесполезного преступления, Лаурентини отказалась от света и удалилась в монастырь св.Клары, где и прожила много лет несчастной жертвой своих необузданных страстей!

Немедленно после смерти жены, маркиз покинул замок Ле-Блан и никогда больше туда не возвращался; он пробовал заглушить в себе угрызения совести за свое преступление в треволнениях войны, или среди развлечений столичной жизни.

Но усилия его были напрасны; глубокая печаль овладела им навсегда, и самые близкие его друзья не могли догадаться, что его удручает. Наконец, он умер, почти в таких же мучениях, как и Лаурентини. Врач, заметивший следы отравления на лице несчастной маркизы после ее кончины, был подкуплен, с тем, чтобы он не раскрыл этой тайны, а подозрения слуг были так неопределенны, что это дело легко было затушить. Неизвестно, достигли ли эти слухи до отца маркизы. Если и достигли, то, быть может, трудность добыть необходимые улики удержала его от преследования судом маркиза де Вильруа; но смерть несчастной женщины возбудила глубокое горе у некоторых из членов ее семьи, а в особенности у брата ее, Сент Обера — такова была степень родства, существовавшая между отцом Эмили и маркизой; нет сомнения, что он подозревал, отчего она умерла. Между ним и маркизом происходил обмен писем вскоре после кончины его возлюбленной сестры, и есть основание предполагать, что в них упоминалось о причине ее смерти.

В этой переписке и некоторых письмах маркизы, доверчиво сообщавшей брату о причинах своего несчастья — и заключались те документы, которые Сент Обер торжественно завещал дочери уничтожить не читая; забота о ее душевном спокойствии, вероятно, и побудила его скрыть от нее печальную историю, к которой относились эти бумаги. Он так сильно грустил по поводу безвременной кончины своей любимой сестры, что никогда не мог слышать ее имени и сам ни с кем не говорил о ней, кроме как с г-жой Сент Обер. Щадя чувствительность Эмили, он так тщательно скрывает от нее историю маркизы и даже ее имя, что она до сих пор даже не подозревала своего родства с маркизой де Вильруа: он просил молчать об этом свою другую сестру, г-жу Шерон, и та строго соблюдала его просьбу.

Над некоторыми из этих трогательных писем маркизы Сент Обер проливал слезы в тот вечер, когда Эмилия наблюдала его накануне отъезда их из «Долины»; ее же портрет он с такой нежностью рассматривал и целовал. Мученическая смерть ее и была причиной волнения, которое он испытал, услышав ее имя из уст старика-крестьянина, Лавуазона; понятно и его желание быть похороненным рядом с мавзолеем фамилии де Вильруа, где покоились останки его сестры, но не ее мужа, который был похоронен в том месте, где скончался, — на севере Франции.

Духовник, напутствовавший Сент Обера перед смертью, узнал в нем брата покойной маркизы; но Сент Обер, из нежности к Эмилии, просил его скрыть от нее это обстоятельство и попросить аббатису, попечению которой он поручал Эмилию, сделать то же самое — этот завет его был соблюден в точности.

Синьора Лаурентини, прибыв во Францию, тщательно скрывала свое имя и фамилию и, чтобы удобнее замаскировать свою истинную историю, постаралась о распространении в монастыре другой истории, той, которая была внушена сестре Франциске; весьма вероятно, что даже аббатиса, еще не стоявшая во главе обители во время пострижения итальянки, не знала всей истины.

Мучительные угрызения совести, овладевшие синьорой Лаурентини, в связи со страданиями несчастной любви — потому что она все еще любила маркиза — опять расстроили ее рассудок; когда миновали первые пароксизмы отчаяния, душой ее овладела тяжелая, молчаливая меланхолия, не покидавшая ее до самой смерти; лишь по временам это подавленное состояние прерывалось припадками буйства. В продолжение многих лет единственным ее развлечением было бродить в одиночестве по лесу вокруг монастыря в тихий час ночной и играть на любимом своем инструменте, иногда сопровождая игру дивными звуками своего голоса: она пела торжественные, печальные песни своей родины, с трогательным чувством, накопившимся в ее сердце. Врач, лечивший ее, советовал настоятельнице не препятствовать ей в исполнении этой прихоти, так как это было единственное средство успокоить ее расстроенное воображение. И вот ей позволяли бродить в тиши ночной, в сопровождении служанки, приехавшей с ней из Италии. Но так как эта привилегия была нарушением монастырского устава, то ее держали, по возможности, втайне.

Таким образом, таинственная музыка, исполняемая синьорой Лаурентини, в связи с некоторыми другими обстоятельствами, породила слух, что не только в самом замке, но и в окрестностях его водится нечистая сила.

Вскоре после поступления в святой орден и прежде чем у нее проявились симптомы умопомешательства, Лаурентини написала свое завещание, и в нем, отказав крупный вклад в монастырь, разделила остальное имущество, очень ценное, благодаря бриллиантам, между своей родственницей, женой Боннака, родом итальянкой, и между ближайшей оставшейся в живых родственницей покойной маркизы де Вильруа. Так как Эмилия Сент Обер оказывалась не только ближайшей, но и единственной родственницей маркизы, то это наследство доставалось ей и таким образом разъяснилось таинственное поведение ее отца.

Сходство между Эмилией и ее злополучной теткой с первого взгляда бросилось в глаза синьоре Лаурентини; оно и вызвало странную выходку, перепугавшую Эмилию; в предсмертные минуты монахини, когда измученная совесть постоянно рисовала ей образ маркизы, — такое сходство ее с Эмилией особенно поразило ее и в припадке острого умоисступления ей почудилось, что она видит перед собою не другое лицо, похожее на погубленную ею женщину, а ее самое. Когда она очнулась, ее смелое заявление, что Эмилия, вероятно, дочь маркизы де Вильруа, было совершенно искренно — она действительно подозревала, что это так; зная, что ее соперница, выходя за маркиза, любила другого человека, она не постеснялась вывести заключение, что ее соперница также пожертвовала своею честью, отдавшись необузданной страсти.

Что касается преступления, в котором заподозрила ее Эмилия, на основании ее же собственного безумного признания о каком-то убийстве, совершенном в Удольфском замке-то синьора Лаурентини была в нем неповинна. Сама Эмилия была введена в заблуждение страшным зрелищем, виденным ею в одном из покоев

замка, и некоторое время приписывала ужасные терзания монахини сознанию какого-то преступления, совершенного в этом замке.

Если помнит читатель — в одном из покоев Удольфского замка висел черный занавес, возбуждавший любопытство Эмилии; как потом оказалось, за ним скрывался предмет, который привел ее в несказанный ужас: подняв занавес, она увидела там не картину, как ожидала, а в углублении стены человеческую фигуру мертвенной бледности, распростертую во весь рост и окутанную могильным саваном. Что еще усиливало ужас зрелища — это то, что лицо казалось частью разложившимся и изъеденным червями, которые виднелись на лице и на руках. Само собою разумеется, что на такое зрелище никто не согласился бы взглянуть вторично. Эмилия, как уже известно, при первом же взгляде на него, опустила покрывало и после этого, конечно, не захотела еще раз испытать это страшное впечатление. Но если бы она решилась повторить опять, то ее страх и иллюзия исчезли бы, как дым — она убедилась бы, что это не труп, а фигура, сделанная из воска. История этого изображения не совсем обыкновенная, хотя подобные ей встречаются в летописях суеверного монашеского владычества.

Одним из членов Удольфской фамилии в чем-то провинился перед святою церковью и был осужден — в виде кары — созерцать ежедневно, в продолжение нескольких часов восковую фигуру, похожую на человеческий труп в период разложения. Эта епитимия, служа ему напоминанием того, во что он сам когда-нибудь обратится, была наложена с целью унижить гордость маркиза Удольфо, когда-то сильно досаждавшую римской церкви, и маркиз не только сам суеверно подчинился этой епитимии, но даже включил в свое завещание распоряжение, чтобы его потомки хранили эту фигуру, — под страхом, в случае неповиновения, отдать часть поместий церкви, — дабы и они могли пользоваться назиданием, которое в ней заключается. Итак, восковое изображение по-прежнему хранилось в стенной нише; но потомки маркиза уже уклонялись от соблюдения наложенной на него епитимии.

Это изображение было поразительно искусно сделано, и немудрено, что Эмилия поддалась иллюзии, приняв его за человеческий труп; после того как она услышала удивительный рассказ об исчезновении бывшей владелицы замка и узнала, на что способен Монтони, весьма понятно, что она вообразила, будто это труп синьоры Лаурентини и будто Монтони был виновником ее смерти.

Существование такого предмета в одной из комнат замка сначала сильно удивляло и смущало Эмилию; но тщательность, с какой запирались потом двери комнаты, где он находился, убеждала ее, что Монтони, не решаясь доверить кому-либо тайну смерти своей жертвы, оставил ее труп разлагаться в этой темной комнате. Но останки были завешены занавесью и двери были оставлены незапертыми — это обстоятельство поражало ее и сбивало с толку.

И все-таки она никак не могла преодолеть своих подозрений относительно Монтони; страх перед его грозным мщением заставлял ее молчать о том, что она видела в западном флигеле.

Эмилия узнав, что покойная маркиза де Вильруа была родной сестрой Сент Обера, испытала разнообразные чувства: сожалея о ее безвременной кончине, она почувствовала и некоторое облегчение — она избавилась от тревожного и тяжелого недоумения, возбужденного поспешным выводом синьоры Лаурентини относительно ее происхождения и чести ее родителей. Твердая вера в нравственность Сент Обера не позволяла ей подозревать, что он когда-либо поступал бесчестно, и ей было до того противно считать себя дочерью какой-либо другой женщины, а не той, кого она с рождения привыкла любить и уважать как мать, что она не могла даже допустить такой возможности; однако сходство, которое по многим отзывам существовало между нею и покойной маркизой, слова Доротеи, старой домоправительницы, уверения синьоры Лаурентини и таинственная привязанность к маркизе Сент Обера, — все это, вместе взятое, шевелило в ней сомнения, которых ее рассудок не мог ни преодолеть, ни подтвердить. Слава Богу, от этих подозрений она теперь избавилась и все побуждения ее отца вполне разъяснились; но сердце ее все еще находилось под

впечатлением печальной катастрофы с ее милой родственницей и страшного урока, заключавшегося в истории несчастной монахини: потворство страстям постепенно привело ее к совершению ужасного преступления, а если бы ей предсказали нечто подобное в ранние годы ее юности, то она, без сомнения, содрогнулась бы от ужаса и воскликнула бы, что это невозможно. И долгие годы раскаяния и тяжелого искуса были бессильны смыть этот грех с ее совести.

ГЛАВА LVI

*...и снова слезы
Катились по ее щекам, словно роса медвяная
На сорванной, полузавядшей лилии...*

После всех этих разоблачений граф и его семейство стали смотреть на Эмилию, как на родственницу фамилии де Вильюра и оказывать ей, если возможно, еще больше дружеского внимания, чем прежде.

Графа удивляло, что он так долго не получает ответа на свое письмо, посланное Валанкуру в Этювьер, но вместе с тем он радовался своей осторожности, не допустившей его разделить свое беспокойство с Эмилией; иногда, впрочем, замечая, что она изнемогает от горя, вследствие его же первоначальной ошибки, он с трудом удерживался, чтобы не открыть ей всей правды. Приближающаяся свадьба Бланш теперь, однако, отвлекала часть его внимания от предмета его тревоги; обитатели замка уже начали заниматься приготовлениями к этому событию и скором времени ждали прибытия молодого Сент Фуа. Эмилия тщетно старалась принимать участие в окружающем ее оживлении, но душа ее была удручена недавними разоблачениями и беспокойством за Валанкура: после рассказа Терезы о его ужасном состоянии, когда он передавал ей кольцо, Эмилия угадывала, что он впал в мрачное отчаяние; и когда ей представлялось, к чему может повести это отчаяние, сердце ее сжималось от ужаса и горя. Незнание относительно его судьбы, незнание, которая по ее мнению должна была продолжаться до тех пор, пока Эмилия не вернется в «Долину», казалась ей нестерпимой; в иные минуты она была не в силах притворяться спокойной, поспешно убегала от своих друзей и искала успокоения в глубоком уединении леса, над морским берегом. Там глухой рев пенистых волн и унылое завывание ветра в ветвях деревьев по крайней мере гармонировали с ее настроением; она садилась на обломок скалы, или на поломанных ступенях своей любимой сторожевой вышки, наблюдая, как меняются оттенки вечерних облаков и как вечерний сумрак расстилается над волнами, пока среди темных вод едва можно было различить белые гребни волн, бегущих к берегу. Она часто с меланхолическим восторгом повторяла строки, вырезанные Валанкуром на притолоке двери; в конце концов она старалась подавить эти воспоминания и горе, которое они причиняли ей, и обратить свои мысли на предметы безразличные.

Однажды вечером она захватила с собой лютню и отправилась на свое любимое место; войдя в сторожевую башню, она поднялась по витой лестнице, ведущей в небольшую каморку, менее разрушенную, чем остальное здание и откуда она и прежде не раз с восхищением любовалась обширным видом моря и суши, расстилающимся внизу. Солнце опускалось как раз над той областью Пиренеев, которые разделяла Лангедок от Русильона; встав у маленького решетчатого окна, горевшего, как и верхушки лесов и волны моря, алым пламенем заката, Эмилия провела рукой по струнам лютни и запела под ее аккомпанемент одну из незатейливых, трогательных мелодий, которые Валанкур бывало в счастливые дни их любви слушал с наслаждением; она сочинила на эту мелодию следующие слова:

К МЕЛАНХОЛИИ

О, дух печали и любви — привет тебе!

Твой голос, издали я слышу, —
Сливается он с бурею вечерней.
Приветствую тебя я грустною, отрадною слезой!
И в этот тихий час уединенный —
Твой час, в исходе дня,
Пробуди мою ты лютню, и ее волшебной силой
Фантазию на помощь призови.
Пусть она опишет ту мечту живую,
Которая рисует глазам поэта,
Когда на берегу темнеющей реки
Он стонет и вздыхает томно.
О, дух уединенья! пусть песнь твоя
С собою гюведет меня по всем твоим мытарствам,
Под сень обители, луною озаренной.
Где в полночь духов раздается хор!
Я слышу их унылые напевы...
Вот замерли они средь жуткой тишины,
И меж колонн обители священной
Мелькают образы их, смутные как тень.
Веди меня на мрачные вершины гор;
У их подножия, в тени глубокой
Лежат леса дремучие, деревни,
И звон вечерний грустно раздается.
Веди на берег моря каменистый,
Что волны мерные шумливо омывают,
Где темная скала нависла над прибоем
И дико воет ветер осенью ненастной.
Там я остановлюсь в полночный час видений
Внимать протяжным завываньям бури
И наблюдать, как луч луны играет
На пенистых гребнях и парусе далеком.

Спокойная прелесть расстилающейся внизу картины вместе с нежной мелодией музыки, успокаивала ее душу и навевала на нее тихую грусть: вечерняя бриза едва подымала рябь на поверхности моря и слегка вздувала быстро скользивший парус, на котором отражался последний луч солнца; лишь по временам всплеск весла нарушал тишину и трепещущий блеск морской глади; Эмилия пела грустные песни старины; наконец, тяжелые воспоминания так сильно разжалобили ее сердце, что горячие слезы закапали из ее глаз на лютню — она поникла головой и змолкла.

Хотя солнце уже закатилось за горы и даже отраженный свет его быстро потухал на самых высоких точках, но Эмилия не уходила из сторожевой башни, а продолжала отдаваться своим меланхолическим грезам, как вдруг ее поразил звук шагов на недалеком расстоянии; взглянув в решетчатое окно, она увидела, что кто-то ходит внизу; она скоро убедилась, что это мосье Боннак, и тотчас же опять погрузилась в грезы, нарушенные его шагами. Немного погодя она снова ударила по струнам лютни и запела свою любимую песню; во время паузы снова раздались шаги, но они уже подымались по лестнице.

Среди сгущающихся сумерок она, быть может, становилась особенно склонна к страху, которого в другое время она не испытала бы. Но чего трусить? не далее, как несколько минут назад она сама видела, что прошел Боннак. Однако шаги по лестнице были быстры и эластичны; не прошло минуты, как дверь комнатки распахнулась и кто-то вошел; лица она не могла рассмотреть в полумраке, но голоса нельзя было скрыть — это несомненно был голос Валанкура! При этих знакомых звуках, всегда возбуждавших в ней волнение, Эмилия

вздрогнула от изумления, страха, сомнения... и радости. Увидав его у своих ног, она в бессилии упала на стоявшую поблизости скамью, подавленная разнообразными чувствами, боровшимися в ее сердце, и почти не слыша его голоса, трепетно и страстно звавшего ее по имени. Валанкур, склонившись над Эмилией, сожалел о своей стремительности, побудившей его явиться к ней врасплох. Приехав в замок, он не имел терпения дожидаться возвращения графа, гулявшего в саду, как ему сообщили слуги; он бросился искать его; проходя мимо сторожевой башни, он был поражен звуками голоса Эмили и тотчас же поднялся наверх.

Прошло несколько минут, прежде чем Эмилия очнулась; но когда к ней вернулось сознание, она оттолкнула его попечения с видом холодной сдержанности и спросила, какими судьбами он здесь очутился. В голосе ее звучало неудовольствие — насколько она могла притвориться недовольной в первые минуты свидания с ним.

— Ах, Эмилия! — воскликнул Валанкур, — какой тон! какие речи, Боже мой! Итак у меня не осталось никакой надежды, вы перестали меня уважать и вместе с тем разлюбили!...

— Эта сушая правда, сударь, — проговорила Эмилия стараясь овладеть своим трепещущим голосом, — и если вы цените мое уважение, то вам не следовало бы подавать мне лишнего повода к беспокойству.

Лицо Валанкура мгновенно изменилось: вместо тревоги и сомнения на нем появилось недоумение; он помолчал немного, потом сказал:

— Я имел основание надеяться на совершенно другой прием! Так это правда, Эмилия, что я лишился вашего уважения навсегда? Как мне это понимать? Если даже ваше уважение когда-нибудь вернется ко мне, но любовь никогда? Как мог граф измыслить подобную жестокость? Ведь это для меня пытка, вторая смерть!

Тон, которым были произнесены эти слова, встревожил Эмилию еще более, чем их значение, и она с трепетным нетерпением умоляла его объяснить.

— Какое же тут еще нужно объяснение? — спросил Валанкур. — Разве вам неизвестно, что на меня жестоко наклеветали? что те поступки, в которых вы заподозрили меня, — ах, Эмилия, и как могли вы до такой степени унижить меня в своем мнении, хотя бы на одну минуту, — подобные поступки и я сам не менее вас считаю отвратительными и презренными? Неужели вы не знаете, что граф де Вильфор вывел на чистую воду клевету, лишившую меня всего, что было у меня дорогого на свете, и пригласил меня сюда, чтобы объяснить вам свое поведение? Возможное ли дело, чтобы вы действительно не знали всего этого, и что я опять буду терзаться ложными надеждами!

Молчание Эмили подтвердило это предположение; в вечернем полумраке Валанкур не мог рассмотреть выражения изумления и радости на ее лице. С минуту она не могла произнести ни слова; потом глубокий вздох облегчил душу, и она сказала:

— Валанкур! До этой минуты я ничего не знала из тех обстоятельств, о которых вы упоминаете; мое волнение докажет вам, что я говорю правду и что хотя я перестала уважать вас, но все же не могла совершенно изгнать вас из своей памяти.

— Какая минута! — проговорил Валанкур тихим голосом и прислонившись к окну, точно ища опоры, — какая минута! Она приносит мне уверенность, которая ошеломляет меня!... Итак, значит, я все еще дорог вам, Эмилия, моя Эмилия?...

— Да разве есть надобность выражать это словами? — отвечала она, — разве нужно мне говорить вам, что это первые отрадные минуты, какие я переживаю после вашего отъезда, и что они вознаграждают меня за все горе, которое я вынесла за это тяжелое время?...

Валанкур вздохнул и не мог отвечать; он прижимал ее руку к своим губам и слезы, падавшие на нее, были красноречивее всяких слов.

Немного успокоившись, Эмилия предложила вернуться в замок и только тогда вспомнила, что граф пригласил Валанкура для того, чтобы он объяснил свое поведение, и что пока никакого объяснения еще не было. Однако сердце ее ни на минуту не хотело допустить, что он может оказаться недостойным: его взгляд, его голос, его приемы — все говорило о благородной искренности, отличавшей его и прежде. И вот Эмилия опять

свободно отдалась чувству радости, такой живой и всеобъемлющей, какой еще, кажется, никогда не испытывала в жизни.

Ни Эмилия, ни Валанкур не помнили, как они дошли до замка; им казалось, как будто они перенеслись туда на крыльях доброй волшебницы, и только когда они вошли в большую залу, то вспомнили, что на свете есть и другие люди, кроме них.

Граф вышел встретить Валанкура со свойственными ему приветливостью и радушием и просил у него прощения за несправедливость, которую оказал ему; вскоре и мосье Боннак примкнул к счастливой группе; встреча его с Валанкуром вышла необыкновенно сердечной.

Когда миновали первые приветствия и поздравления, общее ликование немного поулеглось, граф удалился с Валанкуром в кабинет, и там между ними произошла продолжительная беседа: Валанкур объяснился окончательно; он так блестяще оправдался от всех грязных подозрений, взводимых на него, и так искренно раскаивался в совершенных им безрассудствах, что вера графа в прекрасные душевные свойства и благородство молодого человека окончательно утвердилась; он заметил, что опыт научил юношу возненавидеть те безумства, которыми он увлекался, и твердо убедился, что Валанкур проживет жизнь с достоинством, как умный хороший человек, следовательно ему можно без опасения вручить счастье Эмилии Сент Обер, к которой граф относился с заботливостью родного отца. Об этом исходе объяснения он скоро сообщил ей в кратких словах, после того, как удалился Валанкур. Когда Эмилия слушала рассказ об услугах, оказанных Валанкуром Боннаку, глаза ее наполнялись слезами радости; дальнейший разговор с графом де Вильфор вполне рассеял все сомнения относительно прошлого поведения ее возлюбленного, и она беззаветно вернула ему прежнее уважение и нежную привязанность.

Когда они вошли в столовую, где был сервирован ужин, графиня и Бланш встретили Валанкура сердечными поздравлениями; Бланш так радовалась счастью Эмилии, что даже позабыла об отсутствии молодого Сент Фуа, которого ждали с минуту на минуту; но ее великодушное сочувствие подруге было вскоре вознаграждено приездом жениха. Он уж совершенно оправился от своих ран, полученных во время опасного приключения в Пиренеях; упоминание о пережитых страхах только еще больше усилило в глазах участников путешествия сознание их теперешнего счастья. Опять начались взаимные поздравления и вокруг стола за ужином виднелись одни только веселые лица, улыбающиеся счастливой улыбкой; каждый был счастлив по-своему, сообразно со своим характером. Улыбка Бланш была бойкая и шаловливая; лицо Эмилии выражало задумчивую нежность, Валанкур был попеременно радостен, нежен, многоречив, у Сент Фуа веселость была ключом, а граф, глядя на окружающее счастливое общество, так и сиял спокойным удовольствием; лица графини, Анри и мосье Боннака были менее оживлены. Бедный Дюпон не захотел своим присутствием портить общее благополучие; убедившись, что Валанкур достоин привязанности Эмилии, он серьезно решился победить свою собственную безнадежную страсть и удалился из замка Ле-Блан. Эмилия поняла его деликатный поступок и была ему от души благодарна.

Граф и его гости засиделись до поздней ночи, отдаваясь удовольствию приятной дружеской беседы. Когда Аннета услышала о приезде Валанкура, то Людовико с трудом удержал ее от намерения отправиться сейчас же в столовую и выразить ему свою радость; девушка уверяла, что после того, как она обрела своего Людовико, она не помнит, чтобы чему-нибудь так радовалась, как благополучному возвращению барышниного жениха.

ГЛАВА LVII

*Моя исполнена задача;
Теперь я волен убежать
И унести́сь хоть на край света,
Где голубой небесный свод,
Склоняясь, сходится с землей,
А оттуда уж близка двурогая луна.*
Мильтон

Обе свадьбы — Бланш и Эмили — были отпразднованы в один и тот же день в замке Ле-Блан и притом со старосветской барской пышностью. Торжество происходило в большой зале замка, которая по этому случаю была увешана великолепными новыми коврами обоями, изображающими подвиги Карла Великого и его двенадцати паладинов; тут виднелись сарадины с их страшными лицами, идущие в бой; тут были также представлены дикие обряды чародеев и некромантические фокусы волшебника Ярла, в присутствии императора. Пышные знамена фамилии Вильруа, долго лежавшие в пыли на чердаках, снова увидели свет Божий и развевались на остроконечных разрисованных окнах; по извилистым галереям и колоннадам обширного здания всюду раздавалась музыка.

Аннета, стоя на хорах и глядя вниз в залу, арки и окна которой были иллюминированы фестонами разноцветных шкаликов, и любясь роскошными нарядами танцующих, дорогими ливреями их слуг, балдахинами пунцового бархата с золотом и слушая веселые мелодии, носившиеся под сводчатым потолком, — чувствовала себя точно в очарованном дворце и уверяла, что никогда в жизни не встречала ничего столь прекрасного, с тех пор, как читала волшебные сказки; мало того, — что сами феи на своих ночных пирах не видывали ничего прекраснее; а старуха Доротея, любясь той же сценой, только вздыхала и говорила, что теперь, слава Богу, замок опять похож на то, чем был в старину.

Пробыв несколько дней на празднествах в замке, Валанкур с Эмилией простились со своими друзьями и вернулись в свое имение «Долину», где старая Тереза встретила их с непритворной радостью и где родной дом и сад приветствовали их бесчисленными, нежными воспоминаниями. Бродя рука об руку по местам, где так долго жили г. и г-жа Сент Обер, Эмилия с задумчивой нежностью показывала мужу их любимые уголки; ее теперешнее счастье еще выигрывало от сознания, что оно встретило бы одобрение ее родителей, если бы они дожили до этого.

Валанкур повел ее к платану на террасе, где он в первый раз решился признаться ей в любви; вспоминая свою мучительную тоску и беспокойство в то время, и опасности и несчастья, какие оба испытали после того, как в последний раз сидели вместе под развесистыми ветвями старого дерева, — Валанкур сознавал, что это придает еще большую ценность их теперешнему счастью; и вот, на этом месте, священном, в память Сент Обера, Валанкур и Эмилия дали друг другу торжественную клятву всю свою жизнь стараться заслужить свое счастье, подражая доброте и милосердию покойного отца: всякое большое счастье или высокое положение влечет за собою и обязанности соответственного порядка; мало доставлять своим ближним крупицу жизненных благ, какую все счастливые обязаны уделять обездоленным, надо также подавать им личный пример жизни, проведенной в прославлении Бога, благодарности за Его милости и, следовательно, заботливой нежности к Его созданиям.

Вскоре по приезде молодой четы в «Долину», туда явился брат Валанкура поздравить его с бракосочетанием и засвидетельствовать свое почтение Эмили; она чрезвычайно понравилась ему, и он остался настолько доволен перспективой солидного счастья, по-видимому, обеспеченного Валанкуру, благодаря этой свадьбе, что немедленно передал ему часть своего богатого поместья; впрочем, все оно должно было впоследствии перейти к Валанкуру, так как старший брат был бездетен.

Тулузские имения были проданы, зато Эмилия приобрела у г.Кенеля родовое имение своего покойного отца, где она поселила Аннету, снабдив ее приданым и доставив ей место домоправительницы, а мужу ее, Людовико — место управляющего. Но так как Валанкур и она сама оба предпочитали приятную, нежно любимую местность «Долины» великолепию Эпурвиля, то они там и продолжали жить, проводя однако несколько месяцев в году в имении, где родился Сент Обер, из уважения к его памяти.

Эмилия попросила у мужа разрешения передать Боннаку наследство, отказанное ей синьорой Лаурентини; когда она обратилась к Валанкуру с этой просьбой, то он почувствовал все ее лестное значение. Удольфский замок также перешел к супруге Боннака,

ближайшему члену семьи этого имени; таким образом, обеспеченное положение доставило спокойствие Боннаку, измученному заботами о благосостоянии своей семьи.

О, какое наслаждение говорить о счастье, подобном тому, какое выпало на долю Эмилии и Валанкура, как отрадно рассказать, что после долгих страданий, — испытывав преследования со стороны людей порочных и презрение со стороны слабых, они, наконец, были возвращены друг другу — поселились в любимом уголке своего родного края, наслаждаются самым надежным счастьем в жизни — стремлением к нравственному и умственному совершенству, — снова могут пользоваться просвещенным обществом и заниматься делами благотворительности, влечение к которым всегда воодушевляло сердца их; сады и беседки «Долины» опять стали любимым приютом милосердия, разума и семейного счастья.

Дой Бог, чтобы эта повесть принесла долю пользы, показав читателю, что хоть люди порочные иногда могут доставить огорчение добрым, но власть их непрочна, мимолетна и наказание неминуемо и что невинность хотя бы и терпела угнетение от несправедливости, но в конце концов всегда восторжесвует над несчастием!

И если слабой руке, написавшей эту повесть, удалось, при помощи заключающихся в ней фантастических картин хотя бы на один час рассеять чью-нибудь печаль, или научить страдальца переносить ее, то труд этот, как он ни скромный, не был напрасен и автор уже получил свою награду.